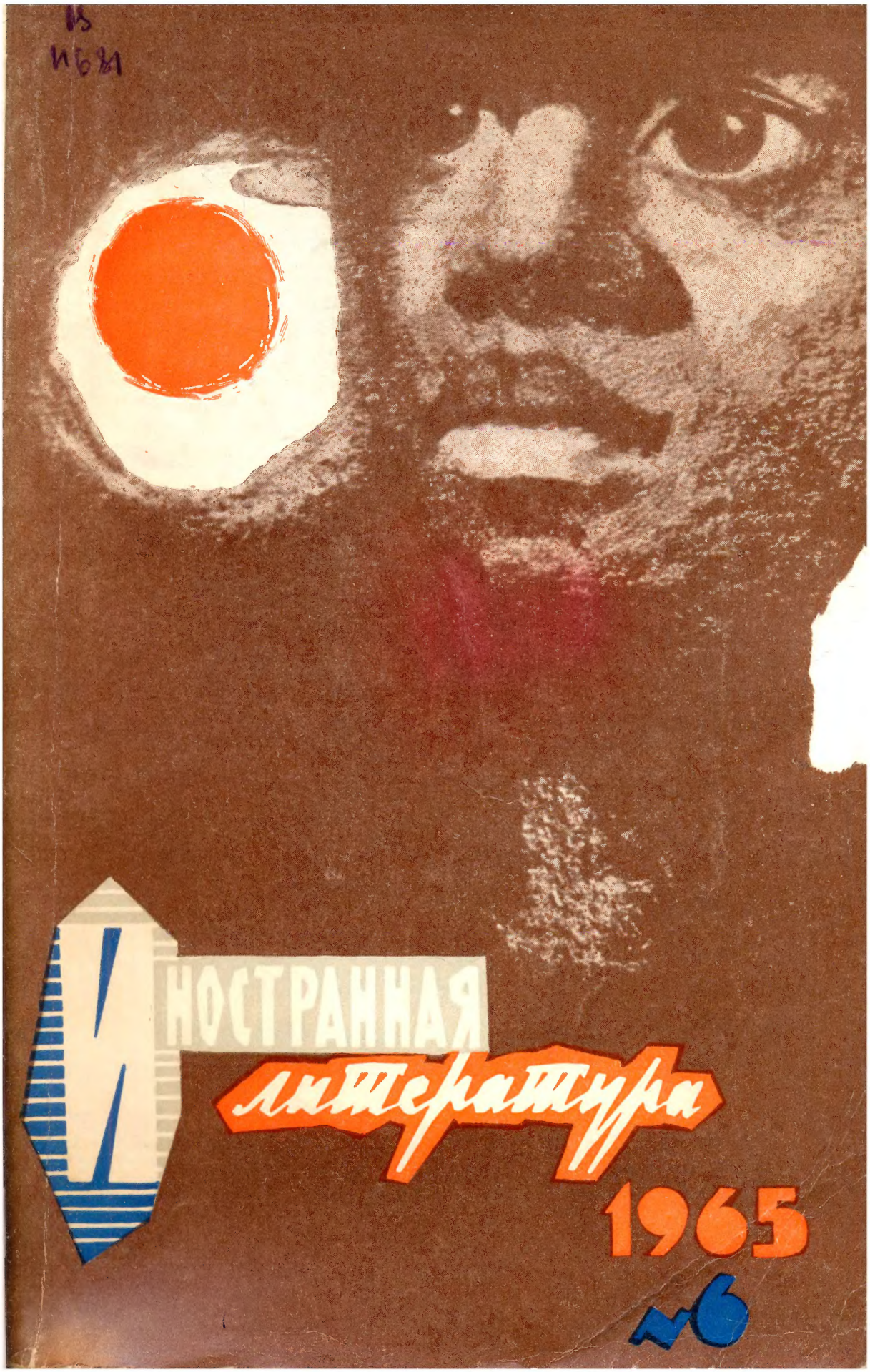
В
И681


Иностранная
литература
1965
№6

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДЖОН ОЛИВЕР КИЛЛЕНЗ — И тогда мы услышали гром (Окончание) 69

ПОВЕСТИ

ДИКО ФУЧЕДЖИЕВ — Небо над Велекой 5

СТИХИ

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС — Моя Гватемала 3

ЧЕТЫРЕ НИГЕРИЙСКИХ ПОЭТА — ДЖОН КЛАРК, ГЭБРИЕЛ ОКАРА, КРИСТОФЕР ОКИГБО, ВОЛЕ ШОЙИНКА 62

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ — Из книги «Рифмы» (К 700-летию со дня рождения) 183

КРИТИКА

Д. ЗАТОНСКИЙ — Искусство и миф 188

М. ТУГУШЕВА — Солдаты Джона Брауна 201

6

ИЮНЬ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Л. СИМОНЯН, Н. АНАСТАСЬЕВ, Н. ВЛАДИМИРОВ — Заметки на полях зарубежных газет и журналов 211

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР КЛЮГЕ — Описание одной битвы (Окончание) 222

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ (Анкета «Иностранной литературы») 249

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

М. Гордышевская — Свидетель обвинения. ◇ А. Турков — Отшельник, ушедший к людям. ◇ А. Тишков — Роман о монгольской молодежи 256

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Галина Жучкова — Ради свободы народа. ◇ Е. Гальперина — Белое и черное, зеленое и красное. ◇ Ласло Дюрко — О «Двадцати часах» Ференца Шанты. ◇ А. Карельский — Блеск и нищета сатиры 261

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

По Скандинавии (Рисунки художника М. Алексеева) 269

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 273

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 274

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке плакат болгарского художника АНТОНА ПЕТКОВА «Африканское утро 1960 г.»

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС

Моя Гватемала

Несмолкнувшие голоса

Октябрь * распяли,
железные пики
пронзили
его голубей.

В стальной мясорубке
погибли герани,
месивом черным
из крови и листьев
стала надежда.

Но плачут по мертвым.
а вы не погибли.
Зеленый маис
пробивается к солнцу
сквозь ваши могильные камни,
он славит героев.

Надежда обуглилась
в горький июнь,
вонзивший шипы
в нашу грудь.
Но хранит ее клич
благодарное сердце,
в такт которому
бьются
сердца двадцати голубей.

Пусть видит надежда,
как проходят
солдаты —
двадцатые дни октябрей,
пусть слышит,
как всюду поют ее гимн
звенящие голоса.

Брату Мигелю

Брат Мигель, от великого стона
разрывается сердце Испании;
как стена,
подымается новая Куба,
Гватемала сгустком страданья
бьется в грудь,
но смотри — в эти самые дни
человек атакует Вселенную,
в лучах всеобъемлющей радости
купая лицо вдохновенное.
Его радость врачует раны,
каждое сердце
раскрывает настежь
и выпускает на волю
весеннюю птицу,
белую птицу
нашей надежды.

Брат Мигель, как давно не целует
нас солнце,
заржавела твоя улыбка,
и губы сомкнулись крепко.
Твое сердце гудит,
как бессонный квартал,
где мечется голод,
продавая газеты,
зигзагами перекрестков
расчерчено сердце твое,
и каждый отчаянный крик
вонзает в него острие.
В твоем сердце
живут ребятишки,
которых ты учишь,
их отцы — землепашцы —
давно под землей.
Твое сердце, Мигель,
разъедает тревога,
пусть получит оно
эту песню,
этот белый листок
из блокнота...

* 20 октября 1944 года в Гватемале началась народная антиимпериалистическая революция. Демократическое правительство, созданное в результате этой революции, было свергнуто в июне 1954 года, в дни агрессии империализма США против Гватемалы.

Пой, Мигель,
радость нового мира,
пой моим землякам,
тем, чей труд,
словно хлеба ломоть,
на ладони у каждого.
Пой сапожнику — целый день
он корпит над чужим ботинком,
скотобою с чувствительным сердцем,
мусорщику в рубашке,
изъеденной потом и солнцем,
попрошайке-слепцу, черта с два
проведешь его старой монетой!

Пой шоферу такси,
познающему мир
глазами своих пассажиров,
кузнецу, что, отбив себе пальцы,
кроет бога и деву Марию,
пой, Мигель, деревенскому лекарю,
потерявшему счет гробам,
землепашцу, который в ломбард
заложил свою смерть,
адвокату, что сводом законов
разжигает плиту;
пой, Мигель, пой им всем
веру в жизнь —
радость нового мира.

Перевод с испанского МАРИНЫ ТАРАСОВОЙ

Над кромкою рассвета

«В чем мы повинны?!»
(Из «Песни на взятие Чичен-Итца»)

Услышьте сиротливое звучанье
моих продрогших строк,
распятых
ночами, зачавшими ненастье
в рычащих пропастях
воспоминаний.
Услышьте их испуганный побег
из стада моих элегий!..
Мой слух присвойте,
вслушайтесь, услышьте
мой гнев, мою надежду.
Пусть прорастет,
пусть выбросит свой лист
моя бессонная печаль
над западными падями
забвенья...
Я исчезаю,
я — уже не я,
не я, не я, не я,
а эти строки, их переплетенья,
а строки эти —
лишь древнейший стон,
который полосует наши лица
бичами ветхих ветров...
Мой слух присвойте,
вслушайтесь, услышьте
мой гнев, мою надежду.
Пусть паводком моя земная горечь
застелит вам глаза!..
В тот год,
в тот год (который я забуду
лишь после смерти)
крестьянин, увидавший
звезду нагую,
плывущую над кромкою рассвета,
состарился на десять лет,
а мне осталась только эта песня
на дыбе урагана.
Мои ступни запомнили рельеф
дорог луны и солнца,
но среди них, под нашим небом,
я ни одной дороги не нашел,
где не воздвиг бы враг
своих пожарищ.
Наш враг упорно грыз,
он грыз и грыз,
он грыз —
покамест нашу стену не прогрыз,
упившись медом наших женщин.
И гроздья винограда упали с лоз,
и между четырьмя стенами
мира
осталась нам
лишь горсточка морщин в ладони,
и время поползло,
как раненый, и дети
выуживали в лужах
икринки звезд...
А через год
округа поросла репьями
крестов...
Как саднит этот год во мне!
Как не проходит!
Гигантскою занозой
в плоть моего напева он вонзился.
Тот год — потоп,
по толике
уносит мое сердце...
С тех пор в движеньях моего отца
есть что-то от усталой птицы.

Перевод с испанского ПАВЛА ГРУШКО

ДИКО ФУЧЕДЖИЕВ

НЕБО НАД ВЕЛЕКОЙ

ПОВЕСТЬ

Перевод с болгарского
М. ТАРАСОВОЙ и Л. ХЛЫНОВОЙ

шел.

Эта бесконечная тропинка была мне знакома, но ее капризные извивы не могли надоесть. Что может быть лучше — идешь по лесу в эти напоенные молчанием и светом дни, когда осень только-только вступает в свои права.

Тропинка вывела меня на дорогу. Две параллельные колеи прорезали толстый слой сгнившей листвы. Дорога извивалась и петляла между деревьями, вдруг пропадала, а потом и вовсе исчезла в молчаливой, оголенной чаще.

Молчание внезапно было прервано свистом, гудением и будто протяжными стонами, доносившимися с правого склона, и, хотя ветра не было, звуки эти набегали волнами — то глухие и далекие, то резкие и пронзительные. Редкие удары топора сливались с ними — лесорубы валили деревья, нарушая спокойное молчание леса. Но работали они, очевидно, где-то далеко у реки. Шум в лесу обманчив.

Я шел. В стороне от дороги показался деревянный барак, покрытый зеленой, кое-где выцветшей краской. Перед ним горел костер, а в середине на двух камнях стоял закопченный котелок.

Одинокий костер всегда чем-то притягивает меня. Но я не спешил, сегодня время не имело для меня значения.

Окна барака широко распахнуты, видны неизменные деревянные нары, застланные одеялами, на противоположной стене — старый, весь исчерканный и пожелтевший календарь. На нарах разбросаны ватники, а на сбитом из досок столе стоит керосиновая лампа и валяется раскрытая газета. В комнате только один стул, очень старый, колченогий,— такие делают из обструганных буковых досок и покрывают оранжевой краской.

Я сел на пень — люблю синеватый дым разожженного в лесу костра,— протянул руки, и по всему телу разлилось приятное тепло. Котелок был полон вареной картошки. Я вынул одну картофелину, что покрупнее, и, подув на нее, стал чистить. Соли не оказалось, но при виде белых клубов пара, поднимавшихся от картошки, я не устоял и принялся есть. Обжегся. И посмеялся над собой — не надо спешить!

— Эй!

С удивлением я обернулся и чуть не выронил картошку. За моей спиною — паренек верхом на осле. Животное стояло покорно и с видимым удовольствием жевало жилистую колючку, вырванную с корнем. Колючка медленно, миллиметр за миллиметром убавлялась.

У паренька были очень черные и дерзкие глаза.

— Что — эй?

— Как что? Ты же картошку ешь.

Паренек злился, и это рассмешило меня.

— Ем. Разве запрещено?

— Картошка чужая, а кто ты, еще неизвестно.

— Но ведь ты меня видишь?

— Вижу, да откуда мне знать. Тут всякие ходят.

— Я не всякий. Давай-ка есть вместе,— предложил я и снова с вызовом взялся за картошку.

Паренек соскочил на землю и сердито уставился на меня.

— Ну ладно, а ты-то кто? — спросил я.

— Мы здесь лес валим. Для шахтных креплений.

— Кто это «мы»?

— Мы. Отец и его бригада,— ответил он нехотя.

— Ага! — подхватил я. — То-то я слышал какое-то гудение, когда шел сюда.

— Это машина РБ-8 гудит,— объяснил паренек. В его голосе появились нотки снисходительности.

— А что значит РБ-8? — спросил я.

— Пила. Есть еще и РБ-12, но это самые новые образцы. Таких наше хозяйство еще не получило.

— Так вот и рубите?

Паренек поглядел на меня уже совсем снисходительно.

— Не рубим, а пилим. Рубят топором, а пилой пилят. У нее бензиновый моторчик и цепь с острыми зубьями. За одну минуту может повалить самое толстое дерево.

— Ну уж и за одну минуту...

— Не веришь? — Его глаза сверкнули от удовольствия.— Даже еще быстрее. Не веришь, потому что не видел. Вот у нас какая работа!

— А моя работа совсем другая,— сказал я. — К реке иду.

— К Белому?

— К нему.

Паренек сел. Он взял картофелину, подул на нее и принялся есть.

— Ну раз к Белому... Я был там летом. Передай ему привет от Димчо, сына Кары.

— Ах вот как!

— А что? Мы с ним на рыбалку ходили.

Осел прихватил губами последний стебель и старательно пережевывал его, но и разговор наш, видно, его тоже интересовал, так как он, похлопывая ушами, не спускал с нас глаз.

— Хорошо, раз такое дело, передам.

Я поднялся и закинул рюкзак на спину. Бутылки в нем звякнули — две с коньяком, одна с ментовкой. Мой давнишний друг директор Государственного земледельческого хозяйства Павел Штерев сказал мне, что Белый, кроме ментовки, ничего в рот не берет. А я не выношу эту ментовку, она напоминает мне мятные конфеты двадцатилетней давности.

— Дорогу знаешь? — спросил паренек.

— Знаю.

— Иди просекой все прямо и прямо. Я бы тебя проводил, да вот бригада придет обедать.

— Спасибо за картошку. И до свидания.

— Не за что, ты же взял без спроса.

Паренек снял котелок с костра, а осел помахал на прощание ушами и нагнул голову в поисках новых колючек.

Смотри-ка, парнишка весь в отца: десяти нет, а так же задирается и важничает. Когда-то мы с Карой учились вместе, и он оставил по себе память — так полоснул меня в какой-то стычке ножиком по голове, что до сих пор шрам сохранился. Под волосами не видно, но стоит до него дотронуться, и я тут же вспоминаю о Каре и его прицепленном к брюкам габровском ножике, на деревянной ручке которого были вырезаны его инициалы.

Дорога эта ведет только к вырубке. Когда рубят лес, по ней возят деревья. Вот почему не настоящая это дорога, а две колеи, поросшие с двух сторон бурьяном и кустарником. Сколько по ним ни идешь, никогда не надоедает. Надоедают гладкие дороги, с гравием и асфальтом.

Вероятно, поэтому я и уверен, что не ошибся. Врачи рекомендовали мне ехать в Наречен, но у них для каждого, кто жалуется на нервы, готовый рецепт. А я не чувствую себя нервнобольным, до этого, думаю, не дошло. Хотел бы я вообще знать, кто может поручиться, что у него нервы, как канаты? К тому же друзья ждут не дождутся, когда я побываю в Наречене. Они будут подшучивать надо мной всю зиму, пока сами не уедут на побережье. И у них будут основания. Подумать только, тридцатипятилетний мужчина, словно старуха, отправился принимать ванны. Что касается врачей, то их дело — давать советы. Остальное их не волнует.

Дорога шла через старый дубовый лес. Было начало октября, а листва еще не опала. Только покраснели широкие зубчатые листья дикой груши. В лес проникали неестественно яркие солнечные лучи, но они почти не грели. И все же день был теплый и светлый, с легким привкусом ненадолго вернувшегося лета. На небе ни облачка.

Кто жил в горном селе, тому знакома прелесть и покой тех дней, которые называют бабьим летом. Именно они-то и были мне нужны. Но Штерев сказал:

— Слушай, не сиди ты здесь, побродн где-нибудь.

— Почему? — удивился я.

— У нас ведь рабочая пора, и тебе не очень-то удобно будет болтаться без дела. Теперь круглый год работаем, не только в сезон. Разве что зима очень уж суровая. Так что смотри — затащат тебя на какое-нибудь собрание.

— Да ведь у меня законный отпуск, я приехал отдыхать.

— Знаю, а все-таки... Иди на Велеку, к Петко Белому. Он там распоряжается нашей мельницей. Рыбы — сколько душе угодно, и овцеферма близко. Голодным не останешься и отдохнешь получше.

Собраний и заседаний я не боюсь — привык к ним. Но в последнее время я словно отравился — лица людей в зале сливались, а в голове трещала какая-то камнедробилка.

Подумав, я решил, что совет Павла неплох. Он мне друг и знает, что говорит.

Это был еще один довод, чтобы приехать сюда.

Свист и гудение пил звучали все глуше, отступали все дальше. Над лесом, надо всем лесным простором вновь воцарилось спокойствие. Оно передалось и мне. А для меня этого было недостаточно. Я уверен, что всю жизнь могу идти по этим капризным, извилистым колеям и никогда мне не надоест.

Не надоест, потому что в душе я остался крестьянином. Я мог бы провести отпуск в Софии и сидеть сейчас в каком-нибудь кафе за рюмкой коньяку и чашечкой кофе. Слушать разговоры за столиками и отпивать глоточками коньяк, рассматривать людей, которые в густом дыму представлялись бы мне тенями. Слушать и смотреть, а в сущности, ду-

мать о дорогах и тропинках в лесу Странджи и о Велеке. Воспоминания значат для меня очень много, хоть и считается, что одними воспоминаниями не проживешь. Впрочем, это даже не воспоминания, а скорее открытие мира.

Я смотрел бы на людей, на дым, и что только ни проходило бы передо мной. И вот что странно: совсем незначительное живет во мне с большей ясностью, чем многое другое, влиявшее на мою судьбу.

Однажды мы ходили на Велеку купаться, а вечером, когда я вернулся в село, мама спросила, где мой мешочек для хлеба. Он был коричневый, из холста, совсем новый, и мама выпорола меня за то, что я его потерял. Никогда не забыть мне этого холщового мешочка, который исчез неизвестно как, ведь я обычно таскал его на спине.

В другой раз я встал на стекло, хотел попробовать, удержит ли оно меня. Стекло было для меня прозрачной загадкой. К огромному моему удивлению, прозрачное, как воздух, оно удержало меня, но при повторной попытке — очевидно, совершенно излишней — разбилось. И снова меня как следует выпороли. И хотя стекло можно было достать, но, как говорила мама, деньги с неба не падают.

Или тот цирк, из-за которого я попытался украсть один из немногих левов в нашем скудном семейном бюджете. Меня поймали на месте преступления, выпороли, и цирка я не увидел. До сих пор помню, что он принадлежал какому-то Яничеку. Сгорая от зависти, я бродил вокруг огромного купола. Крестьяне из нашего села еще долго вспоминали этот цирк, а вместе с ними и я, хотя ничего не увидел. Все они говорили о том, что девочка, которая скользила меж перекладин стоячей лестницы, упала и разбилась. Женщины плакали, и мне тоже хотелось плакать.

Иногда я думаю, что жизнь человека — непрерывная цепь событий и случаев, от самых крупных до совершенно незначительных, и одни постепенно теряют свое значение за счет других. Я, например, раньше любил конфеты и пирожные, а теперь уже не соблазняюсь сладким, потому что вкус сладкого связан для меня с запахом мяты. Не могу забыть, как однажды у бакалейной лавки сельский священник ел «луковки» (пустяковые мятные конфеты, которые сейчас и не выпускают). Пока я с жадностью смотрел на него, он съел три конфетки — одну в красной и две в зеленой обертке. Этот священник хороший человек, и его ни в чем нельзя упрекнуть, но при встречах с ним я всегда испытываю недоброе чувство. А ментовку, которую я несу Белому, просто ненавижу. У нее вкус этих мятных конфет.

Я был озорником, как все дети. Трудно перечислить неприятности, которые я причинил, например, птицам. Однажды в поисках голубей я забрался на столетний дуб на сельском кладбище. Два дружка, мои соучастники, наблюдали снизу. Я добрался до вершины, сунул руку в дупло, но нащупать ничего не смог, руки оказались коротки. Стал спускаться. Повис на одном суку и совсем было перебрался на другой, но на этот раз коротки оказались ноги. До земли было метров пятнадцать, и я заревел. Заревели и оба моих приятеля, но как верные друзья бросились за помощью. Прибежал бай Георгий, молотивший на гумне. Он взобрался на дерево и снял меня в тот момент, когда катастрофа казалась неизбежной и птицы могли бы избавиться от одного из своих врагов. Я весь обмяк. Георгий крепко схватил меня под мышки. Но я неожиданно быстро успокоился и сказал, все еще всхлипывая:

— Дядя Георгий, сунь руку в дупло. Там что-то мягкое.

— Ты о чем говоришь? — отдуваясь, спросил бай Георгий. В его возрасте нелегко было взобраться на такое дерево и спускаться с грузом в тридцать килограммов.

— Сунь руку в дупло, — всхлипнул я. — Мне кажется, там птенцы.

Георгий прорычал что-то невнятное и потащил меня вниз, прижав к боку, как мешок.

Он спустился на землю и вздохнул с облегчением, но я шагу ступить не мог. А он, все еще прижимая меня к себе, хорошенько отшлепал. Рука у него была тяжелая и широкая, как лопата. Верные мои друзья на этот раз не ревели. Они только шмыгали носами и ухмылялись.

Я обязан Георгию жизнью, но при встрече с ним тоже испытываю недоброе чувство. Сейчас волосы его поседели, да и я не так уж молод.

Мы зовем друг друга побратимами и, выпивая, подолгу смеемся над тем приключением. А недоброе чувство все же остается, как воспоминание о какой-то неудовлетворенности. Ведь я до сих пор уверен, что в дупле были птенцы. Проверить я не решился, но в таком чудесном и удобном дупле не могло не быть птенцов. Мне кажется, что эти воспоминания похожи на искры в сознании взрослого человека. Иногда это искры от разгоревшегося костра, а иногда от тлеющих углей. Но на что похожа моя жизнь, не могу сказать. То вспышка, то потухший очаг, покрытый пеплом. Как бы то ни было, эти искры мне дороги, потому что в них заря жизни. А теперь очень немногое оставляет в моем сознании яркое воспоминание.

Я дошел до конца хребта, а с ним остались позади дорога и лес. Стонов его я уже не слышал, они не тревожили меня больше. У подножия крутого склона, поросшего кизилом и орешником, блестела Велека.

На равнине среди зарослей ивы и ольхи река текла спокойно, а на уступах пенилась и сверкала. В оголенных местах по ее берегам зеленели молодые тополя. Так лесники стараются искупить свои грехи перед странджанским лесом. Я смотрел на хрупкие деревца, и звенящий рев машин снова резанул мой слух, но это длилось всего мгновение. Вода смягчала все шумы.

В омуте она была похожа на большое матовое зеркало. В нем отражалось задумчивое безоблачное небо, и продолговатые листья ивы ласкали его, как детские пальчики. Потом часть листьев исчезла, и я увидел свое лицо, гладкое и молодое, невероятно молодое. Такое молодое, что оно показалось мне чужим. Я отстранился — чужое лицо исчезло, и листья снова стали ласкать задумчивое небо.

Я пошел вдоль берега и сел под старой ивой. Немало рек приходилось мне видеть, но такой, как Велека, нет нигде. Вода была прозрачной и чистой, как воздух этого вернувшегося летнего дня. По течению медленно плыли первые пожелтевшие листья. Почти на поверхности резвились стайки рыбешек, и некоторые сверкали на солнце, словно серебряные пластинки. Рыбы тыкались головками в листья, но, поняв, что они несъедобны, все разом меняли направление. Мошки еще не спускались к воде — это обычно происходит под вечер, — и рыбешкам не к чему было выскакивать на поверхность. Но многие все же это делали.

Дальше, там, где глубоко, виднелись крупные рыбы. Они плавали поодиночке, держались поближе ко дну и поднимали облачка песка. Большие рыбы видели ивовые листья не впервые. Они знали, что листья красивы, но несъедобны. Есть можно мошек, но те появляются к вечеру, а сейчас впору порыться в песке. И в нем найдутся червячки, а то и еще что-нибудь.

Да, большие рыбы плавают поодиночке. Им легко.

Я пошел вдоль берега к мельнице.

■

Деревянная плотина была прорвана в нескольких местах, и оттуда вырывались белые ревущие водопады. Вот почему я не услышал яростного лая, когда в нескольких шагах от себя увидел громадную черную собаку. К счастью, она была привязана к проволоке.

— Караус! Цыц! — крикнул неизвестно откуда появившийся Белый.

— Хорошо же ты встречаешь гостей,— сказал я.

— Гостей? Да ведь их сезон прошел.

На Белом был светлый холщовый фартук, он козырьком приложил руку к глазам, чтобы рассмотреть меня,— я стоял против солнца.

— Мартин, ты это?

— Я.

— Теперь вижу, только не верится. Лето-то уж прошло.

— Для меня немножко осталось.

— Ты счастливчик,— сказал он, тряхнув мою руку, и повел к деревянной скамье у мельницы.— Сейчас на Велеке лучше, чем летом.

Мы сели на скамью, рядом улеглась собака. Гнев ее стихал, она лишь негромко, по-щенячьи скулила. Трудно было поверить, что так скулит этакая громадина.

— Страшная у тебя собака,— сказал я.— Да еще ошейник с железными шипами.

— Страшная для кого надо. На то и собака. А ошейник я надел, чтобы ее «фермеры» не загрызли.

— Какие такие «фермеры»?

— Да из госхоза. Ферма близко, так собаки оттуда часто с моей сцепляются. И из одного хозяйства вроде, а вот не ладят. Если нападут, когда она на цепи, пиши пропало.

Собака оглядела меня, большой лапой лениво ударила муху, севшую ей на нос, сморщилась, но не чихнула, а стала втягивать воздух.

— Принюхивается к тебе,— сказал Белый. — Видно, знакомство состоялось.

— Значит, сезон гостей прошел? — спросил я.

— Летом их много наезжает. Тут у меня бахча и сад, так что прокормиться легче. А вот с рыбной ловлей у них ничего не получается.— Он поднялся, большой, но юношески стройный. — Взгляну, не работает ли впустую жернов, а вы с Караусом пока присмотритесь друг к другу.

Собака зарычала, потом зевнула и улеглась. Опустила морду на сильные лапы и задремала, но и в дреме нет-нет да посматривала на меня.

Мельница очень стара. Правда, караджейки, ручные мельницы, служившие человечеству на заре его жизни, были еще примитивнее. А у этой два жернова, и один из них растирал кукурузные зерна в муку тонкого помола. Из нее получалась хорошая мамалыга и не очень хороший хлеб. Деревянное колесо, которое вращает этот жернов, огромно, и все ветхое строение сотрясается до самого мельничного конька. Воды в Велеке много, она могла бы приводить в движение турбину. Поэтому достаточно нескольких секунд, чтобы корзина с зерном опустела и от жерновов полетели снопы искр.

Все обветшало до предела. Черепица обросла зеленоватым мхом. Стены, срубленные из толстых дубовых досок, потемневшие от солнца и ветров, густо исписаны именами, выведенными углем. Захочешь расписаться, места не найдешь. Но у меня нет такого желания. Мне даже неудобно перед Белым, потому что я вижу собственное имя в трех местах. Одно написано на потолке крутого навеса, под которым сгружали мешки в дождливую погоду. Трех букв в нем недостает. Удивительно, как я туда вскарабкался. Но, очевидно, это нельзя считать героизмом, потому что весь потолок густо исписан.

При виде имени с недостающими буквами я не могу не вспомнить отца Белого, который был мельником в те времена. Белый и сейчас богатырь, но по сравнению со стариком он выглядит младенцем, да и лицо у него как у тех святых, что изображены на иконах в бедных сельских церквах.

У старого мельника была ухоженная, в яблоках, лошадь. Ездил он на ней обыкновенно в пьяном виде, но они так привыкли друг к другу, что уже ничто не могло выбить его из седла. На этой лошади он встречал работников, подвозивших зерно для помола, и расставлял повозки по обширной поляне, словно предводитель какой-то варварской орды. Крестьяне побаивались его и сами следили за очередью к жерновам — чтоб не вращались впустую. Старик потягивал ракию из плоской фляги и гонял свою лошадь по поляне, а когда было много повозок, то и по берегу реки. Он хотел измучить лошадь, а она его, но никому из них не удавалось взять верх. В сердцах старик перелетал на лошади через повозки и груды мешков, ругал крестьян и хлестал их кожаной плеткой. Потом протягивал им плоскую флягу и кричал:

— Пей, мелкота! А то забудете, что на этом проклятом свете есть бай Тодор!

Крестьяне пили с некоторым трепетом. С тем же трепетом они посматривали на мельника и его лошадь. По правде говоря, они сами приносили ему ракию, а он только переливал ее в плоскую флягу, которую не вытаскивал из-за пояса даже во сне.

Старик ни перед кем не ломал шапку. Владельцы мельницы, два крупных торговца древесиной и древесным углем, раза два в год наезжали проверять счета. Он встречал их на лошади и, лишь поздоровавшись, соскакивал на землю.

■

В тот день только я вскарабкался на навес и начал выводить буквы, как со стороны Синего омута, что пониже мельницы, раздался треск. Я вздрогнул от неожиданности и кубарем скатился вниз. Три буквы так и остались недописанными.

Над Велекой, то усиливаясь, то затихая, несся какой-то гул.

Через канаву шириной около трех метров надо было переходить по узким мосткам. Под ними бурлила вода, правда несколько успокоившаяся, после того как ей пришлось повертеть огромное деревянное колесо.

Надо было перейти на тот берег, но на мостках стоял бай Стоян Чолака, маленький, худой, оборванный человечек. Он пас сельских коз. Чолака рассматривал что-то интересное, недоступное мне и не двигался с места.

Я прыгнул в воду. Течением меня чуть не сбило с ног, но мне удалось выбраться на противоположный берег.

К канаве шел отец Белого, следом за ним три сельских парня. Он что-то нес в фартуке, таком же, как теперь у Белого, и плакал, причитая:

— Зарезали... Без ножа зарезали...

— Что случилось, сват? — с тревогой спросил бай Стоян, не двигаясь с места.

— Убили мать рыб! Негодяи бессовестные... Лучше бы меня убили. — Парни за его спиной ухмылялись. Они с самого утра пили со старым мельником.

А его лицо было мокрым, измятым и жалким. Он вытащил из фартука огромного усача, и я не очень удивился, убежденный, что в Велеке водятся даже киты. Но бай Стоян, видимо, не знал об этом.

— Ого! Ого... — прокаркал он, поднял руки и, забыв, что стоит не на земле, хлопнул себя по коленкам.

Мостки будто этого только и ждали, они качнулись, а Чолака, потеряв равновесие, плюхнулся в воду. Несмотря на свой маленький рост, он был очень горластый. Все вздрогнули, когда он завопил:

— На помощь!

Как большинство людей, живущих у воды, он боялся ее и не умел плавать. Купался он только раз в году на Ильин день, да и то там, где мелко, по колено.

Чолака то скрывался под водой, то вновь показывался, и село рисковало остаться без пастуха. Один из парней все же вытащил Чолаку, оставил его на песке, чтобы он пришел в себя, а процессия во главе с отцом Белого, продолжавшим причитать, направилась к мельнице.

После попойки, учиненной под ольхой, неожиданно вспыхнула ссора. Мельник бросился к лошади, вскочил на нее и принялся хлестать плетью парней. Он хлестал их, кричал, что они обманули его и он позволил им бросить взрывчатку в Синий омут. Парни перешли вброд реку и убежали, а мельник слез с лошади и, показывая крестьянам рыбу, продолжал рыдать.

Позже, сам начав ловить рыбу, я убедился, что китов в Велеке нет. Разочарования я не испытал, довольствуясь тем, что было. Но всегда, когда мне приходилось сравнивать какую-нибудь рыбу с той, что нес тогда отец Белого, я думал, что это действительно была мать рыб. Самая крупная рыба казалась мальком в сравнении с ней, и я понял, почему мельник так изругал сельских парней: ведь они провели его и убили усача в Синем омуте.

■

— Имена рассматриваешь? — спросил Белый, застав меня за чтением надписей на стенах.

У этого пятидесятилетнего человека лучезарная юношеская улыбка. Может быть, это оттого, что глаза у него очень синие, по-детски ясные, зубы крепкие и белые и усы совсем светлые. А все-таки сходство его с отцом было весьма отдаленным. В этом красивом лице не было ничего эпикурейского.

— Сколько ж можно нам с Караусом любоваться друг на друга,— сказал я.

— И я, когда делать нечего, тоже читаю надписи,— сказал он.— И твою чаще других. Тебя с детства тянуло к наукам.

— Почему ты так думаешь? — удивился я.

— Да о твоем имени говорю. Посмотришь на стены — и сразу видно, что из тебя должен был выйти ученый человек.

Какой же я ученый человек? У меня есть диплом о высшем образовании, но он мне совсем не нужен. Партийным работником можно быть и без диплома. Но крестьяне меряют на свой аршин: окончил на класс больше — величают тебя ученым человеком.

Я осмотрелся. Мы были одни. Слава богу! Послушал бы кто-нибудь из моих друзей! А я-то еще хотел притащить Евгения в село. Хорошо, что он отказался.

Белый улыбался, а я спрашивал себя, уж не надо мной ли он посмеивается. Кто их знает, этих крестьян, не поймешь, когда они к тебе хорошо относятся, когда насмехаются. И мне это тоже трудно понять, хотя иногда я выдаю себя за знатока деревни.

— Каждый поставил тут себе памятник,— сказал Белый.

— Почему памятник? Люди ведь живы.

— Не все. Вот, скажем, Манолчо. Его убили в Испании. И могилы его на кладбище нет, да и памятник в селе не поставили. Так что единственный памятник ему вот на этой стене — хорошо, что догадался хоть расписаться.

Подмастерье Манолчо — это тот, кто вытащил когда-то Чолаку из воды. Он погиб в Испании, а наши сельские власти вот уже пятнадцать

лет все собираются поставить ему памятник на площади, все руки не доходят. Завалены делами. Ведь мертвые скромны и терпеливы, могут подождать. Они не то что некоторые живые, сумевшие поставить себе памятники при жизни. И разглядывая надпись на этой грубой, почерневшей стене, я подумал, что было бы очень хорошо, если бы живые оставались такими же скромными, как мертвые.

Белый заговорил со мной о мертвых перед этим своеобразным пантеоном, и я вспомнил, что здесь, у мельницы, мне впервые пришлось встретиться со смертью. С чужой смертью.

На противоположном берегу после весеннего разлива реки остались две заводи. Вода была в них темной, неподвижной и нагревалась скорее, чем в реке. Мы, пятеро мальчуганов, пришли утром купаться в той заводи, что была поменьше, с берега за нами наблюдали еще трое ребятишек — подпаски, жившие на околице села. С одним из них, Иванчо, мы были сверстниками и соседями.

Двое старших из нашей компании плавали хорошо и, ныряя, доставали дно заводи. Черная и неподвижная вода пугала меня, но, не желая отстать, я пересилил страх. Вода на глубине полуметра оказалась ледяной и так резанула меня, что в испуге я выскочил на берег. Ничто уже не могло заставить меня войти в эту воду, у меня было такое чувство, словно я спасся из холодных объятий какого-то чудовища.

Искупавшись, мы прошли по деревянной плотине и расположились у мельницы пообедать. Все были в поле, на мельницу никто не заглядывал, и отец Белого храпел на лавке. На этот раз от него не пахло ракией. Лошадь спасалась от мух под старым орешником возле мельницы. Пообедав, мы закинули за плечи свои торбочки и решили внизу, на межах, нарвать слив.

И тут с противоположного берега донесся крик:

— Э-э-э-й! Иван тонет!

Мы остолбенели, а старший из нас принялся трясти мельника.

— Дедушка Тодор, вставай! Иван тонет...

Отец Белого проснулся и как бы нехотя сказал:

— Что же теперь делать...

— Тонет, Иван тонет! — крикнули ему прямо в ухо.

— Что ты говоришь! — мельник стремительно вскочил.

Лицо его было сизое и опухшее, да и двигался он как-то неуверенно. Лучше всего он выглядел обычно, когда был навеселе, я даже думаю, что в трезвом состоянии он и на лошади боялся ездить. Он спустился к плотине, и мы, осмелев, пошли за ним.

На противоположном берегу плакал пастушонок. Он и привел нас к большой заводи, где мы не решались купаться.

— Здесь,— сказал он.

Вода темнела тихая, спокойная. И отец Белого вдруг засомневался.

— А может, он где-нибудь спрятался? — спросил он.

— Нет,— всхлипывая, ответил подпасок. Второго не было видно, наверно, убежал.— Вот его одежда. Он пошел купаться и вдруг исчез под водой, я его ждал, ждал, а он не показывается. Тогда я закричал...

На берегу лежала одежда Ивана — рубашонка и короткие штанишки, порванные сзади.

— Кто его знает, когда он утонул, а ты только теперь позвал,— задумчиво сказал мельник.— И вода совсем не помутнела.

Он взялся за пояс и опустил дрожащую руку — на этот раз фляги там не оказалось.

Пастушонок заревел во все горло, хотя никто и не думал обвинять его.

Мельник прикрикнул на него, взял прут и стал шарить в воде, но безрезультатно. Заводь была большая, прут — короток.

— Так и есть,— сказал мельник. Он бросил прут и отряхнул руки, как будто к ним пристал песок.— Кто пойдет к его отцу?

— Мы все...— сказал старший из нас.

О сливах уже никто не вспоминал.

Пастушонок тут же убежал к своим овцам. У заводи остались только овцы Ивана, его рубашонка и штаны.

Мы снова прошли по плотине. Отец Белого уселся на скамью и склонил голову. Мне показалось, что он внимательно прислушивается к яростному реву воды. Но всмотревшись получше, я понял, что он спит. Мы направились к родителям Ивана.

Шли молча и быстро, но не по дороге, а стороной, кустами. Когда дошли, старший остановил нас.

— Марчо,— обратился он ко мне, самому маленькому.— Ты пойдешь и скажешь, а мы тебя здесь подождем.

Ноги у меня подкосились. Пока я смотрел на темную заводь, только она пугала меня. Вода как вода, но все-таки страшновато. А вот Иван — кто знает, может, он там, а может, где-нибудь спрятался, чтобы попугать пастушонка.

— Не хочу,— сказал я и расплакался.

Как по команде, ребята окружили старшего, а я остался в стороне. Они враждебно смотрели на меня, между нами вдруг выросла невидимая стена.

— Как это не хочешь? — строго спросил старший.— Сейчас же иди.

— Мне страшно, не хочу,— плакал я, ища сочувствия у ребят. Но они отводили глаза.

— Раз не хочешь, будешь ходить на реку один. И на реку, и везде,— сказал старший. Он знал, чем сломить мое упорство.— Чего ты боишься? — помолчав, уже мягче спросил он.— Только пойди и скажи. Да, может, их и нет... И сейчас же возвращайся, мы тебя подождем.

Я пошел, надеясь, что родителей Ивана может не оказаться.

Но они жали в поле.

Я подошел шагов на двадцать и остановился. Больше я не мог двинуться с места.

Бай Кузман, отец Ивана, словно почувствовав, что за его спиной кто-то стоит, обернулся ко мне.

— Ты что, Марчо? Иди сюда,— крикнул он.

— Иван утонул,— сказал я.

— Что? — спросил он и бросил серп.

— Иван утонул у мельницы,— крикнул я громче. Крикнул? Завопил, задыхаясь от горя и злобы, но голос мой был еле слышен.

Мать Ивана закричала, а я бросился бежать.

Ребята ждали меня в условленном месте. Ждали стоя и ни о чем не спросили. С поля неслись вопли матери Ивана. Мы молча побрели в село. Никто даже не прикрикнул на меня за то, что я плетусь позади всех и всхлипываю.

Прошло много лет, а мне кажется, что лучше всего этот день помнит мать Ивана и я. С тех пор она избегает меня. Даже и теперь, в редкие мои наезды в село, она при виде меня опускает на глаза черный платок и обходит меня стороной. Для нее я был вестником смерти. И я думаю, что мы с ней увидели смерть в один и тот же миг у того несжатого поля. А с дядей Кузманом мы выпиваем за помин души Ивана. То ли мужчины быстрее забывают, то ли они великодушнее?

■

— Вот какие дела, Мартин,— говорит Белый.— И когда я умру, сыновья поставят мне памятник. Хотя, если говорить всерьез, мертвому ничего не нужно. А памятник Манолчо нужен живым.

Позади нас гремел конек мельницы. На дне крутого лотка яростно бурлила вода, и ветхая мельница стонала.

— Знаешь, я плохо сплю по ночам,— говорит Белый, вслушиваясь в звук конька.— Тишина мне мешает. Когда колесо не работает, становится тихо, тихо... Только от плотины слышится ровный гул, будто ветер дует. Меня только конек убаюкивает, но на ночь воду приходится останавливать, чтобы жернова не искрошились. Лежу в постели, прислушиваюсь к шуму воды, а глаза широко открыты, все вижу.

— Привычка,— говорю я. Меня охватывает желание объяснить ему, что это условный рефлекс, но я воздерживаюсь. Белый — и условные рефлексы!

— Мой отец, господь его прости, по ночам ходил, как днем. А ему было восемьдесят. Мы, мельники,— он, а сейчас и я — все у реки. Я слышал, что у тех, кто ест много рыбы, в мозгу накапливается больше фосфора, и глаза у них становятся зорче. Вот они и видят, как кошки. Правда это?

— Может, и правда,— говорю я, не зная, что сказать.

— Должно быть, правда. Отец у меня всегда по ночам ездил и, если бы его не сбросила лошадь, может, и до сих пор был бы жив.

Однажды ночью отец Белого, пьяный, отправился из села на мельницу. Но лошадь вернулась в село одна и заржала перед домом, где жили его сыновья. Они тут же бросились с фонарями и нашли отца в овраге, к которому вела крутая тропинка. По ней и днем было нелегко пробираться на лошади, а мельник имел привычку ездить по ночам. Неизвестно, умер ли он от удара или захлебнулся. Он лежал ничком в луже на дне пересохшего оврага. Доктора под рукой не было, да в сущности и неважно, отчего именно он умер. Старый мельник достаточно пожил на свете. И жил так, как хотел.

— Мартин, ты, наверно, голоден, а я тут болтаю все, что придет в голову,— сказал Белый.

— Нет, не голоден, просто мне хочется спать. Твоя мельница усыпляет.

— Тогда ложись отдохни. А к вечеру я приготовлю похлебку, пальчики оближешь.

— Мне тут не заснуть, стучит очень,— сказал я.

— Смотри-ка! А я в тишине не могу. Постелю в летней резиденции.

«Летняя резиденция» представляла собой навес, покрытый дубовой листвой и застланный папоротником. Перед навесом в выдолбленном корневище огромного светлого граба устроен очаг. Широкая каменная плита предохраняет дерево от огня. На сбитой из досок полке выстроились кастрюли, тарелки, ложки и вилки. Летом к Белому наезжает много гостей.

Резиденция находится на восточном склоне. Солнце светит прямо в глаза. Может быть, это и мешает мне заснуть. Или шум реки, хотя кваканья лягушек не слышно. Впервые, когда я ночевал в шалаше у реки, все время квакали лягушки. В селе такого хора не приходилось слышать, и от испуга я заплакал. В шалаше было темно, но снаружи что-то гудело, шумело и временами доносилось неистовое кваканье тысяч лягушек, мне же казалось, что они вот-вот залезут в шалаш. Я метался и просил маму вернуться домой. Потом кваканье неожиданно прекратилось, и утром, когда я проснулся, было совсем тихо, сияло солнце. Позже мне много раз приходилось спать у реки, но лягушачье кваканье меня больше не тревожило.

А вот сейчас квакнула лягушка, и я вздрогнул. Но она умолкла.

И вот я уже сижу у заводи на другом берегу, а в ее черной воде плавает Манолчо. Он улыбается, грозит пальцем.

— Мартин, почему ты допустил, чтобы утонул Иванчо? — спрашивает он.

— Я не виноват. Вода виновата! — кричу я.

— Вода! Ха-ха-ха... Ведь мать Ивана пьет воду, а вот тебя не хочет видеть.

Но это уже не Манолчо, а Евгений.

— Как тебе не стыдно! Оставить человека без памятника! — говорит он и плывет, широко взмахивая руками.

— Почему именно мне?

— Конечно тебе. Ведь ты думаешь только о себе. И сюда пришел, чтобы успокоить нечистую совесть. Лучше я затащу тебя к Ивану, чтобы ты не создал вокруг себя культа.

Он хватает меня за ногу и дергает.

— Мартин, проснись.

Это голос Белого. Он дергает меня за ногу.

Я проснулся и сел. Солнце уже скрылось за хребтом. Над рекой разливалось оранжевое сияние.

Белый с улыбкой смотрел на меня. Хорошо хоть, что в мои сны он не может сунуть свой любопытный деревенский нос.

— Вы, софийские жители, и во сне вроде бы с культом боретесь,— сказал Белый.

Ага, значит, он и в сон может вмешаться. Почему мне кажется, что этот человек подтрунивает надо мной? Или я стал мнительным, или он и вправду посмеивается? Но кошмары, которые я вижу во сне,— из-за него. А моя нервная система в порядке, ничего с ней не случилось. И то, что врачи не смогли этого установить,— не их вина. Так уж полагается, сейчас в моде профилактика.

■

Похлебка Белого действительно очень вкусна. Мы сидим у очага и хлебаем деревянными ложками из деревянной миски. И ложки, и миска сделаны из клена. Белый утверждает, что любая другая посуда портит вкус похлебки. Это представляется мне сомнительным, потому что сварил он ее все-таки в цивилизованной посуде — в синей эмалированной кастрюле.

— Кушанье приобретает вкус, когда его снимешь с огня и оно начинает остывать,— отметает он мои сомнения.— А в чем оно приготавливается — неважно.

Смотри-ка, он не только мои сны, но даже мысли отгадывает. Ну и ладно! Я гость, и в конце концов процедурные вопросы в данном случае не самое важное, потому что мы с Белым не какой-то там комитет Организации Объединенных Наций. Важен результат, а он неплох.

Рядом с нами улегся Караус. Он дружелюбно посматривает на меня, хотя мы знакомы всего несколько часов. Я бросаю ему рыбные кости, и он, не поднимаясь, грызет их. Только челюсти похрустывают да глаза загораются, как угольки, когда пламя костра вдруг освещает их.

— Твой зверь не очень уж страшный,— говорю я.

— Умной собаке стоит один раз увидеть, что ты ешь вместе с хозяином, и ты уже ее друг,— говорит Белый.— Раз ты сидишь с ним за одним столом, значит, ты хороший человек.

Это мудрое изречение кажется мне спорным. Не могу понять, то ли он говорит о людях, то ли о собаках. Но, очевидно, Караус следует такому правилу.

Я ем похлебку и думаю при этом, что Евгений, наверно, в рот бы ее не взял. И солонина была не совсем свежей на вид, и соль Белый достал из не очень-то чистого мешочка. «Я люблю душу крестьянина, но не люблю деревенского быта»,— часто повторяет Евгений. Что уж тут

говорить о деревянной миске и об этих ложках, царапающих рот. А Евгений может ссориться с официантом из-за малейшего пятнышка на стакане.

— Тебе, как видно, не очень хочется разговаривать,— говорит Белый.

— Да.

— Значит, похлебка нравится. Хорошая еда заставляет человека молчать.

Это уже совсем другое дело. Это сама истина.

Если бы здесь был Евгений, он бы тебе показал.

Евгений утверждает, что никак не может понять меня, и хотя я ношу костюмы, сшитые Илларионом (Илларион — истинный виртуоз в своем ремесле, нет, в искусстве!), и итальянские ботинки, но кажется, что хожу в лаптях и поддевке. Ему не ясно, как может интеллигентный человек отказаться на лето от побережья и бежать куда-то в село («Его даже нет на карте!»), да еще отнимать у других время разговорами о какой-то жалкой реке вроде Велеки. («Признаю только Амазонку, в крайнем случае Ропотамо. Но что это за Велека, в ней даже лилий нет!») А что касается рыбы, то она вкуснее всего в ресторанах первого класса.

Евгений — математик, его отец и дед — тоже математики, профессора. Он любит точные категории, а мои поездки в деревню кажутся ему кокетством. Не хочет он понять, что иначе я не могу.

— Тогда и живи в деревне! Зачем торчишь в этой противной Софии? — торжествует он. Но жить в селе мне трудно.

— Есть рыбы,— говорю я,— которые мечут икру в верхнем течении рек. Мальки уплывают в море за тысячи километров от реки, живут там лет пять-шесть, а потом возвращаются в ту же реку, где вывелись, метать икру. И с угрями бывает то же самое. Инстинкт или чудо, называй как хочешь.

— Знаю, но ведь то рыбы, а то люди. Они не мечут икру. Впрочем, обожаю мелкие хитрости,— иронизирует Евгений.

— Конечно, люди не рыбы, но и они бывают разные,— говорю я, давая ему возможность торжествовать и считать меня мелким хитрецом. Может быть, он прав, как знать? Трудно быть беспристрастным в оценке своего собственного поведения.

Белый убрал со стола, моет посуду. Карауса устроился около меня, я пытаюсь его приласкать и натыкаюсь на один из шипов ошейника.

— Почему ты не снимешь эту железку? — спрашиваю я Белого.— Ведь она ему мешает.

— Мешает, но и защищает.

Евгений говорит, что у меня есть какая-то защитная сельская броня, которая вместо того, чтобы защищать, мешает мне. А я думаю, что жукам-носорогам («Здорово устроился! Жук-носорог!» — смеется Евгений) одинаково нужны и крылья, при помощи которых они летают, и твердые чешуйки, предохраняющие крылья.

— Иногда одно не может быть без другого,— говорит Белый.

Он ставит посуду на деревянную полку. Я отвожу руку от шипов, и жесткая шерсть Карауса потрескивает у меня между пальцев. Костер горит, а вокруг все погасло. Вверху сквозь ветви дуба видны звезды, очень много звезд. Велека шумит так, будто она у меня под ногами. Тишина ночи принадлежит только ей.

Белый садится рядом, точит пилкой зубья остроги, которой мы будем ловить рыбу. Сталь звенит, а Белый склоняется к костру, чтобы лучше видеть то, что делает.

— Мартин,— говорит он, углубившись в свою работу,— ты приехал из большого села, из Софии. Расскажи что-нибудь о политике.

Хорошенькое дело! Да я потому и убежал не только из Софии, но и из села.

— Гм... Политика... Что тебе сказать, я не занимаюсь политикой.

Белый не верит, а я хочу хотя бы здесь отдохнуть от нее. Хочу пожить спокойно — как будто меня нет на свете.

— Я тебе не верю,— говорит Белый.— Время такое, что не могу верить. Сейчас и малые дети занимаются политикой. Но если так, то, должно быть, ты стал равнодушным.

Я, конечно, не стал и не могу стать равнодушным. Но мне бы очень хотелось, чтобы дети не занимались политикой. Чтобы, повзрослев, они не испытывали раскаяния и не чувствовали себя старыми грешниками. Политика — это для взрослых, они не так подвержены угрызениям совести.

— Равнодушным я не стал, просто отдохнуть надо,— говорю я.— Ведь ты читаешь газеты?

— Читаю иногда, да только газеты редко ко мне доходят. Вот и с тобой Штерев не прислал.

— Не прислал.

По правде говоря, Павел просил меня взять их, но я отказался. Думал, что лучше будет, если я не принесу газет. Теперь понимаю, что ошибся. Белый читал бы и не приставал ко мне с расспросами.

— Вот видишь! А сколько раз я ему говорил: «Товарищ директор, ты не думаешь о политпросвещении своих кадров. Я нахожусь в ведении центра, вроде бы руководитель предприятия»,— хитро посмеивается Белый, словно обращаясь прямо к нему.— «Давай, говорит, бай Петко, присоединяйся к кружку овчаров. Ферма-то ведь у тебя под носом». Провел меня, дьявол. Им дал приемник, а когда они его слушают, одному богу известно. Уходят засветло, возвращаются к ночи. Когда я там бываю — слушаю последние известия, но ходить часто не могу. И мне он обещал дать приемник, да только потом, а сейчас, видишь ли, фондов нет. Жди у моря...

— Раз обещал — значит, даст. Будь здоров.

— Будь здоров.

Мы пьем прямо из бутылок — он ментовку, я — коньяк. Так лучше. Стаканов нет, да к тому же ночью, хоть и у костра, можно пролить.

— Радио — это одно,— говорит Белый, вытирая усы.— А газеты — другое. Да только по радио не говорят всего, и в газетах не все пишут. Не то что послушаешь живого человека.

— В наших газетах пишут правду. И по радио говорят правду,— возражаю я.

— Так-то оно так, да не совсем,— возражает Белый.— Потому что правда, если ее до конца сказать, да в свою пользу не обернуть, сладкой не бывает.

Какое-то время я борюсь с искушением прочитать ему трактат об относительном характере понятия истины и о его классовом содержании. Но вовремя одергиваю себя. Прежде всего я понимаю, что с ним нужно согласиться. Кроме того, думаю, что он, даже поняв, никогда не воспользуется моим трактатом. Для него собственное понимание — это все. Так насекомые, когда ищут дорогу, верят только своим щупальцам. Человек, конечно, не насекомое, но все же. Дело в том, что и я, наверно, больше верю этим щупальцам, чем собственному трактату. Иногда мне кажется, что истина содержится только в первичной реакции, а все остальное служит проверке ее точности. Но в таком случае что происходит с другими этапами человеческого познания? Ими занимаются академики. Белому они ни к чему.

Предчувствую, что мне будет трудно избежать разговора с Белым,

потому что он заворочался на своем месте. Только Караус понимает меня хорошо. Он тихонько лежит рядом и жмурится при свете костра.

— Ты думаешь, если мы здесь, в лесу, так нам ничего и не нужно. Так, что ли? — спрашивает Белый.

Как было бы хорошо, если бы он хоть немного больше походил на своего отца. Но бутылка с ментовкой почти не тронута, а я уже чувствую, что моя становится все легче.

— Нет, не думаю,— отвечаю я.

— Не думаешь, а молчишь. Даже во сне не забываешь о культе, а со мной не говоришь.

— Хватит о культе! — вскипаю я. Мне становится жарко, то ли от его настойчивости, то ли от костра. Или от коньяка? — Культа больше нет.

Я спохватываюсь, что обидел этого доброго человека. Но он улыбается, и мне становится еще более неловко.

— Если бы это было так просто...

— А что тут сложного?

Белый в последний раз проводит пилкой по зубьям. Трогает их пальцами.

— Огонь! — говорит он.— Никакой рыбе не уйти.— Он кладет острогу и долго смотрит мне в глаза.— Хорошо, давай оставим этот культ, вижу, что тебе опротивело. А хочешь, я расскажу тебе сказку?

— Почему же нет? — небрежно пожимаю я плечами и отвожу глаза.

Лучше пусть говорит он, чем я. А сказок я слышал немало. Почему не послушать еще одну?

— У отца было трое сыновей,— начинает Белый.— Двое были разумные и смирные, а третий, старший, только озорничал. Надоело отцу ругать его да поучать. Собрал он однажды сыновей и сказал: «Что с вас спрашивать? Вы еще не понимаете, что творите, но придет время, поймете. А чтобы не забывали, сделаем вот так: после каждой вашей глупости я буду вбивать в дверь по гвоздю. А как начнете творить добрые дела, буду вытаскивать гвозди».

Белый отпивает из бутылки и спрашивает:

— Ты меня слушаешь?

Я смотрю на звезды и слушаю шум Велеки в низине.

— Да.

— Двое братьев были поумнее и призадумались, а старшему все нипочем. За тех отец вбивает по гвоздю, а за него — по пять. Возмутились братья и сказали отцу: «Давай его выгоним. Зачем нам страдать из-за него?» Выгнали, и отец почти перестал вбивать гвозди. Потом принялся их вытаскивать, и настало время, когда он вытащил их все. Но остались отметины.

— Отметины? — спрашиваю я. Мне вдруг показалось, что звезды стали похожи на отметины от гвоздей, которые только что вытащили из черного неба.

— Да. Когда забьешь гвоздь, а потом его вытащишь, остается отметина.

— Знаю,— говорю я.

— Если в живое дерево вбивать, то оно зарастет и даже следа не останется,— говорит Белый.— Конечно, не за день-два, а все-таки зарастет.

— Да, не за день-два,— повторяю я.— Нужно больше времени.

— Зависит от дерева,— говорит Белый.— Если оно молодо, то быстрей выздоровеет. Как человек.

Звезды снова становятся звездами, и небо не черное, а сияет все тем же светом.

Это верно. И люди, как деревья, выздоравливают. Но иногда, посмотрев в зеркало, видят шрам на лице и вновь вспоминают о старой ране. Шрамы — это шрамы, и никуда от них не денешься. Главное, что и люди, и деревья, видя их, становятся умнее.

— Нравится тебе сказка? — спрашивает Белый.

Я знал, что он меня об этом спросит, и искоса поглядываю на него. Он улыбается.

— Нравится. Вот мы и можем болтать о других вещах.

— Именно,— подтверждает он.

Костер догорает. Ночь подошла уже совсем близко. Река шумит в низине, темнота поглощает шум, и тишина становится гуще. Сквозь ветви теперь видно еще больше звезд. Их белое сияние расползлось по небу светлыми кругами.

■

На мельницу пришел внук Белого. Он второклассник, худенький мальчишка с веснушчатым носом и синими, как у деда, глазами. Выглядит он немного изнеженным, и когда я сравниваю его с сыном Кары, мне кажется, что он еще меньше будет похож на старого мельника. Как-то мягче становится, вырождается эта порода.

Мальчик то и дело вертится около меня, но не забывает и о Карауse, о его проделках. Это меня несколько раздражает, но я успокаиваю себя тем, что так будет только в первые дни знакомства. Для детей слишком большая роскошь долго жить одними и теми же впечатлениями.

Белый следит за каждым шагом внука, глаза его светлеют, он дрожит над ним, как говорится, пылинки с него сдувает. И это кажется мне странным, потому что мои представления о сельских ребятах совсем иные. Или они устарели? И то новое, что я замечаю в Белом, уж не является ли причиной вырождения породы мельников?

— Очень ты его балуешь,— говорю я.

— Так ведь он мой внук и носит мое имя,— улыбается Белый.

— Когда-то и твои сыновья были детьми, но ты их так не баловал,— упорствую я.

Он задумывается.

— Это вроде бы верно, но то совсем другое. Отцовская любовь не слабее, а суровее. А это мой внучок, да и маленький он еще. Если хочешь знать, Мартин, каждому хочется баловать своих детей. Дело только в том, есть ли к этому возможность.

— Люди становятся мягкотелыми, несамостоятельными, когда их балуют,— говорю я.

— Слабость человеческая,— улыбается Белый.

Но только ли это «слабость человеческая»?

— Когда-то, еще в гимназии,— говорю я,— летом работал я с друзьями в лесу на прокладке дороги. Работа была тяжелая, ты знаешь, чего стóит такая дорога: земля мягкая, но вся перевита корнями — руки изломаешь. И вот пришел к нам один мужик из соседнего села, из тех, что живут в селе, но не крестьянствуют — земли нет, и кормятся они, работая в карьерах, на прокладке дорог, на вырубке леса. Привел он с собой сына, мальчонка был постарше твоего внука года на два, на три. Взял для него кирку, лопату и заставлял работать наравне с собой.

— Нелегко ему было,— говорит Белый.

— Конечно, нелегко, ребенок ведь.

— И ребенку тоже, только я об отце говорю. Нелегкая у него была доля, если он своего ребенка мучил. У кого есть дети, тот это понимает.

Но у нас у всех не было детей. А тому рабочему, худому, опустившемуся человеку с огромными грубыми руками, как будто из одних

костей и голубоватых вен, я боялся смотреть в глаза. Были они большие и бесцветные, почти лишенные выражения, и мне всегда казалось, что он ничего не видит. Может быть, из-за этого мы и сторонились его.

Он платил нам тем же, в его манере держаться было что-то презрительное. Но самой главной причиной, по-моему, было другое — он заискивал перед надзирателем лесничества, наблюдавшим за прокладкой дороги.

Мы всячески ловчили, чтобы обмануть надзирателя, доказать, что сделано больше, чем на самом деле. Но и тот не уступал и, разозлившись, не моргнув глазом снижал нам плату. А мужик с мальчиком все время вертелся у него под ногами, работал как вол, оказывал мелкие услуги. Вспоминаю, что кто-то из нас сказал:

— Да гоните вы его... Ведь он предает рабочий класс!

Все это было очень серьезно. Только парнишка ничего не понимал. Вечером, после работы, мы собирались возле огромного костра и затевали игры. Ему было интересно и очень хотелось присоединиться к нам, но отец бил его и не пускал.

Помнится, один из нас сказал:

— Как тебе не стыдно! Заставляешь ребенка столько работать, да еще и бьешь его. Отец тоже...

Тот посмотрел, как всегда, безо всякого выражения и ничего не ответил.

А надзиратель услышал.

— Что вы лезете не в свое дело? — спросил он.

— Потому что мы не такие бессовестные, как ты,— ответили мы.

— Это вы-то совестливые?

— Ну если и нет, то по крайней мере не выслуживаемся.

Надзиратель невесело улыбнулся.

— Знаете, что я вам скажу? Вы воображаете, что очень умны, а простых вещей не понимаете. Разве этому человеку сладко живется, что он работает, как раб, и мучает своего ребенка? Да у него их еще трое. Вы вот как кукушки — ни гнезда не вьете, ни птенцов не высиживаете. Заработаете, не заработаете — отцы вам пришлют. А он шесть ртов кормит.

Мы поругались с надзирателем, но когда он ушел, приумолкли. Больше не было речи об измене того человека рабочему классу, и вскоре получилось так, что каждый нашел повод перекинуться с ним словом. С тех пор он не заставлял ребенка работать через силу и перестал бить его. Свободное время паренек проводил с нами, и мы приняли его в свои игры у костра.

Или такие вещи не забываются, или я вспомнил о них, потому что Белый повторил слова надзирателя. Но при этом воспоминании я всегда чувствую себя виноватым перед тем человеком с грубыми руками, на чьем горбу мы упражнялись в революционных фразах. Мне хочется прогнать чувство вины, а с другой стороны, я думаю: хорошо, что я его испытываю и не забываю той истории. Это гораздо человечнее самодовольства.

■

— Ну, пошли? — спрашивает Белый.

— Пошли.

Он привязывает Карауса к проволоке. Собака скулит, просится с нами, но мы не можем взять ее с собой. Фонарь «летучая мышь» вспыхивает, и ночь спускается ниже, к реке.

Я несу фонарь, да еще Белый повесил мне на шею мешок для рыбы. Он будет бить рыбу острогой.

Мы спускаемся по склону и идем берегом. Шум внезапно стихает, но остается где-то внутри меня. Ночь вдруг преображается. Она напол-

нена шепотом — вода уже не шумит, а шепчет. Плотина остается далеко позади, и оттуда не доносится ни звука.

Узкая тропинка вьется среди высокого бурьяна и папоротника. Белый идет впереди, и тень его, огромная и бесформенная, мечется, как пьяная.

— Мартин,— говорит он, не оборачиваясь.— Ты знаешь, какие рыбы водятся в нашей старушке Велеке?

— Представляю,— отвечаю я.

И я вспоминаю о матери рыб, которую старый мельник, плача, тащил в фартуке. Нет, таких рыб уже нет.

— Ничего ты не знаешь,— говорит Белый.— Такой реки нет нигде. Знаешь, что со мной случилось летом?

— Не знаю.

— Сейчас узнаешь...

Меня не очень интересует, что он скажет. Все уже как будто сказано и увидено, а я слушаю и смотрю, потому что все еще живу, потому что этот крупный светловолосый человек идет впереди меня и Велека рядом — и иначе быть не может.

— Выхожу это я как-то вечером один, с фонарем и острогой,— невозмутимо продолжает Белый.— Острога была другая, тут один цыган мне ее сделал из куска старой стали. И такая сталь была — пела... Иду это я, и вдруг передо мной у Винарского брода, там, где течение становится тише, что-то мелькает. Всматриваюсь и думаю, что на этом месте поваленного дерева быть не может, вода унесет. Пригляделся — рыба! Усач прямо с ткацкий станок, а усы длиннее, чем у кота. Наверно, мать рыб. (Ага, да это фамильная черта! Все им матери рыб мерещатся.) И что же! Острога-то мала. Но, думаю, ведь другого способа нет. Поднял острогу, нацелился в шею, где у рыбы самое слабое место. И как трахну! — Фонарь подскочил, и в стороне от тропинки качнулась огромная и страшная тень Белого.— Как бы не так, только в воду свалился. Рыба как кинется — только ее и видели! На бешеном коне не догонишь! В руках у меня ничего нет, поднимаюсь, глазам не верю — острога торчит в воде, как телеграфный столб. Ты что-нибудь подобное видел?

Такого я не видел, и моя уверенность, что в Велеке нет китов, поколебалась. От волнения Белый остановился на тропинке, и мы оказались друг против друга. Тень его легла на склон, как тень сказочного великана. С другой стороны темнеет река, широкая, полноводная, и хребты по ее берегам поднимаются высоко-высоко. Я почувствовал себя в этой непроглядной темноте таким маленьким, что меня даже охватил страх.

— Приходилось тебе такое видеть? — переспрашивает Белый.

Тень на тропинке неожиданно вздрагивает и становится короче, хребты спускаются ниже, река снова начинает шуметь.

— Нет,— улыбаюсь я.

— И не увидишь. Не каждому выпадает такое счастье,— говорит Белый.

Он продирается сквозь бурьян, и мы входим в воду. Она теплая, дождя давно не было.

Идем друг за другом, Белый торопится. Свет пронизывает прозрачную воду. Песчаное дно испещрено маленькими, едва заметными волнами. Как будто и воды нет, а только песок, исчерченный ветрами пустыни. Быстрина перед нами шумит, и, хотя ветра нет, берега, крутые, обросшие орешником, тоже шумят.

Белый идет осторожно. Он поднял острогу и представляется мне Нептуном с трезубцем. Сельский Нептун, без бороды и без короны. В нем есть что-то античное. Даже в одежде. Он снял брюки и остался в длинной рубахе, спускающейся ниже колен. Она напоминает хитон, и я смеюсь над этим видением древности.

Вода шумит, но Белый услышал и оборачивается, с укоризной смотрит на меня. Потом наклоняется, поднимает острогу и бьет. Куда бьет, не вижу. Действительно, глаза у него, как у кошки. Он вытаскивает острогу — на ее зубьях бьется усач. Белый подает его мне, я беру рыбу за голову и кладу в мешок.

— Смотри не упусти.— тихо говорит Белый.

Вот тебе раз, он считает меня совсем неопытным. Да ведь я же с детства ловлю рыбу в этой реке.

Стремнина кончается, и мы отправляемся к следующей. Рыба спит только в местах с быстрым течением или под камнями. От света фонаря образовывается круг, в котором мечутся наши тени. Вода впереди совсем черная, и мне становится страшно при мысли, что я могу очень глубоко провалиться. В детстве я боялся луж — самых обыкновенных,— ведь в них отражается небо, и они кажутся бездонными. Среди ветвей ивы встрепенулась разбуженная птица.

— Я тебе говорю, чтобы ты смотрел, куда кладешь рыбу, потому что в прошлом году тут один вроде тебя вместо мешка бросил ее в воду,— говорит Белый.— Профессор один из Софии, в гостях у меня был. Профессор по политэкономии.

Вода снова начинает шуметь, и Белый умолкает. Он опять поднимает острогу, а я беру следующую рыбу. Усачи, по крайней мере, чистые, а когда случается поймать какого-нибудь сома, прятавшегося в тине под камнями, тут уж ничего хорошего не жди.

— Он вроде тебя, привез коньяк и тоже все прикладывался,— продолжает Белый.

— А сколько я сегодня вечером выпил? — спрашиваю я, немного нервничая. Он еще мораль мне читать будет!

— Да около пол-литра, но разве я что говорю! Так вот он просит меня: «Петко, очень хочется пойти с тобой на рыбалку, мне ни разу не приходилось. А природу я люблю, да к тому ж еще и любопытен». И опять за бутылку. Хороша природа, думаю.

Белый достает следующую рыбу, но пока я вожусь с ней, она шлепается в воду. Белый бежит вниз по течению и приносит ее обратно.

— Только и силы у нее осталось, что с остроги сорваться,— говорит он и возвращается к своему рассказу.— Я и сказал профессору: «Сегодня же вечером возьму тебя с собой». Пошли, только что-то ненадежным он мне кажется. Пошатывается.

Он еще раз бросает острогу, но на этот раз безуспешно.

— Ушла, проклятая,— бормочет Белый, но, видно, не очень расстраивается. Он улыбается, и мне кажется, ему приятно, что рыба ускользнула.

— Хватит,— говорю я.— Мешок мне уже все плечи оттянул.

— Дойдем только до той быстрины и обратно.

Он шагает по-охотничьи легко, и вода едва слышно шепчет у его ног.

— И вот идем мы, а я ему мешок на шею повесил, как тебе. И фонарь он несет. Хорошо, он не хочет до рыбы дотрагиваться. «В реке, говорит, водятся лягушки разные, змеи и всякая гадость. Противно». Деликатный. А по-моему, чище усача ничего нет. Ну да ладно, не хочешь, как хочешь. Ты мой гость — потерплю. Одну возьмет, другую упустит — рыбы ведь скользкие, хорошо только, что много их. Ну, я за ним присматриваю, как бы не упал да фонарь не погасил.

Подходим к быстрине, и Белый останавливается.

— Еще разок, и возвращаемся.

Тут мелко, вода течет стремительно и яростно бьет по ногам.

— Так вот, подцепил я здорового усача, с полкило, а то и больше. «Ого,— говорит он,— дай-ка посмотреть». «Товарищ профессор,— говорю,— извини, но я его прямо в мешок положу, а то ты упустишь. Рыба,

как пружина, выворачивается — ударил я ее не сильно».— «Кто, я упущу? Да мне в руки попадет, не вырвется».— «Если упустишь,— говорю,— я тебя в омут столкну. Вон в тот, напротив».— «Нет-нет, не бойся». Делать нечего, отдал ему. Он ее взял и нагнулся к воде. «Помою ее немножко». А чего ее мыть, рыбу только что из воды вытащили. Смотрю — моет, забавляется. Профессор, а как ребенок.

Белый приглядывается, потом бьет острогой и достает чудесного усача.

— Хватит, пошли.

Вылезаем из воды. Он поднимает полы своего хитона и выжимает. Возвращаемся мы по тропинке.

— А пока он забавлялся, рыба выскользнула и поминай как звали. «Петко,— кричит,— ушла».— «Конечно, что ж она, ждать, что ли, будет».— «Что же теперь делать?».— «А в омут, говорю, как условились». Долго мы смеялись, хоть и зло меня разбирало из-за той рыбы, да и он чуть не плакал. Идет за мной и вздыхает. Я и говорю ему: «Товарищ профессор, на уху-то наберется, как думаешь?» — «Конечно, конечно». А потом как разохается: «Петко, в мешке только пять штук!» — «Как же это так?» — «Иди посмотри, если не веришь». Чего там проверять! Мешок сверху загнулся, так он вместо того, чтобы в мешок класть, опускает рыбу между мешком и рубашкой. Думаю, был бы ты маленький, я б тебе показал. Ну, да ладно. Он языком щелкает, удивляется, как это так получилось, я же смотрю на него и про коньяк думаю. Не такое уж темное дело. Напивался он быстро, а так очень хороший человек был, простой. Профессор, а спал на подстилке из папоротника. Письмо от него недавно получил. На следующий год опять в гости собирается.

Наши тени мечутся по бурьяну и папоротнику. Ноги у меня подкашиваются, но мельница уже близко. Белый идет, размахивая трезубцем, а я смотрю на его хитон, и мне становится смешно. Профессор, конечно, опять приедет. Но в ожидании лета будет рассказывать друзьям о ночной рыбалке и о здоровенных усачах, которых он ловил в Велеке. Что за река, эта Велека!

Караус звонко лает. Белый отвязывает его, и собака усаживается возле нас у разгорающегося костра.

Я вытягиваюсь на подстилке из папоротника, а Белый чистит и солит рыбу. Хотя мы уже ужинали, он хочет приготовить мне какое-то особое кушанье и бормочет:

— Пальчики оближешь... Что вы, городские, понимаете.

Белый — артист. Увлекаясь, он забывает, что я вырос на берегах Велеки и нет у него таких кушаний, которых я бы не пробовал. Для него я чужой, гость, и он хочет меня поразить. Этот человек очень любит людей.

А я? Люблю ли я их? Его — конечно. И всех вроде него, с которыми встречаюсь в недолгие дни отпуска, проведенные в деревне и на берегах Велеки. Но настоящая ли это любовь? Мне кажется, что к ней примешивается и сожаление — они так мало знают мир, по крайней мере меньше меня. Это истинные дети, наивные и мудрые, терпеливые и ропщущие. Зачем их жалеть? Они по-своему счастливы.

Гляжу на звезды и думаю о своих друзьях. Евгению лучше других знаком мой образ жизни, поэтому его могут спросить: «Что случилось? Куда исчез Мартин?» «Мартин? — с тонкой усмешкой ответит Евгений.— Он в деревне, в гуще жизни. Он как те угри, что мечут икру только в Саргассовом море». Евгений иронизирует. Он очень хорошо знает, что я приехал сюда, чтобы на день-другой спрятаться от жизни.

— Мартин,— спрашивает Белый,— а этому американскому президенту, говорят, и пятидесяти не было? Молодой еще...

Нет уж, никаких президентов! Я сюда приехал отдыхать.

Я глубоко дышу, и Белый озадаченно поворачивается ко мне.

— Смотри-ка, заснул. Все вы такие, софийские. И ты как тот профессор. Ладно, рыба останется на завтра.

Он хлопочет вокруг костра, приносит сучья, что-то говорит собаке. Я чувствую, как все вокруг постепенно затихает, будто спускаюсь в колодец. Последнее, что я ощущаю, это руки Белого. Он еще чем-то укрывает меня и осторожно подтыкает с боков, чтоб не дуло.

■

Мальчик играет с Караусом. Он размахивает перед его носом веревочкой, и собака прыгает — хочет схватить ее. А когда собака становится на задние лапы, она на целую голову выше мальчика. На изрубленном топором чурбане Белый мастерит клин из обугленного кизила. Мельничный конек поскрипывает, и Белый решил укрепить балку, на которой тот держится. Он то и дело поглядывает на внука и улыбается. Смеются, правда, только его глаза и завивающиеся на концах усы.

Я сижу прямо на берегу, свесив ноги в теплую воду. Немного ниже вода спускается в мельничный желоб, как стеклянная лента, бесшумная и прозрачная. В ней отражается мельничная крыша. А в желобе, словно живая, подпрыгивает ветка склонившейся ивы. Ветка то касается воды, то отскакивает от нее. По ленте скользят пожелтевшие листья и исчезают в бурлящем водовороте под большим колесом.

Белый переводит взгляд с внука на меня и опять склоняется над клином. Рассматривает его, кладет топор и садится.

— Какова работа? Что скажешь?

— Здорово.

— Эта мельница сделана без единого гвоздя. Все сборное. Балки соединяются деревянными клиньями. Сколько лет уже стоит и, как видишь, не качается.

— Не качается,— говорю. Но мне кажется, что Белый думает о чем-то другом.

Ветка подпрыгивает, по ленте скользят листья, а вода с ревом падает с плотины, поднимая тучи брызг. И в каждой туче — радуга. Маленькая, изогнутая, ослепительно красивая. Ожившая вода, пронизанная солнцем.

— Вот смотрю я на внука, Мартин,— начинает Белый,— и думаю: не привезти ли тебе жену?

Жену? А я недоумевал, к чему все эти разговоры — клинья, балки, сборка. Конечно, Белый не сейчас это выдумал. Меня смешит его хитрость.

— Так ведь сначала нужно жениться.

— Вот я и хотел сказать. Пора уже, даже поздновато.

— Ну если только это...

— Что только это? — говорит Белый, тотчас избавляясь от своей неуверенности.— Уж не думаешь ли ты, что еще молод? Человек должен иметь семью, детей...

— Разные люди бывают.

— Не выдумывай! Дерево и то дает поросль. Как и все живое на этом свете. А что же тогда остается человеку?

— Деревья вырубают и делают из них мельницы,— говорю я.

— Вырубают, но прежде чем их вырубят, они дают потомство,— упорствует Белый.— Так и с людьми. Каждый должен кого-нибудь оставить после себя. До каких пор ты будешь бродить бирюком? Вот был Мартин Томов, и вдруг нет его. Души живой после него не осталось.

Незадолго до отъезда я встретил Невену, с которой мы давно не виделись. У нее огромные черные глаза, насмешливые и хитрые. Мне кажется, что такими они стали после ее замужества.

— Подумать только, какой счастливый случай! — воскликнула она, встряхивая мою руку обеими руками.— Вот ты-то и был мне нужен. Муж вчера уехал, а дочь я отправила к бабушке в Драгалевци.

Я осторожно высвободил руку. Было не так уж жарко, но и лицо и шея у меня вдруг запылали.

— И я уезжаю в отпуск,— сказал я, пряча руку в карман.

— Да? Значит, я зря обрадовалась. И не пожалеешь бедную соломенную вдову?

Она смотрела на меня в упор, и мне пришлось отвести глаза.

— Не дурачься,— сказал я.

— Разве я дурачусь? Ты странный человек. Пойдем выпьем по чашке кофе.

— Предпочел бы посидеть где-нибудь в сквере,— сказал я, боясь, что не ограничусь одним кофе.

— Ты все такой же недотепа,— сказала Невена и потянула меня за руку.— Не можешь усвоить простой истины, что желание дам — закон.

Она потащила меня в ближайшее кафе, и я безвольно последовал за ней. Я весь пылал—может быть, потому, что она не выпускала моей руки и вела меня, как ребенка, а я покорно шел за ней. Мне всегда казалось, что мужчины сентиментальнее женщин. Может быть, я и ошибаюсь, но Невена прекрасно знает это мое свойство и просто пользуется моей слабостью. Как любая женщина в ее положении, она эгоистка до мозга костей.

В ее манере говорить появилась какая-то развязность, не знаю, притворная или настоящая. Она свойственна многим замужним женщинам. Мне кажется, это новая черта в психике женщины, ничего общего не имеющая с распущенностью. Кроме всего прочего, Невена — врач. Как знать, может быть, покуда я исследую причины ее поведения (а надо признаться, что мои мысли часто возвращаются к ней), Невена сменила уже нескольких любовников. Но эта мысль мне неприятна, и я гоню ее прочь.

— Значит, я напрасно обрадовалась, ты бежишь,— сказала она, сделав глоток.

— Не бегу, это случайность.

Я тоже отхлебнул коньяк. Алкоголь как будто помог мне обрести равновесие, и я уже не прятал глаз.

— И, верно, едешь в деревню? — спросила она.

— Да.

— Так я и думала. Ты невозможный человек.— Она сделала еще глоток, задумчиво глядя мимо меня.— Да, ты невозможный человек, и я ни о чем не жалею.

— А о чем ты должна жалеть?

Она посмотрела на меня долгим взглядом и с раздражением сказала:

— Человек может жалеть о разных глупостях. Даже если убежден, что это глупости.

— Так бывает с неуравновешенными людьми.

— А ты только и знаешь, что дважды два — четыре.

— Это гораздо правильнее, чем дважды два — пять или еще что-нибудь в этом роде.

Мне показалось, что она посмотрела на меня с презрением.

— Именно эта бесчувственная логика всегда отталкивала меня от тебя.

— Может, мне уйти? — спросил я. Порция коньяку была двойной, и в голове у меня шумело. В таком состоянии я мог даже вызывающе улыбаться.

Невена подняла рюмку и некоторое время сосредоточенно разглядывала ее, поворачивая в тонких пальцах. Поставив ее, она неожиданно рассмеялась.

— Нет, посиди. Мне кое-что вспомнилось, и я теперь думаю, что ты не всегда был такой... скажем, недотепа. Помнишь, когда мы сидели у какой-то там вашей реки...

— Она не какая-то там, а Велека,— сказал я, понимая, что это последнее, о чем я могу говорить так беззаботно.

— Ладно, пусть Велека. Мы сидели на берегу, а ты хорохорился, выкидывал разные фокусы. Потом сунул нос в мои волосы и сказал: «Твои волосы пахнут сандаловым деревом». Помнишь?

Она спрашивала, глядя прямо мне в глаза, и я смутился, как мальчишка. Мне стало грустно.

— Наверно, пахли,— сказал я и попытался засмеяться, но ничего не вышло.

— Глупости! Я просто лопалась от смеха, но боялась тебя обидеть. Вода была очень жесткой, и я, когда мыла волосы, прибавляла в нее уксус. А потом протирала немного одеколоном, чтобы уничтожить его запах. Вот тебе и сандаловое дерево! Но ты всегда был фантазером, всякое выдумывал. И сейчас, видно, остался таким же.

Это было похоже на месть. За что? Я испытывал огромное желание дать ей пощечину, но в кафе было много народа.

— Пожалуй,— сказал я.— А помнишь, как я ободрал руку?

— Руку? Не помню.

Как истинная женщина, Невена лучше всего помнит комплименты, хотя тогда она была всего-навсего девочкой, только что закончившей прогимназию. Она училась в Софии и на лето приезжала в село, где ее отец долгое время служил ветеринаром.

Мы с ней почти ровесники. Но ее мать, бог знает почему, отпускала ее на реку только со мной. И я водил изнеженную городскую девочку с косичками по диким, заросшим повитухой и ежевикой тропинкам вдоль Велеки. Девочка боялась змей, ящериц, зарослей в оврагах по обеим берегам реки, темных омутов, куда через плотный саван зарослей ивы и ольхи не доходили солнечные лучи. Девочка доверялась солнцу, горячему песку, прозрачной воде у берега и моей руке, за которую всегда держалась во время наших прогулок. И следам моих ног, в которые она обычно ступала.

В тот день я пережил особое волнение. Мне даже казалось, что марево, дрожавшее над раскаленным песком, испускает какой-то чудесный аромат. Девочка была в купальнике, который я видел впервые,— из блестящей материи, черной в желтую полоску, с двумя тонкими шелковыми шнурами, завязанными на узкой, еще детской спине. Может быть, сочетание цветов этого костюма делало из девочки маленькую женщину. Ее грудь, едва развившаяся, приподнимала блестящую материю, и я с трудом отводил от нее глаза.

Я учил Невену плавать там, где было мелко, у берега, подложив руку под ее твердый и гладкий живот. Она размахивала руками и ногами, визжала и все норовила схватить меня за шею. Я поддерживал ее и тайком разглядывал это изящное тело в кипящей пене, вдыхал с наслаждением воздух, и мне казалось, что в первый раз я так хорошо чувствую аромат солнца и воды, голубого неба и темно-зеленого леса. Все было цвет и запах, даже и это стройное тело, которое дрожало в моих руках, опьяненное слиянием с водой.

Потом мы долго ловили бабочку — очень долго, даже после того, как бабочка улетела. Девочка снова визжала, и все вокруг звенело от ее смеха, а я думал, что воздух звенит от прикосновения к ее стройной фигурке.

Запыхавшись, мы уселись на песок, и она сказала:

— Улетела...

— Она давно улетела.

— Как давно? Ты просто не видел ее. Вот только что она спряталась в листве вон той ольхи.

— Наверно, я ее не видел.

Мы легли на песок, и наши головы почти соприкасались. Мы лежали на спине. А над нами было только небо.

— Сокол,— сказала девочка, указывая рукой.

В небе прямо над рекой парил ястреб.

— Это ястреб,— поправил я.

— Разве это не одно и то же?

— Нет.

— Не люблю ястребов. Они хищные.

— И соколы хищные.

— Я люблю чаек. А почему здесь нет чаек?

— Здесь нет моря.

— Но ведь вода есть.

— Это совсем другое дело.

— Чайки — нежные птицы,— сказала девочка.

— Они тоже хищные. Ловят рыбу.

— Это совсем другое дело. Я люблю чаек и цветы.

— Когда пойдем отсюда, я наберу тебе целый букет. А могу и сейчас. Хочешь?

Я поднялся, но она остановила меня, прикоснувшись к моему плечу.

— Потом. А то завянут.

Я снова растянулся на песке. Потрогал плечо, которого коснулись ее пальцы. Перевернулся, и девочка, словно почувствовав мое движение, сделала то же. Теперь наши глаза были совсем близко, я видел каждую искорку в ее темных зрачках, а от ее волос, расплетенных и упавших на хрупкие плечи, струился аромат, от которого у меня закружилась голова. Немного успокоившись, я сказал:

— Твои волосы пахнут сандаловым деревом.

Она отстранилась. Ее волосы мелькнули передо мной, я коснулся их губами. И покраснел, хотя она вряд ли заметила мое прикосновение.

— Сандаловым деревом? А что это такое?

Я тоже не знал, что это за дерево. Прочел о нем в каком-то романе, где рассказывалось о приключениях в Индии. У дерева был чудесный аромат, но какой, я не знал. И, вероятно, именно оттого, что не знал, волосы девушки могли пахнуть только сандаловым деревом.

— Сандаловое дерево? Оно растет в Индии.

Она тоже покраснела и потрогала свои волосы. Мы помолчали. Чтоб его черт побрал, это сандаловое дерево, откуда только я его взял! Я не мог добавить ничего больше, да и девочка молчала, задумчиво роясь в песке.

Тогда я спросил:

— А хочешь, я тебе поймаю рыбу?

Она недоверчиво поглядела:

— Живую рыбу? Как же ты ее поймаешь?

— Руками.

— Давай!

Я вскочил, она поднялась следом. И снова все зазвенело.

Я знал одно место среди камней, где всегда пряталась рыба.

Бросился я в воду, а девочка шла за мной по берегу. Нырнул, но рыбы не оказалось, да и воздуха мне не хватило. Задыхаясь, я выскочил на поверхность. Девочка смотрела на меня с некоторым испугом.

— Утонешь. Выходи на берег, не нужна мне твоя рыба.

— Не утону.

Я снова нырнул. И тут же нашел это место. Мелкая рыбешка бросилась во все стороны, но большая рыба, которую я схватил, не могла ускользнуть. Она все дальше и дальше забиралась вглубь. Запас воздуха кончался. Наконец мне удалось просунуть пальцы под ее плавники. Я уже задыхался, но ясно представлял себе, как будет поражена девочка.

И тут моя рука застряла среди камней. Если отпустить рыбу, мне нетрудно будет выбраться. Но я не мог упустить ее. Я рванулся изо всех сил, почувствовав острую боль, и все-таки выбрался на поверхность, едва дыша, но с рыбой в руке.

Девочка готова была уже расплакаться, но, увидев меня, радостно всплеснула руками.

— Ой, какая большая! Как это ты ее поймал?

Я выбрался на берег.

— Так вот и поймал.

Усач бился у меня в руках. Девочка боязливо дотронулась до него пальцами и посмотрела на жабры.

— Но ведь она задыхается, умирает!

— Она заснет,— сказал я.

— Нет! — крикнула девочка.— Пусти ее!

И я пустил. Рыба сначала не двигалась, потом чуть-чуть пошевелилась. И вдруг завертелась и ушла в глубину.

— Ушла! — закричала девочка.— Что у тебя с рукой?

Из правой руки у меня текла кровь. Кожа была содрана, но боли я не чувствовал. Болеть будет позже.

— Ничего. Ободрал.

— Давай я перевяжу. У меня есть платок.

— Не нужно. Пройдет.

— Нет, давай перевяжу.

Мы вышли на песок. Она перевязала мне руку, а я совсем не чувствовал боли. Только нежное прикосновение ее пальцев.

Вот этой-то истории с рукой Невена и не помнила. А я не мог забыть.

— Ты многого не помнишь,— сказал я.

— Человек — это машина, которая забывает, Мартин. По-моему, это уже кто-то сказал, — хитро улыбнулась Невена.

— Верно,— сказал я.

Сказал, но знал, что неверно. Я думаю, что забываются только незначительные вещи, не затрагивающие ум и сердце. Но она уверена в другом. Зачем выглядеть перед ней смешным?

— Значит, уезжаешь. А я надеялась, что теперь по крайней мере ты позовешь меня к себе. Я совсем забыла, как выглядят квартиры холостяков,— произнесла она, смеясь и вновь глядя на меня в упор.

— Сожалею...

— Ну, я могу и подождать. Когда-нибудь смилостивишься.

— Жди.

— В сущности, жизнь — это бесконечное ожидание.

— Неужели? Ты стала философом.

— К старости люди становятся философами. Ты когда-нибудь видел в учебнике портрет молодого философа? Все они бородатые старики.

Потом мы долго стояли возле кафе. Я держал руки в карманах и беспокойно оглядывался. Прощалась она очень долго.

— До свидания и не поминай лихом,— сказала Невена.— Теперь я понимаю, какой дальновидной была мама, пуская меня на реку только с тобой. Она тебя очень любит.

Поминать лихом? Я вспоминаю ее, только когда бываю один, и никто из моих друзей не знает о ее существовании. А может быть, ее вообще нет? Но когда-то она существовала, и при этой мысли сердце у меня всегда начинает побаливать. Смешно в моем возрасте жить подобными фантазиями. И я часто думаю, что это черта слабых и сентиментальных людей.

— Иди помоги мне,— сказал Белый.

Я поднимаюсь, и мы вместе идем к мельнице. Я смотрю на неподвижную воду в крутом желобе и на крышу мельницы. Странно, в этой воде не замечаешь ни малейшего движения. А ведь на самых ровных местах, даже там, где река разливается так широко, и то есть какое-то движение.

Белый, в сущности, прав. Был человек, и вдруг его не стало, и никого после него не осталось, чтобы радоваться жизни и страдать от ее невзгод. У этого крестьянина сильная логика, как логика зерна и семечка, из которых рождается новая жизнь. Нет, видно, я на самом деле фантазер, как говорит Невена.

■

Мельница остановилась: молоть нечего. Завтра подвезут кукурузу и овес.

Мы сидим на берегу реки чуть пониже Синего омута. Белый плетет рыбацкую корзину из ивовых прутьев. Руки его проворно снуют, во рту он держит нож. Слава богу, так спокойнее и мне, и американскому президенту. Нож мешает Белому говорить, но так его удобнее держать, а то пришлось бы все время искать в бурьяне и прутьях, сложенных возле нас.

Я смотрю на воду. Ивовых листьев в ней стало больше, а может быть, мне только так кажется. Они почти неподвижны, потому что в этом месте течение очень медленное. Ивы низко склонились, они тоскуют по уходящему лету и листве, которую роняют, словно слезы. Мелкие рыбешки опускаются в глубину и, разочарованные, плывут навстречу новому обману. Большие поодиночке плавают по дну.

Прозрачная вода Велеки вобрала в себя весь свет и спокойствие дня. Наверху шумит плотина, но этот непрерывный шум гармонично сливается с окружающим покоем.

— Дедушка...

Это кричит внук Белого, сидящий с удочкой в нескольких шагах от нас. Удочка совсем простая — ореховый прут и нитка. Только крючок покупной.

— Чего тебе? — спрашивает Белый, вынимая нож изо рта.

— Не хочет клевать,— жалуется мальчик.

— Хочет, только удочка не нравится.

— Ее ж не видно. Я червяка хорошо насадил.

— Ну и что ж, что не видно. Они хитрые, рыбы. Тут под мельницей корма им сколько угодно. Вот они и не клюют на твоего червяка.

— А что ж мне делать?

— Терпи, авось найдется какая-нибудь глупышка. Терпением всего добьешься.

Мальчик больше ни о чем не спрашивает. Он решил терпеть, но надежды на успех у него мало. Под мельницей действительно много корма для рыбы.

Я смотрю на воду и думаю, что Евгений на этот раз не угадал. Перед отъездом мы виделись, и я позвал его с собой.

— Мне хочется отдохнуть, да и ты неплохо проведешь время,— уговаривал я его.

— Ты добросовестно заблуждаешься,— сказал он.— Везде один и тот же сумасшедший дом. Только сумасшедшие разные.

Он скептик, настроен критически и почитает это качеством современного цивилизованного человека, а я думаю, что это деревенская черта. Хотя у Евгения нет ничего общего с деревней.

— Ты не прав,— ответил я ему.— Но убедить я тебя не могу. Ты не был там, куда я еду.

— Если едешь на Марс, согласен. Потому что не знаю, что там, на той планете. А наша мне известна. И она, и ее обитатели.

Несмотря на это, я думаю, что Евгений не мизантроп. Он просто чересчур категоричен в своих выводах. У людей, по его словам, есть все, что нужно для совершенства, и у них нет основания ждать снисхождения. Он утверждает, что, когда вокруг Земли летают космические корабли, хныкать и жаловаться — значит распускать нюни.

— Я уверен, стоит тебе приехать, и тут же начнутся жалобы, просьбы посоветовать, помочь — начнут требовать все, что придет в голову, и ничего не дадут тебе,— говорит он.— Люди — эгоисты и делаются все нетерпимее.

— Ты их не знаешь и потому относишься к ним высокомерно,— возражаю я.

— Я их не знаю? Если бы было так, мне жилось бы гораздо спокойнее.

— То, что тебе не живется спокойно, это неплохо.

— Но мне от этого не легче. Надо, чтобы люди понимали, какую высокую миссию мы должны выполнить.

«Мы» — это не только математики. И миссия — это не только освоение космоса. В нее входит все, чем мы живем. Но его патриотизм и целеустремленность кажутся мне странноватыми — люди это люди, со всеми их недостатками, и сверхчеловеков никому не удается из них сделать.

■

— Дедушка-а! — опять кричит мальчик. Кричит испуганно, и мы с Белым вскакиваем. Он зачем-то хватает нож.

— Что там?

— Змея,— хнычет ребенок.

Мы бросаемся к нему.

— Где?

Никакой змеи не видно. Но мальчик показывает на воду. Берег тут низкий, и возле него совсем мелко.

В первую минуту мы видим кленя, большого кленя, не меньше, чем граммов на триста-четыреста. Рыба легла на один бок, пытается подняться и, словно потеряв чувство равновесия, беспомощно переворачивается.

— Ах, гадина! — шепчет Белый.

Водяная змея схватила кленя за нижнюю губу. Мальчик отбросил удочку и держится за штанину деда. По щекам его текут слезы, хотя ему не из-за чего плакать — плакать нужно рыбе.

Очевидно, борьба только началась. Змея подстерегла кленя и впилась ему в губу. Иначе она не могла его укусить, потому что клень гораздо больше ее.

— Она не сможет его проглотить,— говорю я, хотя знаю, как трудно утверждать что-либо подобное, когда речь идет об этих тварях.

Удивительнее всего то, что и день, и река остаются спокойными. Но это спокойствие обманчиво, и звенящие, резкие стоны старого леса снова начинают резать мне слух. Спокойствия нет, оно пошло ко всем чертям.

— Ну да, не сможет! Проглотит и надуется, как шар,— уверяет Белый.

Он не сводит глаз с воды.

Рыба ударила хвостом и подпрыгнула. Голова ее мелькнула над водой — змея метнулась черной лентой, но не выпустила жертву. Мелкие рыбешки бросились врассыпную, только листья безучастно плавают на поверхности. Рыба снова подпрыгнула и заметалась, как безумная. Но этот ужас, впившийся ей в губу, подстерегал ее повсюду. Пытался бороться только клень, а змея просто впивалась в него.

Клень устал и затих. Змея зашевелилась и стала свивать свое тонкое, как карандаш, тело. Поплыла к берегу. Но жертва поняла ее коварное намерение и снова рванулась вглубь. Ничего нет могущественнее инстинкта.

Я подвернул брюки. Не впервые приходилось мне наблюдать такие драмы. Удивительно, как подобной мелочи удается схватить такую большую рыбу и выйти победителем. Кто хоть раз видел поединок между водяной змеей и рыбой, тот никогда не усомнится в его исходе.

— Подожди-ка,— остановил меня Белый.— Времени хватит, деваться им некуда. Дорога одна — к берегу.

Клень пытался плыть, но вертелся на месте. Змея мешала ему. Кто знает, что было сильнее: необычная тяжесть или ужас. Он ослабел. Ему все труднее было держаться прямо. Змея немного подождала и, высунув голову, снова устремилась к берегу. Она выбралась на мелкое место, и голова рыбы оказалась над водой. Рыба снова заметалась, но от изнеможения уже не могла вернуться в глубину. Они на миг затихли, потом змея опять стала поднимать голову. Рыба уже едва шевелилась.

— Кончено,— сказал Белый и полез в воду.

Змея, почувствовав присутствие человека, начала извиваться, но кленя не выпустила. Белый схватил его.

— Змея уйдет. Держи! — крикнул я.

— Не убежит. Ей надо выпустить рыбу, а она не хочет.

Белый поднял рыбу, она едва шевелилась. Гибкое тело змеи извивалось и металось, потом затихло.

Выйдя на берег, Белый оторвал змею от рыбы и ударил о гладкие речные камни; медленно, с нескрываемым ожесточением размозжил ей голову. В эту минуту он сам на себя не был похож.

Рыба, задыхаясь, раздувала жабры. Белый пустил ее в воду у берега. Она дрогнула, попыталась выпрямиться и снова легла на бок. Еще раз попыталась, шевельнула хвостом. Белый слегка поддерживал ее и подталкивал. Наконец рыба задвигалась, сделала несколько небольших кругов, собираясь с силами, и ушла в глубину, резко меняя направление, словно под действием каких-то уколов.

— Ушла,— сказал Белый. Лицо его сияло.

Нет, никаких стонов не слышно, я ошибся. Это было очень давно, когда я шел по старому лесу и слушал крики деревьев, плачущих от боли. Ее причиняли им пилы РБ-8, как сказал тот важный паренек. Сказал равнодушно и даже с гордостью. Ничего, здесь все спокойно и тихо.

— А какая-нибудь змея ее опять схватит,— успокоившись и снова прилаживая удочку, сказал мальчик.

— Как знать, если не поумнела, так схватит,— сказал Белый.

Но мальчик был недоволен. Нет, тут что-то не то.

— И как это клень позволяет? — спросил он.— Такой большой, и сильный, а змея маленькая.

— От страха. Испугался, и пиши пропало. От страха все бывает. Если не испугаться, ничего не будет. Спрячется куда-нибудь под камень, и змея отстанет.

— А почему рыба не съест змею? — спрашивает мальчик.

— Съест? — Белый с улыбкой смотрит на внука.— Рыбы не едят змей. Они не питаются мясом.

— А на приманку с мясом почему идет?

— Это другое дело. Занимайся-ка своей удочкой...

Белый сдался. Попадая в затруднительное положение, он всегда говорит: «Это другое дело». Я высказываю мысль, что рыба — благородное животное и потому не ест мяса. Мальчик со мной не соглашается. Но тут я вспоминаю, что сам ем мясо, хотя считаю себя благородным животным. К черту, все равно кто-то кого-то ест. Будь то мясо или нет, не так важно.

Я внимательно слушаю их разговор, но не со всем соглашаюсь. Кленю нужно совсем немного, чтобы ни одна змея не посмела на него напасть. Удивительно даже, как эта-то осмелилась! Он и теперь бы вышел с честью из поединка, если бы не страх и не умение использовать свою силу, гораздо большую, чем у змеи. Силу рыбы великолепно чувствуешь, когда ловишь ее руками. И еще, если бы клень знал, как бороться с коварством. Может быть, один из нас не прав. Может быть, все эти чудеса происходят из-за коварства. Да, именно так.

Змеи чрезвычайно коварны. Они неподвижно стоят в воде и подстерегают. Похожи они на невинно торчащий сухой серовато-черный сучок, и рыба, как человек, в силу своей любознательности, хочет посмотреть, что это такое и можно ли это есть. Но если даже она и не проявляет любопытства, у нее нет причин бежать от него. Сучок — часть речного мира. Но обман быстро раскрывается. Змея делает молниеносное движение, и рыба неожиданно повисает в воде. Она уже не чувствует воздушного пузыря, который ее поддерживает, плавников, помогающих ее движению. Охваченная страхом, она болтается, словно повешенная.

Белый усаживается на прежнее место и снова берется за корзину.

— Все это хитрость, Мартин,— говорит он.— Хитростью поймает змея рыбу и тут же глядит, как бы поскорей вытащить ее на сушу. Не только люди знают, что рыба лишь в воде рыба, а как вытащишь ее, она всего лишь жратва.

Ну и наплевать на то, что она становится жратвой! Рыбы для того и созданы, люди — вот что важнее. Но почему я начинаю думать, что в чем-то Евгений окажется прав?

Отдых как будто протекает не совсем так, как я его себе представлял. Хотя день хорош и спокоен, и от реки веет тем извечным и мудрым спокойствием, что влекло меня сюда.

■

Настроение у меня какое-то необычное. Я кажусь себе бесконечно добрым и миролюбивым, как бы вне мира и людей, чуждым всяческих страстей и волнений. Причина, видимо, в прозрачной воде, где застыли причудливые тени и очертания. Над ней летают птицы и, спасаясь от солнца, бегут облака. Выше река широкая и тихая. Как смутно блестящая стальная лента, она постепенно сужается и исчезает среди опустившихся на колени задумчивых ив. Рыбы выпрыгивают из воды, и это единственный признак жизни в эти полуденные часы. Лицо Белого кажется мне похожим на лик святого с иконы. Может быть, оттого, что он медленно бредет вдоль берега, собирает в горсть крошки хлеба из фартука и бросает их в воду. Рыбы кидаются к ним, и на воде вздуваются пузыри.

— Всех не накормишь,— говорю я.

Это занятие представляется мне никчемной благотворительностью.

— Да я и не собираюсь,— отвечает он. На лице его появляется тихая, добрая улыбка.

— Зачем тогда это делать?

Белый продолжает разбрасывать крошки широким жестом сеятеля. В этой картине есть что-то библейское.

— Каждому свое,— говорит он.— Рыбы плавают, птицы летают, змеи ползают. А ты живешь в Софии и каждый год приезжаешь в село. Другие делают еще что-нибудь. Каждому свое.

Он медленно идет против течения, и заросли скрывают его от меня.

Кто-то хлопает меня по плечу, от неожиданности я вздрагиваю.

— Воде только и дела, что течь. Чему ты удивляешься? — говорит пришедший, улыбаясь.

Он усаживается около меня, и я прежде всего вижу резиновые царвули, надетые на босые ноги, огрубевшие и ободранные ежевикой. Брюки на нем выгоревшие, из хлопчатобумажной материи — короткие и широченные. Это Стоян Кладарчанин. Несколько лет назад его постигло несчастье: от укуса змеи умерла жена и вскоре на границе в перестрелке с перебежчиками погиб сын. Больше детей у Стояна не было.

— Добрый день, бай Стоян,— приветствую его я.— Куда идешь?

— Не удивляйся,— вместо ответа говорит он.— Такое уж у нее, у воды, дело.

— А я не удивляюсь.

— Велека течет тысячу лет. И с тех самых пор я брожу около нее, а она течет все так же.

Он смотрит куда-то мимо меня, и мне кажется, что я сам становлюсь прозрачным, как эта прозрачная вода.

— Куда ты идешь? — повторяю я свой вопрос.

Бездонно глубокие глаза его по-прежнему неподвижны.

— Каждый идет по своим делам. Мы люди рабочие, и без работы грош нам цена. Руки отсыхают.

— Ловишь рыбу?

— Ты чужак и не знаешь Велеку. Я тысячу лет хожу по ее берегам.

— Не чужак я, а здешний.

— Целыми днями я забрасываю удочку и — ничего. Колю нет, а рыба попадается. Я ищу сына — вместо него попадается рыба. Ты не знаешь его, Колю.

— Знаю,— говорю я.

Я не могу не знать его, потому что не могу забыть той отборочной комиссии. Рослый, крепкий парень, с такими же голубыми глазами, стоял, как статуя, перед нами. Капитан пограничных войск улыбнулся и сказал:

— Товарищ майор, этого орла дайте мне.

— Если вот он согласится, я — за,— обернулся ко мне светловолосый председатель комиссии.

Капитан пограничных войск получил орла.

— Я его все у плотины ищу. Бросаю удочку, но все какие-то рыбы попадаются. А зачем мне рыбы?

— Бай Стоян,— говорю я,— не ищи ты Колю в Велеке.

Его голубые глаза смотрят на меня осмысленнее.

— Так... А где же мне его искать? И ты хочешь меня обмануть. Велека течет тысячу лет, и если его нет в ней, значит, нигде нет. Но я его найду, в Велеке все есть, она все знает и все хранит. Потому что течет, не переставая. Когда-нибудь выловлю. Вот этим...

И он показывает мне удочку — длинная ореховая палка и леска с большим крючком.

— Бай Стоян, а ты меня узнаешь? — спрашиваю я.

— Рыбу я не ем. Как поймаю, снимаю с крючка и бросаю обратно. Я им наказываю искать моего мальчика. В Велеке он должен быть. Где ж еще?

Вдруг я почувствовал, что он пристально, не мигая, смотрит на меня, и я постепенно как будто теряю прозрачность.

— Ты что от меня прячешься? — вдруг вскрикивает он.— Ведь я же тебя знаю!

— Знаешь.

— Как не знать! В моем мозгу все отпечатывается. Колю мне сказал, что это тебя спрашивали, можно ли ему идти в пограничники.

— Это так.

— А я все тебя ищу. Хотел попотчевать за то добро, что ты сделал. Тысячу лет тебя ищу.

— Бай Стоян, ты меня угощал тогда, когда Колю уезжал. Помнишь, как мы его провожали? И его, и других.

— Ты меня обманываешь, — смеется он.— Ты как другие.

— Нет, не обманываю.

Взгляд его снова становится испытующим, а на скулах начинают ходить желваки.

— Все ложь,— говорит он.— А знаешь, что верно? Мне сейчас в голову пришло: ты тот, кто сделал хромым подмастерье кузнеца. Ты тот самый. Его не взяли в солдаты. Хромых в солдаты не берут.

— Почему же это я сделал его хромым?

— И с тех пор ты пропал. Будешь ты кипеть в смоле.

Он поднимается.

— В смоле! Там твое место! Там место всем праведникам. И я там буду, только вот найду сына. Ну, я пошел. Велека большая, мне тысячи лет не хватит обойти ее. Прощай, прощайте все.

Его сгорбленная фигура исчезает в зарослях, лишь изредка мелькает пожелтевшая соломенная шляпа. Велека медленно катит свои воды, но сейчас они словно застыли. Ничто не двигается: ни небо, ни ивы, ни заросли ольхи. Суетятся только рыбы.

Рядом со мной послышались шаги Белого. Фартук его уже пуст, и он возвращается. Посматривает по сторонам и задумчиво говорит:

— Нет границ горю человеческому, Мартин. Так было, так будет. Люди рождаются и на радость, и на горе. Только Велека течет с давних времен, и неизвестно, когда иссякнет.

Я отворачиваюсь — мне надо что-то сказать Белому, а я не могу. Всматриваюсь в воду и чувствую, как влага застилает глаза.

Белый некоторое время стоит за моей спиной. Потом шаги его удаляются — он молча идет к мельнице.

■

Конечно, бай Стоян не знал, что, прежде чем отправиться на Велеку, я сделал небольшой крюк. Завернул на рудник, что в километре от села. Рудник новый, в прошлом году его не было: геологи тогда все еще вели разведку. Теперь, говорят, он дает лучшую медную руду в стране. Как знать, может быть, мои друзья и прихвастнули немного больше, чем полагается. А Павел Штерев нервничает — кадры в его хозяйстве редеют, молодежь все больше посматривает на рудник.

Вышка рудника словно выгравирована на фоне серого неба. Было еще довольно рано. Через вырубленный лес прихрамывая шел плотный мужчина среднего роста. Вот удача! Я сразу узнал в нем того, ради кого шел на рудник. Узнал по походке.

Он остановился, поднял с земли какую-то доску и только тогда обернулся. Увидев меня, бросил доску и заспешил ко мне. Но теперь уже не прихрамывал, шел твердо. Я представил себе, как это трудно, когда нога отнята по щиколотку и ты идешь на протезе.

Я осторожно положил рюкзак на пень.

— Мартин! — закричал мужчина, лицо его сияло.

В следующую секунду мы обнялись.

Я смотрел на него и думал: Цветан все такой же. Может, потому, что вижу его каждый год. Только волосы его все седеют и седеют, хотя он на два года моложе меня. И по обеим сторонам рта пролегли морщины, а так лицо еще совсем гладкое. В сущности, эти морщины и седые волосы — результат постоянной борьбы, которую этот человек ведет со своим недугом.

Садимся, он закуривает сигарету.

— Мне мать сказала, что ты приезжаешь, и я все жду,— говорит он.— Все жду, хоть не верилось, что ты и этот год не пропустишь; думал, не приедешь, а потом и совсем позабудешь.

— Как видишь, не пропустил. И не думаю пропускать,— возражаю я.

— Время идет, Мартин, мы стареем, меняемся, и все может быть.

— Ты-то изменился? — спрашиваю я, глядя ему в глаза.

Он знает, да и оба мы знаем, о чем идет речь. И он не отводит взгляда, а всматривается в мое лицо, как будто на нем все написано.

— Я? — задумчиво улыбается он.— Нет, я не изменился и не собираюсь.

Но, видно, это не кажется ему достаточно убедительным, и он решительно добавляет:

— Никогда!

— Ну вот, теперь все ясно,— говорю я.

Подобный разговор происходит каждый год. Это как бы предварительная разведка, необходимая и неизбежная для того, чтобы убедиться, что встретились мы не напрасно. Мы приступаем к нему с некоторым страхом, потому что если один из нас скажет иначе, то многое исчезнет, будет положен крест на нашу молодость, и в наши души проберется разочарование и скептицизм — эти страшные спутники преждевременно стареющих людей. А мы с этим парторгом рудника очень дорого заплатили за то, чтобы сейчас иметь право не говорить, что молодость наша прошла напрасно.

Когда я работал в комитете РМС* нашей околии, в околийском комитете Отечественного фронта секретарем был бай Стамо — член Земледельческого союза, в прошлом пастух. Во время переворота девятого июня** он, тогда еще совсем молодой человек, изрядно пострадал. После чего поклялся, что ноги его в городе больше не будет, и ушел в горы с овцами своего отца. Но шли годы, он стал спускаться с гор, встречаться с людьми. Странный это был человек. Нам стоило больших усилий привлечь его к работе, к тому времени он уже окончательно переселился в город.

Время было смутное, среди крестьян начался раскол, и Стамо ходил словно больной. В городе раскольников было немного, но он все равно не мог успокоиться. Особенно он нервничал из-за членов Земледельческого союза, устраивавших на собраниях драки.

Бай Стамо часто приходил ко мне. Мой кабинет помещался в тесной комнатушке. Он снимал шапку, садился в уголке. Посидит, послушает и уйдет. Как-то он захотел побывать на собраниях ремсистов. Это озадачило меня, но мы разрешили.

Однажды я спросил его:

— Бай Стамо, что ты все около нас вертишься? Не думаешь ли стать ремсистом?

Я шутил, потому что знал — он не обидится. Он посмотрел в окно и сказал:

---

* Рабочий молодежный союз.

** Государственный переворот 9 июня 1923 года, в результате которого пришло к власти фашистское правительство Цанкова.

— Заболел я, вот и прихожу лечиться. Наши все грызутся между собой.

Спрашивать больше было не о чем.

— Всю жизнь я был пастухом,— неожиданно разговорился он.— Всю жизнь смотрел на орлов и думал о людях. Орлы летают высоко и далеко видят. Всю жизнь я завидовал орлам. Радовался за них.

Как-то после Нового года мы назначили совещание с сельскими секретарями РМС. Разослали письма, и все съехались накануне. Недоставало только Цветана. Он, молодой еще парень, работавший подмастерьем у кузнеца, был человеком дисциплинированным, и я не мог понять, что произошло. Напрасно ждал я его до вечера.

Уже совсем поздно я проходил мимо канцелярии бай Стамо. В окне был свет, и я вошел.

— Бай Стамо, можно позвонить по телефону?— спросил я.

— Пожалуйста. А что, кто-нибудь не приехал?

Он знал, что мы созываем совещание.

— Одного нет.

— Ну, нашел о чем печалиться, мне, когда нужно, никого затащить не удается,— сказал он.— Вот у вас сознательность. Только ты не вызывай парня, раз он не приехал. Погода портится.

— Если с неба камни посыплются, он все равно придет! Просто не получил письма.

— Камни не страшны, потому что они с неба не падают. Страшен снег, не смотри, что он мягкий.

Но я не поверил ему, погода была обычная, зимняя. Орлам ли бояться снега? Я приказал Цветану быть в городе на следующий день в восемь. Мое село, где он был секретарем, было расположено в двадцати километрах от города. Тогда бай Стамо серьезно сказал:

— Не слушаешься ты меня! Ведь я в горах жил и знаю: этой ночью будет метель.

— Ничего с ним не случится.

И я вышел на улицу. Похолодало, в ветвях деревьев тонким и простуженным голосом свистел ветер. Звезд не было видно.

Когда я проснулся утром, за окном будто бесы бушевали. Дома и кривые улочки были засыпаны снегом, нельзя было понять, где земля, а где небо. И дома, и каменные заборы, и деревья тонули в сугробах. Торчала только колокольня старой церкви да высокий тополь возле нее, словно протягивал руки за помощью.

Я бросился на почту, увязая в сугробах и задыхаясь от ветра. Телефонистка напрасно вертела ручку аппарата: с большинством сел связи не было.

Поручив ей следить за связью, я сам пошел в комитет. В восемь мы начали совещание.

Ничего я не видел и не слышал. Только все смотрел на дверь, но она была безжалостно закрыта и не отворялась. У меня теплилась надежда: чтобы добраться к восьми, Цветану надо было выйти утром. Может быть, метель его задержала.

В десять часов дверь отворилась. Наконец-то! В зал вошел Цветан. Кто-то в это время выступал, Цветан улыбнулся мне и опустился на стул. Я с сожалением подумал, что нет тут бай Стамо.

Цветан сидел неподвижно, не снимая тулупа, не разматывая шарфа, которым была укутана его голова, а в зале было жарко. Не успел я порадоваться, как он, словно подрубленный, упал на пол.

Я бросился к нему. Но меня опередили: расстегнули тулуп, размотали шарф и побежали за снегом. В уголках его рта словно замерзла улыбка, появившаяся на его лице, когда он вошел. А может, это мне просто показалось.

Мы отвезли его в больницу, где ему отняли по щиколотку правую ногу. Она была отморожена.

Я каждый день ходил к нему. Самым страшным было первое свидание после операции. Он только и сказал:

— Плакала рученица *...

Замолчал и внезапно расплакался.

Когда мы встретились с бай Стамо, я сам чуть не разрыдался. Мне казалось, что в горле у меня застрял комок. Бай Стамо положил свою тяжелую руку мне на плечо и сказал:

— И все-таки орлы — гордые птицы. Летают выше всех.

Вот какой был это пастух. Не могу его забыть.

И никогда не забуду. И сколько бы ни твердил себе, что дело прошлое, не думать об этом не могу.

— Послушай,— говорит Цветан,— давай я покажу тебе рудник. Внизу настоящее чудо, словно паутиной затянуто.

Наверно, так оно и есть, потому что на вырубках земля во многих местах провалилась. Но я не знаю, не трудно ли будет ему ползти и карабкаться по этой паутине.

— Нет, мне некогда,— отвечаю я.

— Куда ты идешь?

— К Белому.

— Ага.

— Да и что ж это — не успели увидеться, давай сразу же под землю.

— И правда. Несообразительный я какой.

На лице его появляется смущенная улыбка.

— Почему несообразительный? Просто сейчас мне некогда.

— Я все-таки хочу тебе сказать, что через три месяца мы открываем второй рудник, немного выше первого, у питомника. Залежи там мощные. Посмотри!

Цветан вынимает из кармана цилиндрический кусок желтой медной руды. Он блестит, как золото, усыпанное синими, красными и зелеными точками.

— Это из буровой. А окрашена она от окисления. Возьми, у меня еще есть. Жила толщиной в четыре метра. Ужас!

— Почему ужас, красота! — говорю я и перебрасываю с руки на руку золотистый кусок породы.

— Все равно. В будущем году начнем строить флотационную. Пятьсот тонн в сутки! Шоссе пройдет по другой стороне хребта, потому что мы уже под ним и может произойти обвал.

— Ты что, мне доклад делаешь?— смеюсь я.

— Рассказываю, потому что, по-моему, тебе интересно. Но могу и помолчать.

— Ты похож на агитатора,— говорю я.

— Что ж тут плохого? Это хорошие дела. От Велеки проведем водопровод. Новые жилые кварталы видел?

— Видел, а что еще не видел, увижу. А пока пойду к Белому.

— Наверно, устал.

— Есть немного.

— Хорошо, тогда я покажу тебе рудник, когда вернешься. И расскажу побольше.

— А я думал, ты все рассказал,— улыбаюсь я.

— Ну, это только сухая информация, главное не в ней.

Кладу в карман кусок руды и чувствую его тяжесть.

— Я пошел.

— Хорошо. Я не прощаюсь.

---

* Народный танец *(болг.)*.

Может быть, нам лучше было бы попрощаться, потому что я не собираюсь торчать в селе. Но сказать ему об этом не могу.

Некоторое время он идет рядом со мной, подтянутый и прямой.

— Ну, давай здесь расстанемся. Приятного тебе отдыха.

— До свидания.

Я иду через вырубку, мокрую от росы. Солнце взошло, и все заблестело. Оборачиваюсь — Цветан все еще стоит. Машет мне рукой, как будто зная, что я обернусь. Немного погодя я снова оборачиваюсь, а он все машет мне. Я вхожу в лес и прячусь за старым дубом.

Плотный мужчина невысокого роста какое-то время стоит неподвижно, глядя в лес. Когда я скрываюсь у него из вида, он поворачивается и направляется к вышке. Несколько шагов он делает, напряженно выпрямившись, а потом начинает хромать.

Я хватаюсь обеими руками за ствол дуба и прижимаюсь лицом к его холодной жесткой коре. В ушах отдаются удары сердца. Я вспоминаю, что в рюкзаке у меня две бутылки коньяку, и протягиваю руку. В нескольких шагах от меня из листвы неожиданно выпархивает дрозд, и рука моя застывает. Птица искоса посматривает на меня, роется в листве, что-то клюет. С вышки долетает вой сирены и лязг железа, дрозд замирает, готовый скрыться, но, успокоившись, снова принимается за свое. Перебирается немного подальше и уже не обращает на меня никакого внимания.

Рука моя опускается, и я отхожу от дерева. Иду через лес, не разбирая дороги. С рудника доносится треск и шум мотора, на вышке вертится колесо, тянущее клеть. Еще прохладно, и лес с трудом смягчает звуки, на листьях повисли тяжелые прозрачные капли росы. Шумы вскоре остаются позади. День необыкновенно светел и тих. Я поднимаю руку и вытираю лоб — к нему пристали маленькие чешуйки дубовой коры.

■

Над рекой нависает пристроенная к мельнице галерея с деревянными перилами, сбитая из грубо обструганных досок. Если протянуть руку, можно достать большое колесо, позеленевшее от времени и воды. Оно вертится медленно, и по поперечным доскам стекают искрящиеся капли. Внизу, под галереей, шумит вода, вертящая колесо, потом она сердито устремляется в канаву, чтобы, завершив свою работу, влиться в воды Синего омута.

Сквозь листву ольхи просвечивает солнце, и мне хочется спать, потому что галерея покачивается под тяжестью колеса. Белый прав, этот монотонный шум убаюкивает, убаюкивает и скрип мельничного конька.

Неподалеку от моста через канаву сидит внук Белого со своей удочкой. На этот раз ему везет немного больше, и я вижу, как поблескивает маленькая рыбка.

— Дядя Марти-ин, смотри! — кричит он, сияя от восторга.

От этого крика кошка, присевшая у канавы между мной и рыбаком, вздрагивает. Это большая, сытая мельничная кошка, пепельно-серая под цвет мучной пыли, которая носится в воздухе на самой мельнице и вокруг нее. Белый утверждает, что она потомок тех диких кошек, что живут в лесу возле мельницы. Может быть, это и не так, но она очень свирепа, и даже гордый Караус, хотя и носит на шее железный ошейник, предпочитает быть с ней в дружбе и не вмешиваться в ее дела. Особенно сейчас, когда у нее котята, такие же пепельно-серые, как и она. Котята — их трое,— ожидая пищи, по целым дням возятся около мельницы.

Внук Белого, если не сидит с удочкой, играет с ними, а кошка-мать благосклонно и даже несколько снисходительно — это видно по ее добродушно сощуренным глазам — следит за ними. Наблюдая за игрой, она

все время мурлычет. Интересно, что и Белый наблюдает за ними с тем же выражением. Мне даже кажется, что если я подойду, то услышу, как он мурлычет. А на самом деле он тихонько покашливает в кулак и улыбается.

Кошку зовут Выдра, она известна всему селу, потому что умеет ловить рыбу в реке. Сейчас она притаилась на берегу, изредка поводя ушами и перебирая передними лапами. Она распласталась на земле и напоминает до отказа сжатую пружину. Уши ее время от времени шевелятся — пружина то сжимается, то разжимается.

Мне кажется, в спокойствии этих запоздалых летних дней есть что-то предсмертное. Ни малейшего дуновения ветра. Солнце устало от своего круговращения, в котором, по-моему, есть что-то не совсем логичное. Оно все больше приближается к земле, а должно бы удаляться от нее. Не только потому, что убывает посылаемое им тепло, но и потому, что оно движется где-то далеко, по самому горизонту. Эта предосенняя симфония красок и молчания навевает тоску и наводит на мысли, что как бы ни было велико животворное зерно, оно слишком бедно по сравнению с самой жизнью. Не могут меня переубедить и некоторые поэты, воспевающие осень, ибо осенью сеют зерно, из которого вырастает древо жизни.

Но вот кошка плотно прижимается к земле — пружина напрягается до крайнего предела. В следующее мгновенье пепельно-серое тело летит, вытянувшись (кошка и вправду длинна и грациозна, как выдра), а еще через мгновенье она выскакивает из воды с большой блестящей рыбой в зубах.

Мальчик, привлеченный всплесками воды, бросает удочку и кричит:

— Дядя Марти-ин!

Кошка на этот раз не обращает на него внимания. Она спокойно идет через заросли. Рыба мечется, бьет хвостом, но кошка и на нее не обращает внимания. Только поднимает голову и недовольно жмурится.

Она выходит на поляну перед мельницей и гортанно мурлычет, котята бросаются к ней.

Выбегает на поляну и мальчик.

— Де-душка, дедушка!

Появляется Белый, отряхивая с рук мучную пыль.

Старик обеспокоен: с этими детьми хлопот не оберешься.

— Смотри, какую огромную рыбу поймала Выдра. Я видел, как она в воду прыгнула.

На веку Белого попадалось немало таких рыб.

— Ну и что... Поймала.

— Давай ее отнимем,— предлагает мальчик.

— А-а, вот ты о чем,— улыбается Белый.— Возьми.

Мальчик недоверчиво и вопросительно смотрит на него, потом направляется к кошачьему семейству.

Но сделав несколько шагов, останавливается, готовый броситься обратно. Кошка положила рыбу на траву и придавила ее лапой. Мне она представляется гладиатором, наступившим на свою жертву. Шерсть на ней поднимается дыбом, она обнажает свои белые мелкие зубы и шипит. Куда девалась ее благосклонность!

— Видишь? — добродушно смеется Белый.— Не дает. Да ведь если кто-нибудь у тебя отобрать захочет, ты тоже не отдашь.

— Да, но ведь я-то не кошка,— говорит мальчик.

В голосе его звучит сожаление, он потихоньку пятится.

— И у кошки душа есть,— говорит Белый.

— А у змеи мы отобрали рыбу. У нее нет души? — спрашивает мальчик.

— Нет. Змея проклята богом,— отвечает Белый.

— За что?

— Ну, вот еще, за что... За то, что подлая и коварная.

Белый смотрит на котят, окруживших рыбу. Кошка, успокоившись, надкусывает ее и начинает рвать, косо поглядывая на людей и громко урча. В глазах Белого светится глубокая человеческая доброта, но внук пригорюнился. Он все еще жалеет о рыбе, хотя ни о чем больше не спрашивает.

Мальчик снова садится на берегу и берется за удочку. Он что-то бормочет и качает головой. Все-таки он не согласен с дедом: ведь рыба была такая большая. И почему это у охотничьих собак отбирают зайцев и у змей отбирают рыб, а у кошки брать нельзя? Правда, кошка ведь не охотничья, потому что охотничьих кошек не бывает. Но раз она ловит рыбу, значит, охотничья. А ты сиди тут целый день из-за какой-то рыбешки величиной с мизинец.

■

Вечереет здесь медленно, солнце садится не сразу, а постепенно скрывается за многочисленными хребтами на западе. Сумерки, начинаясь с реки, словно наслаиваются. Небо еще розовеет, но вода в Велеке уже погасла. В тихих заводях выпрыгивают рыбы, и круги расходятся к обоим берегам, никогда так и не достигая их. В заводях река расширяется. Иногда низко над водой пролетит птица, какая не разобрать, потому что краски тоже угасли, и птица подобна тени. Начинают свою жизнь шумы летнего вечера и ночи.

Вслед за водой темнеют заросли ольхи и ивы, и хребты один за другим снимают свои оранжевые шапки. Под еще светлым небом летают птицы. Когда показываются первые звезды, воды уже не видно, ее присутствие только чувствуешь.

Перед летней резиденцией Белого буйно горит костер, хотя ночь еще не наступила. Высоко на вершине хребта, под которым стоит мельница, лают собаки. Караус навострил уши, но сидит смирно. Внук Белого жарит на раскаленной черепице единственную рыбешку, которую ему удалось поймать. Он взял немного углей из костра, и лицо его горит, словно выкованное из меди. Белый латает ветхую сеть верши.

— ...«Фермеры» голос подают,— говорит он.— Вечером, может, Лазарь спустится за мукой.

— И собак приведет? — спрашивает мальчик. Он переворачивает изогнувшуюся рыбешку и облизывает пальцы.

— Сладкая? — спрашивает Белый.

— У-ух,— кивает мальчик.

— Все, что человек своими руками сделает, сладко,— поучает Белый.

— А вот конфеты я не делаю, а они сладкие. И шоколад,— говорит мальчик.

— Это другое дело,— отвечает Белый. Слова мальчика очень логичны. Белый переводит разговор на другую тему: — Дедушка Лазарь, наверно, придет с собаками.

А я думаю о том, что настанет время, когда мальчику ни конфеты, ни шоколад не будут казаться сладкими. Но почему я должен равнять его с собой? Может быть, для него они навсегда останутся сладкими.

— А они перегрызутся? — спрашивает мальчик про собак.

— Тебе бы все только глазеть на разные представления! — говорит Белый.

В голосе его укор, но, по-моему, он не прав. Это вечное непонимание людей иного возраста, меряющих все на свой аршин и забывающих, что когда-то и они были другими. Когда же, как не сейчас, этот ребенок

будет во всем видеть развлечение? Он и не заметит, как быстро утратит эту способность, давно утраченную и мною, и Белым.

Перед моим отъездом Евгений советовал мне купить очки с розовыми стеклами. «Так твой отпуск пройдет приятнее». Он утверждает, что я не склонен видеть мир таким, каков он есть, а все что-то прибавляю: «Беспочвенный фантазер, питающийся старой мякиной!» Я возразил, что именно у Велеки розовые очки не смогут обмануть меня и потому излишни. Хотя сейчас мне кажется, что все меня развлекает, как и этого мальчонку.

Несмотря на намек Евгения, я думаю, что настоящую слабость к розовым и вообще ко всяким цветным очкам имеют только дети. Может быть, потому, что у них восприятие цветов еще не испорчено, и мир им кажется бедным в его естественном сочетании красок. Они не знают, что краски — это только колебания определенной частоты. Когда-то на сельских ярмарках продавали дешевые очки с цветной слюдой вместо стекол — зеленой, красной, желтой, синей. Мне очень хотелось обзавестись ими, но так и не удалось. Теперь я уже потерял вкус к цветным стеклышкам, которыми мне тогда пришлось заменить слюдяные очки. Иногда, защищаясь от солнца, я надеваю темные очки. Впрочем, это делают все те, кто перестал быть детьми. Мир стал им настолько ясен, что у них даже появилась необходимость приглушать его тона. Или это бессилие, примирение с невозможностью проникнуть в сущность вещей? Мне кажется, что, пока я живу, мир не станет мне достаточно ясен, но розовые очки тут не помогут.

Собаки с лаем спускаются по склону. Когда лай на время замолкает, отчетливее слышится отрывистая песня колокольчика, висящего на шее осла. Шум же реки стал для меня уже привычным. В тишине теплого вечера звуки словно обрушиваются вниз, и в долине долго перекатывается эхо. Радостный лай собак звучит тысячеголосым ликующим хором; и кажется, что не колокольчик позвякивает, а торжественно гудит весь лес; белые звезды шумным водопадом устремляются вниз, и небо освобождается от своей сияющей ноши.

— Лазарь идет,— говорит Белый.

Мальчик берет подрумянившуюся рыбешку и ест ее прямо так — без хлеба, без соли. Он обжегся и дует, но глаза его полны блаженства. Он торопится: надо посмотреть на собак.

Лай слышится уже в низине, и тысячеголосый хор затихает. Лес умолкает, а небо снова склоняется под своей ношей. Караус вскакивает и беспокойно облизывается.

Колокольчик звенит у меня за спиной. Караус ныряет в темноту, и мальчик устремляется за ним. Белый, улыбаясь, откладывает вершу в сторону.

— Сейчас начнется представление.

— У-а-аа,— донесся с поляны слабый крик.

Яростный лай собак, повизгивание и звон железа заглушили звук колокольчика.

— Де-душка! — закричал мальчик.— Иди посмотри, как Караус их колошматит.

— Угу, колошматит. На свету виднее,— раздался голос Лазаря, а колокольчик звякнул возле нас. Черный, худой, улыбающийся Лазарь появился неожиданно в светлом круге костра. Он ловко спрыгнул на землю и похлопал осла по шее.— Ладно, иди пасись.— Потом уставился на меня и закричал:— Ого-о, кого я вижу! Добро пожаловать, Мартин!

Собачий гвалт не стихал, и Лазарь старался перекричать его.

— Спасибо на добром слове! — ответил я по-деревенски и удивился тому, что эти забытые слова вырвались у меня совершенно естественно.

Тяжело дыша, к нам подбежал Караус и уселся возле Белого.

— Кончили?— спросил старик ласково и погладил пса по жесткой, стоявшей дыбом шерсти.

Собака облизывалась и скулила. Вернулся мальчик, тоже с трудом переводя дыхание, глаза его блестели.

— Дедушка, если б ты видел, как он их отделал!

— Ну как он их там мог отделать,— нарочито сурово сказал Лазарь.— Погляди-ка, кто из них раны зализывает.

— Ну да, раны! Он всегда так облизывается. А твоих и след простыл, убежали.

— Ладно, хватит, а то ты слова не дашь сказать,— прервал его Лазарь.— Вот они где.

По другую сторону костра сидели оба «фермера». Они тоже облизывались и скулили, но это были миролюбивые вопли, свидетельствовавшие о том, что война — не самое приятное занятие в собачьей жизни.

— Видишь, Мартинчо,— сказал Лазарь, глядя на собак.— В одном хозяйстве, а терпеть друг друга не могут. Что остается нам и тем?

«Те» — конечно, империалисты. Эти крестьяне ни днем, ни ночью не перестают думать о политике.

— Наше дело другое, человеческое,— за меня ответил Белый.

— Человеческое, да иногда хуже собачьего.

У Лазаря есть основания так утверждать, он участвовал в двух войнах. Поэтому в военном отношении он не очень-то склонен проводить особую разницу между людьми и собаками.

Он усаживается у костра и зажигает сигарету. Даже и сейчас видно, как пожелтели его колючие усы. Лицо у Лазаря маленькое и морщинистое, а в глазах проглядывает хитринка.

— Что ж, Мартин, не зайдешь на нас поглядеть? — спрашивает Лазарь и с наслаждением затягивается сигаретой.

Наши взгляды встречаются, поэтому я поворачиваюсь к «фермерам». Одна из собак, белая с желтыми пятнами,— большая пастушеская, с широкой грудью. Левое ухо ее, разорванное в былых сражениях, висит клочьями. Облизываясь, она скулит и иногда злобно взвизгивает, но на Карауса не смотрит. Не хочет выдавать приступов гнева. Другая собака поменьше, бесцветная, с острой мордой. Она, верно, злее, но сейчас опустила морду на землю и слизывает мелкие капли крови. Мало того, что она злющая, она, видно, еще и коварная — кусает исподтишка. Сидит смирно и выжидает момента украдкой бросить взгляд на Карауса. Взгляд ее кажется миролюбивым и немножко виноватым — эта забияка и сейчас придумывает что-то скверное и смирилась только для вида.

— Времени у меня мало, уезжать пора,— отвечаю я, не сводя глаз с собак.— Хотя Павел и зачислил меня к вам на довольствие.

— Какой Павел?

— Директор, Штерев.

— А-а, директоришка,— отзывается Лазарь кислым тоном.— А знаешь, что он за фрукт?

Караус и впрямь чувствует себя победителем. Поводит ушами, прислушиваясь к каким-то звукам, которые доступны только ему, и снова успокаивается. Бесцеремонно разглядывает сидящих напротив «фермеров».

— Не знаю.

— А вот я знаю. Испортился он, забыл, откуда родом. Проверять приходит, не пьем ли мы молоко.

— Какое молоко? — не понимаю я.

Белый слушает и улыбается, склонившись над своей вершей.

— Такое вот, белое. Мы ведь пасем овец, триста голов. Говорит, пока поставки не сдадите, никакого молока не получите! Нагрянет неожиданно и устраивает проверки. Сядет в газик — и покатил. Поду-

май сам, триста овец пасти, как поется в народной песне, и молока не попить. А что, спрашиваю его, прикажешь нам есть? А, говорит, фруктов, овощей мало разве? И склероза не будет. Для пожилых людей растительная пища очень полезна. И смеется. С этим молоком...

Он останавливается, чтобы затянуться сигаретой, а я начинаю испытывать беспокойство. Не люблю я таких разговоров, и у меня есть для этого основания.

— Ну, Штерев это что, а я вот вспоминаю, каким ты был типом...

Лазарь не говорит, каким именно типом я был, но лицо его озаряется лукавой, снисходительной и всепрощающей улыбкой, которая внушает мне невеселые мысли. Белый, тоже улыбаясь, смотрит на меня, а я нехотя поворачиваюсь к собакам.

Как знать, может, Лазарь и прав. Было время, когда все мы были «типами». А обо мне Лазарю многое хорошо известно, он испытал это на собственной шкуре. Как многие другие, глядя в зеркало, я не без горького раздумья замечаю на лице следы горьких воспоминаний.

У Лазаря было маленькое хозяйство — тридцать декаров земли и тридцать овец — как раз на том месте, где теперь стоит ферма.

Мне не было еще и двадцати. В то весеннее утро, вернее в темную и холодную ночь, мы вдвоем с одним пожилым крестьянином должны были пересчитать овец Лазаря. Ружье нес я, как более сознательный. Мы вышли из села вскоре после полуночи. Хотели застать Лазаря врасплох, пока он не выгнал овец на пастбище.

Добрались мы очень рано, и пришлось ждать рассвета. Иначе в темноте не то что овцу, даже черта не увидишь. К рассвету становилось холоднее, и мы дрожали неподалеку от летнего дома, опасаясь, как бы нас не учуяли собаки.

Мне казалось, стоит им залаять, как Лазарь тут же вскочит и угонит в лес по крайней мере половину отары. Иди считай их тогда.

Наконец на востоке посветлело, и из мрака выплыли тени и силуэты деревьев. Стал виден и дом Лазаря.

Мы двинулись молча. Помню, что мы вообще шли молча, за всю дорогу только несколькими словами и перекинулись. Ни мне, ни ему не хотелось говорить. Когда мы подошли к дому, навстречу нам бросились собаки. Я шел впереди, а мой спутник с палкой охранял меня с тыла. Овцы беспокойно зашевелились в кошаре, зазвякали колокольчики.

Я постучал в дверь дома. Это было солидное строение, крытое толстым слоем соломы. В такие дома у нас переселяются с ранней весны и живут в них до поздней осени, пока не заготовят запасы на зиму.

— Кто там? — сонно спросил Лазарь. Его разбудил лай собак.

— Отворяй! — крикнул я.

— Сейчас, сейчас,— простуженным голосом встревоженно сказал Лазарь.

Щелкнул замок, и дверь отворилась.

— Дядя Лазарь, мы пришли овец считать,— сказал я.

Лицо крестьянина было испуганным. Но, увидев меня, он сразу успокоился, и я почувствовал, какое он испытал облегчение. Он даже улыбнулся.

— Мартин, это ты? И Петр. Доброе утро, добро пожаловать. Заходите, заходите, пока я соберусь.

Петр шагнул вперед. В большом очаге тлели два толстых сука, и в их свете была видна бедная постель крестьянина. Я страшно замерз, и при виде огня и этой постели (она, наверно, была совсем теплая) мне едва не сделалось плохо. Но я сжал зубы и сказал:

— Мы тебя на дворе подождем. Нам некогда.

Нам и вправду было некогда. Мы должны были обойти и другие дворы. Да и незачем нам было входить. Мы пришли по делу.

Немного погодя Лазарь вышел. Отогнал собак. Мы направились к кошаре, стоявшей метрах в двадцати от дома.

— Ого, да вы даже с ружьем,— сказал он.

Короткая «итальянка» с шестью патронами в обойме. Теперь голос у него был не только простуженный, он был прямо ледяной. Лазарь кутался в какую-то рваную одежонку и кашлял. Потом взглянул на небо, на все еще сияющие там звезды. До рассвета было далеко.

— Мартинчо, а наш-то парень что делает? Давно его не видно,— спросил он, немного помолчав.

— У него все в порядке,— ответил я.— Мы с ним каждый день встречаемся.

Его сын, мой ровесник и дружок, тоже пошел этой ночью с ружьем считать овец.

Это была одна из главных причин, почему я не вошел в дом. Этот дом и все вокруг я знал как свои пять пальцев, потому что мы с «парнем» часто бывали тут, особенно летом. Кроме брынзы и молока, его отец угощал нас сладкими арбузами. Когда б я ни пришел, я был своим человеком в этом доме.

— Петр,— сказал я,— ты войдешь в кошару и погонишь овец, а я встану у ограды.

Мой спутник покорно вошел в кошару. Он все делал покорно и молча, как немой. Овцы испуганно поднялись, колокольчики тревожно заплакали.

Лазарь подождал, пока тот отошел в другой конец кошары, и наклонился ко мне.

— Мартинчо,— прошептал он.— П-п-пропусти какую-нибудь,— волнуясь, он слегка заикался. И мне тогда показалось, что еще немного — и он заплачет.

— Что ты сказал? — холодно спросил я. Несмотря на то, что я его прекрасно понял, просьба показалась мне чудовищной.

И снова меня обжег его шепот:

— П-п-пропусти одну или две. П-погляди, какие овцы. Мне поставок не выполнить.

— Я тебе пропущу, ты меня попомнишь,— сказал я.— Отойди, не мешай.

Овцы начали выходить. Я пропускал каждую по отдельности, чтобы не ошибиться. Мой спутник выгонял их из кошары, а я считал. Лазарь молча стоял в стороне, кутался в свою рваную одежонку.

Мы кончили. Лазарь загнал овец обратно в кошару и сказал:

— М-мартинчо, иди посмотри ягнят.

Во рту у меня вдруг пересохло и стало горько. Темные тени деревьев качнулись, земля поплыла из-под ног, а звезды заметались, как пьяные. Может, это оттого, что я много курил на голодный желудок? Я схватился за плетень у кошары. Все прошло очень быстро.

— Ягнята? Разве уже есть?

— Есть. Идите п-посмотрите.

На этот раз мы вошли. Мой спутник присел у огня погреться. Лазарь зажег керосиновую лампу. Я остался стоять у дверей.

На пастушеской постели лежали четыре ягненка. Они лежали боком к огню, чтоб было теплее. Увидев свет, они поднялись. Двое начали бодаться.

— Хороши,— сказал я.— Рано тебе их овцы принесли.

— У меня всегда ягнята появляются у первого в селе,— сказал Лазарь.— Садись, садись, погрейся да поешьте чего-нибудь.

Мой спутник взглянул на меня. На его лице мелькнуло что-то вроде злой усмешки.

— Некогда нам. В другой раз.

— Ну, дело ваше,— сказал Лазарь.

Он проводил нас, отогнав собак, чтобы не лаяли вслед. Я был голоден, не выспался и не мог понять, почему я дрожу: то ли от холода, то ли оттого, что не выспался. Или от сигарет, выкуренных натощак? Мой спутник молча шагал рядом. До самого села он не сказал ни слова.

Белый с улыбкой смотрит на меня. А улыбка у него хитрая. Он говорит:

— У всех у нас есть отметины, которые стереть нужно. Вот и у Мартина тоже.

— Какие отметины? — спрашиваю я удивленно.

— Какие? От выдернутых гвоздей.

Ах да, Белый, помнится, рассказывал мне какую-то притчу. Не зря я подозрительно отношусь к этим историям. Лазарь курит и задумчиво смотрит на костер. О чем он думает?

Когда начали стричь овец, он пришел к председателю сельсовета. Снял шапку и сказал:

— Товарищ председатель, пришлите комиссию по стрижке овец.

Председатель догадался, чего он хочет, но спросил с притворным удивлением:

— Какую комиссию?

— Комиссию, чтобы видела, сколько я шерсти настригу. Сколько есть, пусть всю забирают, и чтоб знали, что больше нет.

Я случайно оказался в комнате и стоял у окна. На меня Лазарь и не посмотрел. Мне хотелось повернуться к нему спиной, но я не смог.

Председатель барабанил пальцами по столу. Он знал, чего хочет Лазарь, этого требовали многие. Шерсти не хватало. Крестьян заставляли докупать ее, чтобы выполнить поставки. Но комиссии создавать не разрешали. С молоком проще, тут комиссий не потребуешь; не хватает — сдавай подсолнухи, ячмень, деньги. Но за шерсть? Шерсть стригут раз в год.

— Пришлите комиссию,— повторил Лазарь.— А сколько шерсти не хватит, ту наберите по кустам да пням.

— Комиссию я тебе прислать не могу, Лазарь,— сказал председатель.— Не разрешают комиссий.

— А грабеж среди бела дня кто разрешает? — спросил Лазарь.— За овечье молоко — купи, за яловую корову — купи, за шерсть — купи. А на что? Некому только перерезать их всех, а то бы с плеч долой.

Председатель ничего не сказал. И по его понятиям, требовать от человека того, чего, сам знаешь, у него нет, было «грабежом среди бела дня». Но что он мог сделать?

Впрочем, он казался мне недостаточно политически подкованным. Была в нем какая-то мягкотелость.

— Так-то, Лазарь, не разрешается,— повторил председатель.

Лазарь смял шапку и вышел.

— Уйду я, надоело,— сказал председатель, глядя сквозь чистое оконное стекло.

Гм, сентиментальный человек. Что там на дворе разглядывать, когда ты расправляешься с частнособственнической стихией? На дворе, согласно календарю, весна. Солнце светит, птицы поют — это все интересно детишкам.

— Мне кажется, ты склонен идти на уступки мелкой буржуазии,— сказал я, презрительно улыбаясь.

Он отвернулся от окна и посмотрел на меня немигающими глазами. В эту минуту он казался задумчивым и бесконечно добрым. Неужели этот человек не видел моей улыбки?

— Что ты в этом понимаешь? — выговорил он наконец.— Молод ты еще...

— Ты так считаешь? — сказал я и, разъяренный, вылетел из его кабинета.

Молод! А самому и сорока нет!

Хлопанье двери было лишь слабым отзвуком бури, бушевавшей во мне. Смотри, какой ясновидец! Один он разбирается в классовой борьбе!

Вскоре он подал заявление об уходе, но, узнав причину, ему заявили, что если руководитель избран народом, он не имеет права подавать заявление, когда взбредет в голову. Народ, в том числе и Лазарь, и все, кто требовал комиссии, лишил председателя доверия и исключил его из партии за слабость, проявленную под натиском врага.

Я еще не был членом партии и не мог присутствовать на этом собрании, но стоял за кулисами маленькой школьной сцены. Собрание проходило в школе.

Там говорили о многом: о мягкотелости Пырвана, этого самого бывшего председателя сельсовета, о каком-то его партийном уклоне до Девятого сентября, о провалах, еще не выясненных, о каком-то непроверенном случае в его работе, когда он осуществлял связь между районной партийной организацией и областным комитетом партии. В моей памяти ничего не осталось, может быть потому, что точными фактами и понятиями там не оперировали. Но я очень хорошо помню выступление председателя организации Общеземледельческого профессионального союза.

— Товарищи,— сказал он,— до чего докатился Пырван, уже видно. Но как он смотрит на массовые организации, которые создала наша народная власть? Ясно, как белый день. «Вы,— заявил он мне однажды,— Земледельческий союз, значит,— пятое колесо в телеге». Слушаю я тут товарищей, и, выходит, нет дыма без огня.

(У этого председателя я тоже считал овец, но, когда добрался до него, овцы были уже на пастбище. Он мне предложил записать двадцать восемь—столько, сколько есть,— и не таскаться по холмам, потому что они, наверно, ушли далеко. Когда я сказал, что все-таки пойду их пересчитывать, и пошел было, он меня вернул и сказал, что их тридцать пять. После второго моего возвращения их стало тридцать восемь. Я все же пересчитал их, оказалось пятьдесят четыре. Но это между прочим.)

Пырван, бывший председатель, сидел в зале во втором ряду. Чем больше говорили, тем гуще краска заливала его лицо. Это кирпично-красное лицо не дрогнуло даже тогда, когда зал задрожал от смеха, услышав о «пятом колесе в телеге». Я не отрываясь смотрел на его лицо, смутно испытывая какой-то страх. После того как проголосовали за его исключение, он, словно лунатик, вышел из зала.

На следующий день Пырван застрелился. Из маленького пистолета, оставшегося у него с того времени, когда он был связным между районом и нелегальным областным комитетом.

Через день его похоронили. Это были самые тягостные и молчаливые похороны, которые мне когда-либо пришлось видеть. И самые многолюдные похороны в нашем селе. Никогда я не видел у людей большего нежелания смотреть друг другу в глаза и разговаривать.

Молчание было страшным, потому что не было там даже бормочущего священника. Когда гроб опустили на каменистую землю, началась молчаливая суета. Нужно было сказать несколько слов над гробом. Но сказать было некому. Те, что возмущались и роптали, не могли выступать с речами, даже надгробными. Те, кто мог, воздерживались. Что-то им мешало, может быть, присутствие уполномоченного районного отдела госбезопасности, стоявшего где-то в толпе в последних рядах.

Прошли десять бесконечных минут, гроб молча опустили в могилу, и по крышке забарабанили комья каменистой земли.

А Лазарь выполнил все-таки свою угрозу, хотя Пырвана уже не было в живых. Вскоре он все начал покупать в сельмаге. Ждал, когда подвезут брынзу или дешевую колбасу. Однажды он мне сказал, смеясь:

— И я стал городской, Мартинчо, на государственных харчах живу. Видишь? Кто ж еще так, как я...

Улыбка его быстро угасла, и он продолжал другим тоном:

— Жаль только, что Пырван пропал. Неплохой человек был.

Я смотрю на Лазаря и думаю, что напрасно он смеется, ему плакать хочется, и никого он не обманет.

— Ну, отметины там или нет, это дело прошлое,— сказал Лазарь.— А насчет того, что я тебя «типом» назвал, извини, не принимай близко к сердцу. Ведь нам трудно угодить.

— Трудно,— подтвердил Белый.

Трудно угодить? А почему же тогда говорят, что человек довольствуется малым? Неужели так сложно иметь это «малое»? Выходит, что сложно, и надо пройти через черт знает какие страдания, чтобы получить это свое «малое». Огорчать других и огорчаться самому.

— А Штерева я критиковать буду,— сказал Лазарь.

— Очень он испугался,— засмеялся Белый.

— Испугался или нет, а критиковать буду. Да если я захочу пить молоко, поймает он меня, что ли?— снова разгорячился Лазарь.— Никто меня не поймает. Целую кадушку брынзы сделаю, и никто не узнает. Да не в этом дело. Скот у нас общий, и если каждый так будет делать, ничего у нас не выйдет. Он меня караулить собирается, словно я какой-то разбойник...

— Ну-ну, это ты хватил,— сказал Белый.— Что ты несешь? Да если бы он тебя разбойником считал, разве доверил бы триста овец?

— Нет уж, я ему покажу на собрании.

— Когда пойдешь на собрание-то? — спросил Белый.

— Когда... не знаю. Не могу я скотину бросить.

— Вот видишь? Воздух только сотрясаешь.

— Ничего я не сотрясаю. А на собрание как-нибудь попаду.

— Лазарь, давай-ка выпьем, очень уж мы далеко зашли,— сказал я, протягивая ему коньяк.

Глаза наши снова встретились, но на этот раз я не отвернулся.

— А о мелочах болтать бесполезно. Будь здоров,— сказал он и вскинул бутылку. Я подозревал, что он разошелся с коньяка.— На собрание, Мартинчо, я, может, пойду, может, нет. Видишь, какая у нас работа, конца-края не видно. Овцы добрые, поставки мы все выполнили и сверх плана даже сдали. А директоришке этому скажи: пусть за ум возьмется. Не такое теперь время, чтобы вам овец считать, а нам молчать. Сколько бед из-за этого молчания получилось. И людей пусть не обижает, потому что если с нами хитрить вздумает, то неизвестно, кто кого перехитрит. Так ему и скажи.

— Скажу, конечно.

Я действительно скажу ему это и даже еще кое-что от себя прибавлю. Может быть, то, что когда-то некому было сказать мне. Старые долги не оплачены, не говоря уж о процентах. Рано влезать в новые. А вернее, прошло время всяких долгов.

Костер тлеет, лица Лазаря и Белого кажутся мне задумчивыми. Мальчик свернулся калачиком и давно спит, положив голову деду на колени. Собаки дремлют и тоже кажутся задумчивыми — может, размышляют о том, как глупа и бессмысленна была их недавняя стычка. Они положили морды на лапы и смотрят друг на друга совсем миролюбиво — Караус по одну сторону костра, «фермеры» по другую. В темноте позвякивает колокольчик осла.

Я смотрю на костер и чувствую его тепло на своем лице. Очень хорошо вот так сидеть у костра, ощущать его ласковое тепло и думать. Думать о хорошем и плохом, с чем тебя сталкивала жизнь.

■

— А ну, Мартин, подымайся!

Вскакиваю немного растерянный и испуганный. Я сладко заснул.

— М-м-м... Ты знаешь, что с тобой надо сделать?

Возле меня сидит Павел Штерев — в толстом шерстяном свитере, брюках на штрипках, резиновых царвулях и с охотничьим ружьем через плечо. Сидит и улыбается, как будто нарочно показывает свои крепкие, белые зубы. Они четко выделяются в полумраке. Просто позавидовать можно.

— Тс-с! Тихо, а то Белый меня увидит, пристанет с чем-нибудь.

Одеяло отсырело от росы. Я дотронулся до волос — они тоже были влажными.

— Эге-ге, да ты пропадешь на таком холоде,— улыбается Павел.

— Не пропаду. Я здесь сплю, как младенец.

— Натягивай брюки и пошли.

— Куда?

— На прогулку по излучине.

Ага, вспомнил. Лазарь рассказывал, что директор разъезжает на машине.

— А где же твоя машина?

— Я пешком пришел. Повидаться с тобой да ноги поразмять.

Мы идем как можно тише. Караус учуял нас, но только заскулил и помахал хвостом. Павел тоже его хороший знакомый.

Чуть забрезжил рассвет, и вода в Велеке еще тусклая и совсем не излучает света.

Воздух холодный и даже слегка пощипывает лицо. Может быть, поэтому, когда я умываюсь водой из Велеки, она кажется мне теплой. Теплые струйки, приятно щекоча, стекают по шее и груди.

— Мне надо пройтись по излучине до «Бабушки Дины»,— говорит Павел.— Думаю, в будущем году начать орошение кукурузных полей.

— Догадались, наконец?

— Кроме догадки тут деньги еще нужны. А их на все не хватает. И получается, сапожник без сапог.

Я не вытираю лицо, только стряхиваю капли с рук. Приятно ощущать, как в холодноватом воздухе обсыхает лицо.

— Тут еще есть одно дело, даже говорить неудобно, но все-таки скажу,— продолжает Павел.— Мы раньше догадались, да один техник нам все карты смешал. Молодой совсем, практики нет, с каналом тут напутал. Да и какой канал-то — просто естественный ров, а вот на тебе. Парень так все вычислил, что воде пришлось бы течь в гору. Ну сам знаешь, такого не бывает. Говорили мне тогда рабочие: «Товарищ директор, да по этому каналу вода не пойдет». «Почему?» — спрашиваю. «Вроде немного искривлен он». «Так только кажется»,— сказал я, но все-таки решил проверить. А когда пришел на место, сразу понял, что вода не пойдет. Вот какое дело, позадержались мы немного, да и денег стоило.

— А техник?

— Что техник? Молодой он. Плачет и просит дать ему возможность исправить ошибку. Хорошо хоть вовремя спохватились.

— Надо в оба смотреть, товарищ руководитель,— смеюсь я.

— Легко сказать. Вам все легко. А здесь никогда орошением не занимались, понятия не имеют, что такое канал.

— Все-таки...

— Что все-таки? Не придирайся, прошу тебя. Знаю я вас, инструкторов и непогрешимых. Вам море по колено.

Сумрак быстро и незаметно уползает на запад, к горизонту. Наверху скрещиваются лучи восходящего солнца, и над Велекой клубится пар. Свет зажигает воду, по ней расходятся круги — это играют рыбы. Из-за поворота неожиданно вылетает какая-то пестрая птица. Она проносится, почти касаясь крыльями воды, и прохладный воздух звенит, как колокол, от ее криков.

— Ты сейчас иди за мной,— говорит Павел.— Так шагах в десяти!

— А ты вправду веришь, что тебе удастся кого-нибудь подстрелить без собаки?

— Я думал, ты мне поможешь, да вроде неудобно, гость все-таки,— улыбается Павел.

Мы идем по утоптанной скотом стерне. Все утонуло в росе, и мои брюки намокли до колен. На колючках кустарника висят серебряные мешочки — паутина отяжелела от росы, и я вижу паука, который терпеливо ждет, когда вода освободит его сеть. Пахнет мокрой травой и землей, над головой проносятся дикие голуби, но Павел не обращает на них внимания. Его интересуют зайцы. Он идет, немного сгорбившись, с ружьем в правой руке.

В сущности, в нем как в охотнике нет ничего артистичного. Я не занимался охотой, но всегда думал, что, если заниматься ею, надо быть артистом, относиться к ней как к искусству. Зато наш сосед дядя Сандо, по пятам которого я часто бегал в детстве, был настоящим артистом.

Все в нем было необычным. Ружье, какую-то старинную одностволку, он носил в футляре для скрипки, и поэтому крестьяне в шутку прозвали его Сандо Оркестр. Этот футляр было очень неудобно таскать, а на охоте, по-моему, ничего хуже быть не может. Но он приспособил кожаный ремень, и ружье болталось в футляре у него за спиной.

Когда он появлялся с этим футляром, все знали, куда он направляется, но неизменно спрашивали:

— Ты далеко, Сандо?

— Да вот надумал немного на скрипке поиграть,— отвечал он, посмеиваясь в усы.

И собака была у него не как у всех, а какая-то черная, блестящая, с большими висячими ушами. И она тоже была нездешняя. Охотники высказывали мнение, что это не охотничья собака: вид у нее великолепный, а проку мало. Такие только хлеб даром едят. Но дядя Сандо утверждал, что собака хорошая. И никто не мог возразить ему, потому что на охоту он ходил всегда один. Говорил, что спутники ему только в тягость, ничего не умеют и ему приходится таскать и их, и собак на собственном горбу.

Мне помнится, что из-за этой собаки однажды возникла настоящая ссора между дядей Сандо и его женой. Все истории, происходившие в этой семье, были мне хорошо известны, потому что я постоянно торчал у них.

Дядя Сандо как-то приехал домой с куском бязи. Бросил его на кровать и сказал жене:

— Дена, сшей собаке комбинезончик.

Тетя Дена вертела колесо швейной машины. Машина стучала, и она не расслышала сразу слов мужа.

— Сшей Трезору комбинезон. Вот тебе бязь.

Тетя Дена вытаращила глаза:

— Сандо, ты сошел с ума!

— Нет,— спокойно ответил он.— Просто собака очень черная, блестящая, а известно, что черный цвет поглощает больше тепла. Ей становится жарко, и она не может работать.

— Работать! Уж не землю ли копать?

— Да ты что думаешь? Разве есть работа тяжелее, чем целый день гонять за зайцами? Я и мерку с нее снял — надо сшить обычный комбинезон, голова будет наружу, ноги и хвост тоже. Белое отражает солнечные лучи, и собака не будет перегреваться во время работы.

— Никаких мерок! — отрезала тетя Дена.— Отстань ты от меня, все село над нами смеяться будет.

— Село меня не интересует. Меня интересует Трезор! — повысил голос дядя Сандо.

— Тебя интересует, сам и шей!

— А ты отказываешься?

— И не приставай ко мне больше. Господи, таких бредней я еще не слыхивала! — запричитала тетя Дена.

Дядя Сандо прорычал что-то в сердцах и схватил бязь. Сам скроил и сшил комбинезон.

Я был на той охоте, когда черный и блестящий Трезор стал вдруг снежно-белым. Конечно, комбинезон натянули далеко от села, там, где собака должна была выслеживать зайцев. Дядя Сандо приладил все как следует, хотя Трезор все время вертелся и скулил, пытаясь схватить себя за хвост.

— Ну, ату! — подтолкнул его дядя Сандо, когда все было готово.

Собака забегала, завертелась, но, наткнувшись на свой черный хвост, опустила морду и принялась тявкать. Дядя Сандо смотрел на нее просветленным взором.

— Дена еще меня будет учить! Словно я не охочусь с детства... Смотри, Мартинчо, ведь это не собака, а змей! Вот теперь от нее можно требовать работы.

Но собака потявкала, потявкала, чуть не до земли высунув язык, и тут же вернулась к нам. Бязь раздувалась на ее боках. Комбинезон был мокрый, хоть выжимай.

— Посмотрим! — сказал дядя Сандо, и лицо его потемнело. Он нагнулся, просунул руку под комбинезон, ощупал его со всех сторон грубыми пальцами. Потом почесал за ухом.— Я его, верно, тесноватым сделал, и не получается достаточной вентиляции. Ну и ну, а ведь я и мерку снимал...

И он одну за другой стал расстегивать пуговицы. Почувствовав свободу, собака радостно залаяла и бросилась вперед, опустив морду к земле.

— Тесноват он у меня получился,— сказал дядя Сандо, держа в руках комбинезон.— Надо или этот распустить, или сшить новый. Животному нужно пошире, чтоб вентиляция была и кожа могла свободно дышать. Только ты, Марчо, никому ни слова. Знаешь ведь, какие люди.

И в виде платы за мое молчание он обещал всегда брать меня с собой на охоту.

Конечно, история с комбинезоном стала известна, но не по моей вине. Но что бы там ни было, дядя Сандо держался с полным достоинством.

— Что вы в этом деле понимаете?— снисходительно говорил он охотникам, подтрунивавшим над ним.— Ваши собаки — дворняги. Они и голышом могут за зайцами бегать. А эта собака благородная, и когда работает, подай ей то, что следует.

Но мой друг Павел Штерев пошел на охоту даже без собаки и ружье держит, как сторож.

Я сжимаю рукой один из серебряных мешочков, что висят на кустарниках, и от рубиновых отблесков не остается ничего, кроме холодка. Иду осторожно, чтобы охотник в своих неудачах не обвинил меня.

— Павел, ноги у меня совсем промокли,— тихо говорю я.— Когда это только кончится?

— Подожди, ничего с тобой не сделается,— шипит он.— Роса сейчас высохнет.

Солнце еще совсем низко, оно висит прямо над Велекой, а она раздвинула хребты по обоим берегам далеко к востоку.

Подойдя к кусту бузины, Павел останавливается как вкопанный и делает мне знак рукой. Перед кустом на задних лапах стоит заяц, что-то роет и принюхивается. Ветра нет, и ему трудно учуять нас.

Я жду, когда Павел выстрелит, но он вешает ружье на локоть и неожиданно хлопает в ладоши. Заяц подскакивает и неизвестно почему бросается к нам, чуть не задев за ноги Павла, потом сворачивает влево, и его белый хвост мелькает уже далеко по стерне.

— Что ж ты не стрелял? — спрашиваю я Павла.

— Да что стрелять,— улыбается он.— Зайчонок этого года. Не видишь разве, что он мне под ноги бросился? Пусть подрастет, тогда уж. Глупость просто.

К чему это относится, к зайцу или к тому, что он не стал стрелять? Все равно. Заяц убежал, а мы идем дальше. Стерня кончается, и мы выходим на широкую поляну, поросшую бурьяном и колючками. Павел снова берется за ружье и идет еще осторожнее.

Немного погодя я слышу выстрел, который оглашает тихую долину Велеки и перекатывается с вершины на вершину. Я не видел, когда Павел поднял ружье, когда выстрелил. Он бросается вперед и приносит большого жирного зайца.

— Это другое дело,— говорит он.— Приятель достаточно пожил на свете, и незачем ему прощать.

Я не могу видеть смерть. И мне кажется, что не столько из жалости к умирающим, сколько из-за какой-то внутренней слабости.

Павел кладет зайца в мешок, и мы идем дальше. Вскоре подходим к кукурузному полю. Но на бесконечном поле на северном берегу Велеки остались одни только стебли и листья. Кое-где виднеются тыквы.

— Небольшой у вас урожай,— говорю я о кукурузе.

— Да, засуха была сильная. Но вот на будущий год подведем воду, тогда увидишь.

Он смеется и, помолчав, продолжает:

— Знаешь, заговорил я о будущем годе и тут же вспомнил о Мандо. Очень уж хорошие речи говорил он на молодежных собраниях. Зашел как-то разговор о речке у села. Мы, товарищи, говорит, сделаем тут озеро, разведем уток, для молодежи лодки будут, а по берегам — тополя. Садишься в лодку, берешь аккордеон — мечта... Аккордеон он никогда не забывал. Уж очень до речей охотник был. Но вскоре после этого исчез, а через несколько лет и в село перестал заглядывать. Что ты на это скажешь?

— Что скажу? Тебе исчезнуть некуда.

— Некуда, да и не имею особого желания,— задумчиво говорит Павел.— Давай присядем под деревом.

Дерево — огромный старый орех.

— Все дело во времени,— продолжает Павел, усаживаясь на траву у ствола.— Никуда мне не хочется, здесь я должен что-нибудь сделать. А работа трудная.

— Везде трудно,— отвечаю я.

— Но особенно в сельском хозяйстве. А тут еще рудник. Я не консерватор, но иногда меня зло берет. Молодежь только туда и смотрит, и мой фронт оголяется. Успокаиваю себя, что, когда будет больше машин, рабочих рук хватит.

— А вы развивайте животноводство.

— Развивайте... Тут у нас получаются неприятности с лесниками. Овцы потоптали землю в лесу, а свиньи, видишь ли, ее взрыли. Никак не угодишь. А среди животноводов у нас есть хорошие люди. Знаешь, кто у меня бригадиром?

Он, улыбаясь, смотрит на меня.

— Не знаю.

— Желю Черный. Трудно иногда угадать, что из человека получится. Во время коллективизации мы его под суд отдали, восемь месяцев в тюрьме просидел.

— Я что-то слышал об этом.

— На общем собрании тогда выступал какой-то инструктор — мы его потом и не видели — из округа. Очень он распалился, да и сказал: «Давайте, товарищи, впряжемся общими силами...» — что-то в этом роде. А Черный поднял руку и говорит: «Мы, товарищ, не скот, чтобы нас впрягать. Я волов запрягаю». Инструктор — в амбицию, разошелся, и осудили Черного на год за вражескую агитацию. А теперь он у меня бригадир. Все время бегает с кожаной сумкой, что бьет его по заднему месту и дела идут хорошо. С душой работает, но таких, как он, немного.

— Вот ты и занялся самокритикой,— говорю я.

— Самокритикой у нас много занимаются, да мало работают. Мы теперь стали профессорами по самокритике. Только бывает, пока за горло не возьмешь, ничего не получается.

Я вспоминаю о Лазаре с его молоком и о трехстах овцах, о которых поется в песнях. Но сейчас не хочется говорить об этом. Да и сомнение меня охватывает: кто кому должен давать советы? Каждый несет свою долю ответственности, а с теми, кто старается нести ее честно, трудно говорить свысока.

— Хорошее все-таки было тогда время, хоть Мандо и исчез,— говорю я.

— И сейчас неплохо, только теперь речи не в моде. А работа — это не самое поэтичное занятие, во всяком случае не все могут находить в ней поэзию. Давай посмотрим, куда идут эти каналы.

Мы встаем. Кукурузное поле тянется насколько хватает глаз. Солнце припекает, и высыхающие листья пахнут особенно приятно. В сущности, кажется, что пахнет зелеными кукурузными листьями, а мы идем среди стеблей, что выше человеческого роста, и золотой шелк початков ласкает наши лица. Наверно, это так и есть, потому что мы оба чувствуем себя молодыми. И хорошо бы подольше не стареть!

■

Прав был Лазарь, назвав меня «типом», или нет? Он сам сказал, что это старая история, но все-таки мне больно. Не может не быть больно, потому что речь идет об очень важных вещах, и я не могу отмахнуться и сказать: «К черту, все было как надо!» В сущности, все дело в той «итальянке», что болталась у меня на плече в то весеннее утро.

Ружье всегда стояло у меня в изголовье, к ужасу моей доброй и кроткой матери. Часто по ночам раздавался стук в окно, и я вскакивал. Наспех одевался, не зажигая огня, рассовывал по карманам патроны. Неизвестно как услышав этот стук, испуганная мать поджидала меня в узком коридорчике. Подавала мне узелок (я до сих пор не пойму, когда она успевала положить туда хлеба и еще что-нибудь из еды) и робко говорила:

— Береги себя, сынок...

И не перекрестив, провожала. Мне кажется, она верила, но креститься отвыкла.

Я ободряюще улыбался ей и шел к милиции, поеживаясь то ли от холода, то ли от недосыпания, а может быть, и от страха — ведь я был очень молод.

Лежал я в засадах по лощинам и перекресткам дорог, по склонам гор и возле бродов Велеки — от реки до границы всего пять-шесть километров. Лежал с другими и один — в зависимости от того, во сколько мест надо было послать людей. Лежал часами, не издавая ни звука, не шевелясь, и часы эти тянулись мучительно медленно, когда я был один. Тогда все тени передо мной начинали двигаться, и я настораживался, держа палец на курке. Но все-таки у меня были крепкие нервы.

Нас было трое, и мы должны были произвести обыск в доме Киро Драгиева, богача из соседнего села.

В ту ночь проводили обыски по всей околии. Из центральных районов страны в наш перебрался опасный бандит по прозвищу Картуз, имевший несколько судимостей за уголовные и политические преступления. В наших краях он уже убил пастуха и, вероятно, пытался перейти границу. Но это ему не удавалось.

Двое моих спутников были постарше меня, им было под сорок. Вышли мы из села после полуночи. Нам было поручено до рассвета вести наблюдение за домом.

Пришли мы очень рано, и каждый расположился так, чтобы хорошо просматривать порученный ему участок.

Ночь становилась все холоднее, и я дрожал, стуча зубами. Спать не хотелось, я весь одеревенел от напряжения. У Картуза была опасная слава, да и в нашем краю он не бездействовал.

Наконец на востоке посветлело, и дом Киро Драгиева стал отчетливо виден.

Мы собрались втроем в условленном месте. Совсем рассвело, пора было начинать. Все осложнялось тем, что сарай вплотную примыкал к дому. В наших краях сараи делают из деревянных каркасов, крытых соломой.

Произвести обыск несложно: двое стоят во дворе, а третий заходит и осматривает каждый уголок. Сложнее было решить, кто будет третьим.

— Начнем,— сказал один из моих товарищей. Оба они были портные и работали вместе.

— Начнем,— отозвался второй.

Я молчал.

Но мы все еще не начинали.

Тогда Стойко, он был старшим группы, сказал:

— Слушай, Мартин, войди ты.

— Хорошо,— сказал я.

— В сущности, ничего тут страшного нет,— сказал он.

— Конечно,— подтвердил я.

— Знаешь, что я подумал?— признался Стойко.— Мы с Костой вернулись с фронта живые-здоровые, да и дети у нас. А ты холостой.

В эту минуту я подумал о маме.

Он снова попытался засмеяться, но из горла вырвалось какое-то нервное кудахтанье. Бледное лицо Косты искривилось подобием улыбки.

— Ясно,— сказал я.— Так будет лучше.

— Может, ты боишься? — спросил Стойко.

— Нет.

— Конечно, чего тут бояться. С ума же он не сошел, чтоб в домах укрываться — знает ведь, что его из-под земли достанут.

— Ясно,— подтвердил Коста.— А мы свою задачу выполним.

Для меня это прозвучало как «поставим галочку», но Коста был очень бледен, и я промолчал.

Я подождал, пока они заняли свои места, и направился к дому. Киро стоял у навеса и умывался.

— Доброе утро, бай Киро,— поздоровался я.

Он, вздрогнув, обернулся. Посмотрел на меня, потом на карабин и снисходительно улыбнулся.

— Не очень-то доброе, но уж так и быть. Я тебя что-то не признаю.

Я объяснил ему, кто я, и тогда он широко заулыбался.

— Так бы и сказал. Мы с твоим отцом друзья. Сколько меду он у меня на пасеке съел. Так, с хлебом, прямо из улья...

Не знаю, правда ли, что отец съел столько меду, но у Киро было до сотни ульев, не считая земли и лесопилки.

— Садись,— указал он на скамейку под навесом.— Я тебе сейчас меду вынесу.

— Не хочу,— сказал я.— Я по делу пришел.

— Да оставь ты эти дела,— засмеялся он.— Не было еще случая, чтобы я гостя не попотчевал. Такой мед, как у меня, редко где сыщешь. Здесь пчелам раздолье.

— Спасибо, не хочу,— снова отказался я.

Улыбка на его лице выразила бесконечное сожаление. Он не спускал с меня глаз, ставших вдруг внимательными и сосредоточенными. Эта сосредоточенность и заставила меня насторожиться.

— Ну, говори, что у тебя за дело.

— Я должен обыскать дом.

— Ах, так?— Он опять засмеялся.— Вам бы все шутки шутить. Люди еще с ума не сошли, чтоб его к себе в дом пустить, все равно что своими руками собственный дом поджечь... Ну, входи, обыскивай...

— И ты со мной пойдешь,— сказал я.

— Зачем еще?

— Так вернее будет. Будешь мне показывать.

Он постоял немного, опустив голову, потом, посмотрев мне в глаза, сказал:

— Слушай, парень... Я тебе в отцы гожусь, да и с отцом твоим мы друзья! Я себя преступником не считаю и собственный дом обыскивать не могу! Если хочешь, вот перед тобой дверь — иди!

— И ты пойдешь,— сказал я.—Впереди меня пойдешь.

— Раз заставляешь — пойду,— сказал он,— а так бы не пошел.

— Иди!— Я приставил карабин к его боку, держа палец на взводе, и подтолкнул его. Он покорно зашагал передо мной.

Я обшарил в доме все уголки, заглядывал в кадки, корзины, лари. Ничего. Мы вышли.

— Иди да иди,— сказал он и с облегчением засмеялся.— Что из того? Ничего. Паутину только обмели. Вы, молодые, не слушаете, когда вам говорят.

— А теперь посмотрим в сарае,— сказал я.

Он вздрогнул, и, хотя очень быстро овладел собой, я похолодел. А может, мне показалось?

— За сарай не отвечаю.

— Отвечаешь,— сказал я.

— Отвечаю? — спросил он злобно.— Что ты, из других краев, не знаешь, что в сарай кто угодно залезть может? Солому пораскидает и залезет.

— Отвечаешь!

— Не отвечаю и не пойду.

Почему он так упрямится?

— Давай ключ,— сказал я.

— Ключ я тебе дам, открывать сам будешь.

Он принес ключ от массивного замка, которым был заперт сарай, и протянул его мне. Я отвел его руку.

— Отпирай!

Дверь отворилась, и я ткнул его дулом в спину.

— Входи!

Он дернулся назад, но в тот же миг я почувствовал, как под дулом обмякла его спина.

— Я войду, но на насилие пожалуюсь прокурору. Есть же законы в нашем государстве!

— Есть, говоришь? Ты ж всегда жаловался, что нет. Возьми-ка вон тот прут. Прямо передо мной пойдешь. А мешкать будешь или бежать попробуешь, застрелю.

Я заставил его прутом обследовать каждую пядь в сарае, набитом соломой, ветками, корзинами и сеном.

Прут погрузился в кучу соломы. Где-то сбоку затрещала автоматная очередь, но, бог весть почему, пули отбили только щепки с балки на потолке. Киро взревел, и мы вместе упали на солому.

Я выстрелил наугад и только тогда заметил отверстие в полу сарая. Вскочил и бросился к нему. На дворе гремели выстрелы, стрекотал автомат.

Так добежал я до росшей неподалеку груши. Преступник бежал по низине, и мои товарищи стреляли впустую.

Я прицелился в его широкую спину и нажал курок. Человек споткнулся и упал. Вернее, залег, потому что обернулся ко мне. Он был метрах в двадцати от меня, и я очень хорошо видел его: широкое, смуглое лицо, курчавые волосы. Увидел даже, что он облизнул губы.

— Эй, щенок! Убирайся отсюда!— хрипло крикнул он.

Щенок? Значит, он хорошо меня разглядел. Почему же тогда он не попал в меня? Наверно, ему помешала солома и он поскользнулся.

— Не уберусь!— крикнул я. Груша надежно защищала меня, а у него не было времени. В разреженном воздухе выстрелы были слышны за километры.

— Убирайся, а то гранату брошу! Я тебя убивать не хочу.

— Мартин! — закричал Стойко где-то сбоку.— Держи его на прицеле, пока мы его не возьмем в клещи. У него нет гранат.

Раз старший в группе говорит — значит, нет. А если б и были, ствол груши — толщиной в метр.

Преступник пошевелился, и я выстрелил. Он снова затих. Но времени у него совсем не оставалось. Мои товарищи уже приближались, вскоре должны были подоспеть и другие.

Выпустив очередь из автомата, он вскочил, повернувшись ко мне спиной. То, что он спустился в ложбину, было его ошибкой. Она походила на корыто. Он мог бежать только по ее дну, потому что преследователи шли верхом по краям этого корыта. А от меня он не мог укрыться.

Я смотрел и думал, что и опытный зверь попадает в капкан. До конца корыта было далеко, и человек делал отчаянные усилия, чтобы вырваться из капкана: он бежал зигзагами, наклонялся, подпрыгивал. Это продолжалось несколько секунд, но мне они показались очень долгими. С полным спокойствием (охватившим меня, когда после автоматной очереди я упал на солому и понял, что невредим) я наблюдал через прорезь мушки за широкой черной спиной, не выпуская ее из виду. И наконец спустил курок. Второй выстрел почти слился с моим. Черная тень подскочила, взмахнула руками, и автомат отлетел в сторону. В следующее мгновенье человек уже неподвижно лежал на траве.

Я потянул рукоятку. Звякнула, упав, пустая гильза. Из затвора просочилась и растаяла синяя струйка дыма. Я прижался щекой к прикладу

и вдруг почувствовал страшную усталость и тошноту. Откусил сочную травинку, пожевал, снова откусил. Приступ прошел. По стволу груши проложили дорожку муравьи и озабоченно бегали по ней. Один муравей (неизвестно почему и как он сбился с дороги) был раздавлен прикладом.

— Марти-ин, иди сюда! — позвал Стойко.

Они осторожно спустились на дно корыта, где было распростерто черное тело человека.

Я встал и прислонился к стволу груши. Мои товарищи подошли к трупу. Стойко поднял автомат. Постояли молча, и Стойко опять крикнул:

— Мартин, иди сюда!

— Не хочется,— сказал я.

Наверно, они не слышали, я сам еле расслышал собственный голос. Но больше они меня не звали.

Спустя немного они подошли ко мне. Стойко нес автомат, два пистолета и потертый кожаный бумажник.

— Подождем остальных. Наверно, слышали,— сказал он, пристально глядя на меня.

— Слышали,— сказал я, отводя глаза.

— А с этим Киро что делать? — спросил Коста.

— С Киро? Сейчас посмотрим. Ты останься здесь, а мы со Стойко разберемся с ним.

Я взял карабин, и мы вошли в сарай. В соломе, где валялись гильзы, мы нашли пустую кастрюлю и кусок хлеба. Киро не было. Значит, и он был невредим.

Киро сидел под навесом, обхватив голову руками. Увидев нас, он вскочил.

— Мартин, ты знаешь, что я не виноват. Бандит и в меня стрелял. Имени моего он знать не мог. Слышал, наверно, как звал меня Стойко.

— Бай Киро, это твоя кастрюля? — спросил я.

— Да хоть бы и моя. Вы ж видите, что у меня все стоит здесь, под навесом. Каждый может взять, что ему нужно,— сказал он, не глядя на кастрюлю.

— А все-таки... Твоя? — настаивал я.

— Моя.

— И хлеб твой, и то, что в кастрюле, твое, и сарай тоже. Все твое. А тот, правда, и по тебе стрелял, но ведь ни в кого не попал.

Он посмотрел на меня с надеждой и недоверием.

— Собирайся,— сказал я.— Пойдешь с нами.

Стойко положил автомат и пистолеты на землю и уселся рядом.

— Ну!— Он долго смотрел на понуро стоявшего перед ним крестьянина. — До чего дошел — убийц укрываешь. Собирай монатки.

Я отошел шагов на двадцать от навеса. Бросился на прохладную траву, прижался к ней щекой. Земля пульсировала под моим ухом, она то отталкивала меня, то снова привлекала к себе. Это была колыбель, которая поднималась и опускалась, и я задремал.

Разбудил меня шум мотора. Перед домом остановился открытый «джип», и из него вместе с несколькими офицерами-пограничниками выскочил капитан Колев.

Стойко встретил его.

— Что случилось? — спросил низенький коренастый капитан.

— Уже все кончено. Вот его автомат, два пистолета и бумажник, мы не открывали его. Коста там, у трупа...

— Слава богу, люди вздохнут спокойно,— сказал капитан и спросил: — Где Мартин?

— Вон он, прилег.

Стойко наклонился к капитану и что-то прошептал ему на ухо. Я не мог слышать, но понял что. К горлу у меня вдруг подступили слезы, и я заплакал, содрогаясь от спазм, с которыми не мог справиться. Плечи мои тряслись, из горла вылетали звуки, не подчинявшиеся моей воле. Я впился ногтями в землю и снова закусил травинку.

Сквозь слезы я увидел капитана. Он долго и сосредоточенно смотрел на меня, потом сказал:

— Оставьте его, пусть поплачет. Это не грех, когда ты так молод.

Не знаю, сколько времени я проплакал, потому что незаметно уснул. И во сне чувствовал страшную усталость, которой больше никогда не испытывал.

Вот и о таких вещах вспоминаешь помимо своего желания, когда сидишь у костра и поглядываешь украдкой на худое лицо Лазаря. Но сейчас мне легко, потому что я знаю: он забыл об «итальянке», простил мне, что она болталась у меня на плече в то весеннее утро.

■

Сегодня я уезжаю. Белый угадал мое намерение.

— Что-то тебе не по себе,— говорит он, заглядывая мне в глаза.

— С чего ты взял?

— Не сидится тебе на одном месте.

Он и прав, и не прав. Я действительно стал каким-то беспокойным, но камнедробилка не гремит уже у меня в голове. Думается, что и лица людей не будут больше расплываться перед глазами, когда я снова окажусь на собрании. Для пяти дней это достижение. Остаются еще десять, но их я проведу в селе. Есть вещи, от которых человеку не убежать. А может быть, я потому так стремлюсь к ним, что они мне необходимы и иначе я не смогу жить.

Внук Белого расхаживает вдоль канавы и посматривает на кошку. Ждет, что она опять пойдет ловить рыбу, но наверняка ошибается. За ней следом идут котята, подталкивая друг друга. Просто семья прогуливается.

Поняв, что он ошибся, мальчик бежит к мельнице. Белый складывает под навес мешки с мукой.

— Дедушка,— спрашивает мальчик,— можно я залезу на грушу, срежу себе омелу?

— Никакой омелы,— говорит Белый.— Упадешь.

— Полезу, не упаду.

— Не полезешь.

— Полезу.

Мальчик упрям, но Белый не сердится. Он улыбается, отряхивает руки и говорит:

— Ты не полезешь, но хорошо, что меня надоумил. С каких пор я собираюсь эту погань срезать и все забываю.

Он выходит из-под навеса с топором в руке.

— Мартин, ничего, что это дерево дикое. Очень от него груши хорошие бывают, когда зимой мягкими становятся. В соломе их нужно хранить.

Мне приходилось есть такие груши, и я знаю их вкус. Ел я, наверно, и с этого дерева.

— Но этот паразит ее убьет, если его оставить,— продолжает Белый.— Вот видишь дикую яблоню? Присосалась омела к ней и губит. Давно я собираюсь ее срезать.

Яблоня старая, без единого листочка. На ее ветках видны зеленые клубки омелы. Но дерево уже почти мертво, и будущей весной листья на нем не распустятся. Есть что-то странное в этом полумертвом дереве.

Омела тоже увяла, потому что ей больше нечего высасывать.

Груша молодая, и на ее ветвях темнеют только два клубка омелы. Они свежи и зелены, потому что у груши соков много.

Я тоже срезал омелу. Меня привлекала ее свежесть и экзотичность. Но оторванная от дерева, она быстро увядала, и, разочарованный, я выбрасывал ее.

— И на что тебе омела?— спрашивает у внука Белый.

— Так. Смотри, какая красивая.

— Красивая? Хорошенькое дело! Это паразит, который живет за чужой счет. Погибнет дерево, и она погибнет. Что в этом хорошего,— поучает Белый.

— Красивая.

— Чепуха! — Мне кажется, что на этот раз Белый сердится.— Это самый вредный паразит. Жадный и глупый, сам себя доводит до смерти!

Он прав. Омела, может быть, единственный паразит, который сам себя убивает. Есть что-то парадоксальное в его природе — чтобы жить, он постепенно убивает источник своей жизни.

Белый осторожно лезет на дерево. Топор он держит в руке. Мальчик стоит внизу. Он надкусывает грушу, но тут же сплевывает и морщится. Сейчас груши твердые, как камень, и терпкие.

Вскоре первый клубок падает вниз, и мальчик подбирает его. Листья омелы и впрямь красивого, сочного темно-зеленого цвета. Если сжать, останутся прозрачные прожилки, все остальное — сок, высосанный из дерева. Мальчик подхватывает и второй клубок. Омела его занимает.

Белый, немного запыхавшись, слезает. Груша, хотя и молодая, высока, и ствол у нее толстый.

— Подумать только, ведь ее семена разносят и ветер, и птицы,— говорит Белый, вытирая покрасневшую шею.— Никто ее не сеет, не жнет. А чтобы пшеничный колос вырастить, сколько труда надо.

Он прячет топор и оборачивается ко мне:

— Сейчас и другое дело сделаем, а то потом времени не будет.

Другое дело — вынуть из верши и корзин, что поставили с вечера, рыбу. Белый не хочет меня отпускать с пустыми руками.

На этот раз мешок висит на шее у мальчика. Омелу он положил под навес, в тень.

Солнце уже склонилось к западу, но еще нескоро спрячется за ближайший хребет. Мы идем гуськом вверх, против течения. Верша и корзины находятся в глубине запруды. Там водится рыба покрупнее. Она скорее бросается на наживку, потому что корма здесь меньше, чем ниже по течению, у мельницы. Мы не раздеваемся. Не нужно лезть в воду — приспособления укреплены на берегу.

Мы останавливаемся, и Белый опускается на колени.

Он нащупывает лозовый прут и начинает тянуть. Не видно ни дна, ни корзины. Река здесь глубока, а место затененное.

— М-м-м... Есть,— бормочет Белый и тянет прут.

Мальчик, широко открыв глаза, склонился над водой.

Наконец показывается корзина. Белый поднимает ее над водой, и вдруг слышится плеск. Мечутся, задыхаясь, рыбы. По плеску я догадываюсь, что они большие.

— Дедушка, дай я вытащу! — пристает мальчик, а в глазах у него охотничий блеск.

— Упустишь.

— Не упущу, дай.

— Стой, где велено. Давай мешок.

Мальчик обиженно протягивает мешок, но глаза его снова блестят. Белый шарит в корзине и достает усача. За ним другого, потом кленя.

— У него усы, как у кошки!— кричит мальчик.

— Хорошая рыба,— говорит Белый.— На, можешь ее взять. Она смирная и не скользкая.

Этих рыб крестьяне почему-то зовут дурачками. Мальчик берет ее, но все-таки запускает руку в мешок. Его привлекает большой усач.

Потом мы достаем вторую корзину и вершу. Мешок полон, рыба бьется внутри и раскачивает его.

— Хитер человек,— говорит Белый, когда мы идем обратно к мельнице.— Выдумал корзины, верши и тысячи других премудростей, а у рыбы и ума нет на то, чтобы выбраться оттуда. Но и человека, как он ни хитер, бывает, что перехитрят.

Верно, думаю, бывает, что перехитрят, но опять-таки люди. Рыбам его не перехитрить. Выходит, рыбам хуже всех — даже змеи хитрее их.

Несмотря на свое пристрастие к рыбам, мальчик не забывает про омелу и бежит к навесу.

— Дядя Мартин!— кричит он оттуда.— А она завяла.

— Завянет, коли жрать нечего,— говорит Белый.— Такое уж ее дело, сама себя прокормить не может.

Мальчик некоторое время разглядывает клубки омелы, потом выбрасывает их. Впрочем, это уже не клубки. Они превратились в кашу.

Мы садимся у канавы чистить рыбу. Мальчик берет пузыри больших рыб: старается соблазнить кошку, свернувшуюся на припеке в бурьяне. Успеха никакого — кошка, наверно, сыта; она лениво и добродушно жмурится; зрачки ее похожи на черточки. Котята тоже не голодны, они играют возле матери, скатываются по ее спине, теребят ее.

— Брось-ка ты эти пузыри, лучше нарви крапивы,— говорит Белый.

— А-а, она жжется,— смеется мальчик.

— На вот тебе ножик, берись за нее тряпкой,— говорит Белый.— Тогда не обожжешься.

Мальчик бросает пузыри, и течение увлекает их вниз. Он приносит пучок крапивы, жесткой и очень жгучей. Но Белый спокойно берет ее своими грубыми руками и раскладывает на ней посоленную рыбу.

Когда все готово, мы усаживаемся на скамейке у мельницы. Молчим, потому что покорены спокойствием дня, моногонным и, может быть, поэтому неуловимым шумом воды, новыми красками леса, что не спеша подымается по склонам крутых хребтов. Нам с Белым обоим не очень весело, но жаловаться не хочется.

— Мартин,— говорит он,— ты на тот год в отпуск опять приезжай. Хорошо мы с тобой пожили.

Хорошо? Черт его знает, что хорошо и что плохо.

— Приеду,— говорю я.

— А теперь на прощанье давай выпьем.

— Давай.— Я улыбаюсь.— Но мои бутылки пусты.

— Ничего, ментовки еще половина осталась.

Он приносит с мельницы бутылку ментовки.

— Ладно, сначала ты,— он подает мне бутылку.

— Я не пью ментовку.

— Что так?

— Так, вкуса ее не переношу.

— Выпей, не обижай.

Не рассказывать же ему историю с мятными конфетами. Нет смысла, да и ментовка — не отрава. Отчего не попробовать?

Я запрокидываю бутылку и невольно закрываю глаза. Делаю глоток-другой. Ну, не так уж и плохо.

— Видал?— говорит Белый, улыбаясь.— Как часто человек ошибается. Думает плохо, а оно и не так. Думает хорошо, а попробуешь, отрава.

Он поднимает бутылку и делает несколько маленьких глотков. Вытирает усы, на лице у него написано удовольствие.

— Хороша, освежает,— говорит он.— Особенно в летнее время.

— Ну, теперь я могу идти.

— Можешь. Иди верхом, до дровяного склада в Шоповцах. Оттуда всегда грузовики ходят, сядешь, зачем пешком тащиться.

— Там видно будет.

— В добрый час,— говорит Белый.

Мы пожимаем друг другу руки, и я ухожу. Но к дровяному складу мне идти не хочется. Еще рано, и до села я дойду, не торопясь.

Тропинка вьется вдоль реки, и в некоторых местах я совсем теряюсь в бурьяне. Солнце скрылось на западе за высоким хребтом, нависшим над Велекой, и вода потемнела. По ней плывет все больше и больше ивовых листьев.

Я оборачиваюсь — Белый все еще стоит у мельницы. Наверху виднеются красные черепичные крыши фермы, внизу, у реки лают собаки и звенит вода. Звенят и заросли ивы и ольхи, и небо, которое над моей головой могучими плечами подпирают хребты.

На берегу я останавливаюсь и склоняюсь над водой. Небо чистое, безоблачное, синева его словно вылиняла. Заросли, отражаясь в воде, напоминают тонкие сети, и в этих сетях плавают мелкие рыбешки. Порой в сети попадает птица и тотчас исчезает.

Склоняясь ниже, я вижу свое лицо. Вода неподвижна, и я различаю мельчайшие черточки на своем лице, мне даже кажется, что я вижу поры кожи, как будто в лупу. Вокруг губ и на висках уже появились морщины, лоб тоже прорезывает две параллельные линии. Он стал больше, потому что волосы поредели. Слава богу, в этом зеркале седые волосы не заметны.

Заслушавшись шепота воды, я не могу оторваться от этого зеркала. Мне начинает казаться, что вода смывает с моего лица морщины, неприятно увеличившиеся поры и темные тени под глазами. Я вспоминаю один из тех далеких дней, когда впервые увидел в Велеке свое лицо, чистое и гладкое на фоне того же вечного неба. Тогда я засмеялся, ударил рукой по воде, и зеркало с плеском разбилось, но потом снова заблестело, и, сколько я его ни разбивал, в нем вновь возникало мое отражение. Это было задолго до того, как утонул Иван. Позднее, в то утро, когда я нес ружье, мне пришлось умыться, потому что ужасно хотелось спать. На моем лбу едва намечалась тоненькая линия, но тогда я не ударил по воде. Не до зеркала мне было.

Теперь морщин много, но мне уже не хочется разбивать зеркало. Может быть, потому, что я знаю: это зеркало не разбить. Да и зачем его разбивать? Морщины — летопись моей жизни, они — сама жизнь. Хорошая или плохая, она моя, и это самое лучшее из того, что у меня есть.

Но пора идти. На склоне хребта меня поджидает тропинка. Всегда, когда я иду по ней, мною овладевает такое чувство, словно я иду к заре моей жизни. А она — лучшее, что было в ней.

Четыре нигерийских поэта

Вступление и перевод
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Нигерия — страна особой судьбы. В прошлом на ее территории возникали могущественные государства и создавались духовные ценности мирового значения. Вспомним скульптуру Бенина, украшающую лучшие музейные собрания Европы и Америки. И сегодня Нигерия, сравнительно со своими соседями, богатая, благоустроенная и развитая страна; она занимает первое место в Африке по численности населения. Ибаданский университет играет выдающуюся роль в культурной жизни всей Африки. Слава «Большой четверки» нигерийских поэтов (Окара, Шойинка, Кларк, Окигбо) распространилась далеко за пределы Черного континента. Но не все благополучно в сегодняшней Нигерии.

Молодежь страны с нетерпением ждала провозглашения независимости. Однако с уходом англичан в Нигерии мало что изменилось. Вместо «Юнион Джека» над правительственными зданиями взвился государственный флаг Нигерии, но места английских чиновников в государственном аппарате заняли обученные англичанами местные бюрократы. В то время как большинство молодых африканских государств увлеченно ищет африканские пути в будущее, правительство Нигерии, во главе которого стоит сэр Абубакар Балева, считает для себя образцом общественного устройства британский парламентский строй и активно поддерживает международную политику западных держав.

Поэтому не удивительно, что поэзия Нигерии так непохожа на поэзию других стран к югу от Сахары. Нет в ней публицистических откликов на события текущего дня, мало в ней радости самоутверждения. Это углубленная лирика, в которой часто звучат темы неосуществленной мечты, неразделенной любви, недостижимого счастья.

ДЖОН КЛАРК

■ ■ ■

И все-таки в сердце песня
Уже родилась и окрепла,
И все-таки алое пламя
Встает из седого пепла.
Вы пламя затаптывали во прах,
А оно сейчас у всех на губах.
Невырытый клубень ямса,
Забытый и запоздалый,
Недаром в земле остался —
Он даст урожай небывалый.
Довольно, довольно! Как может пестик
В ступе залиться песней,
Пока из своих одряхлевших уст
Былые владыки, дрожа и ярясь,
Льют на пылающий золотом куст
Злобную грязь?

Первый дождь в году

Дождь пришел!
Долго он брел раскаленной тропой
И вот пришел,
Горячий, живой!
Спрятались птицы, смерклось кругом,
Пальмы бушуют, грохочет гром.
Земля заждалась, перегретая, сонная,
Каменьями тяжкими обремененная.
О радостный дождь!
Вновь ощутив свою мощь,
Проснулась земля возрожденная.
Как он гладит ее и ласкает,
Как земля его ласке рада!
Как он нежно в нее проникает,
Даря ей жизнь и прохладу!
И вот он ушел. Зевнула земля...
К рассвету зазеленеют поля.

Мосту Иддо

Мост прямой, как стрела, устремленный к простору,
За собой ты ведешь
На дорогу прямую.
(Ты к тому же, как радость, на радугу чем-то похож.)
Как ты можешь, столь легкий, так легко, без укора,
Выносить на спине своей тяжесть людскую?
Сын людей,
Научи нас своей
Непреклонности гордой в часы, когда Нигер ярится.
Прочно вросший в свои берега,
Научи не страшиться врага,
Научи на колени пред бурями не становиться!

Стада фулани*

В мозгу ростки сомненья и тревоги;
Змей совести сосет меня всегда,
Когда я набредаю на стада
Угрюмых зебу на степной дороге.
Какая тайная надежда
В качающихся их горбах
Дает им силу безмятежно
Брести, превозмогая страх,
Без колебаний, без сопротивленья
За сотни миль на бойню,
Добровольно?
Я знаю, что кривые их рога
Таят в себе ту буйную стихию,
Которой покоряясь в дни лихие
Сам Нигер покидает берега.
Быть может, им уже не больно,
Когда по глади их боков
Стучат бичи проводников?
Наверно, им настолько в тягость
Сквозь джунгли и пустыни путь
В голодный смертоносный Лагос,
Что хочется им только отдохнуть.
Мне не понять печальные стада —
Ведь прежде, чем под нож
влачиться,
И мне пришлось бы научиться
Долготерпению хвоста.

* Скотоводческое племя в Северной Нигерии.

Ибадан*

Ибадан —
мешанина из золота и ржавчины,
разбросанных небрежной рукой
на семи холмах под солнцем, словно осколки
фарфоровых чашек.

ГЭБРИЕЛ ОКАРА

К Адиамбо

Я слышу голоса,
их, говорят, слышит безумный,
я слышу говор деревьев,
его, говорят, слышит знахарь.

Может быть, я безумец,
может быть, знахарь,

Может быть, я безумен,
ибо голоса овладевают мной
и зовут меня от полночной
луны и молчанья стола моего
на гребни морских волн.

Может быть, я знахарь,
видящий сквозь кору,
слышащий пенье соков,
но знахарь, чьи заклинанья
утратили силу.

А вокруг голоса и деревья
слагают одно имя. Один образ,
напечатленный молчаньем
на лик луны,
шагает
по материкам и морям.

И тогда я безумной рукой
вырвал сердце свое из груди
и красным платком сердца
махал, чтобы ты на меня
посмотрела,
но ты отвернулась.

Снежинки падают медленно

Снежинки падают медленно
из затуманенного ока небес
и опускаются легко-легко
на понурые зимние вязы. А ветки,
раздетые, зимние, медленно
под тяжестью невесомого снега
склоняются, словно плакальщицы,
ибо погребальная белая пелена
медленно укутывает бессмертную землю.

И мертвый сон поднялся украдкой
от нагретой батареи центрального
отопления и закрыл мне глаза
с легкостью шелковинки,
падающей на струю воды.

И тогда в этом мертвом сне
я увидел сон. Но я видел сон
не об умирающей земле, не о вязах,
стоящих на страже: я видел птиц.

---

* Центр Западной Нигерии.

Черные птицы летали во мне и гнездились
на кокосовых пальмах, где солнца висели
вместо орехов, а в корни пальм
вгрызались безжалостные лопаты.
И я видел: изнемогли землекопы
и склонились на корни пальм, на свои корни,
и пальмы подарили каждому по солнцу.

Но с ладони на ладонь
они перебрасывали слепящие шары
и хмурились, и на лбах их читалась
ересь — ибо солнца их были цветом
не похожи на золото!

И тогда я проснулся. Я возвратился
к медленно падающему снегу
и сутулым склонившимся вязам,
что качались на зимнем ветру,
как мусульмане в белых одеждах
за вечерней молитвой, а земля была
непостижима, как божество в усыпальнице.

Зов реки Нун

Я слышу твой зов,
я слышу его вдали,
я слышу, как он размыкает круг
этих согбенных холмов.

Я слышу твой зов,
я видеть хочу твой лик,
хочу погрузиться в твою
прохладу, или застыть
на берегу твоем
и дыханье твое впивать,
или, подобно деревьям,
смотреть на свое отраженье
и начинать свои дни
песней из уст рассвета.

Я слышу твой зов,
я слышу, как он летит,
оживляя душу ребенка,
я слышу, как он несет
клики речных птиц
над твоей серебристой струей.

Я слышу твой зов,
но слышу зов и своей реки,
ее непрестанный ток
неумолимо несет
ладью мою утлую вдаль.

Каждый уплывший год
приближает морских птиц,
зов их, последний зов,
усмирит разъяренные волны
и полог молчанья опустит
над моей перевернутой лодкой.

Звезды, что светят во мне,
услышав последний зов,
поведут ли меня к тебе,
о непреклонный бог?
О скорбный путь по реке!

Барабаны и фортепьяно

Когда у реки на рассвете я слышу
телеграфный постук лесных барабанов,
их повесть о юности, о начинаньях,
их магический ритм, неотвязный, болезненный,
как старая незажившая рана,—
я вижу пантеру, готовую броситься,
леопарда, взревевшего перед прыжком,
и охотников, спрятавшихся в траве.

И в жилах кровь закипает, бурлит,
гонит вспять мои годы, я вижу
себя малышом на коленях у матери,
себя на простой деревенской тропе,
себя в деревне, где все по старинке,
и сам я прост и крепко стою
босыми ступнями на теплой земле,
а вокруг, как живые, трепещут листья.

И тогда я слышу плач фортепьяно
в концертном зале, где, поддаваясь
его мольбам, заклинаньям и лести,
плачут люди о дальних странах,
о неизведанных новых путях...
Но фортепьяно, нежданно сбившись,
речь обрывает на полуслове,
остром, как жало клинка.

И я, потерянный в предрассветном
тумане столетья, брожу и брожу
над рекой, околдован ритмами
лесных барабанов и фортепьяно.

КРИСТОФЕР ОКИГБО

Глаза видят звезды

Глаза отверсты на море,
глаза блудного сына;
взгляд устремляется в небо —
и оттуда падают звезды.

Тайна, которой я ни с кем не делюсь,
тайна, спрятанная глубоко,
тайна, зовущая на самое дно,
тайна, которую я зарыл в прибрежный песок,
прорывается
в йодистом воздухе сквозь белый соленый прибой,
качающий камни и мысли,
качающий крабов и медуз,
тайна девы пустыни морской,
девы родной и светлой,
тайна эта зарыта в прибрежном песке.

Тень дождя
над выжженной солнцем бухтой,
тень дождя
над мужчиной и женщиной.

Любовь в разлуке

Луна встала меж нами,
Меж двумя сиротливыми соснами,
Которые жмутся друг к другу.
Любовь и луна взошли
По нашим одиноким стволам.
И мы теперь только тени,
Которые льнут друг к другу,
Но целуют один лишь воздух.

ВОЛЕ ШОЙИНКА

Смерть на рассвете

Касаясь ногами земли,
Черной и влажной, как нос собаки,
Ты пустишься в путь на рассвете.

Рассвет потушит огни,
И в неверном свете небес задрожат
Острые черные ветки.
Ноги спешат по дороге;
Скоро мотыга со свистом
Рассечет дождевого червя.

Полные тени вытягиваются,
В них ни смерти, ни грустной усталости.
Тихо возгорается небо и гонит ночь.
Обнажается день с его радостями
И тревогами. Согнувшись под ношей,
Тяжелые люди в тумане безликой толпой
Спешат пробуждать базары.
Молча идут они серыми тропами...

На это молитвенное покрывало
Пали белые, как снег, перья
Одинокого трубача рассвета,
И брызнула его кровь.
Жертва оказалась напрасной.
Боги гонят в дорогу.
Напрасно молилась мать,
Чтобы сын ее ступал по жизни
Одной ногой в печаль,
А другой в радость.

Итак, тебе в путь
На рассвете.
Ты увидишь чудесное в ту минуту,
Когда принесенный в напрасную жертву петух
Бьет крылами, бросая вызов
Людскому стремлению: в путь.

Но вот еще один призрак!
Неужели тот жалкий осмеянный человечек
В железных объятьях чужих машин,
И чужой власти —
Неужели же это я?!

К ночи

На мне твоя тяжелая рука,
В тебе не ищет вдохновенья сердце,
Не столь летучее, как облака.

Я видел, как свечение прибоя
Медуза гасит разъяренным взором
И пляшет в нем, любуясь темнотою.

А я стоял на берегу в смятенье,
Податлив, как пески, и кровь моя
Текла к земле. Зазубренные тени

Ты разбросала, Ночь, в листве сырой.
И разгораясь в пестроте твоей,
Приходит горьких чувств безмолвный рой.

Укрой меня, мне ненавистно пенье
Существ ночных! Их зов томит меня,
Непрошеный, как мрака наступленье.

Телефонный разговор

Цена как будто подходила, район
Тоже. Хозяйка божилась, что не будет
мешать, что живет в другом месте. Теперь
Оставалось признаться, кто я. «Миледи,
Мне не хочется зря вас тревожить: я — африканец».
Пауза. В трубке молчание
Благовоспитанности, загнанной в тупик.
Наконец, ее голос, жирный от губной помады,
Свистящий сквозь золоченый мундштук.
Я был гнусно застигнут врасплох:
«ВЫ ОЧЕНЬ ЧЕРНЫЙ? — Я не ошибся.—
ИЛИ, МОЖЕТ, ВЫ СВЕТЛЫЙ?» Телефон.
Прогорклая вонь общественной конуры.
Будка красная. Красный почтовый ящик.
Красный двухэтажный автобус. Я не сплю!
Хозяйке неловко от собственного молчания,
Она просит меня объясниться.
Как деликатно она меняет ударения!
«ВЫ ТЕМНЫЙ? МОЖЕТ, ВЫ ОЧЕНЬ
СВЕТЛЫЙ?»
Меня озаряет: «Вы хотите узнать, как черный
Кофе или как кофе с молоком?»
Безликое, белое, больничное «ДА».
Я говорю, настроясь на эту волну:
«Западноафриканская сепия,— и поясняю: —
Так сказано в паспорте». Пауза
Спектроскопического анализа, и откровенно,
В самую трубку: «А ЧТО ЭТО? — и, сдаваясь: —
НЕ ЗНАЮ, ЧТО ЭТО».— «Это как волосы
у брюнета».
«НО ЭТО ВЕДЬ ОЧЕНЬ ТЕМНЫЙ ЦВЕТ?» —
«Не совсем.
Лицом я брюнет. Но, миледи,
Вам надо увидеть меня целиком.
Мои ладони и пятки, как крашеные блондинки,
Это от трения. И, как ни глупо, миледи,
Моя задница словно воронье крыло,
От сидения — минутку, миледи?» Ее
Телефонная трубка взрывается в моем ухе.
«Миледи,— молю я,— а не хотели бы вы сами
Удостовериться?»

ДЖОН ОЛИВЕР КИЛЛЕНЗ

ТОГДА МЫ УСЛЫШАЛИ ГРОМ

РОМАН

Перевод с английского
В. ЛИМАНОВСКОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

Глава 17

Несколько дней спустя капитан Резерфорд собрал их всех в своем кабинете снова. Он стоял за письменным столом, и на лице его играла улыбка. На этот раз к ним прибавилось еще двое: Бык Роджерс и сержант Перри — лихой, бесшабашный сержант, заведующий пищеблоком.

Взгляд капитана пробежал по их встревоженным, напряженным лицам.

В кабинете было душно. Нервы у всех натянуты, как струна.

— У меня для вас приготовлен небольшой сюрприз. Довольно приятный сюрприз. Думаю, что он вам всем понравится.

Сзади кто-то хмыкнул, и Солли, не оборачиваясь, угадал, что это старший сержант.

— Здесь будет комплектоваться новый полк.— Взгляд капитана снова стал перебегать с одного лица на другое.

Солли не знал, как отнестись к этому известию. Под ложечкой у него снова заныло. Что бы ни случилось, его бедный желудок мгновенно отзывался на все.

— Всем вам без исключения я даю рекомендации для зачисления во вновь формируемый полк. Каждая рота Пятьдесят пятого полка должна выделить восемь солдат. Из них будут комплектоваться новые роты нового полка специального назначения. Буквально на днях вы все покинете лагерь Джонсона Генри.— Капитан прямо-таки сиял, делая это сообщение.

Шальная мысль зародилась у Солли в мозгу и заронила надежду в его сердце, и оно бешено заколотилось. Их направят на Север! И тогда он, наконец, увидится с Милли...

— Вы не ожидали, капрал Сондерс? Вместо военного трибунала — бесплатное путешествие по железной дороге. Скоро вы распрощаетесь со старым добрым Югом.

Окончание. Начало в №№ 4, 5.

«К черту армию дядюшки Сэма, к черту капитана Чарли!» — вот что думал Солли, когда с непроницаемым видом смотрел на командира.

— Так точно, сэр,— сказал он. Пусть понимает, как знает. Он уже видел себя в форте Дикс, уже голосовал на шоссе, чтобы добраться до Трентона, а может быть, даже прямо до Нью-Йорка, и до Милли, до Милли, до Милли, и до мамы тоже. Да, может быть, подвезут и до Нью-Йорка, и тогда... к Милли... к Милли, к Милли... и к маме, и в театр, где солдатам не дают стоять в очереди («Проходите в зал, сэр»), и на паром до Стейтен-Айленда, и в метро, и на воздушную железную дорогу, и в музей на Восемьдесят первой улице, и в «Савой»... И в уютный дружелюбный полумрак, где он будет вдвоем с Милли — с Милли и с его ребенком у нее в животе, и в ее теплую постель, в ее теплые объятия, к ее золотистому, теплому телу, несущему в чреве ребенка. Он будет тосковать по Фанни Мэй — этот тугой комок тоски останется теперь у него в груди навсегда. Он знал, что будет тосковать по ней вечно. Воспоминания о ней всегда будут жаром обжигать его плечи, кровью стучать в висках. Это уж навсегда.

Капитан заговорил снова, и каждое его слово летело в Солли, словно ручная граната, разбивая вдребезги его мечты.

— Там, куда вы направляетесь, круглый год лето. Зимнего обмундирования вам не потребуется. Впрочем, в Калифорнии вы тоже задержитесь ненадолго. Месяца через два... может быть, даже и раньше... вы уже будете умирать за свою отчизну по ту сторону океана. Видите, какую я проявил заботу о моих гадких мальчиках?

Калифорния была где-то за тысячи миль от всего на свете. Холодок пробежал у Солли по спине; он смотрел на улыбающегося капитана, и его душила бессильная ярость. Он понял, что произошло. Штабному начальству удалось как-то замять все это дело и избежать военного трибунала. Если бы колесо завертелось и головы начали катиться с плеч, среди них могли бы оказаться и одна-две начальственные головы, хотя бы, к примеру, маленькая головка капитана Резерфорда. Вот чего они испугались. А теперь в жертву будут принесены только головы черных.

Голос капитана смутно долетал до его ушей.

— Мы намерены послать одиннадцать солдат из нашей роты. Мы хотим быть щедры... А рота «Л» пошлет только пять человек.

— Почему вы посылаете меня с ними? — спросил Бейкер.— Я был хорошим солдатом.

— Полк комплектуется из солдат двух разновидностей,— сказал капитан.— Разновидность первая: всякого рода...— капитан цинично выругался,— а также разини, как большинство из вас. Я, конечно, ни на кого пальцем не указываю. Но к этой разновидности необходимо добавить парочку хороших солдат, так сказать, для равновесия. Ведь предполагается, что полк комплектуется из отборных. Предполагается, что они будут служить примером и помогать новобранцам. И обучать их.

Солли чуть не произнес вслух: «Черные головы ложатся на плаху». На секунду ему даже стало жалко Головастого Бейкера.

Голос капитана глухо звучал где-то вдали.

— Сопровождать новые подразделения будет лейтенант Сэмюэлс. Мне кажется, он должен быть доволен — ведь он так вас всех любит, ребята. Было бы обидно оставить его здесь. И я намерен освободить Скотти с гауптвахты и отправить вместе с вами, чтобы обеспечить вас хорошей домашней стряпней.— Он рассмеялся.— Это все-таки значительно лучше, чем трибунал, не так ли, Сондерс?

Резерфорд одержал победу по всем линиям. А Сэмюэлс получил по заслугам — не лезь в черные!

■

Для десяти солдат из расформированной «Адовой роты» и их помрачневшего лейтенанта следующие несколько дней пролетели в бешеной гонке. Одиннадцатым оказался Джим Ларкер из Десятого саперного. Он упросил своего командира перевести его в роту «А», рассчитывая, что Резерфорд пошлет его в новый полк. Ларкер был тот самый хорошенький мальчик, который вступился за Солли на автобусной станции в Эббенсвилле. После того как Солли выписался из госпиталя, они несколько раз встречались и довольно быстро подружились. Дружбе слегка мешало только то, что для нынешнего умонастроения Солли взгляды Джима были слишком идеалистичны. Но все же дружба крепла, и Солли был рад, что Джима отправляют вместе с ними в Калифорнию.

Два дня спустя их вместе с другими солдатами из остальных рот погрузили в армейские трехтонки и повезли на железнодорожный тупик, откуда их должны были через всю страну переправить в Калифорнию. Они разместились в вагонах, и после полуторачасового ожидания («Ну вот, кажется, тронулись».— «Нет еще, стоим».) поезд стал удаляться от лагеря Джонсона Генри. Они проехали Эббенсвилль, и Солли почувствовал, как слезы закипают у него в груди и подступают к горлу: он не мог отогнать от себя образ Фанни Мэй, не мог вытравить его из своего сердца, она была все время в нем, и она была повсюду, и он знал, что он дурак, что с этим покончено навсегда, что он женатый человек, и все осталось позади, и через несколько дней он будет уже за три тысячи миль отсюда, а через несколько месяцев — быть может, уже в шести-семи тысячах миль отсюда, и никогда больше не увидит Фанни Мэй Брэнтон, и это только к лучшему. Она забудет, и он забудет. Но это было легко только на словах. Он чувствовал, что оставляет большую часть себя в этом маленьком южном городишке и увозит с собой что-то, чем он никогда прежде не обладал. Вот что с ним здесь произошло. Он встал, прошел в другой конец вагона и на площадке столкнулся со своим Великим Белым Другом.

— У меня для вас хорошие новости, капрал.

Эббенсвилль уже остался позади, и поезд покачивало и потряхивало, и колеса повизгивали и поскрипывали: «Фанни Мэй, Фанни Мэй»,— и вокруг были зеленые и ржаво-бурые поля, а вдали с холмов пламенеющая осень надвигалась на них, словно лесной пожар.

Солли безжизненно рассмеялся:

— Не хотите ли вы сказать, лейтенант, что война кончилась?

— Моя новость не хуже, капрал Сондерс. Полковник решил, что все мы будем счастливы, если наш друг останется с нами. Вы найдете капитана Резерфорда в переднем вагоне. Он по-прежнему наш ротный командир.

Солли глубоко вздохнул и медленно выпустил воздух.

— Что ж, новость, в самом деле, кажется, не дурна.

Но по чести говоря, ему было совершенно наплевать на всех командиров роты, и помощников командиров, и лейтенантов. Провалиться им всем.

Он снова подумал о Фанни Мэй, и кровь бросилась ему в лицо, и он повернулся спиной к лейтенанту, когда поезд издал скорбный протяжный гудок, подпрыгивая, покачиваясь, чуть ли не соскакивая с рельсов в своем неистовом стремлении унести их прочь из Джорджии сквозь темно-зеленую, тронутую золотым багрянцем чащу.

Осень пришла. И он покидает этот край.

Прощай, Фанни Мэй! Дорогая, любимая Фанни Мэй.

Часть вторая

ВСХОДЫ

Глава 1

Впервые за всю свою службу в армии Солли вздохнул свободно.

Целых пять дней они как одержимые убивали время, азартно бездельничали, любовались видами Америки, словно заправские туристы, и ловили последние дни уходящей осени, и Солли не терзался никакими проблемами, брал жизнь, как она есть. В калифорнийский городок Монтерей они прибыли под вечер, когда над Тихим океаном, на краю Западного полушария, адским пламенем полыхала вечерняя заря. У Солли перехватило горло, и дрожь пробрала его от этой картины агонизирующего дня. Он даже не заметил, что поезд остановился. Сколько же миллионов и миллиардов дней потонуло в этом бездонном океане?

Надрывались гудки. Роджерс орал:

— Эй вы, пошевеливайтесь!

— Проснись, Солли, нашел время мечтать,— сказал Червяк.— Гляди, сюда прет этот пучеглазый гермафродит — наш дежурный сержант Бык Роджерс.

А Бык кричал, сделав из ладоней рупор:

— Марш из вагонов! Все по машинам! Эй, солдат, хватит тебе ковырять в заду!

Отдых кончился.

Возбужденные солдаты высыпали из вагонов и полезли на грузовики, и те помчали их вдоль берега, и океан кипел и пенился, волны лизали соленый край материка, и бились о вековые прибрежные скалы, и снова убегали в море, и возвращались обратно. Величественная красота побережья пленила даже усталых солдат — Червяк и тот прикусил язык, временно, разумеется. И даже Скотти... Некоторое время грузовики шли вдоль извилистого берега, затем дорога, описав широкий полукруг, вынесла их на плоскогорье, и голубовато-серый океан скрылся из виду. Слева под горой раскинулась неописуемой красоты долина — зеленая, желтая, оранжевая, голубая, фиолетовая... Она лежала чувственно-плодородная в своем безмятежном буйстве и бесстыдной красоте, и казалось, что все, как в сказке, растет прямо на глазах...

Громыхающие грузовики доставили солдат в форт Орд, и следующие несколько недель пролетели напряженно и неистово и куда более быстро, чем путешествие через весь американский континент.

Назавтра в полдень более полутора тысяч цветных солдат — черные, шоколадные, светло-коричневые и желтые; высокого, низкого и среднего роста; южане, северяне и выходцы из Восточных и Западных штатов (последних, правда, было маловато), шалопаи, жулики и честные и старательные, в том числе и несколько энтузиастов-нестроевиков — словом, все-все стояли, неловко переминаясь с ноги на ногу, на обширном сверкающем зеленью плацу, над которым по-летнему кружила мошкара. Их собрал новый полковой командир подполковник Роберт Басби, по кличке Казанова. Это был уже немолодой, толстый, приземистый человек ординарно-буржуазной внешности, возлагающий последнюю надежду на армию. Он стоял на высоком деревянном помосте, нервно обводя глазами солдатские ряды, и чем-то напомнил Солли раскормленного бульдога, из тех, что важно прогуливаются на поводке со своими надменными хозяйками по фешенебельным улицам Нью-Йорка, обрамляющим с востока и запада Центральный парк. У командира

была короткая, толстая, жирная шея, и голос тоже напоминал лай бульдога. Он держал речь и то и дело указывал усталым, потным солдатам, что их ждет чрезвычайно важная миссия.

— Вы особый полк — де-сант-ники...

Он сказал, что им придется пройти четырехмесячный курс обучения десантному делу в сокращенный срок — четыре-пять недель, если не меньше.

— Вы являетесь первым негритянским десантным полком в армии Соединенных Штатов, и я надеюсь, вы все понимаете высокое значение дела, которое вам предстоит. Вы особый полк — де-сант-ники.

Как будто рекламировал мыло по радио!

— Через четыре-пять недель вы должны стать лучшими пловцами, лучшими стрелками, лучшими водителями машин, лучшими, черт возьми, солдатами армии Соединенных Штатов.

Подлиза этот лавочник!

Их поместили в восточном секторе форта Орд в маленьких палатках пирамидальной формы, по пять человек в каждой. В 15-м десантном полку числилось двенадцать рот. Палатки брали начало на вершине холма и сбегали вниз веером в двенадцать рядов. В каждой верхней помещалась ротная канцелярия. Внизу у подножия холма, между высоких, стройных, чуть колышащих свои зеленые кроны пальм, стояло длинное одноэтажное здание гарнизонного бара, похожее на большой универмаг. На фоне густой глянцевитой листвы оно напоминало декорацию музыкальной комедии с участием Боба Хопа и Дороти Ламур — этакие южные тихоокеанские острова в голливудском представлении... А на гребне холма, на краю лагеря, приютился крошечный, почерневший, еле приметный барак, не кичливый, скромный и радушный. Это был гарнизонный бар 15-го негритянского полка. Красивое же здание внизу предназначалось строго и исключительно для белых.

Вечером после речи подполковника Солли с товарищами пошли в свой бар, носивший имя Букера Т. Вашингтона. В баре была такая толкучка, что, по шутливому замечанию Червяка, разговаривать можно было только двигая челюстями вверх-вниз, но, боже сохрани, не влево-вправо. Словом, давка в баре была, как в нью-йоркском метро на станции «Юнион-сквер» в пять часов вечера. Надо было основательно поработать локтями, чтобы протиснуться к стойке, за которой четыре молоденькие негритянки, растерянно улыбаясь, пытались обслужить сотни две разношерстных посетителей в солдатской форме — хмурых и веселых, выкрикивающих брань и отпускающих любезные шуточки,— а добравшись, наконец, до стойки, ты узнавал, что того, что тебе надо, уже нет, или же сам успевал забыть, чего тебе хотелось... Когда Солли вместе с Джимом Ларкером и Червяком выбрался из этой давки, у него здорово болели бока. В эту минуту ему вдруг живо вспомнилось полицейское управление в Джорджии, и седовласый полковник, и жгучая боль от дубинок, колотивших его по бедрам, и чувство безнадежного, бессильного отчаяния, которое он тогда испытал.

Они спустились с холма и бесцельно побрели в сторону роскошного бара, освещенного, как Таймс-сквер, и почти пустого. Из помещения неслись оглушительные звуки радиолы — Инк Спотс пел песенку десантников для поднятия их боевого духа, а пальмовые ветви исполняли причудливый танец, покорно подчиняясь неустанно овевающему их прохладному ветерку.

Стоявший у входа солдат в форме военной полиции сказал:

— Стоп, ребята, вам сюда вход воспрещен.

У Солли в уме рождались слова, навеянные звуками музыки:

Друзья, вы слышите песню...

— Что значит — воспрещен? — сказал Червяк.— Я тут не вижу никакой демаркационной линии.

Вот за что мы идем воевать...

— Не я выдумываю правила, приятель. Я такой же солдат, как ты. Что мне велят, то и делаю.

— Да что тут, собственно, такое? — спросил Солли, закипая гневом.— Загородный клуб для избранных, что ли?

И когда поймем причины...

— Право, ребята, я же не против вас,— сказал полицейский, которому уже становилось не по себе.— У вас есть свой бар, вон там, на горе.

«Какой вежливый храбрец, паскуда,— подумал Солли.— Повесил себе дубинку с одного боку, пистолет — с другого...»

Мы разучимся ворчать...

В пустом зале бара надрывался Инк Спотс. За стойками томились голубоглазые блондинки и бледные кареглазые брюнетки. Этим молодым особам нечего было делать: в зале было не больше двадцати солдат.

— Но здесь же почти нет посетителей,— уже начинал горячиться Солли.— Барышни стоя спят... Мы сделаем доброе дело, если зайдем и поддержим коммерцию. Оживим слегка это заведение...

— Мы ведь солдаты, как тебе известно, а это, кажется, гарнизонный бар для солдат,— спокойно разъяснил полицейскому Джимми.

Но тот уже тоже начал выходить из себя, его веснушчатое лицо побледнело.

— Да, но не для *таких* солдат, как вы,— сказал он вызывающе.— Катитесь отсюда, ишь, умники. Подобру-поздорову, ладно?

— А что, если нам нравится стоять здесь и смотреть на тебя? — сказал Червяк.— Ты парень ничего себе, видный!

Веснушчатый полицейский поглядел на Червяка, потом перевел взгляд на Солли, затем на Джимми и снова уставился на Червяка. Он нерешительно положил руку на дубинку, видимо, не зная, как выйти из щекотливого положения, в которое поставили его эти наглые солдаты-негры. Делать им нечего, вот и связались с ним, и сами не понимают, чем это пахнет...

— Нравится, так стойте,— сказал он, и, скрестив руки на груди, устремил на них злобный взгляд, и встретил такие же взгляды, и увидел взбешенные лица. И уже никого не радовал калифорнийский вечерний бриз. Полицейский постоял-постоял и повернулся к ним спиной, положив одну руку на пистолет, другую — на дубинку. Солдаты тоже еще немного постояли, злые и расстроенные, а потом зашагали к себе на гору.

На следующее утро, сразу после завтрака, 913-я рота в полном составе отправилась на автомобильное поле, где солдаты впервые увидели амфибии. Начальник транспортной части лейтенант Грэхем залез на одну из машин и обратился к солдатам с речью. Это был плечистый брюнет, родом из Нью-Джерси, с испорченным произношением, характерным для его родных мест. Он тоже напомнил им, что они «особые» и рассказал, что амфибия — машина, на которой он стоит,— произвела революцию в десантных операциях. Это военный грузовик, сказал он, к которому приделана лодка и который может и плавать по воде и ходить по земле.

— Пройдет несколько недель,— продолжал лейтенант Грэхем,— и вы освоите в совершенстве эти машины на суше и на море. Вы должны изучить их вдоль и поперек, не теряя ни минуты. Завтра мы уже не бу-

дем нужны, мы нужны сегодня, сейчас. Ваш полк потому и считается полком специального назначения, что он десантный.

«Вот почему для нас устроили спецбар на горе: шибко мы специальные!» — подумал Солли.

Неделя за неделей летели, как в лихорадке, еще суматошнее, чем в приемно-распределительном лагере в форте Дикс. Все торопились, словно на пожар. Сумасшедшая горячка повсюду. От зари до зари их гоняли с одного занятия на другое. Колонны амфибий с грохотом проносились по роскошному побережью и влетали прямо в бурные волны. Местные жители только поеживались при виде пятидесяти черных чудищ, возникавших внезапно из морской пучины и несшихся во весь опор по шоссе. А ночью, во время маневров и репетиций десанта, это зрелище было еще страшнее: машины шли на берег с выключенными фарами, вздымая винтами фосфоресцирующую пену, и солдаты, еще более чем всегда похожие на морских чертей, орали непонятные слова: «А-гибби-ди, а-гибби-до!» — и мчались на своих чудищах по шоссе к лагерю, а рев моторов мог бы мертвых поднять из могил.

Время летело так быстро, что терялся счет дням. Между занятиями по плаванию и стрельбе, и учебными десантами, и строевой подготовкой, и физической подготовкой, и джиу-джитсу, и тактическими занятиями, и занятиями по ориентации на местности не оставалось ни минуты, чтобы о чем-нибудь или о ком-нибудь подумать. Даже о Фанни Мэй и о Милли. Все пробавлялись слухами, бешено плодившимися в клозете. Сегодня нас отправляют... Нет, остаемся... Собирай свои монатки... Прозеваешь, на корабль опоздаешь... Аляска, жди гостей!..

В первую неделю в форте Орд Солли получил одно письмо от матери, три — от Милли, но ни строчки от Фанни Мэй. Во втором письме Милли сообщала, что она, может быть, приедет в Калифорнию повидаться с ним, пока его не отправили неизвестно куда и неизвестно насколько. В последнем письме она писала, что уже выяснила, как заказать билет и сколько стоит проезд, и договорилась в конторе, чтобы ее отпустили. Солли лежал на койке у себя в палатке и рисовал себе свидание с Милли. Он представлял себе, как Милли будет ждать его по вечерам в поселке форта Орд — на полпути между лагерем и Монтереем, где был расквартирован унтер-офицерский состав. Как живую видел он ее перед собой, и блаженное тепло разливалось у него по телу. Она его жена, и он не смеет мечтать ни о какой другой женщине, кроме нее. Но за каким чертом тащить ее сюда, если он даже не знает толком, что с ним будет завтра, не знает, когда может прийти приказ об отправке за океан? Солли вскочил с койки, надел рубашку и пошел искать своего Большого Белого Друга.

Сэмюэлс очень ему помог. Во-первых, он сообщил Солли, что ему, как капралу, разрешается вызвать жену на свидание, причем проезд в спальном вагоне оплачивает военное министерство. Его Большой Белый Друг пообещал оформить вызов завтра утром. Что же касается срока отправки, то это знает только бог да, может быть, генерал Бафорд Джек. Так что уж это на ваш риск и страх... Не исключено, что миссис Сондерс будет жариться в поезде три тысячи миль совсем зазря — когда она приедет, ее супруг может оказаться уже где-нибудь далеко в океане. Куда их направят? Это тоже известно одному богу и генералу...

Солли вернулся к себе в палатку. Он напишет ей вечером и посоветует сесть на первый же поезд. Как это будет замечательно, если она приедет! Но что, если она опоздает и его уже ушлют! Он лежал на койке, чувствуя, как его прошибает холодный пот при одной мысли об этом. И вдруг какой-то адский шум, крики, топот бегущих ног...

— Скотти! Скотти!

— Вот черт какой!

— Скотти!

Кто-то вбежал в палатку.

— Пошли скорей, Солли! — Червяк заставил Солли подняться с койки.

— Да пошел он к черту, этот Скотти,— еще пытался сопротивляться Солли.— Пусть себе валяет дурака, если ему нравится. У меня есть заботы поважнее.

— Пошли, Солли, не будь трусом! — И Червяк потащил его к выходу, и Солли нехотя побежал за ним. Между тем из всех палаток уже повыскакивали солдаты — кто с палкой, кто с ножом, а один даже с бейсбольной битой. Когда Солли с Червяком прибежали вниз, там уже собрался почти весь полк. А капрал технической службы Скотти драл глотку так, как умел только он один.

Рядом с ним в толпе солдат стояли двое дюжих военных полицейских и капитан Страусмен, командир 915-й роты,— дежурный по полку. В сверкающем неоновыми огнями гарнизонном баре играла радиола и нежно мяукал Бинг Кросби, пальмовые ветви плясали в такт, и только Скотти портил всю картину. Такую живописную картину...

— Нет, мы так не желаем! — рычал Скотти.— К чертовой матери! Вот вы, будьте вы трижды прокляты, собираетесь отправить нас к черту на рога, чтоб мы там умирали за вас, а сами имеете нахальство построить войсковой бар в двух шагах от наших палаток и не пускаете нас туда! Возмутительно!

— Я тебе приказываю замолчать, солдат! — крикнул капитан Страусмен.

— Не смейте повышать на меня голос! — орал Скотти.— Не смейте повышать на меня голос! Мы будем ходить в этот бар или разнесем его в щепы!

— Тихо, солдат! — остановил его подошедший к ним майор.

— Это еще кто? — Скотти сразу развернуло в другую сторону.

— Тихо, солдат,— повторил майор спокойно.— Тихо, я, кажется, понимаю, в чем дело. Меня зовут майор Стивенс, я родом из Бостона, с Севера и у меня нет расовых предрассудков.

Скотти поглядел на майора, вытянулся во фронт, сорвал с головы пилотку и отдал честь.

— Отлично, капитан, сэр, я вас слушаю, но пускай этот... из Джорджии убирается отсюда к чертовой матери.— И он показал на апоплексического Страусмена, стоявшего от него в двух шагах.

Дрожа от ярости, Страусмен сказал:

— Майор, этот солдат подлежит аресту за неповиновение и подстрекательство...

— Ладно, капитан, я разберусь сам,— сказал майор.— Прежде всего надо, чтобы они все разошлись по своим местам.

— А вы меня не обманете, сэр? — с опаской спросил Скотти.— Вы из Бостона...

— Все будет по справедливости, можешь мне поверить, солдат. Ну, ребята, давайте расходитесь. Марш по ротам. Расходитесь, расходитесь... А мы с вами, капитан, поедем вместе с капралом в штаб гарнизона и постараемся разобраться в этой истории. Кстати, я — старший адъютант базы...

— Мне это известно, сэр,— начал было Страусмен,— но...

— Разрешите обратиться с последней просьбой, майор, сэр? — самым кротким тоном произнес Скотти, в первый раз назвав майора в соответствии с его званием.

— Что еще, солдат? — спросил тот.

— Разрешите капралу Сэнди пойти с нами. Дело это у нас общее, а он может объяснить все куда лучше, чем я. Он человек образованный,

как вы, сэр, он наш ротный юрист, и ротный писарь, и всякая такая петрушка.

«И какого черта я ввязался в эту историю?» — сердито думал Солли.

Майор кинул на него взгляд.

— Вы тоже участвовали в этих беспорядках, капрал?

— Да, сэр,— волнуясь, ответил Солли. Что еще ему оставалось? Не сказать же: нет, белый господин, сэр, меня эти негритянские проблемы не касаются... А все-таки надо было остаться в палатке.

Их посадили в машину и повезли на другой конец лагеря. Был прохладный вечер, и полная луна проливала золотое сияние сквозь ветви пальм.

— Я тебя предупреждал,— сердито зашептал Солли,— если вздумаешь валять дурака, не смей меня впутывать!

— Пардон, вы что-то сказали? — спросил Скотти с ангельски-невинным видом.

Солли подумал: «Будь у меня пистолет, я бы его прикончил. И меня оправдали бы, честное слово!»

Когда они подходили к кабинету майора, Скотти сказал шепотом:

— Говори теперь ты за нас, капрал Сэнди. Я уже достаточно им всего наговорил!

Майор уселся за письменный стол. Капитан Страусмен сказал:

— Я считаю, майор, что это дело должно быть передано в военный трибунал.

— А я считаю, капитан, что сам обладаю достаточными полномочиями, чтобы решить этот вопрос,— ответил тот.

— Конечно, сэр, но этот капрал Скотти — известный смутьян. В личном деле...

Солли поглядел на Скотти, стоявшего с пилоткой в руках, презрительная усмешка кривила его губы, в глазах вспыхивали сумасшедшие огоньки, лицо выражало твердую решимость. Солли вдруг понял символ веры этого человека: «Здесь мой дом, не уступлю ни дюйма земли ни одной собаке. Кто меня тронет, пусть пеняет на себя. Я защищаю свою честь».

— Давайте послушаем прежде солдат, капитан. Как офицеры, мы можем обсудить это дело после их ухода. Итак, рассказывайте вы, капрал.

Он обращался к Солли, и тот подумал: а что, собственно, рассказывать? Какое имел право Скотти впутать его в эту грязную историю? Ему вдруг захотелось сказать: «Мне нечего рассказывать, ваша честь, я случайный прохожий, господин судья».

— Ладно, малый, мы тут не можем сидеть с вами всю ночь,— сказал капитан Страусмен.— Тебя-то вообще это все не касалось, пока ты не сунул свой нос.

Резкий голос капитана, словно раскаленными щипцами, ворошил тлеющий пепел памяти, рассыпая горячие искры, раздувая пламя и напоминая, что Солли должен им сказать. С болезненной отчетливостью перед ним воскрес полицейский участок в Эббенсвилле, и сразу отвратительная дрожь пробежала по мышцам бедер. «За нас — за всех нас, Скотти, черт побери, ты это правильно сказал! За нас! Спасибо тебе, Скотти! За Червяка, за Клинта, за Джимми Ларкера, за Роджерса и за себя. И даже за Головастого Бейкера!»

— Простите, капитан,— сказал Солли, стараясь скрыть бурливший в нем гнев.— Я считаю, что меня касается все это — от начала до конца.— И подумал: «Меня это касается, все равно — хочу я или нет. Не стану я больше поджимать хвост».

— Ну, рассказывайте, капрал,— сказал майор.

— Давай,— сказал Скотти,— расскажи все по порядку. Не скрывай ничего.

— Майор, сэр,— заговорил Солли,— в любой час, в любую минуту, нас, солдат Пятнадцатого полка, могут отправить куда-нибудь в безвестную даль — воевать и, быть может, умереть за нашу великую страну, за свободу и демократию.— Он уже не мог больше говорить спокойно, лицо его пылало, негодование теснило грудь.— Нас призывают сложить голову на чужой земле за то, чего мы начисто лишены здесь, у себя, в родной стране.

— Вот, вот,— с жаром поддержал его Скотти,— говори за весь народ, капрал Сэнди!

— Ты будешь говорить, когда тебя спросят, солдат,— оборвал его майор.

Гнев Солли нарастал, и огонь разгорался. Он жег его изнутри. И в то же время у него было чувство странной опустошенности.

— Нас как будто призвали в армию, чтобы воевать против расистских идей Гитлера, а мы видим, что те же самые идеи питают и нашу так называемую демократическую армию. Можно только удивляться, что солдаты-негры не стали во сто раз злее!

— Ближе к делу, солдат,— сказал Страусмен.

— Именно к делу я и говорю, капитан, стараюсь, как могу, выразить это наилучшим образом,— Солли перевел дыхание и продолжал: — Очень жестоко это было, сэр, увезти нас за три тысячи миль от дома, чтобы здесь учить нас умирать и поставить здесь же, перед самым нашим носом, этот роскошный бар, для которого мы недостаточно хороши.— Голос Солли дрожал, лицо было мокро от пота, но, черт возьми, на душе у него было чудесно!

— Сентиментальные разглагольствования в армии неуместны,— сказал капитан Страусмен.— Основа армии — дисциплина, и вы, солдаты, совершили тяжкие преступления: вы проявили неповиновение и подстрекали других к мятежу. Мы будем сейчас рассматривать только это.

Тут Скотти нежным, чарующим голоском обратился к майору:

— Я не знаю, кто здесь главный, сэр,— вы или капитан. Он все время всех перебивает.

— Помолчите,— сказал ему майор, пристально глядя на Солли.

— Майор,— сказал Солли,— как бы вы себя чувствовали, если бы вас призвали на военную службу и стали бы обращаться с вами, как с грязной скотиной, на которую каждый может плевать? Поставьте себя на наше место!

Майор сидел, вперив в него строгий взгляд. Потом посмотрел на Скотти и еще раз на Солли.

— Это все, солдат?

— Так точно, все, майор, сэр.

— А вы, капрал э... э?

— Капрал технической службы Авраам Линкольн Скотти. Я самый лучший повар...

— Что вы желали бы сказать?

— Да ничего, сэр,— ответил Скотти очень серьезно.— Я не речист, сэр. Я от природы застенчив, зато у нас есть вот он, капрал Сэнди, который может все сказать и за меня, и за всех нас, бедных, обиженных цветных солдат, которых пригнали сюда в такую даль. И слава богу, сэр, я...

— Ладно, солдат, хватит.

Майор повернулся к Солли:

— Так вот, капрал. Приказываю вам отвести этого солдата обратно в роту и не выпускать оттуда до особого распоряжения, и, начиная с завтрашнего дня, давать ему ежедневно наряды на кухню, пока рота не покинет форта Орд. А я свяжусь с вашим командиром завтра утром.— Майор снова обратился к Скотти.— И помните, что вы отделаетесь чрезвычайно легко, если не получите более сурового наказания, чем это. Нет сомнения, что вы самый распущенный, самый недисциплинированный солдат и самый злостный бунтарь в американской армии.

Скотти уже раскрыл было свой дерзкий рот, но Солли его опередил, заговорив поспешно:

— Майор... сэр...— И сам не знал, что сказать дальше.

— А что касается вопросов, которые вы здесь так красноречиво подняли, капрал,— сказал майор,— то они выслушаны доброжелательно и будут немедленно приняты во внимание.— Дальше голос майора стал подчеркнуто жестким, и он стукнул ладонями по столу: — И тем не менее армия не может допустить и никогда не допустит, чтобы какой-то солдат начал тут устанавливать свои порядки. И плевать я хотел на самые развысокие цели, которые он якобы себе ставит! Это касается и вас обоих, и любых нижних чинов, независимо от расы, религии и цвета кожи. Ясно?

— Вполне ясно, сэр,— ответил Солли.

— Вы оба свободны. Немедленно возвращайтесь в роту.

— А кто нас отвезет, сэр? — спросил Скотти самым невинным тоном.— У меня очень болят ноги.

— Это меня не касается, солдат. Марш отсюда, отправляйтесь в вашу роту!

— Слушаю, сэр,— сказал Солли, беря Скотти за локоть.— Пошли, черт тебя дери! — прошипел он ему на ухо.

И они двинулись в дальний путь к себе в Восточный гарнизон. Шли молча, не разговаривали. Уже настала теплая калифорнийская ночь. На этот раз Скотти, очевидно, уразумел, что молчание — золото. Злоба росла в Солли, и он хотел, чтобы маленький неистовый солдат дал ему какой-нибудь повод выместить эту злобу на нем. Его злило, что самый большой краснобай во всем полку вдруг словно воды в рот набрал. Внезапно он обернулся к своему спутнику и схватил его за воротник.

— Почему это с первой минуты в армии я все время попадаю в какие-нибудь идиотские истории с тобой?

Скотти посмотрел на него робким взглядом — ну совсем добренький маленький львенок, которого обидели,— и добродушно улыбнулся:

— А я как раз тебя хотел спросить это самое, капрал Сэнди. Теперь я буду держаться от тебя в стороне. Ты слишком горячишься в разговорах с белыми. С тобой, того и гляди, попадешь в беду.

Солли отвернулся в сердцах, и они зашагали дальше.

— Когда-нибудь все-таки ты хватишь через край...

— Ну и что ж? Пускай посадят в Ливенвортскую тюрьму вместо отправки на фронт. Плакать не стану!

Солли приостановился и снова посмотрел на Скотти, и впервые он вдруг увидел его по-настоящему, до конца. Это была одна из самых светлых минут в его жизни — все неожиданно приобрело какую-то особенную ясность. Скотти был единственным из всех американских солдат, каких когда-либо видел Солли, который не боялся открыто схватиться с Дядей Сэмом, сказать ему: «А ну-ка тронь!» Он не стремился к карьере, не ждал повышений, не требовал себе никаких привилегий, ни нашивок, ничего. Ничего не требовал Скотти у белых, кроме одного: чтобы его признавали за человека.

■

На следующий вечер роскошный гарнизонный бар был открыт для всех американских солдат, за исключением одного только Скотти, которому было запрещено выходить за пределы расположения роты.

Его снова разжаловали в рядовые и направили работать на кухне. Еще через два дня бар на горе закрыли вовсе, а буфетчиц-негритянок перевели вниз.

Глава 2

Стремительно летели дни, и никогда не хватало времени управиться со всеми делами. В канцелярии царил хаос, а между тем при отправке на фронт личное дело каждого солдата должно было быть в образцовом порядке. Требовалось, чтобы вся подготовка, которую проходили солдаты, была отражена в личном деле каждого, даже если фактически он этой подготовки и не прошел. Справки о присвоении стрелковой категории, о прохождении курса движения одиночными машинами и небольшими группами, курса плавания и дзюдо, десантной и штурмовой тренировки, справки из зубной амбулатории, справки о медосмотре и прививках, рапорт об осмотре оружия... Возня, возня, возня. В роте был солдат Бэлл, который на полигоне отказался стрелять из винтовки. Ему подделали справку. Девятнадцатилетний солдатик Бэнкс никак не мог научиться плавать. Ему тоже подделали справку. Так приказал капитан. Солли проходил всю изнурительную тренировку наравне с остальными, дабы его личное дело ничем не отличалось от прочих. За день он так уставал, что отдых представлялся ему чем-то при жизни уже недостижимым. Каждый вечер он уходил из канцелярии часов в восемь, а то и позже, и плелся в бар, где выпивал кружку пива и устало улыбался приветливой миловидной женщине за стойкой, вспоминая при этом Фанни Мэй, а потом шел обратно к себе на гору и заваливался на койку, но от усталости долго не мог заснуть.

Однако у него нашлось все-таки время выхлопотать вызов для Милли — помог лейтенант Сэмюэлс и отчасти капитан Резерфорд. Отношения Солли с капитаном стали ровнее, спокойнее, после того как оба трезво оценили положение вещей. Резерфорд вынужден был признать, что лучшего ротного писаря, чем Солли, пожелать нельзя. А высокомерие и карьеризм требовали, чтобы у капитана Резерфорда все было только самое лучшее. Следовательно, раз уж придется работать вместе, надо похоронить прошлое, по крайней мере хоть для виду. Солли это понял и принял. Он не вел себя больше, как обиженный ребенок. Он мужчина и не может пренебрегать военной службой, как Скотти. А раз уж он вынужден служить, надо использовать все возможности, которые эта служба предоставляет.

Накануне предполагаемого выезда Милли Солли позвонил ей по телефону. И в этот же вечер по лагерю прогремел набат: через неделю они выступают. Первый раз Солли услышал это в уборной, где обычно плодились слухи, и не придал этому значения. Но, услыхав то же самое в столовой, он ощутил легкую тревогу. Потом об этом шел разговор в баре — и там уже говорилось не о неделе, а всего о пяти днях. Солли вышел из бара и отправился искать капитана. Резерфорд подтвердил, что слышал то же самое. Поручиться, что слух верен, он не мог. Но ему известно, что получен приказ держать полк в круглосуточной боевой готовности.

— Как же так, а ко мне приезжает жена! — сказал Солли.— Она уже в пути.

— Ничем не могу вам помочь,— ответил капитан.— До отправки может пройти и три недели, и три месяца, а может, наоборот, и три дня. Человек предполагает, а бог и армия располагают. Это-то я и стараюсь вам внушить все время, но вы пока предпочитаете вести себя так, словно это не армия, а отряд бойскаутов...

Солли вернулся в бар и связался по телефону с Нью-Йорком, хотя знал, что Милли уже уехала. Он прождал около часа, а когда, наконец, Нью-Йорк ответил, дома у него никто не отозвался. Солли направился к стойке и пил пиво до самого закрытия. Шагая к себе на гору, он был уверен, что, когда Милли приедет, его здесь уже не будет.

И днем и ночью все были как на иголках. Если солдат, сидя у себя в палатке, вдруг слышал, что кто-то бежит по улице лагеря, он мгновенно выглядывал наружу узнать зачем, куда... Каждый ловил слухи, как собака блох, проявляя при этом еще большую нервозность. На исходе третьего дня пришел приказ. Они выступают в район сосредоточения, в лагерь Стонмен; отправка назначена на следующие сутки после того, как должна была приехать Милли. Солли тихо сходил с ума от злости и отчаяния. Он выпивал столько пива, словно его собирались объявить под запретом... Она приедет, а он уедет. Человек предполагает, а армия располагает... Что ж, может, он и сам начнет располагать? Подделает документы, похитит «джип» и сбежит с Милли сперва в Мексику или Гватемалу, а оттуда — в Южную Америку. Иногда Солли казалось, что он еще верит в благородные цели далекой войны против фашизма. Иногда он даже думал с тревогой об ее исходе. Но у него не было преданности той армии, в которой он служил.

Мысль о побеге увлекла его, и он достал карту. Даже ночью, даже во сне, он продолжал строить планы. И они были не так уж фантастичны: каждый день Солли слышал о каких-то солдатах — и белых, и цветных,— которые похищали «джипы» и штабные машины и скрывались в неизвестном направлении. Он рисовал себе, как они с Милли мчатся по роскошному побережью Южной Калифорнии, пересекают горы... но тут лицо Милли начинало странно меняться, и это уже была не Милли, а Фанни Мэй, и он просыпался и знал, что никуда не убежит, что у него не хватит духу. Он ведь даже ни разу не рискнул на самовольную отлучку, как другие солдаты его роты, например, Скотти, который исчез через два часа после того, как им сообщили приказ. Уходя, он сказал Солли, что берет себе сам месячный отпуск, но не дезертирует — он просто физически не выносит вида белых морских кораблей, а воду любит только в ограниченном количестве, скажем, в ванне...

Подчас Солли ужасно жалел, что он не такой, как Скотти. Но он не мог, он был образованный. И строил планы на будущее.

Чтобы встретить Милли в Салинасе, Солли попросил у капитана его «виллис». Поезд опаздывал на два часа, и Солли пошел в пивную возле вокзала и малость хватил там лишнего. Во всяком случае, то ли от виски, то ли еще от чего, но когда поезд подошел и Милли спрыгнула на платформу, он подумал: «Господи боже! Еще красивее стала! Невероятно». Он обнял ее, прижался губами к ее горячим губам, и у него мелькнула мысль, что это ему снится.

— Ты здесь... Ты здесь...— твердил он и больше ничего не мог придумать. «Вот посадить бы ее в машину и укатить с нею в Гватемалу, а оттуда в Южную Америку. В Венесуэлу или в Аргентину».

— Да, я здесь, как видишь — цела и невредима, и мне все кажется, что на меня тут смотрят со всех сторон.

— Ты... Ты красавица!

— Какая там красавица! Все выдумываешь. Устала смертельно. И хоть бы эти местные перестали таращить глаза!

— Ну, как малютка? — спросил он заботливо.

— О ком ты спрашиваешь — обо мне или о нем?

Солли повел ее в маленький деревенский ресторанчик неподалеку и заказал колоссальный обед, но сам ничего не ел и только сидел, смотрел на нее, упивался ее близостью, не замечал ни поданной ему еды, ни любопытства местных жителей, откровенно глазевших на красивую пару. А Милли была страшно голодна и съела два обеда — и свой, и его. Прежде она всегда отличалась очень скромным аппетитом. Так ведь она же беременна, глупый! И эта легкая полнота делает ее еще красивее.

Они ехали вдоль полей и виноградников, и волнисто-округлые перекаты холмов, и земля, вся в зеленом, желтом, красном, синем и фиолетовом одеянии, в блистающем своем цветении, раскинувшаяся по обеим сторонам дороги, умиротворенная в своем плодородии, любовно приветствовала Милли, овевала ее своим нежным дыханием, и казалось — приглядись, прислушайся и заметишь, как растет кустарник и наливаются соком плоды. Но Солли хотел говорить о городе — тоже прекрасном, хотя другой красотой, и тоже полном жизни, только иного рода. Он вспомнил свой Город, свой страшный Город — холодный, зловонный, шумный, неистовый, равнодушный и жестокий, город, отданный во власть гангстерам, город — «не-лезь-в-чужие-дела», город — «ты-от-меня-не-спрячешься», кипящий, бурлящий, толкущийся на месте в яростном, бешеном стремлении в никуда.

Он снял одну руку с баранки и обнял Милли.

— Ну, как там наш город?

— Когда я уезжала, шел снег, а ты знаешь, как противно, когда в Нью-Йорке снег. Я рада была уехать.

Она окинула взглядом потонувшие в зелени поля, вдохнула напоенный ароматом листвы и трав воздух.

— Просто не верится, не верится — и все. Всего четыре дня назад я была в Нью-Йорке, шел снег, было гадко и холодно, и вдруг — такая красота. Эта земля, это солнце...

— Ты расскажи мне, как там в городе — не погода, а вообще. Что слышно?

Она внимательно поглядела на его повернутое к ней в профиль лицо.

— Да ничего. Снег, и все.

— А как наш малютка, как мама?

— Мама — превосходно. Здорова, как лошадь.

Его мать никогда не отличалась таким недюжинным здоровьем.

— Она просила тебе передать,— продолжала Милли,— чтобы ты не лез в герои. «Пусть он бережется, моя куколка, чтоб вернулся цельнокроенным».— Милли рассмеялась.— Твоя мама всегда такое скажет!

Солли нахмурился.

— Я постараюсь. Можешь мне поверить. Каким меня скроила, таким и вернусь. Это теперь моя задача. Золотой звезды * ей не видать. Ее единственный сын примет к этому все меры.

Некоторое время они ехали молча, и, когда им открылся океан, прелестное лицо Милли засветилось благоговейным восторгом перед его красотой, и шум прибоя, и соленый запах волн околдовали ее, и она была сражена, она изнемогала от блаженства, как в любовных объятиях. Она подставляла солнцу лицо, и с ветром, солнцем, землей и океаном сливалось воедино ее тело. Она прижалась ногой к ноге Солли, и он ощутил солоновато-сладкий вкус во рту, и сладкую истому в чреслах, и боль в груди, и жар во всем теле.

---

* Золотая звезда — эмблема американских матерей, потерявших на войне единственных сыновей.

Она сказала:

— Подумать только, что я все время сидела дома, и проливала слезы, и все жалела тебя, и сокрушалась, что тебе плохо, а тут такая красота! — И она всплеснула красивыми, холеными руками.

— Да, у меня тут сплошной праздник,— сказал он.

Они свернули с шоссе, и океан, лизавший соленым языком прибрежный песок, остался позади; рядом с шоссе находился поселок форта Орд, специально построенный для младших офицеров и их семей: здесь были зеленые лужайки и белые двухэтажные коттеджи. Солли познакомил Милли с женщиной-комендантом, и та сказала им, что они очень красивая пара, оба еще дети. Она провела Солли и Милли в отведенную им маленькую, сверкавшую чистотой комнатку с окном во двор; здесь стояли две железные койки, комод, два стула и туалетный столик.

Она ушла, прикрыв за собой дверь, и Солли шагнул к Милли, и обнял ее, и прижался губами к ее губам, и она порывисто, словно в отчаянии, приникла к нему всем телом, и на какой-то миг ему показалось, что она теряет голову, чего с ней прежде никогда не бывало. Но она тут же овладела собой и отстранилась.

— Что с тобой? — спросил Солли.

Она обвела взглядом крошечную, как телефонная будка, комнатку, и, перехватив ее взгляд, Солли почувствовал неловкость за это маленькое, тесное, жалкое помещение, которое накануне показалось ему восхитительным романтическим гнездышком, идиллическим приютом для двух неприхотливых любовников — Милли и Солли... Их второй медовый месяц, их единственный медовый месяц... Сейчас он видел все, как оно есть. По необходимости, за неимением лучшего, сойдет, вот и все. Он сказал:

— Это не домашний очаг, родная, но здесь чисто и уютно.

— Уютно, это правда,— согласилась она.

Он снова заключил ее в объятия.

— Мы ведь не снимаем здесь квартиру и не покупаем дом, детка... Мы только откупили себе немножко времени, чтобы побыть вместе. И это самое главное — мы вместе.

Она притянула его к себе и снова стала прежней Милли, и ему снова стало хорошо, но она опять отстранилась.

— Ты должен вернуться в лагерь? — спросила она.

— Я должен вернуть капитану «виллис», и составить наряды на завтра, и поставить печать на ночной пропуск, потом попрошу кого-нибудь привезти меня сюда на машине.

— Тогда возвращайся скорей, любимый,— сказала она.— Я устала с дороги, и зря ты меня растревожил, если тебе приходится меня покинуть.

Он был поражен ее откровенностью. Она была всегда деликатной, очень деликатной — женственной и деликатной. Он сказал:

— Я постараюсь вернуться как можно скорее и привезу тебе чего-нибудь вкусненького, для тебя и для маленького.

Ее щеки порозовели. Она сказала:

— А я немножко вздремну и увижу во сне, что ты мне привезешь.

Он поглядел на нее и сказал шутливо:

— Малыш сделал тебя еще красивее, и теперь ты, пожалуй, самая красивая беременная женщина на всем белом свете. И все у тебя так красиво распределено.— Его взгляд потеплел и голос тоже.— Моя детка не обижает мою детку? У тебя еще совсем ничего не заметно. Почти ничего.

Ее щеки пылали.

— Все идет отлично, и я и он в полном порядке.

— А доктор не возражал против этого путешествия через весь континент?

Она сказала:

— Ты для меня лучшее лекарство, мой дорогой. Ни один доктор не может ничего лучшего мне прописать.

Он сказал:

— А ты — самая отчаянная, своенравная беременная девчонка, какую я только видел.

Она подошла и обняла его:

— Возвращайся скорее и расскажи мне, как ты меня любишь.

Она засмеялась, придвинулась ближе.

— Дорогой, я так рада, что я здесь! Мне все равно, даже если бы это была хижина. Я люблю тебя, я люблю тебя, я так по тебе скучала, и мне ужасно не хочется тебя отпускать. Пожалуйста, возвращайся скорее.— Она поцеловала его в губы, в глаза, в нос.— Я просто не в силах больше ждать.

Его обожгло, как огнем, а по спине побежали мурашки, и на мгновение он окаменел, прижимая к себе ее, несущую в своем чреве плод.

— Я должен идти. Поверь, это необходимо,— сказал он.

— Иди, глупый, и поскорее возвращайся. И не беспокойся обо мне. Эта комнатка будет сказочным замком те недели, которые мы проведем здесь. Только это ведь имеет значение.

Следовало сказать ей все сразу. Но она была так красива и так счастлива, что у него не хватило мужества сказать: сегодня это будет их первая ночь здесь, а завтра — последняя. Он стиснул ее в объятиях так, что у нее хрустнули позвонки, и выбежал из комнаты...

Бык Роджерс довез его до поселка. Солли постучал в дверь, разбудил Милли и познакомил ее, полусонную, с Роджерсом, и беднягу даже слеза прошибла, когда он стоял, тараща на нее глаза: так она была хороша и напомнила ему что-то родное. Потом Бык уехал, и Солли заключил ее в свои объятия. И когда они оторвались друг от друга, чтобы перевести дыхание, она сказала:

— Мне так хорошо, что хочется умереть.

Солли глядел на нее и не мог скрыть своего изумления. Он помнил, как она, откровенная и настойчивая во всем, в интимные минуты неизменно оставалась мещанкой. Скромная, недоступная и всегда пассивная до последнего мгновения, когда, наконец, в ней пробуждалась страсть.

— Ты меня презираешь за то, что я себя веду как девка, правда? Это написано у тебя на лице. Но мне все равно. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю! — В ее больших глазах стояли слезы.

Сердце его переполнилось любовью и жалостью к ней. Он чувствовал ее близость и свою мужскую потребность защитить ее.

— Я люблю тебя, черт побери! — сказал он. И это была правда.

— Нет, не любишь. Я читаю это в твоем взгляде, а раньше читала в твоих письмах. У тебя кто-то есть. Я это знаю. Я это знала еще до своего приезда. Вот почему... вот почему...

Голос ее прервался, слезы покатились по щекам, и она была так прелестна, что у него перехватило дыхание. Он даже не представлял себе, что она может быть такой. Она рисовалась ему всегда гордой, надменной, недоступной, подчас даже расчетливой. Ее сердце порой казалось ему дворцом, полным дорогой мебели, но необитаемым.

— Никого у меня нет,— солгал он.— И не могло быть.

С той минуты, как он встретил ее на вокзале в Салинасе, он безуспешно боролся с собой, чтобы вырвать Фанни Мэй из памяти, но она оставалась там все время, прячась где-то в закоулках подсознания и подкарауливая любую возможность появиться и потребовать сравнения

с Милли... Но он этого не допустит — не допустит! «Я тебя забыл, Фанни Мэй! Я даже не помню твоего лица. К черту Фанни! Я люблю Милли, я люблю Милли! Милли! Милли!»

Милли сказала всхлипывая:

— Я знаю, что у тебя кто-то есть. Ты о ней думаешь даже сейчас!

— Я люблю тебя, только тебя,— сказал он.

И потянулся к ней, чтобы поцелуями разогнать ее сомнения, страхи, ее неуверенность в себе. Он целовал ее глаза, пока не высохли слезы и веки не стали влажными от поцелуев. Он целовал ее нос и уголки рта и осыпал поцелуями губы, и она перестала всхлипывать и обвила его шею руками, и он погрузился в ее объятия, и их свело в смертельной сладкой борьбе. И волна за волной, волна за волной, понесло по океану, вверх и вниз вместе, вместе, в тесном объятии; и потом ему показалось, что она вскрикнула, словно он нанес ей смертельную рану,— глаза ее были закрыты, рот полуоткрыт, ее захлестывала самая высокая волна, но он не мог подняться на гребень вместе с ней. Образ Фанни Мэй возник перед ним в это последнее мгновение, хотя он отчаянно пытался изгнать его из памяти и остаться с Милли вдвоем, но не мог, не мог, и его понесло от нее в сторону. Подняло высоко одинокого и выбросило на берег, и волны океана стали опадать, волна за волной, а Милли лежала на мокром песке, глубоко дыша, с закрытыми глазами, ловя воздух ртом, словно съела огромный обед и насытила свой колоссальный аппетит. Она была далека сейчас от него, лежала отчужденная в тени качающейся пальмы, и шумное ее дыхание было как рокот прибоя. Потом она открыла глаза, вгляделась в его лицо и обвила его шею руками.

— Как изумительно, дорогой! Так никогда еще не было!

— Да, изумительно,— сказал он.

— И все вертелось перед глазами, как на карусели.

— Да, как на карусели,— солгал он.

— Ну, теперь я знаю, что ты меня действительно любишь,— сказала она и, сев на кровати, оглядела комнату.— Я никогда не забуду этой каморки. Это самая прекрасная, самая чудесная, самая уютная, самая милая, самая крохотная, самая интимная, самая рассамолучшая комната на всем белом свете!

Они встали, она накинула халатик, а он надел брюки, и они пошли под душ, а потом оделись и вышли на шоссе и сели в проходивший мимо автобус, который привез их в Монтерей, на берег океана, открытого океана, и это был самый прелестный и необычайный городок на свете. Они поужинали в маленьком кафе, а после обошли весь город, и Милли все казалось прелестным и исполненным романтики, и она жадно вбирала в себя новые впечатления. А он то и дело невольно ловил себя на мысли о том, как было бы ему в Монтерее с Фанни Мэй, и сравнивал ее с Милли, и он был грязный пес, и тогда он начинал обнимать свою жену, чтобы убедить в чем-то и ее, и себя.

Потом они сели в обратный автобус, вышли на остановке «Поселок форта Орд», но не пошли к дому, а пересекли шоссе, и спустились вниз на край суши, и смотрели, как темный пенистый океан играет под луной в пятнашки с калифорнийским берегом. Они стояли рядом, потрясенные красотой, ее голова лежала у него на плече, его рука обвивала ее талию.

— Я самая счастливая женщина на свете,— сказала Милли.

— А я — самый счастливый солдат.

— Ты правду говоришь, Солли?

— Нельзя задать вопрос глупее!

Закинув голову, она заглянула ему в глаза, поцеловала его в губы и отвернулась снова к океану, где полная луна направляла луч своего прожектора на воду и серебряная дорожка протянулась к звездам.

— Ты не только самый красивый в роте. Держу пари, что у тебя и самый высокий Коэффициент Умственного Развития.

Он рассмеялся:

— Ты просто ко мне пристрастна.

— Ну хорошо, а все же? А все же? Ты ведешь канцелярию, ты записываешь все данные о каждом.

— Признаю себя виновным, ваша честь, ваше божественное величество. По какой-то неизвестной причине мои способности получили самый высокий балл.

— Вероятно, выше, чем у вашего капитана.

— Виноват и тут.

— Однако ты всего-навсего капрал.

— Всего-навсего?

— Для меня ты все. Ты это знаешь. Но почему? Почему? Почему ты не следовал своему плану продвижения по военной службе? Почему тебя не повысили в чине? Что произошло с офицерскими курсами?

— Выяснилось, что у меня нет должного подхода к некоторым вещам.

— Не понимаю, что ты такое говоришь.

— Это длинная и сложная история.

— У нас времени достаточно.

Она не подозревала, как быстро оно иссякнет. И как мог он объяснить в нескольких словах, что стало с его надеждами? Она всегда жила как за каменной стеной, и он этому тоже способствовал отчасти. Он даже не писал ей о том, что однажды провел целую ночь в полицейском участке, и о том, что лежал в госпитале. Что он мог рассказать ей о своем ротном командире — человеке, которого он терпеть не мог, и презирал, и вместе с тем видел почти насквозь, человеке, который стоял несокрушимой преградой на его пути к офицерским курсам и всем прочим ступенькам его военной карьеры?

— Как-нибудь в другой раз, детка,— сказал Солли.— Не будем отравлять драгоценные минуты.

Он обнял ее и стал целовать, а нежный ветерок овевал их, прилетая с океана. Потом они повернулись спиной к темному океану с белыми гребнями волн и пошли через шоссе к поселку.

Вернувшись в свою каморку, они снова бросились в объятия друг друга, и все повторилось. Сначала трепет и истома, потом сладострастный поединок, и наконец Откровение, и Вершина, но, как и прежде, он вспомнил Фанни Мэй, хотя, как и прежде, старался не думать о ней, а в последнюю, миллионную долю секунды увидел и захлебнулся и пошел ко дну. Это было так, словно, умирая от жажды, он поднес к губам стакан лимонада и почувствовал его влагу во рту и в горле, но напиток был лишен божественного вкуса. А Милли, утолив свою жажду, говорила, довольная, что все было восхитительно, как никогда, и он соглашался с нею.

Он приподнялся и поглядел на ее довольное лицо. Было в нем что-то совсем отличное от Фанни Мэй. Милли напомнила ему кошку, которая съела канарейку,— такая гордая и самоуверенная. Фанни Мэй светилась любовью, а Милли — сытым желудком.

Он встал и сердито посмотрел на эту женщину, которая была его женой и в то же время такой далекой. Ему вдруг стало неловко, и он начал торопливо одеваться.

— После того как ты уехал из Нью-Йорка, я перечитала кучу книг об искусстве любви. Плохо то, что ты не старался меня разжечь.

Он сказал с возмущением:

— Боже милостивый! Неужели надо все так размусоливать? По-моему, надо *любить*, а не разговаривать об этом до тошноты.

— А почему нельзя говорить? Ты словно в девятнадцатом столетии живешь.

Солли от злости даже вспотел:

— Перестань, ладно?

— Ты совершенный реакционер, Солли Сондерс, а как будто считаешься очень прогрессивным.— Она протянула к нему руки.— Иди ко мне, ребенок, и хватит дуться.

Он нехотя шагнул к ней, наклонился, и она привлекла его к себе, нашла его сердитые дрожащие губы своим влажным ртом.

Потом он разделся и хотел лечь на другую постель. Милли уже уснула и дышала ровно, чуть посапывая носом. Он подошел к ней и поглядел на ее прелестное лицо, и ему захотелось еще секунду полежать с нею рядом, но лечь было негде. И тут она пошевелилась, подвинулась, притянула его к себе и уткнулась лицом ему в грудь. Только тогда он заметил, что она тихонько плачет.

— Что с тобой, почему ты хлюпаешь носом?

Она ответила сквозь слезы:

— Я для тебя только самка, и больше ничего. По-твоему, я безмозглая, бездушная, просто хорошенькая бабенка.

— Неправда! Ты знаешь, что это не так.

Грудь Солли уже стала мокрой от ее слез.

— Да, ты думаешь, что я глупа. Не говоришь со мной ни о чем серьезном.

— Неправда! — тихо вскричал он.

— Я понимаю, как ты относишься к войне, но ты не хочешь со мной это обсуждать. Я знаю, что это война против фашизма, за демократию. Даже мой начальник беседует со мной на эти темы. И он не менее прогрессивен и либерален, чем ты, только он не думает при этом, что я красива, но тупа.

Солли просто задохнулся от обиды:

— Не сомневаюсь, что он именно такой и именно так и думает!

— Мы с тобой не можем позволить себе проиграть эту войну,— продолжала она, глотая слезы.— В этом я с тобой совершенно согласна. И поэтому-то главным образом я и хочу, чтобы ты стал видным деятелем, офицером...

Последние часы их близость, казалось, была безграничной, а теперь он понял вдруг, что Милли целовала совершенно чужого ей, незнакомого человека. Она думает, что он тот же, каким был четыре месяца назад. Он сел и обхватил рукой ее вздрагивающие плечи.

— Пойми,— сказал он,— в этом безумии, называемом войной за демократию, у меня только одна забота: выжить и уйти из армии. Прежде я верил всем этим словам. Но я кое-что испытал в этой демократической армии, и теперь мне на нее наплевать. Здесь я не хочу ничего добиваться для себя, я хочу отсюда вон.

В первую минуту она даже не нашлась, что сказать. Потом пробормотала:

— Неужели же ты это...

— Да, да, можешь мне поверить. И я не желаю больше это обсуждать.— Он встал с ее постели, лег на свою и лежал, сердито дыша, слыша ее тихий плач. Потом она подошла к нему, и снова они лежали обнаженные в объятиях друг друга.

— Ты только скажи, что любишь меня. Все остальное не имеет значения,— просила она.

— Да, люблю, люблю, люблю...— повторял он.

На следующий день все суетились и бегали до позднего вечера. Отправка в район сосредоточения, где они должны были сесть на ко-

рабль, была назначена на шесть часов утра. Солли забежал к себе в комнату, они с Милли поели, потом лежали обнявшись.

Лицо Милли снова дышало довольством и покоем.

— Давай спать,— сказала она,— поздно.

— Нет, я должен вернуться в лагерь. Мы выступаем завтра утром.

— Маневры, да?

Надо было сказать ей правду еще на вокзале в Салинасе. Давным-давно надо было ей сказать...

— Нет, нас отправляют в лагерь Стонмен, в район сосредоточения возле Питтсбурга, здесь же, в Калифорнии. Мы там будем несколько дней готовиться к отправке на фронт.

На миг она онемела и застыла; потом обвела глазами комнату — туалетный столик, комод, стул, койку, еще стул... и, наконец, поглядела на Солли.

— Как же так? Почему ты мне не сказал? Как же так?

— Когда я узнал, ты была уже в пути, а раньше я и сам понятия об этом не имел. Вчера же у меня не хватило духу тебе сказать.

Он подошел к ней и провел рукой по ее волосам. Глаза ее были широко раскрыты, но обычной самоуверенности не было в ее взгляде. Внезапно Солли увидел ее перед собой — одинокую, растерянную, обманутую. Он никогда не думал, что она — всегда такая гордая, надменная — может быть такой. Ему стало мучительно жаль ее. Он приподнял ее с постели и притянул к себе.

— Вчера мы с тобой были так счастливы, все было так прекрасно,— сказал он, держа ее в объятиях,— что у меня просто не повернулся язык сказать тебе, что нас отправляют.

В ее больших глазах стояли слезы.

— Я понимаю, ты не виноват,— сказала она.— Конечно нет. Но я поеду туда с тобой.

Солли пытался ее отговорить — ведь войсковой состав предназначен исключительно для солдат. Но она твердила, что поедет за ним вслед пассажирским поездом и останется с ним, пока его не ушлют. Он сказал, что неизвестно, сколько им придется там пробыть, да и сдаются ли в Питтсбурге комнаты.

— Ты просто не хочешь, чтобы я туда поехала. Я тебе уже надоела.

— Зачем ты так говоришь, Милли? Это же неправда, ты знаешь!

— Ты меня не любишь, не любишь! Но мне все равно. Все равно я поеду!

Она вырвалась из его объятий и села на кровать. Она уже не скрывала слез, струившихся по ее щекам. Прежде, дома, Солли никогда не видел ее плачущей. Он подошел, сел с ней рядом, обнял и крепко прижал к себе, хоть она и вырывалась, и стал целовать дрожащие губы, и соленые слезы попадали ему в рот. А она, плача, обвила его шею руками.

— Солли, Солли, мой родной, единственный! Кроме тебя у меня никого нет!

— Как же нет? А твоя семья...— пробормотал он растерянно.

— Терпеть их не могу, этих воображал. Ты и твоя мать — вот все, что у меня есть, все, что мне дорого. Ты думаешь, они хотели, чтобы я за тебя вышла? Ты думаешь, они мне простили мое замужество? — Она горько рассмеялась.— Теперь ты от меня не избавишься. Попался в мои сети, на счастье или на горе. Ты-то думаешь, что на горе, я знаю...— И она в страстном, отчаянном порыве прижала его к себе, как бы говоря: не отпущу никогда, до самой смерти, и даже туда последую за тобой! И его крепкое, мускулистое тело и ее трепещущее тело слились воедино. и на этот раз любовь была прекрасна для них обоих, и они были вместе, вместе, вместе до конца. А потом она лежала в его объятиях, одновременно, как в истерике, плача и смеясь.

■

Милли приехала в Питтсбург на двое суток позже Солли, и они сняли крохотную комнатку, и каждую ночь они были вместе и исступленно, с бешенством отчаяния предавались страсти, словно старались прожить за эти две недели весь свой век и изведать все счастье любви, какое было им отмерено судьбой. А потом пришел и этому конец. Новое, неизведанное ждало Солли. Оно ждало его в образе огромного белого корабля.

Шагая в воинской колонне по мостовой к причалу, Солли лихорадочно искал глазами Милли. Со всех сторон сбегались женщины: они плакали, улыбались, целовали солдат. Куда же, черт возьми, пропала его жена?

Рядом с Солли шагал Червяк Тейлор; отправляя в рот шоколад с орехами, он болтал без умолку. А Солли искал глазами свою Милли в толпе, запрудившей тротуары. Вот сейчас она появится откуда-нибудь, спокойно выйдет из толпы, и пойдет рядом с ним, и проводит его до корабля. Он старался представить ее себе, и ему вспомнилось, как он уходил от нее ночью и обернулся, ежась от ночной свежести, чтобы взглянуть на нее еще раз, а она с крыльца махала ему рукой на прощанье — такая жалкая, потерянная, беспомощная.

Вчера они сидели на широкой железной кровати, заполнявшей почти всю каморку, слушали портативное радио и болтали так, словно это был самый обычный вечер, а не последнее их свидание. Оба играли какую-то роль, будто в кино. Он любовался ее прелестным лицом, и ему казалось, что она сейчас думает об их ребенке, спящем в ее чреве, и гнев поднимался в нем, как в паводок вода: здесь его семья — жена и ребенок, а он должен их покинуть, и, возможно, навсегда.

Он вскочил с кровати.

— Какого дьявола я туда еду?

Вопрос был обращен не к ней. Нет, конечно, и она это понимала. Все же он хотел, чтобы она что-то ответила.

— Потому что ты американец, и твоя родина воюет, и потому что я люблю тебя.

— Тогда изволь объяснить, за что должен воевать черный американец?

Он смотрел на нее и не мог не думать о Фанни Мэй. В этот день он получил от нее письмо. А с Червяком у нее все время шла переписка. Она писала Солли, что никогда его не забудет и никогда не пожалеет ни о чем, как бы ни разрывалось ее сердце всякий раз, когда она его вспоминает, а вспоминает она его ежедневно и ежечасно. После его отъезда она не могла больше работать в баре: каждый одиноко стоявший солдат напоминал ей Солли. И она уволилась оттуда и решила поступить в ВАК *, чтобы тоже быть полезной родине в битве за демократию. Быть может, им еще доведется встретиться где-нибудь на дальнем фронте. Он прочел ее письмо, сидя после обеда на койке в бараке, потом прочел его во второй и в третий раз и все больше и больше приходил в негодование. Разорвав письмо на мелкие кусочки, он разбросал их по койке, но после собрал все до единого и сунул в карман. Ярость душила его. Он сел написать ей ответ, но, исписав листок бумаги, тут же рвал его и выбрасывал в мусорную корзину на лестнице. Потом он вышел из барака и направился в самый шумный и многолюдный бар, какой только можно себе вообразить. Он заказал Эббенсвилль по междугородному телефону и разговаривал с Фанни Мэй. Он сказал ей, что она, видимо, рехнулась, если собирается добровольно вступить в эту

* Сокращенное название женской вспомогательной службы армии США.

расистскую армию. «Не волнуйся,— ответила Фанни Мэй,— мне там отказали. Они говорят, что квота цветных женщин заполнена». «Прекрасно!» — сказал он. «Я люблю тебя, Солли!» — сказала она. «И вообще нечего было туда соваться!» — сказал он. «Я всегда буду тебя любить,— сказала она.— Даже если мы больше не встретимся, я счастлива, что люблю тебя, и никогда не полюблю другого так, как тебя».— «Я напишу, когда прибуду на место...» — «Солли, я буду всегда помнить тебя, и я рада, что ты меня любишь и позвонил мне, чтобы это сказать». «Я не за тем тебе звоню», — сказал он сердито, но она радостно перебила: «Хорошо, милый, я все понимаю». И тогда он крикнул: «Да, я люблю тебя!» Но как можно любить сразу двух? А напоследок она сказала еще так: «Мне тяжело это говорить, Солли, но у нас может быть только одна цель: воевать за свою свободу здесь, в Америке. Все негритянские солдаты должны бы отказаться от военной службы по этическим причинам. В этой армии им нечего делать». Он старался смягчить ее горечь, чтобы хоть этим укрепить свой собственный поколебленный дух.

Когда он очнулся от этих дум, Милли стояла возле него, и он обнимал ее, а она гладила рукой его затылок и говорила:

— ...и за меня, и за наше будущее, когда война кончится, и за твою юридическую карьеру. Да и вообще, раз не в нашей власти что-либо изменить, надо использовать то, что есть. Ты не можешь стать дезертиром. Ты же это понимаешь, любимый?

Солли положил руку на ее округлившийся живот.

— И за нашего ребенка,— добавил он ласково,— за нашего скромного, бессловесного человечка, который не брыкается, даже когда армия отбирает у него отца.

Она отвела глаза, потом решительно посмотрела на него.

— Солли, ты меня любишь? По-настоящему любишь?

— Ну конечно,— нетерпеливо вырвалось у него.

— Объясни мне, в чем я неправа. Ты же умница. И ты — негритянский солдат.

— Это в последнюю очередь,— сухо заметил Солли.

— Ты должен оставаться в армии белых. Не хочешь, но приходится. Ты можешь ненавидеть ее, но почему не взять от нее, что только можно? Допустим, ты не должен сохранять им верность, но себе-то ты должен обеспечить будущее! Вот и все, чего я от тебя хочу.

Он подошел к ней, присел рядом, обнял и поцеловал влажные, солоновато-прохладные от слез глаза. Как она сложно-примитивна!

— Право же, я очень тебя люблю, Милли, детка, очень люблю.

— Так что плохого, если человек, даже ненавидя эту войну, старается извлечь из нее пользу? Ответь мне.

— Да ничего. Решительно ничего. Я даже не так уж ненавижу эту войну. Я только ненавижу эту армию.

— Тем более ты должен стараться извлечь из нее пользу! — сказала она.— Все так поступают. Погляди на все крупные фирмы. Каждый, у кого есть голова на плечах, работает вовсю на войну, чтобы загрести побольше денег...

— Флаг по улице нести и больше денег загрести — ты моя Америка! — промолвил Солли. Он по-новому, даже с оттенком некоторого уважения взглянул на Милли. Она не так уж наивна в своем карьеризме, она до ужаса реалистична. И его судьба связана с ней навеки. Это он ясно понимал. Она его жена.

— Сегодня наш последний вечер вдвоем. А мы все говорим... говорим...— Она откинулась на подушки и внезапно горько, безутешно разрыдалась.

Он приподнял ее, обнял:

— Ну, что же теперь еще?

Она положила голову ему на грудь.

— Ничего. Я больше не плачу.— Но тело ее еще вздрагивало от рыданий, хотя она и пыталась смеяться.— Просто я глупая, дурочка и плачу от счастья. И оттого, что уже надвигается одиночество.— Ее душили слезы.— Я чувствую, как почва уходит у меня из-под ног.

— Ну что ты! С тобой же твои родители, и моя мама, и скоро будет маленький. Это я, горемыка, буду совсем один!

Она вскричала:

— Ну да, маленький, маленький! — Она перестала плакать и вытерла глаза.— Сегодня наш последний вечер, и я должна открыть тебе кое-что важное.

Тон ее голоса испугал его — он почувствовал острую резь в животе, но сказал притворно-беспечно:

— Уж не собираешься ли ты сообщить мне с некоторым опозданием, что не я отец твоего ребенка?

— Солли, ты меня любишь и с ребенком, и без него, да?

— Я тебя люблю. Точка. Что еще за глупости?

У нее внезапно пропал голос, она прошептала почти беззвучно:

— Никакого ребенка нет.

— Не понял. Что ты сказала: ребенка... что?

— Его нет, вот что. И никогда не было.

— Очень глупо так шутить с человеком в его последний вечер на родине,— сказал он дрожащим голосом.

Теперь уже слезы хлынули в три ручья. А глаза молили о пощаде.

— Никакого ребенка нет! Нет, нет! Понимаешь?

Он схватил ее за плечи, тряхнул:

— Что ты мелешь, объясни!

— Я не беременна, я лживая сука, я все это сочинила... Мне казалось, что ты разлюбил меня.— Она захлебывалась от слез.

— Хватит! Довольно! — закричал Солли.— Это мой отъезд так тебя расстроил. У тебя истерика.— Он вскочил и смотрел на нее, все еще не веря.

— Я перечитывала твои письма по десять раз, и я чувствовала, что ты меня разлюбил, чувствовала, что у тебя есть другая. И... и... я смертельно боялась тебя потерять. Я не знала, что делать. И я подумала: может быть, узнав, что я беременна, ты будешь меня любить.— Она бросилась на постель и, уткнувшись в подушку, зарыдала, как ребенок.

У Солли перехватило дыхание, сердце замерло, ему показалось, что он умирает, что он уже мертв. Хотелось крикнуть ей: «Да, ты лживая, распутная девка! Да, да, да!» И ударить ее, и еще, еще. Он бешено ненавидел ее за то, что она его обманула, и за то, что заставила его ненавидеть себя.

— У тебя был выкидыш? — спросил он, не сводя с нее глаз.

Она замотала головой.

— Ты сделала аборт?

— Пошел ты к дьяволу! — взвизгнула она.

Он схватил ее за плечи и стал трясти. Убийца! Убила ребенка!

— Ты чудовище! Знаешь ты это? Ненавижу твою мерзкую душу!

Она крикнула:

— Что ж, ударь меня. Мне все равно. Убей! Ты же этого хочешь! Убей меня, раз я чудовище!

Он выпустил ее и отошел в угол. Он чувствовал, что между ними все кончено,— и в нем все омертвело. Они убили друг друга.

Но одна мысль жгла мозг. Он шагнул к ней и положил ей руку на плечо.

— Не тронь меня, не прикасайся! — крикнула она.— Уйди прочь! Я лживая сука! Я знаю, что́ ты думаешь. Ты думаешь, что я чудовище, но мне не стыдно. И я не желаю тебя больше видеть. Ты холодный, бесчувственный, мне стыдно, что я тебя любила! Ты зверь — вот ты кто!

В голове у Солли все вертелось, как карусель на Кони-Айленде. А в груди жгло огнем. Горло у него пересохло, лоб покрылся потом. Он уже и сам не понимал, что с ним. Он был как в столбняке. Казалось, за одну минуту он прожил сто лет и уже никогда не будет снова таким, как прежде.

— Я убью себя! Да! Я покончу с собой!

— Молчи! — сказал он и, крепко взяв ее за плечи, поднял с постели и обнял.— Я тебя люблю!

Но зачем она это сделала? Как могла она так притворяться? Зачем, черт побери, ей это понадобилось? У него было такое чувство, словно Милли произвела на свет ребенка, а потом убила его, обдуманно и жестоко. И все ради того, чтобы сквитаться с ним за что-то.

— Неправда, не любишь! — вскрикнула она.— Ты меня ненавидишь! И я покончу с собой, вот посмотришь! Я знаю, ты меня ненавидишь!

Она плакала и что-то бормотала еще, и вся рубашка его стала мокрой от ее слез. А он был в смятении — его душили ненависть, и злоба, и сознание собственной вины. Да, это его вина! Его вина! Он негодяй! Ведь это он, черт побери, во всем виноват! Острая жалость к ней охватила его. Он сказал:

— Не берись решать за меня, что я чувствую. Я люблю тебя. На ком я женился — на тебе или на твоем ребенке? Единственный ребенок, на котором я женат,— это одна глупая, большая, красивая плакса!— Он уже готов был пойти на смерть за свое преступление, так он был виноват перед ней!

Она вытащила у него из заднего кармана платок, вытерла глаза, высморкалась.

— Ну, хватит,— сказал он безжизненным голосом.— Разве это порядок — устраивать такие сцены в последнюю ночь? У нас еще будет достаточно времени народить кучу ребят, когда я возвращусь. Положись на меня.

Она рассмеялась, и глаза ее снова намокли, и его губы стали солеными от ее слез.

— Я один во всем виноват,— сказал он. — Я — и никто другой.— Он осторожно снял с нее платье, белье, поцеловал соски шелковистых грудей, взглянул на округлившийся живот.

— Я эти два месяца откармливала себя, как свинью, чтоб живот стал больше, — сказала она, и опять закапали слезы.

Он положил ее на постель, но она, смущаясь, потеряв уверенность в себе, юркнула под одеяло. А он разделся и лег рядом, и она сперва похолодела от страха, но его тепло согрело ее. Он ненавидел ее за обман и винил во всем, но в душе он знал, что это его вина, и он нежно целовал ее, чтобы хоть на короткий срок развеять ее сомнения и страхи, и он согревал ее своим теплом, и любовь согрела их обоих, и им стало хорошо вдвоем, вдвоем. Они любили, и им было хорошо. А в первом часу они простились, и Солли устало побрел к себе в лагерь.

■

Солдаты шли с полной походной выкладкой — со скатками за спиной, с винтовками, с вещевыми мешками. Болтали, шутили и нервно пересмеивались, шагая к белому кораблю. В колонне негритянского полка 913-я рота шла первой, и ей первой предстояло подняться на борт, как

только закончится посадка белых. Шли вольным шагом, припекаемые полуденным солнцем, но сохраняя четкий ритм, и башмаки дружно стучали по асфальтовой мостовой — шли, как в туннеле, мимо шумной толпы зевак и беззвучно застывших пальм и пышной зелени тропических растений. А глаза Солли все еще напрасно искали Милли, его обуревала тревога — что-то с ней, должно быть, случилось!

Ему уже отчетливо был виден большой корабль и поднимавшиеся по трапу белые солдаты, и его охватил страх. Может, он прошел мимо Милли, не заметив ее именно потому, что так напряженно вглядывался?.. Он глубоко вдохнул и выдохнул, широко открыв рот, чтобы облегчить давящую боль в груди и острую резь в животе. Ему снова вспомнилась Фанни Мэй, и снова возникло мучительное чувство вины перед Милли. Быть может, она слегла — ведь она была так расстроена вчера. В его ушах звучал ее голос: «Я убью себя! Я покончу с собой!». А что если правда... если она... Страх накатывал на него, как волны, лишал его сил... Что если она все поняла, почувствовала его ненависть и гнев, хотя их ссора и кончилась любовным примирением, и наложила на себя руки? А ведь он любит ее! Да, любит!

И тут он увидел ее в толпе. Она махала ему рукой, сияя самой очаровательной и самоуверенной улыбкой на свете. Он так обрадовался, что едва мог шевельнуть губами и улыбнуться ей в ответ... Да, он любит ее, любит. Это несомненно. И вот она уже подошла к нему, красивая, эффектная, и Солли вспыхнул, услышав, как кто-то в колонне присвистнул, а кто-то отпустил не совсем пристойную шутку.

— Привет, солдатик! Куда это ты так спешишь?

— Черт,— произнес он, стараясь не выдать своего волнения.— Я уже подумал, что ты забыла, какой сегодня день, и не придешь на мой прощальный бал.

— Ну как ты можешь такое говорить? — Она посмеялась над его необычным видом, сказала, что ему идут темные очки, но надо было побриться. А вот каска недурно сидит на его красивой голове, и даже скатка украшает бедную спину. Она была очень дорога ему в эту минуту. Быть может, она уже носит их ребенка в утробе. А как она умеет подавлять свои чувства, чтобы поддержать в нем бодрость! А он — паскуда, изменник и недостоин ее! Чувство вины вдруг разрослось до огромных размеров, и так же стремительно росла нежность. Он даже не стыдился своих слез. Он сказал:

— Ты так красива, просто совестно быть такой красавицей!

Милли сделала вид, что не замечает его слез. Она шагала рядом, смеясь и болтая о пустяках, пока они не дошли до набережной. Дальше женщинам идти не разрешали. Солли хотелось, чтобы она проронила хотя бы слезинку, и в то же время он был рад, что она не плачет. Она поднялась на цыпочки и торопливо поцеловала его.

— Прощай, дорогой, береги себя! И не тревожься о нас с мамой. Я буду писать тебе ежедневно, начиная с сегодняшнего вечера.

— И ты обо мне не тревожься, родная,— сказал он.— Я буду беречь себя, и я добьюсь повышения и вернусь к своей Милли.

— Только об этом последнем и думай — всегда и везде, и в первую очередь и в последнюю...— Она еще раз поцеловала его и скрылась в толпе.

Почти все белые солдаты уже поднялись по трапу; военный оркестр на палубе гремел «Боже, благослови Америку». Солли вздрогнул, словно его ударило электрическим током, — то ли потому, что играли «Боже, благослови Америку», то ли потому, что он распростился с Милли. Она услышит эту музыку, подумал он, и тоже поймет, как и он, почему американцы любого цвета кожи и любого положения должны идти воевать за свою родину за много тысяч миль от дома. «Боже, благослови Аме-

рику! Боже, благослови Америку. *Я люблю свою родину».* Он действительно ее любил.

Их остановили на пристани, и они стояли, ожидая, пока не закончится погрузка белого полка. Солли хотелось оглянуться и еще раз увидеть Милли.

«Люблю тебя, Милли... Люблю свою родину...»

Ему ужасно хотелось обернуться, но он удержался.

И вот, наконец, негритянская колонна двинулась и зашагала к трапу, и Солли вдруг покачнулся, как от страшного удара под ложечку: оркестр уже играл не «Боже, благослови Америку», а нечто совсем другое — «Тустеп чернокожих фланеров».

Солли не верил своим ушам. Пылая гневом, он поглядел вверх на палубу и увидел белых солдат, которые, простодушно улыбаясь, махали неграм руками и кричали: «Эй, вы там!» Солли почувствовал во рту горький, омерзительный вкус желчи.

— Черт,— услышал он голос Червяка,— вот это музыка для меня! — И маленький, коренастый солдат лихо притопнул ногой.— Верно, Чарли хочет, чтобы мы плясали от радости, поднимаясь на такой прекрасный белый корабль. Мы же не солдаты, мы — особые! Черные скоморохи!

А у Солли было такое ощущение, словно он наглотался бритвенных лезвий, и ему стало нестерпимо жарко, и воротник душил его. Только бы Милли не услышала!

Червяк взглянул на него и ухмыльнулся:

— Что с тобой, дружище? На кого ты рассердился? Да поди ты к черту! Вот за что я терпеть не могу вашего брата — негров! Брось дуться! Не видишь разве — они стараются, чтоб мы чувствовали себя как дома. Или ты не узнаешь негритянский национальный гимн?

Солли молчал. В нем бушевал гнев, и он испытывал лишь одно желание: выйти из рядов и послать все к черту. Но ничего же не изменилось. Все равно придется выполнять свой долг. И он будет беречь себя, и добьется повышения в армии, и вернется домой к Милли невредимым. Как ни противно ему все это, он использует все возможности. Иного выхода нет. Его лицо стало спокойнее, взгляд мягче, но глаза заволокло слезами. Под звуки «Тустепа чернокожих фланеров» он шел к белоснежному кораблю, гордо распрямив плечи, высоко подняв голову.

Часть третья

ГРОМ... МОЛНИЯ... ЛИВЕНЬ...

Глава 1

Большой белый корабль прибыл в Сан-Франциско, а там солдат погрузили на старый голландский пароход, приспособленный на скорую руку для перевозки войск и получивший надпись на борту: «Нью-Роттердам, Военно-Морской флот США», и солнце еще не успело сесть, как пароход миновал Золотые ворота и вышел в открытый океан. Пока шла погрузка, двое солдат из военной полиции доставили на борт Скотти и заперли его в карцер.

Солли стоял на палубе с Червяком, Длинным Линкольном и Джимми Ларкером, наблюдая, как постепенно исчезает земля и все длиннее

становится белая пенистая борозда за кормой среди ярко-зеленых океанских волн.

Сразу после отплытия все кинулись высматривать остальные суда каравана, но обнаружили только два сторожевых катера — один впереди, другой позади — да большой толстобрюхий неповоротливый дирижабль, как хищная птица распластавшийся в небе; вот тебе и весь конвой, провожающий транспорт к месту сбора военных кораблей, эскадренных миноносцев, минных тральщиков... Ну, там-то уж, конечно, защита будет надежней.

Час с лишним догоняли заходящее солнце, и, когда наконец солнце погрузилось в воду, оба катера и дирижабль струсили и повернули обратно. На океан упала ночь, накрыв его тяжелым черным покрывалом, и теперь уже все западное полушарие окутал мрак.

Тревожную тишину взорвало шипение громкоговорителей.

— Внимание! Внимание! — говорил зычный повелительный голос. — На палубах не курить, спичек не зажигать. Задраить иллюминаторы, закрыть все люки. Полное затемнение.— Пауза, и опять тот же бас: — Выбросить мусор!

Бык Роджерс с видом знатока пояснил, что мусор всегда выбрасывают в море ночью, чтобы сбить с толку японские подводные лодки: когда на рассвете они его находят, корабля уже и след простыл — ищи-свищи в океане! Тут все, брат, продумано. Все с одной целью: защитить твою черную шкуру...

— М-да,— хмыкнул Червяк,— где ж тогда наш конвой? Сволочи, бросили нас посреди моря — хоть тони, хоть вешайся...

Тишина — тяжелая, плотная, такая же гнетущая, как и мрак. Солли вместе со всеми смотрел за борт, но ничего не видел, кроме седых фосфоресцирующих волн. Судно неслось вперед, как огромный корабль-призрак, и казалось, оно плывет вдоль бесконечной черной стены, которой ему никогда не обогнуть.

— Первый раз слышу, чтоб в зону военных действий отправляли транспорт без конвоя,— заметил Солли.

— Ничего, ребята, не бойтесь,— сказал Бык.— Вы же знаете, что Дядя Сэм намерен охранять своих цветных племянничков. Может, сбор будет на Гавайских островах. Только потому, что вы цветные, вам везде и всюду мерещится плохое. А я вот надену свой спасательный поясок...— Он нервно рассмеялся, но никто его не поддержал.

Влажный соленый ветер дул в лицо; громадный корабль уверенно рассекал мрак, борта его подрагивали в такт ритмичному стуку мощного дизельного двигателя.

Червяк сказал:

— Эх, прыгнуть бы сейчас за борт да поплыть обратно в Сан-Франциско!

Глава 2

На двенадцатый день Солли заметил справа по борту на горизонте корабль, который мелькнул на солнце и скрылся. В первый момент Солли охватил испуг, но потом он понял, что это оптический обман.

Солли томило безделье. Он часами простаивал у борта и видел лишь сверкающий океан, на тысячи миль уходящий вдаль, куда-то на край света, где сходятся небо и вода. За этой чертой поджидала его судьба, и он страдал от неизвестности. Если бы знать, что там впереди? Но впереди была по-прежнему все та же безбрежная пустыня океана.

Часть своего досуга Солли посвящал работе: начал писать роман. Писал и рвал написанное. Пробовал писать в реалистической ма-

нере и в натуралистической и даже рискнул на «поток сознания». Старался припомнить все, что слышал на занятиях литературного семинара в Нью-йоркском колледже. Семь потов с него сошло, но он все же написал пять страниц, которыми остался доволен. В честь этого он закатил выпивку с Червяком и Длинным, и все трое так накачались пивом, что, как говорится, окосели. Можно было подумать, что книга уже написана и принята издательством. Ничего, он будет писателем. Вернется с войны — и пошлет к черту юриспруденцию.

В гадании о неизвестном будущем, в работе над военным романом и в трепотне с приятелями — с Муром, Червяком, Роджерсом, Линкольном, Джимми Ларкером — проходили дни и словно тонули в бездонном океане. Иногда по вечерам Солли спускался в тесный и душный, как предбанник, кубрик, где наблюдал грандиозную бесконечную шашечную дуэль двух самых старших в роте солдат Джеки Рэя и Джефри Гранта. Первый был тощий, долговязый негр из Кливленда. Солдаты прозвали его Прыгуном, так как, по его рассказам, в молодости он был эстрадным танцором, да и сейчас еще недурно откалывал чечетку. Джефри Грант был родом с Тринидада, но жил в Нью-Йорке и рекомендовал себя негритянским националистом. Ему солдаты дали прозвище Генерал Грант. Он был хмур и всегда погружен в раздумье. Его шашечный турнир с Джеки продолжался со дня отплытия из Сан-Франциско. Пот лил градом с обоих, но это не мешало им играть с величайшей серьезностью и вести бесконечные политические споры. Генерал не скрывал своего сочувствия японцам и изображал их борцами за цветную расу. Прыгун же был воинственный «янки-дудл», пламенный американский патриот, и ему не терпелось пролить кровь за любимую родину.

Солли сидел и слушал их споры. Как-то вечером Прыгун сказал Гранту:

— Хитрый ты черт, такой же, как твои япошки!

— Ты бы хоть скрывал свое невежество, солдат! — огрызнулся Грант.— Японцы дерутся за вашу свободу, за вашу честь. Белые — это самые лживые врали на свете. Они вам в лицо мочатся, а вы говорите — дождик и бежите в магазин покупать зонт.

Что-то в словах Генерала находило отклик в душе Солли, но он стыдился себе в этом признаться. Так или иначе, он не смеялся. Не смеялись и Клинт, и Джимми Ларкер, по прозвищу Тихоня.

— Я понимаю, откуда это у тебя,— негромко проговорил Солли,— я тебя даже не виню. Но факты — упрямая вещь. Немцами и японцами управляют фашисты. Гитлер с Тодзио решили захватить весь мир.

— Правильно. Решили,— кричал Грант,— а что, по-твоему, я стараюсь втолковать этим болванам? Гитлер и Тодзио победят весь мир, а потом Тодзио расколошматит Гитлера, и цветные тогда будут править миром. Кто был в самом низу, поднимется наверх.

Солли покачал головой. Он ждал от Гранта иных слов. Если Азия грозит перевернуть все вверх дном — это не то, что ему надо.

— И все же они бестии,— стоял на своем Прыгун.— Оттяпали, как воры, Пирл-Харбор, а тебя, похоже, приворотным зельем опоили.

Солли ждал, что Грант скажет другое: что Азия и Африка — это Новый мир, который несет надежду человечеству. Сам он не раз ловил себя на мысли, что не верит в западную цивилизацию: сколько у нее было возможностей, и как она их позорно упустила!

— Это не меня, а тебя опоили,— сказал Грант Прыгуну.

Вокруг послышался смех.

— Слушай, Генерал, — заговорил Солли серьезным тоном, — ведь японцы напали на Пирл-Харбор без всякого повода с нашей стороны. Ты можешь симпатизировать кому хочешь и я, допустим, тоже, но дела это не меняет: напали без повода...

Грант завопил, точно его змея ужалила:

— Как так без повода? Это только по-твоему без повода! Ты меня поражаешь, капрал Солли. Я тебя считал толковым человеком, а ты такой же, как все они. Готов верить любым басням, что тебе расскажут белые... Японцы начали войну ради самозащиты...

— Бред собачий все, что ты говоришь! — вспылил Солли... Ему до слез было обидно, что этот самолюбивый человек нашел такую отдушину для накопившейся в нем горечи. А виновата и здесь Америка — она, и только она...

— Скажи-ка лучше, ты, часом, не из тех ли японских шпионов, которых поймали в Гарлеме? — спросил Роджерс.— Как же ты сумел пролезть в армию?

Грант смерил его гневным взглядом.

— Нет, уж лучше ты мне ответь: где твое самолюбие? В заду, не иначе...— И он гордо направился в гальюн.

■

На двадцать пятые сутки в полдень Солли заметил, как из тумана, словно доисторическое чудовище, вырастает что-то длинное, зеленовато-серое и, материализуясь, мало-помалу принимает очертания острова. А еще за полчаса до этого к транспорту слетелась приветственная делегация чаек, чтобы эскортировать его на самый большой остров. Но от этого острова корабль отделяли еще острова поменьше, разбросанные по зеркальной глади, как кучки зелени на роскошном блюде салата. Видимо, был час прилива, так как несколько таких клочков суши находились целиком под водой, высовывались лишь макушки деревьев, и казалось, будто деревья растут прямо из воды. «Нью-Роттердам» входил в залив, держа курс на главный остров и лавируя между мелкими необитаемыми островками, лагунами, атоллами и коварными, причудливо красивыми, коралловыми рифами. Лоцману помогало солнце, пронизывавшее своими лучами сверкающую синеву моря до самого дна.

Солли стоял на палубе и смотрел на воду. Не здесь ли судьба готовит ему могилу? Завтра, или послезавтра, или через месяц... А может быть, и сегодня, сейчас... Где-то на этом острове засели те, из-за кого ему пришлось оставить дом и семью и плыть сюда за тысячи-тысячи миль, чтобы охотиться на них, как на зверей, и убивать их или быть убитым. Ведь они такие же люди, как и он, и дома у каждого — мать и близкие. Каждый чей-то сын, о каждом тревожатся, не спят ночей. Маленькие желтые дьяволы! Попались на удочку шайке злодеев, которая ведет их к гибели и уже столько бед принесла человечеству. Что же, сами ее над собой поставили, пусть и пеняют на себя!

Он ненавидел их не потому, что они желтые. Он не мог им простить, что они исковеркали ему жизнь, отняли лучшие годы, а ведь жизнь так коротка... И он все больше распалял в себе гнев и ненависть. А быть может, виновата жара, и страх, и тоска, и одиночество. Милли... мать... Фанни Мэй. Юрист, писатель... Жизнь — это отсчет времени на часах вечности: что ушло, то кануло навсегда. А он тратит ее, тратит бессмысленно. И все из-за них, из-за этих, что засели на диком, пустынном острове...

Посреди залива «Нью-Роттердам» вдруг остановился, словно жгучее солнце заглушило мотор. Потом двинулся, но тут же дал задний ход. Так повторялось раза три или четыре: он то двигался вперед, то неуверенно пятился назад, будто никак не мог принять решения, подавал истошные гудки и принимал с берега световые сигналы. Через некоторое время к нему подошел моторный катер, и два офицера поднялись на борт. Они пробыли на корабле минут пятнадцать, и катер умчал их обратно на остров.

Прошло еще три часа. Солдаты по-прежнему изнывали в этом пекле. Терпение их давно истощилось, однако только к концу дня транспорт стал приближаться наконец к острову. Впереди был извилистый берег и за ним — густые джунгли, застывшие в раскаленном добела воздухе. В зарослях уже замелькали автомашины, похожие на гигантских тараканов, а вскоре они увидели дома под тростниковыми крышами, «виллисы» и грузовики на проселочных дорогах, людей и вообще «цивилизацию». Наконец судно бросило якорь, а еще через полчаса солдаты 913-й, потные и возбужденные, с ранцами и вещевыми мешками, спускались по канату на баржу, которая подошла, чтобы отвезти их на берег. Остальных оставили на корабле, надолго ли и почему — неизвестно...

И вот они на берегу, стоят по команде «вольно», хотя и не очень-то вольно, на раскаленном песке, рядом с каждым — ранец, вещевой мешок и винтовка; все вспотели, устали, с ожесточением бьют комаров и москитов. У Солли такое чувство, будто его сунули в горячую печь и расплавили. И комары едят его поедом.

— Все в порядке,— сказал им капитан Резерфорд.— Можете быть совершенно спокойны. Мне нужно только кое-что оформить. Оставайтесь на месте, стерегите свое снаряжение, пока я не вернусь. Делайте что хотите, можете покурить, но отсюда не отлучаться.

Скотти замурлыкал себе под нос слова старинного блюза:

Спрячусь в товарном вагоне,
Укачу от тебя далеко...

Капитан спросил, есть ли у кого вопросы, и Скотти открыл было рот и собрался поднять руку, но Резерфорд уже вызвал Сондерса и приказал ему сесть с ним в реквизированный «виллис». Они объехали весь этот тихий загадочный остров с величественными пальмами и травой выше человеческого роста и такой густой, что казалось, ступи на нее — она не прогнется. Но вот ярко-зеленые джунгли стали тускнеть, темнеть, сделались почти черными; наступал вечер, и солнце уже садилось в Коралловом море. Однако парило по-прежнему. Первую остановку сделали в штабе дивизии, вторую — в штабе корпуса, оттуда поехали в штаб базы, и чем дальше, тем все злее становился Резерфорд. Но это не помогало: нигде, куда бы они ни приехали, их не ждали.

У входа в штаб базы было нацарапано:

«ДО ТАЙМС-СКВЕРА 10 000 МИЛЬ ПО ПРЯМОЙ»

Круглолицый майор выписал требование и велел передать начальнику хозяйственной части.

— Он вам выдаст койки на ночь. Хоть будет на чем спать вашим людям. Нам это знакомо: какой-нибудь подполковник гонит свою часть за океан досрочно, лишь бы выслужиться, заработать чин полковника. Я не говорю, что и с вами было обязательно так, но что так бывало не раз — это факт...

«Нет, наверное, майор шутит,— подумал Солли.— Неужели в армии это возможно?» От жары и клокотавшей в нем злобы голова у него прямо-таки раскалывалась. «Пригнали на край света в это чертово пекло, проливай свою кровь, подыхай тут... досрочно!»

За двадцать пять дней плавания Резерфорд приобрел сходство с вареным раком, которого посыпали солью. Сейчас в своей растерянности он стал еще краснее, и сходство увеличилось.

— Считайте, что вам повезло, будет хоть на чем поспать,— говорил он час спустя своим зловеще притихшим подчиненным.— Это мы с капралом для вас постарались. Сондерс проявил преданность вам, упорство и находчивость.

Тем временем тьма уже сгустилась, и никто из «благодарных» солдат, в том числе и сам Сондерс, не чувствовал, что ему так уж повезло. Джунгли стали черными-пречерными и огласились дикими ночными звуками: птицы кричали на разные голоса — визжали, ухали, хохотали и пели; жабы, ящерицы и вся нечисть справляли свой неистовый шабаш. И ночные истребители начали свой блицкриг: взводы, эскадроны, роты, полки, дивизии москитов — кровожадных, безжалостных, неотразимых — с гудением летели из зарослей и пикировали на людей. И сколько бы их ни убивали, на смену им являлись новые и новые храбрецы, и одолеть эти орды вампиров не было никакой возможности.

Перепуганные солдаты ворча потащили койки и снаряжение по извилистой тропе в джунгли. Пройдя ярдов двести, они очутились на небольшой темной поляне. Капитан скомандовал:

— Устраивайтесь здесь на ночлег. Вопросы есть? Нет? Поешьте, выспитесь. Завтра будет трудный день.— И он поспешно укатил на реквизированном «виллисе».

Солли горько усмехнулся и огляделся по сторонам. В воздухе гудели рои москитов, под ногами копошились неутомимые земные крабы, сороконожки и еще невесть что, не получившее «цивилизованных» названий. Солдаты были взвинчены, но тем не менее принялись располагаться на ночь, и Солли тоже расставил койку, сел и, вытащив пакет с едой, начал грызть сухарь и заедать бобами. Каждый раз следом за ложкой в рот к нему влетало несколько москитов.

Рядом уже похрапывал Червяк, и вскоре Солли тоже начал дремать, хотя его душила злоба и зуд был нестерпимый. И вдруг изумрудно-черное небо опустилось и закрыло звезды, и все сразу замерло, даже гомон в джунглях. Раздался гул — он перекатывался, нарастая, и оборвался где-то близко оглушительным ударом, потрясшим весь остров. За первым ударом последовал второй, потом еще и еще; над головой понеслись огненные стрелы, и небо обрушилось таким страшным ливнем, что, казалось, он смоет весь этот пустынный остров в Коралловое море. Солдаты повскакали с коек и побежали прятаться под высокими деревьями. В эту минуту огненная стрела молнии ударила рядом, и раскатился такой гром, какого Солли никогда еще не доводилось слышать. Одна из пальм раскололась надвое. Посыпались, будто с неба, кокосовые орехи, шарахнулись в испуге громадные летучие мыши, а солдаты, искавшие под пальмами убежища, быстро ретировались, шлепая по лужам обратно к своим койкам.

Солли приподнялся и сел. А Червяк все это время преспокойно лежал на спине, подложив руки под голову, и, уже промокнув до нитки, пел, стараясь перекричать гром:

Мы особый полк, десант-ники...
Мы особый полк, десант-ники...

Почти час черное небо оплакивало горючими слезами землю, а потом так же внезапно все стихло.

■

На следующее утро солдаты вооружились топорами, пилами и тесаками и отодвинули джунгли футов на пятьдесят, заставив обитателей зарослей — всех этих питонов, крыс, ящериц ростом с собаку — разлететься, разбежаться, расползтись под напором цивилизации. На фруктовых деревьях спали вниз головой летучие лисы. Это были уродливые, сморщенные существа, самые крупные из породы летучих мышей, с размахом крыльев в пять и даже семь футов — птицы с медвежьими мордами, дававшие почувствовать свой злой, раздражительный нрав любому, кто смел потревожить их в дневное время. Рядом с Солли, почти скрытый

высокой травой и зарослями бамбука, работал круглолицый паренек из третьего взвода. Вдруг он упал, точно подкошенный собственным тесаком, и Солли решил, что у малого солнечный удар. Однако через шесть часов он скончался, по официальной версии — от укуса крысиной блохи. Солнечный удар все-таки свалил двух других солдат, третий выбыл из строя из-за кокосового ореха, упавшего с верхушки пальмы ему на голову. Тем не менее участок был очищен от зарослей и их обитателей. Но где же вторая мировая война? И где амфибии? Пока что десантников назначили на причал выполнять обязанности рабочего батальона — разгружать суда.

На третий день вечером Солли вызвали в палатку командира на совещание с капитаном и лейтенантом Сэмюэлсом. Резерфорд нервничал — вскочил со стула и снова сел. Потом заговорил:

— Мы находимся в зоне военных действий, и командование требует, чтобы мы проводили информацию среди солдат. Оно опасается, что нам не известно, с какой целью мы направлены сюда.

— В этом есть некоторая доля истины, капитан,— заметил Сэмюэлс.

Солли было непонятно, зачем они пригласили его на свой tête-a-tête*.

Резерфорд опять вскочил и тут же сел.

— По совести говоря, я считаю это пустой тратой времени, но приказ есть приказ. Коменданта базы, кажется, особенно тревожит вопрос, знают ли негритянские солдаты, за что они воюют. Я был у него в штабе и сказал ему, что негры — самые лояльные из всех американцев. Верно я ему сказал, а, Сондерс?

— Да, сэр,— ответил Солли. Неужели этот человек может шутить в такое время? Не всерьез же он это говорит!

— Так или иначе, мы должны этим заняться,— сказал капитан,— и я поручаю вам, лейтенант Сэмюэлс, руководить информационно-воспитательной работой, а вам, *сержант* Сондерс, исполнять обязанности помощника. Договоритесь между собой и действуйте.

Не успев подумать, Солли воскликнул:

— Нет, сэр, пожалуйста, освободите меня! — Жара, рубашка прилипла к телу, москиты кусают, все нутро горит... «И почему он назвал меня сержантом?»

— Сондерс, я могу наложить на вас взыскание за неподчинение приказу. Не вынуждайте меня к этому. Вы слишком уверены в моей доброте. А здесь гауптвахта — не то, что в Соединенных Штатах.

— Но, сэр, вы же сами сказали, что это пустая трата времени, и нам это не требуется, так как негритянские части наиболее лояльные из всех...— Солли понимал, что играет гранатой, которая может в любую секунду взорваться у него в руках, но испытывал от этого какое-то странное удовольствие.

— Я не обязан испрашивать вашего согласия, Сондерс,— сказал капитан,— вы это знаете. Я могу отдать приказ, и вы должны подчиниться. Но в это дело надо верить, иначе вы его угробите, и я последний раз предлагаю вам подумать. Вам будет присвоено звание младшего сержанта. Что вы на это скажете? Кем вы предпочитаете быть— рядовым или сержантом?

В душе у Солли сразу возник ответ: рядовым! Оставьте меня рядовым! Можете сами с вашим лейтенантом распинаться перед солдатами насчет войны за Демократию... Но какой-то другой голос нашептывал ему, что он хочет быть сержантом, хочет верить, что война — это не вовсе потерянное время и пропаганда военного министерства — не мура, а объяснение истинного значения событий. Он должен сохранить в себе

---

* Интимную беседу *(франц.)*.

веру, чтобы не сойти с ума в этом тропическом пекле. И Солли сказал чужим голосом:

— Когда первое занятие, сэр?

— В пятницу.— В голосе капитана слышалось торжество.— А завтра будет приказ о вашем производстве.

Солли не заметил, как капитан потрепал его по плечу, сунул ему в руки брошюры и вышел. Он остался вдвоем с лейтенантом в ротной канцелярии. Сэмюэлс сказал:

— Сегодня нам в штабе сообщили о таком случае: одна негритянская часть действовала под началом офицеров-южан. Она была в первом десанте, и ей пришлось углубиться с боем в джунгли; когда стали подсчитывать потери, оказалось, что все белые офицеры, до единого, таинственным образом убиты и вместе с ними даже один негр — старший сержант.

Солли посмотрел на Сэмюэлса и рассмеялся.

— Ну вот, видите, как эти парни преодолели национализм! А сержант-то небось из кожи вон лез, угождая белым! — Он так смеялся, что у него заболело под ложечкой, а Сэмюэлс стоял столбом, и его смуглое лицо заливала краска.

В пятницу перед ужином состоялось первое занятие на тему «Расовые предрассудки — помеха прогрессу». Солдаты вежливо выслушали лейтенанта и Солли, но когда дело дошло до вопросов, они явно отклонились от темы. Они хотели знать, где же амфибии и почему их притащили сюда, за тридевять земель, и превратили в рабочий батальон, попросту говоря — в портовых грузчиков. Все они были злы, раздражены и не хотели слушать никаких доводов. Червяк и Скотти особенно ярились, и сержант Сондерс стоял перед ними дурак дураком.

На следующий день капитан нашел у себя на столе бюллетень Красного Креста. Не читая, он передал листок Сэмюэлсу, а тот, пробежав его глазами, передал Солли. Это было извещение о вечере отдыха в клубе Красного Креста; приглашалось пять солдат от каждой роты. Тридцать красоток из «Объединенной службы организации досуга войск», прибывшие накануне из Соединенных Штатов, будут играть на этом вечере роль хозяек, чтобы поднять боевой дух солдат.

Солли спросил своего приятеля-лейтенанта:

— Как же я выберу пятерых солдат для этого задания?

— Я вам помогу,— ответил лейтенант.

Во время ужина он вышел из-за офицерского стола.

— Внимание! — сказал он.— Требуются четыре добровольца для выполнения особого задания сегодня вечером.

Одни солдаты скромно уставились в свои тарелки, другие искоса поглядывали по сторонам — найдется ли такой дурак, что схватит наживку, третьи выразительно откашливались и спешили набить себе рот мясом. Никто не клюнул, даже сверхусердный служака Роджерс.

— Я боюсь, что вы меня не поняли,— сказал лейтенант.— Сержанту Сондерсу требуются четыре добровольца для совместного выполнения особого задания. Однако я вижу, все молчат.— Он сделал паузу и обвел глазами сидящих солдат, которые теперь уже не только покашливали и делали вид, что углубились в еду, но и многозначительно толкали друг друга ногами под столом.— И вам не совестно будет, если сержант Сондерс отправится совсем один на опасное дело?

Кое-кто виновато смотрел в сторону, некоторые даже вспотели. Червяк поднялся первым, за ним — Длинный Линкольн, потом — Скотти и Тихоня. Тут начали вставать и другие, но лейтенант сказал:

— Больше не надо, хватит. Зачитайте приказ, сержант Сондерс.

Солли встал и прочел приказ, и «добровольцы» засмеялись, а у остальных был такой вид, словно они объелись хинином.

После ужина все пятеро выкупались в ручейке близ лагеря, получили увольнительные и, вооружившись электрическими фонариками, отправились по узкой, извилистой тропе через душные джунгли, оглашаемые странными ночными звуками. Особенно жутко кричали горластые летучие лисы; они срывались с деревьев, носились в слепящем свете фонарей, как ночные бомбардировщики, и солдатам приходилось то и дело вбирать голову в плечи так, что больно было шее.

Клуб Красного Креста сиял огнями, как Бродвей. Негритянский джаз-оркестр лихо, в бешеном темпе играл «Прыжок в час ночи». Все до единого человека танцевали. В зале было полно американских солдат, и среди них мелькало несколько австралийцев в шортах. Любезная пожилая американка из Красного Креста встретила негров у входа. Она сияла улыбкой, демонстрируя весь полагающийся комплект зубов.

— А для вас, ребята, танцы в другом месте. Надо пройти бензиновый склад, оттуда по дороге еще около мили и потом лесом не больше четверти мили. Это там, где хозяйственная часть. Вы легко найдете!

Солли онемел. Даже не удивился, просто онемел. Сперва стало жарко глазам, потом вспыхнуло лицо и огнем ожгло грудь и спину. Стоявший позади него Скотти проворчал:

— Если эти гады не желают нас пускать к себе, пусть отправят обратно домой.

Червяк что-то проворчал насчет помех прогрессу и «Тустепа чернокожих фланеров». В зале гремел негритянский оркестр и танцевали белые. Пот застилал Солли глаза, и он уже ничего не видел, кроме зубов белой дамы — вероятно, вставных,— которые она скалила в улыбке. Все же он сказал учтиво:

— Тут какое-то недоразумение, мисс... Нас пригласили на вечер именно сюда.— Достал из кармана пригласительный билет и протянул ей.

Она взглянула на билет так, точно увидала змею — даже руку отдернула. Но на лице ее все еще сияла любезная, благожелательная улыбка. Это была хорошо воспитанная белая дама.

— Вот именно недоразумение, сержант. Это я и пытаюсь вам объяснить. Цветные солдаты должны...

— «Тустеп чернокожих фланеров» нас не устраивает,— вмешался Червяк.

Любезная дама обернулась к нему:

— Простите, как вы сказали?

— Сударыня,— сказал Солли,— никакую хозяйственную часть мы искать не пойдем. Мы на этом острове всего несколько дней, и командир отпустил нас на два часа и направил именно сюда, в клуб Красного Креста. Вы намерены отменить его приказ? — Его душила ненависть к ней — к ее фальшивым зубам, к фальшивому лицу, к деланной вежливости. Он ненавидел ее за то, что она пригнала его сюда за десять тысяч миль от дома, чтобы с бою брать это паршивое заведение, где уже пахнет жареным негром.

Маска приветливости вдруг исчезла, дама сделала кому-то знак, и рядом с ней сразу выросли двое дюжих военных полицейских.

— Слушайте, ребята, не устраивайте скандала.— Плечистый черноволосый полисмен был похож на вышибалу из гангстерского притона.— А если вы для этого сюда явились, мы вам такого дадим — света божьего не взвидите.

Другой, белобрысый, был с виду какой-то придурок, а по речи — южанин, и, кажется, образованный. Он сказал:

— Мой вам совет, ребята, уходите отсюда подобру-поздорову, не поднимайте шуму.

Стервец! Нужны твои советы! Солли хотелось ему ответить: «Ничего мы не поднимаем. Мы только...» — но тут Скотти пригнул львиную голову, боднул в живот черноволосого полисмена, сшиб его с ног и навалился сверху. Полисмены бежали со всех сторон. Белобрысый херувимчик стукнул Скотти кистенем, прежде чем Солли успел схватить его за руку. Солли, Червяк, Длинный и Джимми — все бросились на выручку к товарищу, но полисмены стали теснить их, колотя дубинками по ребрам, выкручивая руки. Не дав им опомниться, они притиснули их к стене, приказали поднять руки и стали обыскивать, как пойманных с поличным преступников. Все делалось так ловко и быстро, что в зале никто ничего не заметил. Веселье и танцы продолжались, негритянский оркестр гремел не умолкая. Лишь несколько человек, случайно оказавшихся рядом, видели эту сцену. Скотти привели в чувство и приставили к стене рядом с остальными.

— Люди, вы что, окончательно обезумели? — сказал Джимми Ларкер тихим гневным голосом, в котором дрожали слезы.— Понимаете ли вы, за что воюет Америка?

— Не связывайся, Джимми! — сказал ему Солли. У него ныло все тело, и он дышал тяжело, будто лет сто карабкался на крутую гору. Он ненавидел всех — и за себя, и за Джимми, и за остальных товарищей, но больше всего за себя и за Джимми; ненавидел эти поганые черствые души за то, что они вбили сейчас еще один гвоздь в гроб солдатского патриотизма.

— Ну, хватит, уведите их на губу! — приказал старший полицейский.

Какой-то капрал, белый, и даже с южным акцентом, протиснулся к Солли, когда его уводили.

— Я был свидетелем этого, сержант. Скажите, кому сообщить?

У Солли опять что-то оборвалось внутри. Он очень пристально посмотрел на белого. Полицейский дал ему пинка, но он успел сказать:

— Мы из девятьсот тринадцатой, десантной. Найдите лейтенанта Сэмюэлса и сержанта Андерсона и расскажите им, как все было. Наш лагерь на Белой дороге у самого океана, возле артиллерийского склада.

— Заткни пасть и шагай быстрее! — приказал полицейский.

Но Солли все же повторил:

— Сержант Андерсон и лейтенант Сэмюэлс, девятьсот тринадцатая, десантная.

«Добровольцев» заперли в камере. Лишь поздно ночью приехали Сэмюэлс и Андерсон, после чего их выпустили.

У себя в палатке Солли разделся, не зажигая света, лег на койку и затянул сетку от москитов. Так он пролежал около часа, но заснуть не мог. От пережитого волнения голова раскалывалась на части. Он поднялся, зажег фонарь, достал авторучку и бумагу и, присев на койку, начал писать:

«Я обращаюсь к тебе, Америка. Я все еще высокого мнения о тебе и желаю тебе только добра. Ты была и останешься идеалом для человечества. Ни одна страна не имела тех возможностей, какими располагала и располагаешь ты».

Капли пота, как муравьиное войско, ползли по его телу. Руки дрожали. Казалось, все жуки и ночные бабочки со всего острова слетелись к нему на огонь. Они жужжали и метались вокруг фонаря, тычась ему в лицо. Солли писал:

«Но берегись, Америка! Не думай, что моя любовь будет вечной. Я любил тебя, как никто другой, и никогда тебя не предавал. Но любовь, не встречающая отклика, всегда несет в себе опасность и гибель. Не вынуждай меня сказать тебе: «Ну, смотри, злодейка! Я теперь на твоей

могиле попляшу!» Мои щеки стерлись от побоев, слишком часто их угощали пощечинами».

Он хотел еще многое написать, чтобы любимая Америка узнала все то, что скопилось у него на душе, но уже начали болеть глаза, и сильнее задрожали руки, и мошкара плотно облепила бумагу и ползала по его потному лицу. Солли потушил фонарь и лег. Наконец он все-таки заснул.

Томительные дни складывались в недели. Днем солдаты работали у причала, проклиная палящее солнце, а душными ночами превращались в пищу для комаров. Они глотали столько хинина, что их кожа приобрела зеленоватый оттенок, и все-таки многие подхватили тропическую лихорадку и малярию и попали в госпиталь, а потом выписались снова в часть. А время все шло и шло. Двое солдат погибли от малярии. И великая война казалась теперь Солли чем-то еще более далеким, чем тогда, в Калифорнии.

Душными ночами Солли трудился над своим военным романом, хотя сам еще не нюхал пороха. Он писал при свете фонаря, на который слеталась мошкара со всего острова. А в палатке напротив Длинный Линкольн писал стихи о любви. Этот человек был одержим нежностью среди всеобщей бесчеловечности.

Солли получил от Милли восемь писем за одну неделю. Червяк получил одно письмо — от Фанни Мэй. Он сказал Солли:

— Счастливый ты, черт. Она боготворит даже землю, по которой ты ступаешь...

Одно письмо Милли так взволновало Солли, что слезы подступили у него к горлу. «Сначала, когда у меня появилось подозрение, я ужасно заволновалась. Но нечего радоваться раньше срока, говорила я себе, так случалось и раньше. Завтра или послезавтра все окажется ошибкой. Прошло много времени, прежде чем я пошла к врачу. Я не смела надеяться. Но врач сказал: «Да, миссис Сондерс, сомненья нет, вы будете матерью». Я вся задрожала от счастья. Наверное, это случилось в ту ночь, когда мы в последний раз были вместе. Любовь была с нами тогда. Я так счастлива, что просто не знаю, что мне с собой делать!»

Солли поцеловал письмо, прижал его к щеке. По спине и плечам у него пробежала теплая дрожь. На этот раз он действительно будет отцом. На этот раз да. Милли, красавица Милли понесла от него ребенка. Сердце Солли колотилось бешено, колотилось громко, мужская гордость распирала его, он словно вырос вдвое в собственных глазах... Когда он вернется, он будет делать все, что только она пожелает. «Обещаю тебе, дорогая Милли! Я тебя люблю, и буду вечно любить, и буду делать все, чего бы ты ни пожелала!» Но мысленно произнося этот обет, он уже вспоминал Фанни Мэй и зарок, который он ей дал: никогда не поступаться своим человеческим достоинством.

Однажды в третьем часу ночи в палатку вошел Резерфорд. Солли накануне засиделся над своим романом и только что уснул. Капитан разбудил старшего сержанта:

— Живо, в ротную канцелярию!

Андерсон заметался по палатке, стараясь проснуться и одновременно напяливая форму, и, осуществив кое-как то и другое, нырнул в ночной мрак. Солли, разбуженный шумом, заснул снова и увидел во сне все происходившее только что наяву... Но его тут же разбудила какая-то суматоха: мимо палаток забегали, послышались приглушенные голоса. «Как видно, все на ногах, кроме Соломона Сондерса»,— пронеслось у Солли в голове, но в этот миг кто-то заглянул к нему в палатку и крикнул:

— Сержант Сондерс, дуй к начальству!

В ротной канцелярии был уже форменный содом. Офицеры, унтер-офицеры и солдаты появлялись и исчезали, бегали туда и сюда, тревожно перешептывались. Солли прочел телеграмму, лежавшую на столе капитана. Это был приказ в девять ноль-ноль погрузить 913-ю на самолеты на местном полевом аэродроме. Пункт назначения — «Чарли Би». Срочно требуются амфибии. Каждая минута дорога. Телеграмма была подписана бригадным генералом.

Лагерь снялся как цирк, покидающий город; в восемь пятьдесят взбудораженные солдаты в полном походном снаряжении были на аэродроме. Многие, в том числе и Солли, поднимались в воздух первый раз в жизни. Беспорядочно потолкавшись на аэродроме с полчаса, все разместились в двенадцати бомбардировщиках и без всякого сопровождения, хотя всего в четырнадцати милях от места назначения шли кровопролитные бои, полетели за двести тринадцать миль в залив Калхуна.

Лейтенант Грэхем, начальник транспортной части, сидел рядом с Солли в отсеке для бомб. От пота у него на лбу высыпали красные прыщи.

— Тут недолго и в штаны напустить,— признался он Солли.— Я еще никогда не летал. Эти двухмоторные бомбардировщики из кого хочешь душу вытряхнут. И главное — летим на фронт без истребителей. А у нас — ни единого орудия. Двух выстрелов зенитки достаточно, чтоб всех нас отправить на тот свет.

Солли тоже трусил, но поддразнил лейтенанта:

— Мы-то дешевый товар у Дяди Сэма. Это ни для кого не секрет, лейтенант. Но они, оказывается, и вас в негры произвели.— Солли засмеялся, лейтенант удивленно поглядел на него, еще сильнее покрылся испариной, издал неприличный звук и даже не извинился.

И хотя их вызвали телеграммой, на новом месте им оказали такой же прием, как и на прежнем. Никто их не ждал. Никто не знал, что с ними делать. Все их имущество следовало морем, и капитану вместе с Солли пришлось изрядно побегать, прежде чем они добились походных коек от квартирмейстера, да и те они получили лишь после того, как стало совсем темно и сонмы москитов пошли в свою ночную атаку. Солдаты расположились на поляне в джунглях, и всю ночь их поливало дождем. На следующий день они получили назначение — работать на причале грузчиками. Все повторялось, как уже знакомый дурной сон. Впрочем, теперь это был не просто сон, а тяжелый кошмар: здесь, к северу, дожди были сильнее, и солнце припекало жарче, и москиты были крупнее, и трава выше, и летучие лисы злее... И малярия, и тропическая лихорадка, и желтая лихорадка вдобавок... И день и ночь не стихал ухающий гул орудий: война была теперь почти рядом, хотя, впрочем, так же далеко, как и раньше.

Раз Солли работал на причале; солдаты разгружали довольствие, а он записывал груз. Зной был так нестерпим, что даже все кузнечики попрятались. Солнце сверкало, раскаленное докрасна, но если посмотреть на него украдкой, откуда-нибудь, где оно не смотрело на тебя, то на мгновение в глазах запечатлевался ослепительный серебряный диск. В голубой зеркальной глади залива он отражался тысячью бриллиантовых искр. Солли мог побиться об заклад, что линия экватора проходит именно здесь, по этому берегу, по головам и обнаженным спинам солдат 913-й.

Длинный Линколн, прикрыв ладонью глаза, посмотрел вверх.

— Эй, глядите!

Солли тоже поднял голову и увидел, что солнце швыряет на землю куски серебра. Казалось, самолеты отрываются прямо от солнца, от огромного белого диска, скользят по его слепящим лучам и устремляют-

ся к раскаленной земле. Они стремительно снижались, явно держа курс на этот берег. И вдруг все загрохотало, как в день Четвертого июля *. Заработали все зенитные орудия, какие только были на острове, трассирующие пули изрешетили небо, разрываясь вокруг самолетов, а серебряные птицы, виляя хвостами, ныряли в облака, увертывались и продолжали лететь на цель, и солдаты в смертном страхе попрятались под грузовики. В светлом небе одна из серебряных птиц нырнула вниз и снова ринулась вверх, роняя свои смертоносные яйца на землю, и земля разверзлась, а еще один серебряный хищник спикировал на корабль, и тоже уронил на него яйцо, и тут же, обернувшись морской чайкой, метнулся ввысь. Это было прямое попадание, и транспорт взлетел на воздух футов на пятьдесят, разбрасывая во все стороны куски железа и дерева, и человеческие руки, и ноги, и головы, и целые туловища, а потом тихо опустился на воду, догорел и пошел ко дну...

Налет окончился так же внезапно, как и начался: серебряные птицы снова умчались к солнцу, орудия замолкли, и раскаленная земля затихла. Рота возобновила прерванное дело, война снова ушла далеко.

Каждый день серебряные птицы срывались с солнца, наносили острову короткие волнующие визиты и всякий раз оставляли свои автографы. Земля раскалывалась, гибли люди — постепенно это стало привычным явлением. И каждый день солдаты разгружали транспорты, и каждую ночь солдат поедом ели москиты. Лишь когда третий месяц был на исходе, прибыли наконец амфибии. И с этого дня они уже стали *настоящими* десантниками.

Глава 3

Однажды роту собрали на специальное построение в 18.00, и Резерфорд сообщил, что на этот раз уже дело серьезное: они назначены во второй десант, который явится частью крупной и очень важной операции.

— Ближайший американский или союзнический аэродром или даже база будут от нас за полторы тысячи миль,— говорил капитан.— Нам приказано создать опорный пункт в обеспечение высадки и удерживать его любой ценой. Нашей единственной защитой будут самолеты, базирующиеся на американские авианосцы... Вольно, рядовой Тейлор! — вдруг рявкнул Резерфорд. Его крохотные глазки обежали ряды, не пропустив ни одного лица, словно пытаясь прочесть мысли, сомнения и страхи каждого солдата. Все стояли не шевелясь, угрюмые, молчаливые. Даже москиты перестали жужжать, словно и они прислушивались.— С этой минуты каждый из вас должен проникнуться сознанием общего долга и помнить, что все мы — одна большая семья. Это первое столь ответственное задание в вашей жизни. Ради одного этого стоило родиться на свет.

«Вот спасибо-то, капитан! — сказал про себя Солли.— Теперь я знаю, в чем смысл моей жизни, ради чего я родился. Теперь можно и концы отдать спокойно!»

— Я хочу, чтоб вы видели во мне не только командира, но и вашего друга.— Голос капитана дрогнул. От его надутой самоуверенности не осталось и следа. Ему явно хотелось, чтобы солдаты его любили. Любили по-настоящему.

«Да,— подумал Солли,— небось вспомнил про негритянскую часть, которая таинственным образом потеряла в бою всех офицеров-южан вместе с одним их прихвостнем-негром. Наверняка вспомнил!» Солли насквозь видел капитана... Хочет, чтобы солдаты считали его своим благодетелем, Великим Белым Отцом!

---

* Четвертое июля — День независимости США, празднуется в Америке со стрельбой и фейерверками.

— Бояться решительно нечего,— говорил капитан дрожащим голосом.— Я все время буду с вами. А через несколько дней всякая опасность уже минует. Начнется нормальная гарнизонная жизнь, такая же, как здесь, на базе.— Он поддернул локтями сползающие брюки.—Я знаю, кое-кто из вас, солдаты, думал иной раз, что я чересчур строг и требователен. Но я всегда делал только то, что считал полезным для вас. А ошибки ведь у всех бывают, недаром же к карандашам резинку приделывают. Теперь надо похоронить прошлое. Сплотимся во имя общего дела. Предоставляю слово лейтенанту Грэхему, он хочет вам кое-что сказать.

Капитан отошел. Лейтенант, бледный, потный, зашагал взад и вперед перед строем.

— Я хочу поднять перед вами один вопрос. Это вопрос о взаимном уважении. Когда бы я ни шел мимо палаток, вечно слышу, как вы адресуетесь друг к другу то «сукин сын», то и похлеще. Это безобразие, я не потерплю у себя похабщины.— Грэхем понимал, что солдаты, того и гляди, прыснут ему в лицо, но храбро продолжал: — Вы родились в почтенных христианских семьях. Вам предстоят тяжелые бои. В такое время надо молиться, а не сквернословить! Я хочу, чтобы мои унтер-офицеры помогли вырвать эту заразу с корнем.— Он обвел глазами ряды. Негры... А негр, говорят, больше всех боится смерти, значит, должен быть настроен молитвенно. Совершенно не понятно такое поведение! — Лейтенант покраснел и крикнул сердито: — Сержант Роджерс!

Бык шагнул вперед и лихо вытянулся перед лейтенантом во фронт.

— Сэр, — отрапортовал он, — заверяем вас, что весь унтер-офицерский состав разделяет ваше благородное стремление. Обещаем провести беседы с солдатами и вырвать с корнем всякое сквернословие.

— Благодарю вас, сержант, — важно произнес лейтенант. Они отдали честь друг другу, и Грэхем направился к офицерскому бараку.

Бык повернулся к притихшим солдатам и, убедившись, что лейтенант уже далеко и не услышит его, хрипло выкрикнул:

— Чтоб больше никто у меня не смел суку поминать! Слышите, вы, сукины дети?

Солдаты загоготали.

■

Всю неделю шли приготовления к десанту. Похоже было, что жгучее нетерпение Прыгуна будет наконец удовлетворено. Каждый вечер он выходил из своей палатки с криком:

— Ох, дайте мне до них добраться! Я им покажу!

Солдаты смеялись и шутили насчет Великого Дня, но их зубоскальство было наигранным. И все были заняты делом: чистили винтовки, проверяли противогазы, каски и обмундирование, устанавливали на машинах пулеметы, наполняли мешки песком. Пели, вспоминали дом, писали письма. Одни молились, другие сквернословили. Страх гнездился в сердце каждого, но была и отвага...

На девятый день их погрузили на танкодесантный корабль, который входил в оперативное соединение, состоявшее, главным образом, из танкодесантных судов. Амфибии были на борту вместе с ними. Через два дня их судно присоединилось к каравану, и, нервничая, но храбрясь, они поплыли дальше. Солли даже представления не имел, что бывают такие крупные соединения: насколько хватал глаз, океан бороздили десантные суда, странно напоминая своим валким ходом движения знаменитого боксера Генри Армстронга: подскок — и одно плечо вверх, подскок — вверх другое, и крен то вправо, то влево...

И вот уже последний вечер накануне десанта, назначенного на утро. Солли долго не уходил с палубы. Небо было безлунно, тучи плотно за-

крыли звезды — лучшей ночи для высадки не придумаешь. Солли стоял, вглядываясь во тьму. Хотелось побыть одному: ведь, быть может, эта ночь — последняя в его жизни. Траурный мрак окутывал все, лишь смутно белела пена вокруг кораблей, упорно рассекавших волны и плывших без устали вперед.

Солли думал о доме, о маме, о Милли, о ребенке, который потихоньку растет в ее утробе и, верно, уже формируется в человечка. Вспоминал любовное неистовство в форте Орд и в Питтсбурге. Корабль сильно качало, и бедный желудок Солли бунтовал. Верит ли Милли в его любовь? В то, что он ее любит, крепко, по-настоящему? А к Фанни Мэй у него совсем другое чувство. Неужели существуют два рода любви? Ну да, может, скажешь еще — четыре, пять! Брось ты думать о Фанни Мэй! Надо пойти вниз, туда, где все.

Внезапно Солли ощутил на губах леденящее веяние смерти. Он со страхом подумал, что его ребенок может не увидеть своего отца. «Мой отец погиб на войне, которая должна была положить конец войнам, и отец моего сына погибнет на войне, которая должна положить конец войнам, и сын моего сына останется сиротой — его отца тоже убьют на войне... Как объяснить, — думал Солли, — что люди, дорожа жизнью, с такой готовностью приносят ее на алтарь патриотизма по первому слову жрецов политики, жрецов печати, жрецов наживы, жрецов войны? Что дает война народу, кроме гибели и разрушений да множества вдов и сирот? День Инвалида? Несколько монет в кружку? Или на Таймс-сквере: «Купите щенка, сударыня!»

Тучи грязными клочьями нависли над головой... Траур во всем мире... Эх, найдись у него смелость, пошел бы сейчас... хотя надо было идти раньше... в радиорубку, стукнул бы бесшумно радиста по голове прикладом и закричал бы на весь океан: «Слушайте все! Слушайте все! Назад, глупцы несчастные, пока не поздно! Назад, безумцы! Если заправилы поссорились, пусть сами меж собой и дерутся, пусть загрызут друг друга насмерть!» Эх, была бы у него смелость!

Или, если бы только он мог верить, хотя бы как Сэмюэлс, в высокие цели этой войны, в Свободу и Демократию! Боже милостивый, сделай так, чтобы твой неверный сын уверовал в это! Да верит ли он и в бога? Разве бог стал бы молчать при виде стольких несправедливостей на земле, разве мог бы он заткнуть уши, чтобы не слышать рыданий! Солли зажмурился, пытаясь представить себе, какой будет жизнь после войны и каким будет он сам, свободно шагающий по всей Америке и по всему свету — от Миссисипи до Сталинграда, до Калькутты и Иоганнесбурга, и как его сын вырастет уже не безродным и жалким, как те, что выпрямляют свои курчавые волосы и отбеливают себе лица, а будет гордо смотреть на себя в зеркало... «И Милли, и мама — тоже гордые и свободные, и Фанни Мэй в Эббенсвилле... И сам я, сам я, черт побери!» Миллионы людей — мужчины и женщины, молодые и старые, разного цвета кожи и разных религий — встанут в один ряд... Солли мысленно увидел перед собой их сияющие, жизнерадостные лица.

— Пошли мне веру! — произнес он вслух. — Пошли мне веру, что после войны все переменится! Пусть эта вера западет мне в душу так глубоко, так глубоко, чтоб я не думал, что люди гибнут даром, чтоб не жаль было даже собственной жизни! Фанни Мэй, Фанни Мэй! Ты сегодня со мной, любимая! Моя любимая, моя единственная! Ты понимаешь, что я чувствую, только ты понимаешь...

Одиночество окутывало его своим черным, как ночь, плащом, тяжело давило на плечи. Время истекает — он должен знать, ради чего он здесь. Солли спустился вниз поискать Червяка.

Спертый воздух трюма ударил в лицо. К всегдашней духоте добавлялся тошнотворный запах пота трусливых, отважных, нервных, взвин-

ченных людей, вонь от нечистого белья, кишечных газов, засоренной уборной... Почему-то Солли вспомнил душевую при школьном гимнастическом зале, баскетбол, бойскаутский отряд, лучшие свои времена и свои наивно-грандиозные надежды.

— Все спать! — послышался голос Роджерса. — Берите пример с капрала Линкольна. Уже четверть первого, а подъем в три. Мы верим, что завтра девятьсот тринадцатая покроет себя неувядаемой славой и каждый из вас докажет, какой он герой. Ну и всякая там прочая мура. Как-никак, не забывайте, что мы — особая часть.

Скотти запел своим сильным хрипловатым баритоном пародию на американский гимн:

О скажи, видишь ты
От клопо-ов следы...

Билли Бэнкс Детская Мордашка закричал:

— Нет, нет, не хочу! Ну его к черту, этот десант! Я ни на кого не в обиде! Ни на кого не в обиде! — Он спрыгнул с койки и подошел к Быку и Солли.— Объясни мне, сержант Роджерс, почему, ну почему должен я завтра стрелять в людей и прятаться от пуль? Что мне эти люди сделали и что я им сделал плохого?

— Не волнуйся, Мордашка, — сказал Бык. — Завтра все будет хорошо. Ты ведь куда храбрее, чем тебе кажется. За тебя-то я как раз меньше всего беспокоюсь.

Этот малый всем действовал на нервы.

Но он замотал головой и закричал:

— Нет, нет! Не понимаю! Это же бессмысленно! Бессмысленно! — Он плакал, не стыдясь своих слез, и они лились ручьем по его детской физиономии.

— Возьми себя в руки, черт тебя подери,— сказал Бык, обозлившись. — Ты же унтер-офицер, должен быть для других примером. Заткнись, слышишь, не то запру в карцер.

Бэнкс повернулся к Солли, вытирая слезы рукой.

— А ты видишь в этом смысл, сержант Солли? Да, я боюсь, боюсь. Ты понимаешь, ради чего эта война?

Он присел рядом с Солли на койку. Роджерс отошел.

Что мог ответить ему Солли?

— Ты умный, ты образованный, сержант Солли. Так растолкуй мне. Ты же наш ИВР *, людей учишь!

— Не думай, что только ты один боишься, Детская Мордашка, — с усилием проговорил Солли. — Я тоже боюсь. На всем этом корабле, во всем этом десанте нет человека, который бы не боялся. А если кто-нибудь скажет тебе, что он не трусит перед боем, так это или дурак, или лгун. Все трясутся от страха — и офицеры, и унтеры, и простые солдаты, — если только они не тупые болваны. Но знаешь, что отличает мужчину от мальчика и храброго человека от труса? Умение владеть собой.

Бэнкс вытер глаза и зашмыгал носом, глотая слезы. Ну, что еще мог сказать ему Солли?

— Из чувства долга перед собой и перед своими товарищами мы обязаны прятать страх. — «А хватит ли у тебя самого выдержки, — подумалось Солли, — когда завтра начнут рваться снаряды и сеять вокруг смерть? Хоть бы уж скорее начиналось, что ли, слишком тяжело ждать».

— Но ты-то, ты видишь смысл в этой войне? — не отставал от него Бэнкс. — Ответь мне на это, сержант.

Солли хотелось бы заткнуть ему рот кулаком, чтобы он перестал бередить ему душу. Опять поднялись тревожные мысли, сомнения и страхи. Весь его поганый идеализм. Он посмотрел на Бэнкса. Что ему

* Информационно-воспитательная работа в американской армии.

сказать? Солли нахмурился, расправил плечи. Пусть сам ищет ответа! Не маленький уже — всего года на два моложе Солли. Да и что скажешь мужчине с лицом ребенка, который, верно, никогда еще не брился, не знал женщины, не ведал юношеских увлечений? Что скажешь ему накануне боя? Правду? А в чем она, эта правда?

— Сам ты видишь смысл, скажи, сержант Солли? Только это скажи мне, сержант!

Солли глубоко втянул в легкие спертый воздух трюма и твердо произнес:

— Да, вижу. И очень важный притом. — Иначе ответить он не мог.— Но только давай поговорим об этом, когда мы выполним задание. А теперь надо поспать хоть немножко.

— Ладно, сержант Солли, — сказал Бэнкс Детская Мордашка.

Он пошел к себе и лег, и Солли тоже вытянулся на своей койке. Но никто, кроме Длинного Линкольна, так и не сомкнул ни на минуту глаз.

Глава 4

А в пять минут пятого, едва забрезжило, ад кромешный обрушился на зеленую землю божью. Пламя и серный дым, гром и молнии... Четвертое июля и день Страшного суда... На палубах десантного корабля выстроились амфибии, в каждой — по пять, по восемь солдат. Стояли, глядя на этот грандиозный голливудский фейерверк. «Смерть! Смерть! Смерть!» — заговорили, завыли, завизжали, залаяли все корабли, вошедшие в гавань, придвигаясь все ближе и ближе к кровоточащему берегу.

Орудия всех калибров грохотали хором и в одиночку. Их залпы сотрясали океан.

Шрууууммммпп! Шрууууммммпп!

Пау! Пау! Пау! Бум! Бум!

Ты видишь в этом смысл, сержант Солли?

За ночь небо очистилось от туч, и теперь, в предрассветный час, казалось, что все звезды, какие только есть в мироздании, смотрят на десант. Корабль качало, и усеянное мерцающими звездами небо играло с ним в кошки-мышки: оно то склонялось к нему, то отдалялось, то склонялось, то отдалялось, и снова склонялось и вздыбливалось то с правого, то с левого борта.

Вирррррррр! Буум! Буум! Буум!

Пау! Пау! Пау! Пау! Буум! Буум! Буум!

Ты видишь в этом смысл, сержант Солли?

В пламени и грохоте рушился мир. От взрывов кипела в океане вода. Линкоры, крейсеры, авианосцы, эсминцы с эскортом — громадные доисторические чудища — изрыгали адское пламя на окутанный безлунной мглой беззащитный зеленый остров.

Солли смотрел на серьезные лица солдат, стоявших рядом. У Червяка выражение лица было чуточку ироническое, точно он в душе посмеивался над обезумевшим миром: ему и страшно, и интересно видеть то, что происходит... Бэнкс Детская Мордашка трясся от страха, но, поймав на себе взгляд Солли, улыбнулся дрожащими губами, как бы говоря: «Не бойся за меня, сержант. Сегодня я выдержу. Я трушу, как все, но держусь, хотя по-прежнему не вижу в этом смысла». Еще двое солдат были из зенитной батареи. Один — темноволосый, с открытым приятным лицом — то и дело жмурился, чтобы не видеть этого ужаса. Второй — невысокого роста худенький блондин с грустными зеленоватыми глазами — оказался общительным ирландцем из Нью-Йорка.

— Меня уже двадцать месяцев гоняют с острова на остров, —

жаловался он, — а ведь после восемнадцати полагается отпуск. Мои бумаги оформлялись, еще неделя — и я бы ехал домой. Кажется, что стоило сволочам оставить меня на базе? Это же несправедливо — после всех десантов, в которых я участвовал, заставить рисковать жизнью еще сверх срока. Ведь как раз сегодня меня и могут укокошить.

Над островом, как хищные призраки, кружили самолеты, пикируя на цели, роняя смертоносные яйца, взмывая ввысь и оставляя на земле бушующий вулкан. Спикируй, отбомбись и улетай, и пусть горит проклятый мир! И ни одной японской зенитки, чтобы помешать этому мерному ритму... Солли завороженными глазами смотрел на небо, у него было чувство, словно все это не реально, словно это какая-то игра, затеянная пилотами,— наскучившая им, односторонняя, без противника, игра. И все-таки они защищают Свободу и Демократию! Помни это и искренне верь!

Линкоры, крейсеры и миноносцы шли к берегу, десантные суда и баржи спешили вперед, бомбежка не прекращалась ни на миг. Солли окинул взглядом своих товарищей и посмотрел на остров — его красивые неровные очертания уже выступали из мрака. Еще не рассвело, но над горой, примерно в миле от берега, небо посветлело. Скоро утро. Но он, может статься, и не доживет до утра. Сегодня, в году тысяча девятьсот... (он вдруг забыл даже, какой сейчас год) его не станет. Не станет — и все. Но он умрет за Свободу... А что сейчас испытывают люди, которые скрываются там, на темном острове, готовые защищать его плотью своей и кровью? Не надо, гони эти мысли прочь и не вздумай писать про это в своем романе! Но ведь они такие же люди — испуганные и храбрые, у них тоже есть и глаза, и уши, и рот, и зубы, и сердце, и половые органы, и кишечник, и мысли, и душа, и чувства, и мечты, и ненависть, и смех, и слезы, и религия, и желания, и стремления, и любовь! У них тоже есть матери, отцы, жены, дети. И среди них тоже есть и плохие, и хорошие... Какого же дьявола должен я их ненавидеть, если сроду их не видал?.. Нельзя так думать! Не время сейчас! Но ради чего же эта проклятая резня? Ради Свободы — только ради этого, слышишь, Билли Детская Мордашка, ведь сказано ясно: ради Свободы... Но в Солли уже клокотала ярость, распирая грудь, кровью приливая к щекам. Значит, и он стал одним из этих заядлых американских патриотов, шовинистов-убийц, самых холодных и тупых убийц на свете? Пошли убивать за чужие свары, за наживу крупных воротил, за военные парады и бой серпантина из телеграфных лент на пышной Пятой авеню... Эй, слушай, брось ты эти опасные мысли!

А из-за многострадальных гор уже поднималось солнце, заливая землю нежным розовым сиянием, мягко расцвечивая темную зелень пробуждающихся джунглей. Кто-то где-то когда-то сказал, что жизнь станет лучше после войны... Новый день рождался во всей неизъяснимой прелести утренней зари, и высадка уже началась, и первая кровь уже обагрила берег, и первые убитые уже лежали на песке, честно выполнив свой долг. Мы умираем за лучшую жизнь для всего человечества... Со своего места на корабле Солли видел, как подошли к берегу амфибии, хиггенботы и десантные баржи, и оттуда стали спрыгивать на землю испуганные храбрецы и, словно змеи или ящерицы, расползаться в разные стороны.

Буум! Буум! Буум! Пау! Пау! Пау!

Часов около шести настала очередь 913-й, и ее первая амфибия, пятясь, сошла на воду. Быстро развернувшись, она понеслась к берегу и скрылась в утреннем тумане. А затем и Червяк молча сел за руль и, сделав глубокий вдох, бесшумно посадил машину на воду и сразу повернул ее в сторону пылающего острова. «Господи, — подумал Солли, — если я сегодня утром умру, пусть хоть это будет не зря!»

Пыхтели торпедные катера, пуская дымовую завесу, расстилая искусственный туман.

Солли сидел сзади и сквозь клубы дыма и туман смотрел на спины товарищей. Рядом двигались другие амфибии с сотнями других солдат, приветствуя рождающееся утро фосфоресцирующей пеной. Лицо Солли было спокойно, но страх парализовал в нем все, и он отчасти был этому даже рад: он знал, что не уронит своего достоинства... Мимо, едва не выскакивая из воды, пронесся эскорт миноносца: юк... юк... юк... Его пушки поливали остров ураганным огнем. Бомп! Бомп! Бомп! Бомп!

Было очень страшно, и Солли не покидала мысль, что, может, через час, если не меньше, он будет лежать с пулей в голове и перестанет что-либо чувствовать. За что? Тяжелее всего было думать, что он, как и другие, погибнет зря. И никогда уж не увидит ни Милли, ни мамы, ни Фанни Мэй, ни своего малыша. Но почему, почему? Имеет же он право подержать на руках своего ребенка, хоть раз в жизни поглядеть на него? И пойти на бейсбол, и учиться, и стать писателем и поэтом... И встретиться с Фанни Мэй, и побывать на Кони-Айленде, и в Гарлемском спортзале, и в театре «Аполло», да и мало ли где еще. Но если привести все это к общему знаменателю, то он просто дрожит за собственную дерьмовую шкуру. Хотя имеет же он право на жизнь, черт возьми! И право умереть в преклонном возрасте, от гриппа или от несчастного случая...

Он хочет жить и хочет почувствовать вкус Свободы, за которую сам воевал, и увидеть, как его сын будет расти в обещанном Новом мире. У Солли то набирался полный рот слюны, то пересыхало в горле; его бросало то в холод, то в жар. «Я верю в справедливость войны. Я верю в справедливость войны. Верю... Верю... Верю... Верю». У самого берега он заметил пальмы,— прежде, наверное, красивые и стройные, они стояли теперь опаленные, с обломанными ветвями, скрюченные, обезглавленные, как после казни.

«Любимая, мир ждет восхода солнца,— подумалось ему словами песни. — Моя драгоценная, мать моего ребенка! Дорогие мои, любимые, быть может, солнце уже никогда не взойдет. Дорогие, любимые...»

Солли почувствовал на лице влагу. Упало еще несколько капель. Он ловил ртом солоноватые капли. Дождь, что ли? Или это ветер разгулялся и несет брызги с моря? Закапало сильнее. Перестало всходить солнце. Перестало светать. Бог оплакивал грешную землю.

В соседней машине сидел Грир, сероглазый сержант-автомеханик с красивой, злой физиономией. Он распевал во всю глотку таким скрипучим фальцетом, что даже Бэнкс засмеялся:

Вчера шел дождь
И позавчера.
Хотя б он кончился
До утра.
Еще б разок повидать мою крошку...

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался, в ту самую минуту, когда машины 913-й стали въезжать на берег. Снова проглянуло солнце. Ожила земля. «Спокойной ночи, дорогая, до скорой встречи, если суждено...» Далась же ему эта глупая песня! Солли уже почувствовал землю, хотя машина была еще наполовину в воде, и впервые в жизни не порадовался твердой почве под ногами. Но вот море осталось позади, и Солли увидел на берегу тысячи солдат, еле державшихся на ногах от страха.

Несколько машин, и в том числе та, в которой находился он, выбрались на дорогу и двинулись в джунгли — ярдов за сто пятьдесят от берега. Хмурые, молчаливые солдаты готовились встретить там засаду, но обнаружили лишь вырубку, видимо служившую японцам орудийной площадкой и позволявшую судить о спешке, с какой бежал противник.

В машинах было человек пятнадцать — солдаты 913-й и несколько зенитчиков. Нервничая, но без шума, они принялись устанавливать большую 90-миллиметровую пушку с длинным красивым стволом, предназначенным сеять в небе смерть на целые мили. Маленький ирландец, которому начальство отказало в отпуске, уронил болт от лафета, и он откатился в сторону, к краю вырубки. Солдат побежал за ним, нагнулся, чтобы его поднять, упал и больше не встал. Он уже не поедет домой в отпуск, не поедет никогда! Теперь и кусков-то его не соберешь, разве что на том свете, где ему срочно готовят прием...

Взрывной волной Солли сорвало с места и швырнуло в сторону, почти в кусты, где, наверно, притаились и другие мины, поджидая еще одного дурака, а то и больше. Сначала Солли показалось, что он умер или умирает, потом — что он оглох. Земля дрожала под ним, в мозгу рвались бомбы. Он боялся пошевелиться из страха, что не сможет. А если это смерть? Или ему оторвало руку? Или ногу? Надо пошевелиться, чтобы знать. Надо, надо, надо.. Почему у него мокрое лицо? Что это — дождь, или кровь, или пот? В мозгу продолжали рваться бомбы. Буум... Буум... Буум... Он пошевелил руками, потом правой ногой, потом осторожно левой и подумал тревожно о Червяке. Потом встал и огляделся. Остальные тоже уже начали шевелиться, кроме двух солдат, которые если бы и захотели, то не смогли. С дороги к ним бежали другие солдаты 913-й с винтовками и карабинами наперевес. Подкатили две машины, груженные мешками и песком, и шоферы соскочили на землю с автоматами в руках.

В первый момент Солли не мог разобрать, что они говорят. Наконец он понял — его спрашивают:

— Что случилось, сержант Солли?

Ему показалось, что он ответил: «Мина-сюрприз», но не был уверен — он не слышал своего голоса.

Потом он помог Червяку подняться на ноги. Начали вставать и другие, за исключением тех двоих, которые лежали там, куда закатился болт. Один — черный, другой — белый, они мирно лежали в ярко-зеленых зарослях. Тихо лежали, отдав жизнь за Свободу.

Когда солдаты вернулись на берег, солнце уже взошло, и день начинался во всем своем блеске. На остров уже сходил седьмой десант, и новые солдаты зарывали что-то в песок, как гордые и стыдливые бездомные коты. Артиллерийская стрельба почти прекратилась. Ясное, мирное утро, как воскресенье на лугу в Нью-Джерси.

— Вот бы мама сейчас увидела своего храбреца сыночка! — сказал Червяк, тоже присаживаясь на корточки, ласковый и кроткий — ну прямо купидончик с голым задом, поблескивавшим в теплых лучах солнца. А солнце-то — как огромный ледяной пылающий диск!

И в эту минуту словно кто-то загрохотал ставнями, задавшись целью разбудить весь мир, и полетели во все стороны головы, руки, ноги, уши и куски туловищ! Солли кинулся на землю, и его подбросило взрывом и перекувырнуло в воздухе. Он стал, как и все, на четвереньки, ища, куда бы спрятаться, но спрятаться было некуда. Сперва, сохраняя еще способность соображать, он подумал было, что это своя артиллерия стреляет с моря. Но снаряды продолжали густо ложиться на берег, и Солли понял, что это японцы ведут обстрел с гор, куда их загнала ночная бомбежка.

«Ты видишь в этом смысл? Ты видишь в этом смысл? — слышался Солли в этом адском грохоте голос Билли Бэнкса. — Ты видишь хоть какой-нибудь в этом смысл, сержант?»

Между тем десант за десантом высаживался на берег, и многих уже смыло обратно в море.

Оставалось только зарыться в песок, мочиться под себя и ждать, когда смерть сжалится над тобой, придет и избавит от этого ужаса. И верить, что те, кто с честью погиб, не зря отдали жизнь. Солли засмеялся. Что-то не похоже на Геттисберг! *

Солли приподнялся чуть-чуть и поглядел по сторонам. Всюду валялись убитые: тела, тела — и целые, и разорванные пополам, и куски... И всюду была кровь. Красивый белый песок стал ярко-розовым. Вода у берега заалела от крови, как, бывало, у мамы в раковине, когда она потрошила курицу. Солли не нашел ни Червяка, ни Длинного, ни вообще никого из своих. Он снова лег на живот и, словно в немом обожании, прильнул к матери-земле. Сквозь шум, сквозь все разраставшийся неумолчный грохот ему почудилось, что кто-то окликнул его. А может, ему снится?

Нет, это был сержант Грир. Он тоже лежал ничком и ухмылялся:

— Эй, друг, ты мне выпишешь увольнительную на субботу и воскресенье? Мне теперь непременно нужна разрядочка.

Солли отвернулся и начал хохотать посреди бушующего урагана. И вдруг — шууш... шууш... шууш... Буум!

Когда земля перестала дрожать, Солли поискал глазами шутника-сержанта, но увидел лишь облако песка да выемку там, где тот лежал минуту назад. Быстро же он получил разрядочку...

Весь этот день американцы и японцы сеяли смерть, и те, кто еще уцелел, то вставали, то снова ложились на землю рядом с убитыми, умирающими и искалеченными. И Солли несколько раз ходил в джунгли вместе с Червяком и Билли Бэнксом и помог установить там еще пять зенитных орудий. А потом они снова возвращались на берег и умирали там миллион раз в минуту.

Всю ночь в горах не смолкала огненная симфония, исполняемая дилетантами на карабинах, винтовках, автоматах Томпсона, легких орудиях, ручных гранатах и огнеметах. Солли лежал на песке с закрытыми глазами и мысленно писал свой великий американский роман о доблестной войне, в которую играли эти мальчишки, хотя им скорее подобало играть в бейсбол и хендбол, стоять на углу и смотреть на длинноногих девчонок с красивыми лодыжками и упругой грудью, и убивать время, а не людей, и учиться на юридическом, и ходить на работу, и на танцы, и в библиотеку, и в планетарий, и выбиваться в люди, и думать о своем будущем, и болтать о девчонках, и мечтать о девчонках, и спать дома в своих постелях, и не видеть этого чудовищного кошмара, которому нет и не будет, никогда не будет конца.

Внезапно чей-то голос проник в сознание Солли:

— Сержант Сондерс, надо пойти помочь...

— Кому помочь? — сонно и сердито спросил Солли.

Он открыл глаза и увидел начальника транспортной части Грэхема. Потный, с красными глазами, он наклонился к Солли и чуть не упал на него. Лицо у него было пунцовое от страха и алкоголя.

— Надо собрать людей и помочь санитарам перевезти на амфибиях раненых на госпитальное судно.

Солли встал и обвел глазами берег. Вместе с ним встали Линкольн, Червяк и Тихоня Ларкер. В горах все еще гремел оркестр.

— Поднимите людей, сержант, и приведите сюда, понятно? — Грэхем доверчиво оперся на Солли.— Ничего, я держусь... Правда, я хватил лишку... Крепкие были коктейли. Но я спокоен, совершенно спокоен и сохраняю хладнок-к-кровие.

Солли отыскал кое-кого из своих, и вместе с санитарами они стали

---

* Битва под Геттисбергом 1—3 июля 1863 г., решившая исход гражданской войны в США в пользу северян.

подбирать людей, которых и людьми-то уже назвать было трудно, хотя они и брали только живых. Мертвыми займутся после — ребята из похоронной команды. Например, той красивой белокурой головой, которая лежит на песке отдельно от туловища, с мольбой устремив голубые глаза к звездам, словно наблюдая полет своей души в небе... Или сержантом Гриром, от которого ничего не осталось, кроме его собачьей бирки. И тем ирландцем-зенитчиком... Их армия гуманная, не то, что эти проклятые неприятельские *орды варваров,* и первейшая их забота — живые: вон тот темноволосый солдат с голубыми глазами, который никогда уже не будет ни ходить, ни даже ковылять — от ног у него остались лишь окровавленные патриотические культи. Стопроцентно американские культи... Или цветной парень по фамилии Джексон из третьего взвода доблестной 913-й, у которого оторвало правую половину лица, так что он уже никогда не подмигнет девчонке правым глазом, как привык, верно, подмигивать у себя на родине, в Пиксвилле.

Кровь Джексона была того же цвета, что и у других солдат,— алая, как ей и положено, стопроцентно американская, а крупное черное лицо превратилось в сплошное багровое месиво.

Солли работал с санитарами часа три-четыре, и его рвало три-четыре раза в час, пока нечем стало рвать, и тогда начало рвать кровью — мутной, розоватой, не похожей на алую кровь, которой был залит берег. А потом, когда его совсем вывернуло наизнанку и рвота прекратилась, он заплакал, не стыдясь своих слез.

Всю ночь и еще несколько суток в горах продолжала греметь Симфония Смерти, и это уже стало надоедать, как надоели залитые кровью окопы, и побережье, и воздушные налеты, и ветер, и дождь, и дружески улыбающиеся филиппинцы, подчас оказывавшиеся переодетыми японскими солдатами. И не так уж весело было совершать бесконечные рейсы между островом и кораблями, стоявшими на рейде, плыть под градом шрапнели и бомб, бесстрастно рвавшихся вокруг. «И ведь каждую секунду может ранить, может искалечить навеки»,— не переставал жалобно твердить Джо Тейлор. Но все же это было лучше, чем сидеть сложа руки на берегу, пачкать от страха штаны и ждать смерти. И спорить, может ли война преследовать гуманные цели, хотя в такой момент, при любой точке зрения, этот чисто академический спор был неразрешим. День и ночь прибывали новые и новые транспорты с пехотой, зенитчиками, саперами, амфибиями, полевой артиллерией, и один только бог да генерал Бафорд Джек ведали, с чем еще... Тысячи людей — одни бородатые, другие чисто выбритые, третьи с юношеским пушком на лицах — высаживались на побережье, еле живые от страха. Высаживались, и гибли сотнями на этом проклятом песке, и продолжали отважно идти вперед, в горы, чтобы там попасть в мясорубку. Боялись и шли, не успев подумать о том, чего они боятся. На это не было времени. Времени было в обрез. А злорадная сука-смерть уже алчно и нетерпеливо потирала костлявые руки.

913-й повезло: она лишилась всего только двадцати трех человек, и то в самую тяжелую первую неделю; а после и подавно стало легче, так как пехота отдалила от них фронт миль на пятнадцать-двадцать. Не так плохо. Но докучали воздушные налеты — иногда днем, а иногда ночью. После них оставались раненые и убитые, не только солдаты, но и мирное население. «Что поделаешь! На войне как на войне!» — научился говорить Солли. Все во имя свободы... И, конечно, люди страдали от всевозможных солдатских напастей, в том числе — от рвоты, поноса, дизентерии.

913-я обосновалась на Багровом берегу, соорудив себе уборную — святилище для мечтателей и любителей слухов — и кухню и выкопав окопы, где приходилось проводить романтические, лунные тихоокеанские

ночи, словно специально созданные для воздушных налетов. Солдаты познакомились с филиппинцами, которые часто наведывались к ним в лагерь, особенно густо толпясь там, где раздавали пищу. Вели они себя на этом побережье как хозяева, впрочем почти всегда дружелюбно. Однако никто не мог поручиться за то, что это — не японцы...

Так появилась Росита и сразу приручила солдат. Маленькая красотка Росита, худенькая, косоглазая, с коричневой кожей и душераздирающей улыбкой. Семилетняя сиротка, без крова, без родни, несчастный, голодный ребенок.

— Американос бросили большую, большую бомбу! Буууум! Буум! И все, все умерли!

— Как же ты можешь нас любить, маленькая? — спросил ее Солли.— Как ты можешь нам улыбаться? Почему ты не плюешь нам в лицо, как мы того заслужили?

Она посмотрела на него и улыбнулась. Эта девчушка приносила счастье 913-й. Но каждый раз, когда Солли видел ее, у него сжималось сердце. Разве можно назвать это справедливостью? Какой же это «лучший мир»? Значит, война — кругом обман? И сам он — величайший обманщик, со всей своей вонючей информационно-воспитательной деятельностью! Учит других тому, во что не верит сам!

Солдаты подарили Росите несколько одеял и кое-что из одежды, но она почти все отдала другим. Генерал Грант сшил ей из солдатского белья трусики, и она с гордостью поднимала платье и демонстрировала свою обновку каждому. Для Солли маленькая Росита была единственной радостью в его солдатской жизни. Он отдавал ей все что мог — еду, конфеты. Сердце его трепетало от любви и жалости к этому ребенку. Раз он даже повез Роситу кататься по морю на амфибии, что было запрещено.

Монотонность жизни на кровавом красном побережье скрашивала филиппинская природа: гигантские банановые и кокосовые пальмы, заросли манильской пеньки, табачные плантации и неизменные рисовые поля, и тоже неизменный карибу, выносливый местный буйвол — лучший, преданный друг филиппинца. Солли видел крепких мужчин, пашущих на этих работягах карибу, и женщин с младенцами на спине, согнувшихся над колосками риса, чуть ли не по колено в болоте. Солли думал о своем народе, о неграх, так же вот пригвожденных к хлопковым и кукурузным полям в Джорджии и Миссисипи, без малейшей надежды куда-то податься, найти другую, лучшую жизнь.

Всеми красками и оттенками, какие существуют на ее палитре, природа расцветила эти низины и горы. Горы были кругом. Наверно, это типично для всех Филиппинских островов, думал Солли. Миллионы миллионов лет назад тысячи гор вышли из океана глотнуть воздуха, да так и остались, вознеся свои вершины над водой... Романтик и идеалист мог бы, пожалуй, влюбиться в эту страну. Но Солли в те часы, когда не мучился страхом и обретал способность мыслить, все спрашивал себя: «Зачем я здесь? Что мне здесь надо, в этой чужой стране, за десять тысяч миль от моего дома? Кому нужна эта проклятая война?» Он видел, что Великие Американские Освободители — ничуть не желанные гости на Филиппинах.

Прошло две недели после Утра Освобождения, и все заметно успокоилось, если не считать двух-трех налетов за день и пяти-шести за ночь да отдельных происшествий, когда японские снайперы в горных джунглях брали на мушку американцев и ребят приходилось хоронить.

И вот капитан приказал снова организовать занятия.

Сэмюэлс передал этот приказ Солли, и тот сразу же попросил назначить вместо него кого-нибудь другого. Но лейтенант настаивал. Информацию должен проводить именно он. Тогда Солли сказал:

— Я вам серьезно говорю, поймите. Я уже не верю пропаганде военного министерства. У меня это в голове не укладывается: все эти громкие слова и рядом — весь этот ад, все, что мы здесь пережили за две недели. Как увязать Красный Крест с истреблением мирных жителей, с тем, что их морят голодом, и...— Он не мог говорить: его душили слезы. Он вспомнил первое утро десанта.

— Вы в армии, сержант,— напомнил ему Сэмюэлс.

— Вы ведь знаете Роситу, да?

— Причем здесь Росита?

— Благоволите принять от меня официальное заявление, лейтенант: покорнейше прошу удовлетворить мою просьбу и освободить меня от обязанностей помощника заведующего информационной и воспитательной работой. Могу подать письменный рапорт, если потребуется.

Вечером его вызвали к капитану.

Солли предварительно искупался в заливе при луне, освежив в своей памяти картины первого утра десанта, потом оделся по форме и отправился к капитану, преследуемый трупным запахом и привкусом крови во рту.

Они стояли возле палатки капитана. С океана повеяло душным ветерком, и Солли почудилось, что он ощутил теплое дыхание Милли на своем потном лице. Милли с его ребенком. Красивая, ласковая Милли.

Капитан поддернул брюки.

— Что случилось, сержант Сондерс?

— Да ничего, сэр.— «Просто все осточертело, и больше всего твой южный акцент, который ты так старательно прячешь!»

— Вы с лейтенантом молодцы — отлично проводите информацию; знайте, что я это очень ценю. Особенно вашу работу, Сондерс. Вас ждет продвижение по службе. Нам по штату полагается дополнительно два старших сержанта. И, кстати, не далее как сегодня я слышал, что в Австралии организуются американские курсы подготовки младших офицеров. Можете считать себя...

Оттуда, из-за океана, к нему снова донеслось горячее дыхание Милли, ее жаркий шепот: «Слушайся голоса рассудка, чувства — плохой советчик!» Продвижение по службе... Продвижение по службе... Продвижение... Не свой ли собственный голос он принял за голос Милли? И, быть может, не случайно...

— Мне кажется, сэр, вам лучше бы назначить на это дело кого-нибудь другого.— А это чей голос произносит за него слова? Почему он его не узнает? — Кого-нибудь, кто лучше все понимает, я хочу сказать, понимает смысл военных действий...— Он презирал себя за это виляние. Надо бы прямо сказать в лицо этому кракеру: «Подавись ты своей информацией!» — Я предпочел бы, чтобы кто-нибудь другой...

Но капитан уже потерял терпение.

— Вы предпочли бы! В армии так не разговаривают! Вся беда в том, что я вас всех слишком разбаловал, и вас особенно, черт побери! Так вот, слушайте: вам будет присвоено звание старшего сержанта, и вы прекрасно знаете, что вы этого хотите. Меня вы не обманете. И вы будете и впредь проводить информационно-воспитательную работу и подготовитесь вместе с лейтенантом к занятиям, которые состоятся в субботу утром. Ясно?

— Вполне, сэр.— Если не он, так кто-нибудь другой все равно будет это делать. Так уж лучше хотя бы получить повышение...

Резерфорд положил руку на плечо Солли:

— Скажу вам кое-что совершенно секретно, Сондерс. По всей вероятности, в будущий вторник мы выступаем. Предстоит захват нового плацдарма.

Солли едва сдержал смех. Вот почему капитан так печется о моральном состоянии солдат и хочет, чтоб они верили в справедливость войны! Солли тотчас припомнилась их высадка на этот остров и запах крови и испражнений, и ему показалось, что война уже бушует у него в желудке. Сейчас начнется кое-что «солдатское».

Занятия состоялись в субботу утром в помещении столовой. В палатке было не продохнуть, но солдаты сидели тихо и слушали. Солли чувствовал себя предателем и Дядей Томом.

— От вас и от меня зависит обеспечить мир и свободу, за которые мы боремся и умираем,— говорил он,— от вас и от меня зависит, чтобы лозунги войны не были преданы забвению. Стыдно нам будет, если мы это допустим.— Солли весь взмок, стараясь придать убедительность своим словам. Некоторые солдаты одобрительно кивали, кто-то даже негромко произнес: «Правильно!» Солли продолжал: — Кроме нас самих, никто не позаботится о нашей свободе. Позор на наши головы, если мы, вернувшись по домам, предадимся спячке!

— Золотые слова! — поддержал его Червяк.

— Мы помним, что сказал Фредерик Дуглас *,— закончил Солли,— «Тот, кто хочет для себя свободы, должен завоевать ее мечом».

Все же когда начали высказываться, Длинный Линкольн сказал:

— Не понимаю! Ты какой-то чудак. Будто не знаешь, что кракеры снова примутся за старые штучки! Как было, так и будет! И война всегда будет: не успеет она кончиться и порох еще не высохнет, как США сцепятся с Россией. Мира не может быть. Только передышка бывает.

Тем не менее и лейтенант, и Солли нашли, что в общем беседа прошла успешно, и Солли уже не чувствовал себя так погано. Когда занятие подходило к концу, к ним заглянул капитан и даже похвалил их потом. К черту его комплименты, Солли Сондерс в них не нуждается! Он все сказал, как думал, чего ж ему стыдиться? И тем не менее он ощущал какой-то гадкий вкус во рту и противное жжение под ложечкой. А что, если бы Длинный вдруг взял да спросил: «Как может такая недемократичная армия вести войну за демократию?» Этот вопрос Солли сам задавал себе все время.

Прошла еще неделя, и настроение солдат заметно поднялось. Правда, воздушные налеты не прекращались и не было дня, чтобы несколько человек не лишились того пустяка, что именуется жизнью. И некоторые особо чувствительные организмы продолжали страдать от желудочных болезней. Но так или иначе, рота за хорошее поведение была награждена назначением в новый десант, и далеко не все солдаты сумели оценить, как должно, такое великодушие, проявленное командованием.

Тем не менее прекрасным солнечным утром, ровно через три недели и пять дней после высадки на этот остров, им пришлось его покинуть, и маленькая Росита проводила их до самой воды со смехом и громкими возгласами. Она ласкала и обнимала всех, но особенно нежно — Солли и Длинного, и целовала их, смеясь и плача, и некоторые мужчины тоже плакали, не скрывая слез, глядя на этого ребенка, оставленного на пустынном берегу. Что-то умерло в душе Солли в это утро расставания. Милая, ласковая крошка, бездомная сирота, одинокая как перст! Плачет и смеется и машет руками им вслед. «Американос сбросили большую, большую бомбу! Буум! Буум! И все, все умерли!»

За что?

---

* Фредерик Дуглас (1817—1895) — один из вождей негритянского народа, борец против рабства.

Глава 5

Они высадились в составе четвертого десанта, и многих при этом страшно покалечило, хотя Солли считал, что раненым крупно повезло. Их поместят в благоустроенный госпиталь, а может, отправят в Штаты или в Австралию, и им уже не будет угрожать ни кровавый понос, ни судьба лейтенанта Грэхема, да, верно, и еще пятидесяти других, лишившихся, как и он, рассудка в час триумфальной высадки. В последний раз Солли видел лейтенанта, когда тот бежал по берегу с криком: «Японцы идут! Спасайтесь!» — и, прежде чем кто-либо успел его удержать, бросился в море и пошел ко дну. Его вытащили моряки и на торпедном катере увезли на рейд, где стояла эскадра.

Около полудня, в самый разгар бомбежки и чудовищного кровопускания, когда песок из белого стал багровым и кругом стонали и вопили раненые, а смерть косила направо и налево, к Солли подошел Билли Бэнкс. У него было злое, растерянное лицо и безумный взгляд.

— И ты еще будешь говорить, что в этом есть какой-то смысл? — Он всплеснул руками.— Да это же чистое безумие, безумие, понимаешь! Какой тут, к черту, смысл?

Солли пристально и строго посмотрел на маленького солдата с детским лицом, которого даже армия не сумела превратить в мужчину. Черт бы его побрал, этого Билли Бэнкса,— не хочет понимать, что американский солдат обязан защищать Свободу! Но как внушить другому моральную стойкость, если не чувствуешь ее в себе? Попробуй и вправду найди толк в этом безумии!

В первую ночь после высадки на новый остров их бомбили до самого утра. Из всей роты спал один только Линкольн. Днем они переместились на небольшую поляну у дороги, ярдах в пятидесяти от берега, окруженную с трех сторон лесом. Чуть повыше протекала горная река. Во вторую ночь их спас от бомбежки ураган, налетевший со скоростью девяноста девяти миль в час. Он вырывал с корнями пальмы, сталкивал корабли, перевернул несколько наименее устойчивых судов, и некоторые из них затонули, а уж что до амфибий — так их он кувыркал по-всякому. Казалось, он вознамерился смыть этот остров в океан, сдуть его в темную водяную пучину и почти достиг своей цели. Под вечер Солли с Джимом Ларкером, Длинным, Червяком и Скотти выкопали себе общий, «семейный», окоп на месте палатки, которую унесло, прежде чем они успели ее поставить. Кругом рушились деревья, и Солли считал, что в этих условиях яма — наиболее безопасное место. Они сидели в этой открытой могиле и наблюдали оттуда, как бушует ураган. Ветер и ливень хлестали стройные пальмы, и беззащитные деревья скрипели, стонали и вскрикивали от боли под ударами градин величиною с теннисный мяч. И это было не менее жутко, чем уханье зениток и шуршанье вражеских мин, летевших на побережье с сумрачных гор.

Следующий день был слепящий и знойный и, как ни странно, прошел довольно тихо. 913-я продвинулась дальше по дороге и стала лагерем возле полевого аэродрома, которых у американцев было на Филиппинах всего два — здесь да еще на том острове, где прежде стояла 913-я. У японцев же были аэродромы на каждом острове, даже высоко в горах — всюду, где только удавалось расчистить взлетную и посадочную площадку хотя бы для одного «нолика» * и укрыть ее от глаз янки-разведчиков.

Запах разлагающихся трупов отравлял воздух. Японские фанатики валялись, как павший скот, в канавах по обеим сторонам пыльной доро-

* Так американцы называли японские самолеты.

ги — без рук, без ног, без голов. Зверское солнце плавило эти останки, а мертвый homo sapiens обладает таким запахом, по сравнению с которым дохлая крыса ароматна, как французские духи...

Но среди всех уродливых явлений войны в эти первые дни вторжения на чужую землю Солли врезался в память один образ, прелестный, как роза, горделиво выросшая на голой скале. Однажды Солли заметил молодую женщину, которая с ребенком за спиной шла через их лагерь. На голове она несла узел с выстиранным солдатским бельем, впереди бежала рыжая собака, свесив от жары язык. Женщина была так хороша, что у Солли заныло в груди. У нее была кожа цвета ржаного сухарика и черные миндалевидные глаза. Она шла, покачивая бедрами, и ее легкая, грациозная походка показалась ему симфонией ритмов, самой поэзией — чистой и изящной. Он видел ее одну минуту, но в мозгу, как на кинопленке, облик ее запечатлелся навеки. Ему казалось, что он уже где-то когда-то видел ее и вот-вот вспомнит где, и даже имя ее как будто вертелось у него на языке. Он чуть было ее не окликнул.

Он весь был пронизан ожиданием женской ласки, жаждал увидеть красивое лицо, гордую походку. Последнее время он неотступно думал о Милли — она уже донашивала их драгоценное дитя, и обоюдная их мечта была близка к осуществлению.

Вскоре после перехода на новое место солдаты 913-й стояли в очереди за ужином, шутливо и благодушно настроенные, а Солли думал о своей филиппинке, и лицо красавицы прачки сливалось в его воображении с лицом Милли и отчасти — Фанни Мэй. Солдаты нарушали все правила приема пищи во фронтовых условиях, главным из которых было не скапливаться, а подходить к котлу от силы по трое.

И когда они стояли так в длинной очереди — человек пятьдесят, по меньшей мере,— небо, освещенное закатом, вдруг швырнуло на землю серебряный метеор. «Нолик» застал остров врасплох, и, только когда он снизился до трехсот или двухсот футов, земля объявила тревогу. Застучали зенитные орудия, трассирующие пули пунктиром прочертили небо, но Тодзио нырял и увиливал, как одинокий полузащитник, который пробивается с мячом сквозь вражескую команду. Солдаты смотрели, задрав головы, словно завороженные, а Солли вдруг вспомнил Кони-Айленд в день Четвертого июля. Не там ли он видел эту филиппинку? Да нет же... Пестрые струи пуль летели вперекрест, но японец, ловко увертываясь, спустился почти до верхушек деревьев и в каких-нибудь ста ярдах от столовой с бреющего полета дал пулеметную очередь. В одну двухсотую секунды всех словно ветром сдуло. Даже Линкольн не устоял на месте.

Тат-тат-тат-тат-тат, строчил Тодзио по лагерю. Солли подбежал к своему окопу, спрыгнул вниз, угодив на спину кому-то, спрыгнувшему еще раньше, а сверху кто-то навалился на него, и в этот миг раздался такой грохот, какого Солли не доводилось слышать. Он лежал, оглушенный и контуженный, зажатый между двух тел, а земля трясла всех троих, словно сбивая из них коктейль. А когда они смущенно расцепили эти невольные объятия и полезли было из окопа, страшный взрыв повторился.

Оказалось, что рвался склад горючего, ярдов за двести от них. Бомба угодила в самую середину. На складе находилось двести или триста бочек с бензином, и в течение всей ночи, каждые пять минут, все новые и новые бочки подпрыгивали и взрывались с диким грохотом; огромные языки пламени лизали раскаленный воздух, подбираясь, казалось, к самой луне. Более удобного ориентира Тодзио не мог бы себе пожелать, и он возвращался каждые двадцать пять — тридцать минут на бреющем полете, так низко, что можно было бы попасть в него из винтовки или даже камнем, не будь он столь увертлив. Он ловко избегал

огня и продолжал бомбить и строчить из пулемета. В эту ночь никто не спал по его вине — кроме Длинного, конечно. Ротный бард даже отказался вырыть себе окоп. «Еще чего! — сказал он.— Стану я сам себе могилу копать! Захочет меня прихлопнуть, так все равно прихлопнет».

Разумеется, бомбежка имела более важную цель: вывести из строя аэродром и зенитную батарею, которая находилась меньше чем в ста футах от палатки Солли. Команда зенитчиков на этой батарее, состояла в основном из деревенских ребят из Кентукки, белокурых и темноволосых добродушных храбрецов, которые сами дрожали от страха. Убитый в первое утро ирландец был тоже из их батареи. Червяк, Солли и Джимми познакомились с ними и подружились. По вечерам пили вместе кофе и вели беседы о том, какой станет жизнь, когда не надо будет никаких затемнений. Один из зенитчиков, по имени Рэнди, славный парень, но большой пессимист, не верил, что ему еще доведется когда-нибудь увидеть свой Кентукки. Он уже участвовал в двух десантах вместе с 913-й и явно подпал под влияние Червяка. Он виртуозно матерился и был уверен, что по этой части может переплюнуть любого.

Забавно было, что эти голубоглазые ребята из Кентукки совсем перестали здесь быть кракерами. Они легко и естественно сошлись со «злодеями»-неграми, ничуть этого не стыдясь.

Солли вспомнил, как накануне они засиделись поздно в столовой 913-й за кофе — там было хорошо, прохладно. Рэнди сказал:

— Я уже никогда не вернусь домой. И никто, по-моему, не вернется. Эта война никогда не кончится.

— А почему ты в ней участвуешь, Рэнди? — спросил Солли.— Как ты все это понимаешь?

За Рэнди ответил Гарольд, рослый, широкоплечий, простодушный с виду малый:

— Я вот пошел, потому что не сумел придумать, как от этого проклятого дела отвертеться.

— Все-таки, Рэнди,— настаивал Солли,— разве ты не гордишься тем, что воюешь за свободу и демократию? — Он уже не раз сталкивался с белыми солдатами, которые считали, что антифашистская война за демократию, за торжество мира и свободы во всем мире их не касается, и ему изрядно надоело все это слышать.

— К чертовой матери! — сказал Рэнди.— Что-то я не видел никакой свободы на ферме, где я работал. Гнул спину от зари до зари и ничего не добился. Ни тебе образования, ничего. И если б я сейчас вернулся, мы с тобой, например, не могли бы вместе съездить в город. Какая же это, к черту, свобода? У вас там в Нью-Йорке иначе, у вас есть за что воевать. Я слышал, у вас свобода и каждый чувствует себя человеком. Если бы я жил в Нью-Йорке, как все вы, может, я бы тоже согласился проливать кровь в этой сволочной войне.

Солли удивленно взглянул на Рэнди и рассмеялся. А Червяк даже поперхнулся своим кофе, и он брызнул у него из носу. Он смеялся до слез, а Рэнди никак не мог понять, что он сказал смешного...

Около полуночи глухо загрохотали залпы дальнобойных пушек на другом конце острова. Значит, пожаловал «он». Когда пальба стала громче и отчетливее, Солли почувствовал горячую волну страха. Приближающиеся залпы орудий говорили о том, что охотники нащупали цель. Солли слышал, как зенитчики рядом называют одиннадцатый сектор, потом десятый; а залпы все ближе и ближе — девятый, восьмой... И вот уже бьет 90-миллиметровая пушка у тебя под боком — значит, «он» повис над головой.

— Шестой сектор! — сказал один из зенитчиков.

— Пятый! — сказал Рэнди из Кентукки, и весь остров дрогнул от залпа, и небо расцветилось красными точками.

Осторожно подняв сбоку край палатки, Солли скользнул в свой окоп, и остальные последовали его примеру — все, кроме «спящей красавицы» Линкольна. От залпов 90-миллиметровой пушки земля ходила ходуном. Червяк прыгнул в свой окоп, и раздался плеск, как в бассейне: был час прилива, и его яму захлестнуло волной. Солли и Джимми рассмеялись, но Червяку это ничуть не казалось смешным. Солли увидел, что Тодзио уже влетает в третий сектор, прямо под прицел зениток, и как это они, черт побери, не могут его сбить?

Внезапно из палатки напротив выскочил Генерал Грант и стал кричать, размахивая руками:

— Лети, Тодзио! Лети! Дуй сюда, дуй сюда! Лети, черный человек! Сюда! Сюда!

При виде этой картины у Солли слезы выступили на глазах, и, забыв свой страх, он подумал: «Как же досталось этому свободолюбивому человеку от *свободолюбивой* Америки, если он может здесь, в такую минуту желать ей зла?» И в этот миг Солли тоже ненавидел Америку за все то, чем она довела Гранта до исступления.

Японец был уже над головой, а Генерал Грант и не думал прятаться: лунный свет заливал его одутловатое лицо, он махал руками и орал во всю глотку:

— Дуй сюда! Лети скорей, мать твою так! Дай им прикурить, этим проклятым рыжим сволочам!

Скотти, сидевший в окопе рядом с палаткой Гранта, вскочил на ноги, вскинул винтовку к плечу.

— Заткнись и убирайся отсюда, не то я тебе сейчас задницу прострелю! Отправишься на тот свет вместе с твоим Тодзио за компанию!

Это протрезвило Гранта. Он повернулся к Скотти, окинул его презрительным взглядом и с достоинством, хотя и торопливо, шагнул к себе в палатку. За это время Тодзио успел уже пролететь над ними и оставить свою визитную карточку. Птица уронила яйцо, и...

Солли весь сжался под своей каской, стараясь не дышать. Теперь уже все. Конец. Это тянулось целую вечность, пока не раздалось бууууууууууум. А потом внезапно наступила мертвая тишина.

■

Наутро Солли пошел поглядеть, какие беды наделала вчерашняя бомба. И когда его чуть не вывернуло наизнанку, он всем своим нутром дал себе клятву, что больше не будет таким, каким был, даже если откроют эликсир жизни и он проживет на земле дольше, чем библейский Мафусаил. Он будет скромнее, взрослее, серьезнее. Он взрослый человек и должен избавиться от своего детского недомыслия...

Червяк и Длинный пошли вместе с Солли. Мимо одной лачуги люди проходили молча и заглядывали внутрь, как делают, когда выставлен для прощания покойник. Солли остановился и, охваченный бессильным гневом, долго не мог отвести глаз.

Ее прелестное лицо было кротко и спокойно. Она лежала на полу: зияющая рана на затылке, из бедра вырван кусок мяса, кровавая впадина на месте левой груди... Известно ли тебе, что ты погибла за свободу? Она обнимала своего ребенка — ни его, ни собаку, лежавшую у ее ног, бомба не изуродовала. Они лежали спокойные и счастливые, хотя и мертвые. Коричневое, как ржаной сухарик, лицо Мадонны, теплые карие глаза и чувственный полуоткрытый рот, казалось, еще дышали любовью к жизни. Вероятно, они спали, подумал Солли, и даже не успели осознать, что произошло. А может, она открыла глаза, чтобы умереть, глядя на мир? У Солли похолодело в желудке, по телу пробежала ледяная дрожь. Ему мерещилось, что он слышит ее тихие стенания: «Где ты, господи? Где ты, господи? Где ты, Иисус всемилостивый?» Спазма

сдавила ему горло. «Сон мирный пошли мне, господи...» Дальше слов вечерней молитвы Солли не помнил. Как тебя звали, Мадонна? Ему чудилось, что он давно любил ее и много лет искал, даже не зная ее имени... Его душили слезы. Во что превратила его армия? В слюнтяя какого-то с глазами на мокром месте — чуть что, сразу в рев! Он отвернулся, чтобы скрыть слезы, и пошел прочь. Но он всегда будет помнить лицо этой филиппинки, и ее малыша, и эту собаку, которая любила и охраняла своих хозяев, но не смогла уберечь их от самоновейшего цивилизованного массового убийства, от замечательной бомбы, изобретенной человеком и так беспощадно выжигающей все живое. И почему запрещается плакать? Мир потонул в грязи — так, быть может, слезы отмоют его или зальют и уничтожат, как всемирный потоп!

Когда Солли пришел к себе в палатку, Джимми невозмутимо чистил зубы. Солли присел на койку.

— Только что здесь был лейтенант Сэмюэлс,— сказал Джимми.— Он велел передать, что тебя вызывает капитан.

Солли сидел, уставившись в пол и боясь заговорить.

— Слышишь, лейтенант заходил...— Джимми перестал полоскать рот и внимательно поглядел на Солли.— Во-первых, какого дьявола ты туда попер? — Он задыхался от ярости.— Что ты думал там найти? Пасхальные яички, да? — Армия сделала Джимми взрослым, закалила и научила грубости.

Солли встал с затуманенным взглядом.

— Не знаю, Джимми. Твердо знаю только одно: когда вернусь домой, я *слышать* не захочу о войне. До конца дней своих не взгляну на военную форму и ни на один военный парад не пойду. И не могу я больше видеть нищету и людские страдания. Я от этого с ума схожу. И если мой сын наденет бойскаутскую форму, я ему все ноги переломаю!

— Но ведь...— начал было Джимми, однако Солли перебил его:

— И меня тошнит, когда говорят, что мы воюем против фашизма и что Америка — арсенал демократии. Я *слышать этого не желаю!* Эта женщина с детским лицом, ее ребенок и собака — они же никому ничего плохого не сделали! Почему же, Джимми, весь мир равнодушно наблюдает, как два сильных цивилизованных дикаря...— Голос его сорвался; он не мог удержаться от слез.— Пойми, я человек, Джимми, я ненавижу эту дерьмовую армию всем сердцем. Что мы делаем здесь, в чужой стране? Ни одна собака не посылала за нами. Разве Соединенные Штаты или Япония спросили этих людей: вы разрешите нам использовать вашу территорию как военный плацдарм? Мы бомбим их города, их жилища и клочки земли с посевами риса, убиваем тысячи ни в чем не повинных людей. И что это дает филиппинцам? Ничего, только голод, разорение и смерть...— Он шмыгал носом, глотая слезы, но они лились и лились.— Джимми, куда девались все эти красивые слова, которые мы учили в школе? Свобода, справедливость, конституция, честная политика, возлюби ближнего, как самого себя, и все прочее? Что же, все это оказалось только кучей дерьма, да? А как же цивилизация?..

— Лейтенант Сэмюэлс говорит, что...

— К чертовой матери лейтенанта Сэмюэлса! Плевать я хотел на его трепотню о братстве народов. Я хочу знать, кому на самом-то деле польза от того, что людей калечат и убивают, кому польза от всего этого цивилизованного безумия. Я...

— Трепотня о братстве, как ты изволил выразиться, нужна нам всем,— сказал Джимми.— Разве мир постигло бы такое бедствие, если бы существовало подлинное братство?

— Иногда я думаю,— продолжал Солли,— что, может, Генерал Грант не такой уж сумасшедший. Может, он хоть наполовину прав.

Может, мы и вправду убиваем не тех, кого надо. Западная цивилизация могла кое-что создать, но все погубила. И теперь пора найти что-то новое.— Солли поглядел мутными глазами на своего сдержанного, спокойного товарища и вытер слезы подолом рубахи.—Джимми, ты замечательный парень, я редко встречал таких, честное слово. Давай останемся друзьями, если нам суждено вернуться домой.— Но, говоря это, он уже почувствовал себя неловко.— Ладно, к чертовой матери! — И, заправив рубаху в штаны, выбежал из палатки.

■

Он вошел в палатку капитана и отрапортовал, что явился согласно приказу. Капитан сидел на койке в одном белье, тощий, жалкий. Он посмотрел на Солли, поднялся и стал натягивать брюки.

— Я получил новую пачку литературы военного министерства. Ознакомьтесь с ней, когда будет время, сержант. Как только немного стихнет, мы организуем занятия два раза в месяц, обязательные для всех. Чтоб люди понимали, за что они воюют.— Он взял со стола несколько брошюр и протянул Солли. Но Солли стоял руки по швам, будто не слышал. А быть может, он и вправду не слышал.

— Которую из них взять для начала, как вы полагаете? — спросил капитан.

— Откровенно говоря, я считаю, что все это кусок дерьма, простите за грубость, сэр. Я вам вот что скажу: подыщите себе другого малого на мое место.

Капитан присел было на койку, но сразу вскочил:

— Вы сами не знаете, что говорите, Сондерс. Это десант на вас так подействовал. Я пропускаю мимо ушей...

— Нет, я знаю, что говорю. И я хочу спросить вас: как может такая расистская армия вести войну за демократию? Ответьте, если вы в состоянии.

— К черту! — крикнул капитан.— Отставить!

— Вы хотите, чтобы преданный вам малый, то есть я, объяснил своим черным товарищам, почему они должны убивать людей и сами подставлять грудь под пули? Нет уж, премного вам благодарен, капитан Чарли!

— Так вот как вы мне отплатили за все мои заботы! — сказал капитан.— Впрочем, я сам виноват. Уже давно следовало вам всыпать, черт побери! Но я думал, что у вас есть какое-то стремление стать человеком. Я вас произвел в старшие сержанты и не далее, как сегодня, рекомендовал на курсы младших офицеров.

Они стояли лицом к лицу, как борцы на ринге. «Нет, капитан Чарли, на этот раз номер не пройдет!»

— Все белые солдаты, которых я тут встречаю, мечтают об одном: получить легкое ранение и «Пурпурное сердце» * в награду — оно им дороже миллиона долларов,— и укатить домой, и забыть про все. Какого же дьявола, вы требуете от меня энтузиазма?

Но капитан все еще не был готов поставить крест на своем фаворите. Чтобы негр был таким неблагодарным и независимым! Нет, ему просто не верилось!

— Вас тут каким-то зельем опоили, не иначе. Я бы давно бросил с вами церемониться, если бы не ценил вашей работы. Я дал вам эти нашивки, но отнять их — для меня раз плюнуть. Так вот, забирайте с собой книжки, почитайте их и приходите завтра, поговорим, когда образумитесь.— «До чего же этот негр нахальный малый!»

---

* «Пурпурное сердце» — боевой американский орден.

Капитан снова протянул Солли пачку брошюр. Тот поглядел на нее так, будто ему предлагали смертельную дозу яда, а в душе его шел жаркий спор с самим собой. Дурень, где твоя голова? Доверься рассудку, а не чувствам! Ты же хочешь носить нашивки? Хочешь стать офицером? Нутро у него горело, в груди ныло, тело покрылось испариной. Не верь чувствам, верь голове! Но ему надоело презирать себя. И он устал валять дурака...

— Меня эта война больше не интересует, капитан Резерфорд,— проговорил он наконец срывающимся голосом.— Постараюсь как-нибудь вытерпеть до конца. Я здесь не по своей воле и буду делать лишь то, что мне положено. Теперь я для вас самый негодный помощник во всей роте. Если вы мне прикажете, я буду вынужден подчиниться, но только формально, имейте это в виду!

Капитан шагнул к Солли и сорвал с него нашивки.

— Рядовой Соломон Сондерс,— истерически взвизгнул он,— впредь до иного распоряжения вы назначены комендантом лагеря.

Голос Солли больше не дрожал.

— Благодарю вас, капитан.

Капитан разрешил ему идти. Выходя, Солли слышал, как он прошипел ему вслед:

— Зазнался! Такой стал важный — штаны трещат!

Солли шел по солнечной тропинке и улыбался: да, трещат, потому что он вырос из своих штанов — они были сшиты на мальчишку. А он — мужчина. И никакой Великий Белый Отец ему не указ.

Глава 6

Дни проносились, сопровождаемые налетами, стрельбой зениток, бомбежками, и оставляли за собой голод, смерть и разрушения. Фронт неуклонно продвигался вперед и вглубь, в горы. Фанатики японцы отступали под натиском отважных янки-освободителей.

Филиппинцы приветственно махали руками и кланялись, говоря: «Японцы — нет! Американцы — да!» Но это не всегда звучало убедительно.

Через деревни проходили гордые партизаны и партизанки, вооруженные до зубов и с такими суровыми лицами, что даже некоторые местные жители, сотрудничавшие с японцами и благоденствовавшие при их власти, прятались от них. Многие филиппинки оказались довольно предприимчивыми, быстро приспособившись к обстоятельствам, они занялись стиркой на богатых янки-освободителей. Те же имели еще кое-какие виды на своих прачек. Мужчины-филиппинцы были почти сплошь невысокого роста, стройные, красивые, с горделивой осанкой, все они носили солдатскую одежду и по виду ничем не отличались от японцев. А дети всегда были голодны. Освободительная война превратила их в бездомных сирот. И повсюду — страшная нужда, опустошения, чудовищный упадок. Голодные дети рылись в баках с отбросами из солдатской кухни, нередко вступали в бой с не менее голодными крысами за вкусные солдатские объедки.

В первую неделю девушки, приходившие брать белье в стирку, сопротивлялись американским донжуанам. «На Филиппинах трогать не положено»,— говорили они. Но уже на третью неделю освободители — и белые, и цветные — купили себе на свои американские песо доступ в большинстве домов и уже трогали все и вся. Легко ли сопротивляться тем, кто может накормить тебя и одеть? Даром ничего не дается. Не спорь с богатым. У американцев были рис и песо, одеяла и мешки из-под муки, из которых можно сшить одежду, и медицинский спирт, и мяс-

ные консервы, а иногда даже свежее мясо, и они охотно сбывали все это на черном рынке. А у филиппинок не было ничего, кроме гордого достоинства и нежного тела, которое не положено трогать. Белые янки говорили им: «Не спите с черными янки, они насильники». А черные янки говорили им: «Эти кракеры — все скоты. Мы с вами цветные и должны быть заодно».

Один дерзкий, неблагодарный партизан заявил Солли:

— Вчера тут были японцы, сегодня — вы, а в чем разница? Мы что-то не замечаем.

Разъезжать, особенно по вечерам, Солли теперь уже не мог, так как исполнял обязанности коменданта лагеря.

913-я еще раз переменила место, разбив лагерь примерно в двух милях от аэродрома.

На следующую ночь после того, как они покинули старое место, Тодзио сбросил бомбу, и она угодила прямо в зенитную батарею Рэнди, превратив в пыль всех ребят из Кентукки, с которыми Солли еще недавно распивал вместе кофе. От них остались одни лишь именные бирки да обрывки воспоминаний. У Солли еще звучал в ушах их южный говор, но что поделаешь — война... В любви и на войне все дозволено: сегодня ты существуешь, а завтра нет.

Несколько недель спустя Солли сидел в ротной канцелярии и писал Милли, которая донашивала ребенка последний месяц. А он по-прежнему был комендантом — вернулся на нижнюю ступеньку, откуда начинал. Рядовой Соломон Сондерс... Время было за полночь, японцы успели совершить несколько налетов, но уже поднялись в воздух ночные истребители, «черные вдовы», и взяли под свое наблюдение периметр филиппинского неба. Это были огромные черные машины с двойным фюзеляжем, весьма боеспособные и куда более опасные, чем пауки, носящие то же название. Раз уж поднялись «черные вдовы», можно было поручиться, что воздушной тревоги не будет. Ступай спать и ничего не бойся!

Кто-то протопал мимо канцелярии, возбужденно горланя:

— Три девки в общем автопарке! Три девки в общем автопарке!

Автопарком пользовались совместно для ремонтных работ механики с аэродрома и десантники, им же пользовались совместно и для приема женщин.

Через полчаса в лагерь нагрянула военная полиция. Обслуживающий персонал аэродрома и солдаты 913-й попрятались, как воры. Чтобы белые военнослужащие, вопреки своим расовым привилегиям, на равных правах с неграми по очереди покупали любовь — этого военные власти не потерпели бы!

В канцелярию вбежал запыхавшись Джимми Тихоня.

— Что там творится, Солли, просто ужас! Мерзость какая! Я совсем не хотел там быть! Совсем не хотел! Но все надо мной потешались, дразнили день и ночь, говорили, что я порченый, что я не как все, что я не люблю женщин. Но я не хотел пользоваться тем, что они такие голодные.— Джимми плакал и никак не мог совладать с собой.— Я не знаю, зачем я туда пошел, Солли, мне совсем не нужны эти девки, мне этого не надо. Они все стояли в очереди — и белые, и цветные — и даже не давали бедным женщинам оправиться. У одной рядом лежал ребенок и все время плакал.

В помещение ворвался рокочущий гул «черных вдов». Теперь они возвращались с разведки и гудели вдвое громче. Солли и Джимми подошли к выходу и стали смотреть в сторону аэродрома, куда не спеша направлялись огромные черные машины с двойным фюзеляжем. «Нет, Джимми не скот,— думал Солли.— Это редкой доброты существо, которого даже армия не сумела превратить в скота».

Вдруг на противоположном конце острова затрещали зенитные батареи. Видимо, какой-то одинокий «нолик», не засеченный радаром, забрался в поднебесье, выключил мотор и хотел потихоньку нанести американцам визит. А теперь его обнаружили с разных точек, где-то уже вдали от аэродрома. Джимми и Солли смотрели вслед рокочущим «вдовам», которые неторопливо шли на посадку, видимо, мало озабоченные драматическими событиями на другом конце острова.

Когда последние три самолета, пройдя над водой, подлетали к аэродрому, внезапно снова начали бить зенитки, и прожекторы зашарили по небу, посылая вперекрест лучи, заливая мощным светом каждый уголок и каждую щель, протягивая дорожки до самой луны, а все суда на рейде разом залаяли, завыли и зарычали, как чудища каменного века.

— Болваны! Так они собьют свои собственные самолеты,— сказал Джимми.

«Им не впервой»,— подумал Солли. Он сам однажды видел, как противовоздушный расчет — то ли со страху, то ли на радостях, что можно пострелять,— сбил несколько П-38 и целую стаю птиц, осмелившихся возомнить, что небо принадлежит им.

Самолеты лениво снижались, невзирая на пальбу. Небо было в радугах трассирующих пуль и все перечеркнуто лучами прожекторов. У Солли на столе резко зазвонил телефон. Он поднял трубку. Взволнованный голос на другом конце провода кричал:

— Пять американских самолетов, полные самураев, сели на нашем аэродроме.

Солли сперва даже не понял:

— Что?

— То, что ты слышишь, солдат. Приказ удержать аэродром любой ценой. Он у нас единственный на этом острове. Хитрые сволочи использовали пять сбитых американских самолетов и пролетели под носом у радара на хвосте у наших разведчиков. Удержать аэродром любой ценой! Мы должны...— Голос вдруг оборвался.

Солли застучал по рычагу.

— Алло! Алло!

Тщетно. Трубка молчала.

Несколько мгновений Солли стоял в оцепенении, уставившись на аппарат. Затем чуть было не рассмеялся — помешало сознание, что решается вопрос жизни и смерти. Притом его собственной жизни и смерти тоже! Он бросился к выходу, свистя на бегу в свисток.

— Всех подымай! — крикнул он Джимми.— Всех до единого! Японцы на аэродроме! Не забудь винтовку, Джимми! Винтовку не забудь!

Оглашая воздух резкими свистками, Солли помчался к своей палатке за карабином. А куда, черт побери, его теперь несет, кого убивать и за что?

Самолеты уже бежали по взлетной дорожке.

Солли упал на пороге своей палатки, пополз, схватил карабин, выбежал наружу и снова упал, ткнувшись лицом в землю, и в ту же секунду пуля царапнула ему темя. Да, на этот раз он ранен. Он пощупал голову и ощутил под пальцами горячую кровь. Через месяц родится ребенок, а он, отец, Соломон Сондерс, погибнет сегодня в бою далеко-далеко от дома. За что?

Пау! Пау! Пау! Пау! Буум! Буум! Буум!

Казалось, японцы уже проникли всюду.

Тат-тат-тат-тат-тат...

Он лежал, не двигаясь. Сквозь грохот боя до него донесся голос матери: «Не лезь в герои, лучше вернись живым. Кроме тебя, у меня нет

никого на свете...» Как это нет, мама? А Милли, а наш ребенок? Вот я-то, я действительно один, один, ОДИН! Прерывисто дыша, Солли вполз назад в палатку и лег ничком. Он полежит здесь, пока все не кончится, а когда свои победят, пусть думают, что он все время был без сознания. На этот раз он заработал «Пурпурное сердце»... собственной головой. Ну и хватит одного, он не побежит за вторым на аэродром... А если победят японцы, его продержат в лагере для военнопленных до конца войны, кончится проклятая заваруха, и он вернется домой и будет считаться героем: Солли Сондерс, возвратившийся из плена... Кровь так стучала в висках, словно в голове палили зенитки. Черт побери, почему на время не прикинуться мертвым? Ведь все равно война — обман, сплошной обман. Обман ipso facto *. И для него теперь все высокие слова — пустой звук. Он слышал, как кто-то пробежал мимо него в канцелярию. Хоть бы никто его не заметил... И он слышал ружейные залпы, доносившиеся со стороны аэродрома, и душа его плакала. Как бы он хотел найти в своей душе высокое и благородное стремление отдать жизнь за родину! Он хотел бы, чтобы Америка любила его так, как он способен был любить ее, и даже так, как он любил ее в эту минуту... Нет, что там говорить, он испугался и предает своих товарищей. Перестань копаться в себе, перестань заниматься никчемным самоанализом, а выйдет на поверку, что ты просто трус и всегда будешь трусом. Ты предаешь своих товарищей. Вали это, если угодно, на мать, на Фанни Мэй, на нерожденного младенца, на безнравственность войны, но ты никого не обманешь, кроме себя... «ЗЕМЛЯ, ГДЕ НАШИ ПРЕДКИ СПЯТ...» Он сделал над собой усилие и встал. Шатаясь, вышел из палатки и побежал во тьму. «ЗЕМЛЯ, ГДЕ НАШИ ПРЕДКИ СПЯТ, ЗЕМЛЯ ПОКОЯ И СВОБОДЫ...»

— Слушать мою команду, солдаты,— раздался голос лейтенанта Сэмюэлса.— Двигаться цепью, окружать аэродром с севера! Там их, видно, больше всего.

И спокойный голос сержанта Андерсона:

— Разделитесь, ребята! Половина — налево, половина — направо!

И снова голос Сэмюэлса, крикнувшего им вдогонку:

— Смотрите, друг друга не перестреляйте!

Когда Солли добежал до канцелярии, его товарищи уже ушли вперед. Промелькнула мысль: «А почему нельзя перестрелять друг друга? Так же бессмысленно, как все остальное. Убийство всегда убийство. Как ни верти».

Ему показалось, что впереди него футах в пятидесяти крадется Червяк, и он сказал:

— Осторожнее, друг. Нас с тобой дома еще ждут дела, когда эта мерзость кончится.

И послышалось даже, будто Червяк ответил: «Эта мерзость никогда не кончится».

Солли бежал в сторону аэродрома, откуда доносилась стрельба. Кто-то обогнал его справа, негромко чертыхаясь, и еще кто-то споткнулся, упал, поднялся и снова бросился вперед, опережая его. И только тут он почувствовал, что у него совсем мокрая шея, и догадался — от крови; в висках у него стучало, лицо было тоже в крови, и сердце подсказывало ему, что конец близок. Горячий, тяжелый воздух комком стал в горле. Вокруг аэродрома, помимо десантников, размещался еще небольшой отряд ремонтников и механиков и зенитная батарея. Пехота ушла на фронт, продвинувшийся уже довольно далеко, и добрая половина амфибий находилась в пути, переправляя туда войска. Поле-

* В силу самого факта *(лат.)*.

вая артиллерия дислоцировалась за много миль от аэродрома, и защищать его выпало на долю вот этой полсотне людей из Особой 913-й,— Солли вдруг ощутил странное успокоение при мысли, что на этот раз он, кажется, отвоевался. Черт побери, ведь только вчера ушло бронетанковое соединение. Да, теперь вся надежда на оставшиеся полроты десантников!

Тат-тат-тат-тат-тат... тат-тат-тат.

Солли снова повалился ничком, пули свистели у него над головой. Потом он осторожно встал на четвереньки. В пении пуль ему почудилась заупокойная молитва «Ближе, господи, к тебе», и страх схватил его за горло и стал душить, и он весь похолодел. В мозгу, в кишках рвались бомбы, но его не покидало чувство, что скоро всему конец. Конец тревогам и страху. Конец вечным сомнениям, справедлива ли война. Все кончится, и он обретет мир и свободу. А внутренний, другой голос приказывал: «Вставай, солдат! Шевели мозгами! У тебя в Америке семья. Ты должен защищать американский аэродром. И там твои товарищи. Туда проникли японцы, их надо уничтожить!» Кое-кто из этих товарищей уже вступил в бой с фанатиками: трещали карабины, строчили автоматы, рвались ручные гранаты. Солли встал и побежал. Шагов впереди уже не было слышно.

— Эй, Червяк! Червяк! Скотти! Где вы все, черт вас дери?

И тут он заметил, скорее почувствовал слева от себя какие-то движущиеся тени и, обернувшись, понял, что они идут к нему. Он упал на землю и на мгновение затих, еще надеясь, что это, быть может, свои. Но они, что-то непонятно лопоча, бросились к нему, и сердце у него подкатило к горлу, и он еще одну миллиардную долю секунды колебался, но убийца уже проснулся в нем, и он нажал на спуск. Раздался гром, сверкнула молния и срезала эти тени, как ростки бамбука. Убил! Мама, твой сын наконец стал убийцей! Весь дрожа, с ледяным холодом в груди, он шагнул вперед. Он отнял жизнь. А жизнь у человека одна. Только у кошки их несколько... Он пустился бежать туда, где стреляли, туда, где убивали, где совершалось организованное убийство, готовый теперь убивать их всех подряд, а если убьют его, так ведь он даже не узнает об этом. Его точно катапультой вытолкнуло на летное поле. А там уже кипел бой и творилось что-то невообразимое.

Солли рухнул на землю и крепко, страстно прижался к ней, как к возлюбленной, с которой прощаются навеки. Кругом носились самураи, отстреливаясь из многозарядных винтовок и автоматов, швыряя гранаты, и товарищи Солли гибли, как мухи, от их огня. А он еще жив. Он дышит, и, кажется, сердце у него бьется. Может, они решили, что он убит. Если он будет лежать, как мертвый, может, они не обратят на него внимания и будут стрелять в других. А после боя — глядишь: он жив! Вот как перехитрил! И он будет жить и дышать, работать, говорить, смеяться, есть и любить... живой, живой, черт вас всех побери, ЖИВОЙ! «Боже праведный, молю тебя, сделай так, чтоб у меня была цель, за которую стоит умереть. МОЯ СТРАНА, СТРАНА СВОБОДЫ! Но пусть свобода будет для меня, для меня!» Он больше всего боялся, что умрет ни за что, просто будет убит — и все, и никакой СТРАНЫ СВОБОДЫ... Ему показалось, что он уснул. А может быть, он потерял сознание. Его заставила очнуться возобновившаяся пальба. Он чуть-чуть приподнялся: кругом полыхал огонь, извергались вулканы, и сквозь радугу трасс на миг на фоне темного леса в конце аэродрома мелькнули перед ним фигуры Червяка и Длинного в рукопашной схватке с самураем. Солли с трудом поднялся на ноги и, пригнувшись, бросился за ремонтную мастерскую. Надо прокрасться мимо палаток и зданий, и через две минуты он будет рядом с Червяком и Длинным, рядом со всеми своими, которые ведут сейчас бой с японцами на краю аэродрома.

Он бежал, низко пригнувшись, как защитник на футбольном поле, вдоль невысокого длинного строения ремонтной мастерской и ряда островерхих палаток, и ему казалось, что японцы всюду. что они возникают из-под земли, что они гонятся за ним, но оставалось только обогнуть последний ряд палаток, и он будет там, где ведут бой его товарищи. «Я хочу жить, жить! Боже праведный, если умереть, так пусть хоть будет за что! Мать просила: «Не лезь в герои!» Он рассмеялся, споткнулся о колышек и зацепил ногой за стропы палатки; тут кто-то неслышно прыгнул из мрака ему на спину, и тихо, без звука оба повалились на землю. Ну вот, пришел и твой черед защищать свободу, покажи себя! Чужая рука сдавила ему шею, но Солли вспомнил прием дзюдо, и ему удалось выскользнуть из-под навалившегося на него тела. Если умирать, то только не так! Но холодная сталь вонзилась ему под лопатку, близко-близко к сердцу, и он почувствовал, как хлынула кровь и острая белая горячая боль разлилась от сердца по всей груди — внезапная, острая, белая, горячая, жгучая, заглушая удары сердца, и он слышал только, как нарастает боль — пронзительная, белая, жгучая, стремительная... Но он знал, что японец занес левую руку и сейчас ударит снова, и страх возобладал над болью, бог весть как и почему, и Солли рванулся и вскочил, и успел — на счастье, японец был нетяжелый да и обучение дзюдо не прошло даром,— успел схватить занесенную руку, и удар пришелся ему в предплечье. Но он стерпел и эту боль и, молниеносно изогнувшись, перебросил через плечо сухое легкое тело самурая и навалился на него. Тот что-то крикнул — из глубины его горла вырвался хриплый испуганный звук, но продолжал бороться и, прежде чем Солли удалось скрутить ему руку, несколько раз ударил его кинжалом в грудь, и теперь уже голая сила боролась против силы, зверь против зверя. И все живое в Солли взывало к его мускулам, к сердцу, к душе, к мозгу. Он уже ничего не слышал, и война не существовала для него больше. Больше ничего не было, никогда ничего не было и никогда не будет. Вся его жизнь внезапно свелась к схватке с этим полуребенком-полумужчиной, дышавшим ему в лицо грозой и смертью.

Схватив японца за кисть, Солли выкручивал ему руку и жаждал услышать долгожданный хруст, и оба стонали и хрипели, и Солли вдруг увидел близко-близко перекошенное от страха мальчишеское лицо — так близко, как никогда, казалось, не видел ни одного лица за всю свою недолгую жизнь. Кровь хлестала у Солли из ран, и он был весь в крови, в собственной крови, и она пропитывала землю; рука японца, треснув в локте, выронила кинжал, а рука Солли мгновенно его схватила, и убивать было так же страшно, как быть убитым. И у Солли в желудке бурлила огненная лава и рвалась наружу, и он занес уже руку, но все еще колебался, а японец вдруг вцепился ему в горло, и тогда Солли мстительно нанес удар, и сталь безжалостно вонзилась в человеческое тело, и Солли полоснул вниз, но у него не было ненависти к лежавшему под ним человеку.

— Нет у меня на тебя злобы, черт проклятый!

А рука уже ударяла снова и снова, и Солли плакал, и рвота подступала к самому горлу, а грудь японца стала как кровавый гейзер, и глаза молили о пощаде.

— Нет у меня на тебя злобы, черт проклятый! Я же не знаю тебя, чертова душа!

Мальчишка-солдат испустил дух, и в тот же миг силы покинули Солли, и он рухнул на мертвого, наконец совсем бездыханного и совсем неизвестного ему человека с Японских островов. И тогда тишина и покой воцарились для них обоих, а рядом, на клочке летного поля кипел бой, и счастливцы, которым повезло, умирали за свободу.

Часть четвертая

ЖАТВА

Глава 1

Он был мертвый и находился на небе. Кругом пели. Это пели ему:

Глубокая река,
Переплыви ее и будешь дома...
Река Иордан —
На берегу собирается рать...

Но почему они поют ему это? Ведь он уже прибыл на райские поляны! А где же святой ключарь? Он хотел бы ему кое-что сказать, объяснить, что он не убийца и никогда не помышлял стать убийцей. «Я боролся за демократию. Но я не нашел в себе мужества бороться против сволочей, которые породили такую войну. Я даже не знал, кто они. Я не мог их распознать и показать на них пальцем. Они всемогущие, вездесущие, всезнающие... Надо было сказать им: «К дьяволу всех вас!» И смыться куда-нибудь на край света. Но я хотел воевать за родину и за свободу. Меня обманули, но поверь, святой Петр, у меня были честные намерения. Я люблю жизнь и люблю людей — надеюсь, ты это понимаешь и потому впустил меня сюда, где мир и благодать,— ведь я тоже мирный, добрый человек. Я люблю жизнь и люблю людей, больше всего на свете. Я люблю любовь, жизнь и людей, больше чем религию, чем правительство, чем флаги, чем патриотизм, чем традиции, чем доллары, больше чем родных, чем успех, чем великий американский миф о преуспеянии. Ты это понимаешь, святой Петр? Если бог — это любовь и бог — это жизнь, а не Америка и какой-то сверхпатриотизм, тогда, святой Петр, мое место здесь».

■

Он медленно приходил в себя, и его качало вверх и вниз, и с боку на бок, и вверх и вниз, и с боку на бок, и этот ритм напоминал что-то знакомое из прошлой и вовсе не райской жизни; и пение звучало теперь глуше, и о борт ударялись волны, и ему вдруг стало понятно, что он на корабле. Он переплывает Иордан и скоро прибудет на райские поляны. Сердце его возликовало, но к радости примешивалась и печаль. Где Фанни Мэй? Где Милли, и мама, и его новорожденное дитя? Где Червяк, где Длинный и Скотти? Куда девались Джимми, Сэмюэлс и остальные? Ему было не по себе от качки, пугало, что так неспокойна эта тихая глубокая река.

Солли услышал незнакомые голоса со странным акцентом и запахи из прежнего мира, в котором он жил много, много лет назад, и эти запахи вдруг пробудили рой воспоминаний: они были белые, черные, желтовато-коричневые — листерин, карболка, антисептики; запах тела, запах лекарств, запах спирта. Может, он никуда не уезжал из Джорджии и все было долгим недобрым сном или даже... даже долгим хорошим сном, а то, что сейчас,— это пробуждение? Но отчего так отвратительно качает?

Сперва он не решался открыть глаза, а когда все же открыл, увидел склоненное над ним лицо женщины в белом халате — увидел нежные розовые щеки и исполненные жалости темно-карие глаза. «Кто ты? — спросил он взглядом.— Кто ты, задумчивая, пепельноволосая? Ты не ангел. У моих ангелов кожа другого цвета. Гони меня туда, откуда я пришел».

Она улыбнулась:

— Ну, как вы себя чувствуете, сержант?

Какое смешное произношение. Она не американка. Даже самые манерные южане так не говорят. Но он жив, жив, черт побери! Жив! Он дышит, обоняет, слышит, ощущает вкус во рту и видит, видит! Он видит! И чувствует!

— Скажите, где я? — И голос, оказывается, не пропал! Но почему она назвала его сержантом, когда он самый что ни на есть обыкновенный рядовой?

— Вы на госпитальном судне. Вы были ранены — и довольно тяжело. Говорят, сражались героически, и вас произвели в сержанты. А теперь направляют в Австралию. Вы довольны?

Она сунула ему в рот термометр, потом стала считать у него пульс, глядя на часики у себя на руке. Он жив. У него есть температура и пульс, хотя страшно болит сердце, и ломит грудь, и голова налита свинцом, и левая рука как железная. Но он жив. Он открыл было рот, чтобы сказать «спасибо», но она зажала ему губы свободной рукой — как бы не выпала стеклянная трубочка...

— Вы будете жить,— сказала она минуту спустя, вытаскивая градусник,— благодаря чудодейственным лекарствам и вашему упорному нежеланию умирать.— Она улыбнулась.— Динки дай *.

— Динки дай? — переспросил он.

— Фейр динкум **, приятель.— Она произносила это слово так странно: «приетел».— Ну, пока!

Вечером она пришла опять и велела ему лечь на живот. Он с усилием перевернулся, и она подняла ему рубаху.

— Что вы делаете? — тихо ахнул он.

— Вот теперь я вижу, что дело пошло на поправку.— Она протерла ему ягодицу спиртом и ловко сделала укол.

Когда он снова перекатился на спину, ее уже не было, и несколько часов его терзала невыносимая боль, разлитая по всей груди. Он боялся, что сердце не выдержит. Боль была такая жгучая, что минутами ему казалось, будто у него плавятся все волоски на груди.

А потом она пришла еще раз ночью, и снова поставила градусник, и сосчитала пульс, и, подняв рубаху, обмыла его из крохотного тазика, и сделала укол. Сопротивляться у Солли не было сил, да и не к чему: будто она не знает, чем наградил его господь!

Дни проходили в полубреду — мысли путались. Подчас всплывали картины детства на Юге и в Нью-Йорке, вот он играет в хендбол и в баскетбол в команде колледжа... Он видел себя то с Фанни Мэй, то на занятиях в юридическом, то вдруг рядом оказывалась Милли или мать... То он был ребенком в Джорджии, то солдатом на островах, то — очень часто — узником в полицейском управлении в Джорджии. И снова и снова всплывала сцена у входа в клуб Красного Креста... Но все это жило как бы отдельно от него и оставалось нереальным, реальным было лишь одно — боль, не утихавшая ни на мгновение. В голове стучало так, словно там был полигон; в сердце рвались тяжелые фугасы, и оно бешено колотилось; левую руку жгло огнем. Солли мучил страх, что у него лопнут вены в мозгу, что сердце разлетится на куски и разорвет грудную клетку. А рука никогда не сможет обнять женщину.

Однажды сестра Селия подошла к нему, чтобы измерить температуру, и присела поболтать. Она наслышалась о нем немало. Солли понял: она что-то не договаривает — и насторожился. Она беседовала с одним из его друзей, он тоже ранен и находится здесь.

— Где он? — спросил Солли, боясь спросить другое: кто он?

---

* Правда *(австрал. диалект)*.

** Честное слово *(австрал. диалект)*.

Бум! Бум! Бум! — стучало сердце, словно глухие раскаты грома в летний полдень.

— В другом отделении,— ответила она.— Ему здорово досталось в бою, но вы все-таки были ранены тяжелее. Дней пять мы даже не надеялись, что вы выживете. Однако вот — поправляетесь отлично.

Солли хотелось спросить, с кем она говорила о нем, кто этот друг? Но он боялся, что она начнет рассказывать: этот погиб, тот потерял ногу и руку, а тот стал калекой, а другой, а третий... И все, что она скажет, будет окончательным и непоправимым. Высшая мера наказания. Приговор Верховного суда. Обжалованию не подлежит.

— Лейтенант Сэмюэлс о вас справляется ежедневно, — сказала она,— и рядовой Тейлор, и капрал Ларкер, и рядовые Скотти и Бэнкс тоже.

— Как они себя чувствуют? — «Слава богу, они живы и могут о ком-то еще справляться!»

— Все уже выздоравливают. Самый тяжелый были вы, но и у вас дело пошло на поправку.

Потом она стала часто наведываться к нему и всякий раз рассказывала что-нибудь об Австралии и почти всегда поминала лейтенанта Сэмюэлса и непременно при этом краснела, и в такие минуты Солли особенно остро ощущал свое одиночество. Он рассказал ей о своих родных — о матери, и о красавице Милли, и о младенце, который должен со дня на день появиться на свет.

— Неудивительно, что вы так упорно боролись за жизнь, — сказала она.

Как-то раз она зашла к нему в середине дня и сообщила, что они плывут мимо берегов ее родного штата Куинсленд. Они в Коралловом море, самом красивом и самом коварном на свете. Если бы он мог выйти на палубу и полюбоваться! Сейчас они идут между Большим Барьерным рифом и материком. В светлом пушке над верхней губой у нее поблескивали капельки пота; она начала восторженно рассказывать Солли о рыбах, которыми изобилует это море, о многообразии их видов и яркости расцветок, способных поспорить с радугой. И о кораллах — белых, розовых, оранжевых, лимонно-желтых... И о громадных моллюсках, и осьминогах, и жемчужных раковинах. И краски, говорила она, буйство красок, и движение, и ритм, и божественная первобытность океана и джунглей — прекрасный и предательский тропический Эдем. Она так увлеченно рассказывала, что Солли казалось, будто он все это видит сам.

Он сказал, слабо улыбнувшись:

— Да вы просто поэт!

— О, если бы я умела писать! Я всегда мечтала стать писательницей!

Он взглянул ей в глаза и перевел разговор на другое. Спросил ее о Бейнбридже — ее родном городе, потом о лейтенанте Сэмюэлсе; она, как всегда в таких случаях, мучительно покраснела и вскоре ушла.

Через несколько дней Селия помогла ему облачиться в военную форму и приготовиться к высадке на берег. Она дала ему свой адрес в Бейнбридже.

— Когда вы начнете ходить, навестите меня вместе с лейтенантом Сэмюэлсом.

— Буду рад,— сказал он.

— Динки дай? — спросила она со строгой улыбкой, и, как всегда, капельки пота сверкнули в крохотных усиках над ее круглым ртом.

— Фейр динкум,— ответил он, и у него запершило в горле.

— Хор'шоо,— протянула она.— Больше я вас сегодня не увижу. До свидания, поскорее поправляйтесь.— И она чмокнула его в щеку, оставив на ней росинки со своих теплых губ.

■

Высадка состоялась около полудня. На пристани играл оркестр, реяли флаги и знамена, собралась толпа, которая их тепло приветствовала. Лежа на носилках, Солли успел заметить, как красива гавань. Он не чувствовал себя здесь чужим — ведь это родной город Селии.

Потом их везли в поезде, и Солли, опираясь на подушки, смотрел в окно и видел уже знакомые по описаниям Селии бесконечные кустарники, извилистую реку, деревянные домики пригорода, построенные на сваях, чтобы уберечь жителей от муравьев, опоясанные неизменными верандами, похожими на палубы кораблей. И повсюду цветы, и сады, и зелень, и деревья самых разнообразных пород с тысячью оттенков и ароматов... И вдруг — длинный деревянный забор на пустыре и выведенное огромными буквами не то известью, не то мелом:

ОТКРОЙТЕ ВТОРОЙ ФРОНТ!

Солли нахмурился. И смешно, и печально. Откройте второй фронт... А он открыт много месяцев назад Много тысяч людей назад. Много тысяч юношей...

Солли закрыл глаза и стал думать о Милли: как там она сейчас накануне большого события? А вдруг уже после? Всегда надо помнить, что бывают некоторые ошибки в расчетах. Возможно, это происходит именно сейчас. Мама там и поухаживает за Милли, есть у нее и родные в Бруклине. Одну ее не оставят. Это он здесь один.

Поезд доставил их из Бейнбриджа в военный госпиталь на территории знаменитых бегов, превращенной на время войны в лагерь.

На следующее утро Солли навестил Червяк, а после него — Сэмюэлс и в тот же день, но позднее — Джимми со Скотти и Билли Бэнксом. Из их рассказов он смог по частям восстановить картину боя за аэродром. В плен было взято десять японских солдат, убито четырнадцать, а остальные скрылись в деревне. 913-я геройски дралась и умирала за свою страну и за демократию. Погиб Длинный Линкольн, погибли Прыгун, старший сержант Андерсон и семеро других. Тридцать девять получили ранения — почти все они находятся в этом госпитале. Они представлены к награждению «Крестом за боевое отличие». Они теперь герои. Выдающиеся сыны негритянского народа. И Сэмюэлс — за компанию.

Через два дня почта наконец нагнала его, и он получил целых шесть писем от Милли и два — от матери. Письма Милли были полны любви и счастья. Она строила планы их совместной жизни, загадывала, кем будет их сын, когда вырастет, писала, что тоскует, ждет его и вспоминает свидание в поселке форта Орд и в Питтсбурге, как самые счастливые дни своей жизни. От этих слов Солли становилось тепло и затихала жгучая боль в груди, и он радовался, что жив, и говорил себе, что постарается заслужить ее прощение за все: за то, что не был рядом с ней в трудный час, за то, что заставил ее страдать, когда увлекся Фанни Мэй. Но она его простит. Он так будет ее любить, он затопит ее своей любовью, и она уже никогда не усомнится в его любви.

Да, у него есть, для чего жить! С каждым днем голова и грудь болели меньше, рука почти зажила. Его уже перевели на общий стол, а спустя несколько дней разрешили встать с постели и походить, и он даже смог пойти в уборную, помыться, побриться и поглядеть на себя в зеркало. Первый раз он себя не узнал и даже оглянулся — не стоит ли кто за спиной, потом посмотрел опять на свое отражение. Скелет, обтянутый кожей. Глаз почти не видно — так глубоко они запали. Лицо тощее, длинное, изможденное. Он был как изголодавшаяся смерть.

Прошло еще некоторое время, и Червяка, Сэмюэлса, Скотти и почти всех остальных выписали из госпиталя, и они, получив отпуск на месяц, уехали в Бейнбридж. Солли остался один и загрустил.

И тут пришло долго следовавшее за ним по пятам письмо от Фанни Мэй. Она писала, что теперь преподает в начальной школе в Эббенсвилле. Ей это очень нравится, она просто влюблена в свою работу. Но Солли понимал, что для нее этого недостаточно. В ней столько заложено! Эббенсвилльская учительница? Нет, она может дать в сто раз, в тысячу раз больше...

Она рассказывала в своем письме, что иногда во время урока ее вдруг охватывает жалость к себе, и тогда она вспоминает о его любви, и ей становится легче. Пусть все кончилось ничем, но она может сказать себе в мрачную минуту: «Я должна радоваться, мне хорошо, наверно, я *что-то собой представляю, если Соломон Сондерс любит меня!*». В конце письма стояло: «Всегда любящая тебя Фанни Мэй», и радость захлестнула Солли, но он тут же обругал себя скотиной.

Вслед за письмом пришла посланная ею книга Ричарда Райта «Двенадцать миллионов черных голосов». И она совершила переворот в душе Солли — это была одна из самых великолепных, ясно написанных книг, какие ему доводилось читать. Фотографии Эдвина Расскэма прекрасно дополняли потрясающие образы Райта, и все это пробудило в Солли давно забытые, но не умиравшие в нем чувства. Какой-нибудь абзац, какое-нибудь лицо, устремленное на него со страниц книги, останавливали его внимание, и вот он уже слышал живые голоса, и что-то начинало дрожать у него в груди, и спазма перехватывала горло, и он всем существом ощущал свою принадлежность к неграм и был горд, что он негр.

Однажды при чтении у него возникла мысль: «Если я горжусь собой, это еще не причина, чтобы ненавидеть народ мистера Чарли. Я этого вовсе не хочу. Мне это не нужно. Если я люблю себя, то могу любить и все это проклятое человечество — и черных, и коричневых, и желтых, и белых. Спасибо тебе, Ричард! Спасибо, Эдди! Спасибо, милая Фанни Мэй!». Он окинул взглядом палату — большинство раненых были белые, и он вдруг почувствовал, как ему дорог весь страдающий, несчастный и прекрасный род людской.

Он ел с аппетитом и стал прибавлять в весе, но повязки на груди все еще приходилось носить. Бреясь, он каждый раз улыбался, замечая, что начинает походить на человека.

Как-то под вечер он сидел возле своей койки на стуле и читал, хотя душа его была далеко — с Милли, и с их ребенком, и с мамой. Внезапно чей-то голос произнес:

— Вот какой мы молодец!

Солли поднял голову и искренне обрадовался, увидев Селию. Она чмокнула его в щеку и, отступив назад, оглядела с головы до пят.

— Я бы вас не узнала на улице,— сказала она.— Я и понятия не имела, что вы такой красивый мальчик!

Солли видел, что другие раненые наблюдают и прислушиваются. Посетители здесь были редкостью, а такие — особенно!

— Как поживает лейтенант Сэмюэлс? — спросил Солли.

— Боб уже здоров. Он ведь вас навещает, правда?

— Да, он заходит, когда приезжает сюда на процедуры и к врачу. Я их всех вижу раз в неделю.

— Так он мне и говорил.

— Он вас не обманул.

— Что это с вами, сержант?

— Да ничего...— Он вдруг почувствовал себя очень одиноким.

— Из дому есть вести? — заботливо спросила она.— Как ваша жена? Она не родила?

— Понятия не имею. Ничего не пишут. Не знаю даже, чем это объяснить.— Он пытался говорить шутливо.

— Не тревожьтесь. Возможно, ваша жена ошиблась в своих расчетах. Это бывает сплошь и рядом.

Тут Солли заметил, что к нему направляется санитар с телеграммой в руке, и сразу пот прошиб его с головы до пят. Дрожащими руками он взял телеграмму, развернул ее и сначала пробежал глазами все, что было написано сверху. Телеграмма была отправлена шесть дней назад, адресована Красному Кресту и передана сюда с Филиппин. Потом он начал читать текст, а когда кончил, он был уже не прежний Солли, он был совсем другой человек. Родился мальчик весом восемь фунтов пять унций, но Солли лишился любящей жены, а ребенок остался сиротой. Солли раз десять прочел телеграмму, но смысл ее от этого не изменился. Он сказал себе, что это ошибка телеграфа. Он сказал себе, что это чья-то грубая шутка. Он сказал себе, что это ложь, этого не может быть. Не может быть! Это ложь! Но он знал, что это правда. Глубоко, глубоко в душе он уже знал, что это правда. Мама не стала бы ему лгать.

— Что случилось, сержант?

Солли не слышал. Все, что он подавлял в себе всю жизнь: весь страх, вся печаль, вся любовь, вся ненависть и, самое главное, чувство вины — все вырвалось наружу. Что он ни скажет теперь, что он ни сделает — ничто, ничто, ничто не может изменить этих страшных слов. Он тупо глядел на телеграмму, и вдруг мелькнула мысль: «Вот я ее порву, и окажется, что Милли жива». А из пучины горя вздымалась крутая волна, она дошла до плеч, перехватила горло, исказила лицо. И больше Солли не мог себя сдерживать. Плотину прорвало, и он зарыдал, как осиротевший ребенок.

Селия взяла у него из рук телеграмму и тоже заплакала. Она положила руку ему на плечо, хотела как-то его успокоить, но понимала, что нет у нее таких слов и не существует их ни на одном языке. Слезы текли из глаз Солли, и он вытирал их простыней, а они все текли и текли. Он даже не замечал чужую руку на своем плече, а когда наконец заметил, то повернулся и так поглядел на Селию, словно видел ее впервые.

— Пожалуйста, уходите,— прошептал он.— Вы ничем не можете помочь, и никто тут ничем не может помочь.

— Хорошо. Но я приду завтра.

— Ладно.— «Почему она не уходит? Уходи же! Уходи!»

Селия положила телеграмму на койку и на цыпочках вышла из палаты. Каким-то краем сознания он понял, что она уходит, и на мгновение ему захотелось вернуть ее. Но он не вернул ее. Он не мог.

Весь вечер и всю ночь Солли просидел на койке, вперив взгляд в пустоту, которая расстилалась перед ним на тысячи миль. Она в гробу... Зарыта в холодную землю. Это не укладывалось в голове. Милли, красивая, жизнерадостная, полная неукротимой животворной энергии,— и ее больше нет. Как же так? Он оставил ее девять месяцев назад в Питтсбурге... Она любила его, мечтала о будущем. И вот — конец! «Стая красивых птиц летит по небу, и охотник забавы ради, целится в одну из них и лишает ее жизни. Так погибла и ты!» Он вспоминал калифорнийские поля и домик в поселке форта Орд, и их прогулки на взморье у самого края американского континента, и маленькое кафе в Монтерее... И всюду Милли... Милли... Милли... И комнатушку в Питтсбурге, крошечную, как телефонная будка, где все дышало любовью... И их последнее прощание... Но как же они допустили, что она умерла? Он виноват во всем! Он должен был найти в себе смелость бежать из этого ада и увезти ее в какое-нибудь тихое местечко, где она бы родила спокойно, окруженная любовью... Верно, она извела себя тревогой! Как он виноват перед ней! Она же сердцем чувствовала, что он ей не верен. Теперь ему уже

никогда не вымолить у нее прощения. Никогда — это очень, очень долго...

Целые сутки Солли не брал ничего в рот, а когда на следующий день в обед поел, его тут же вырвало. После обеда ему доставили два письма от Милли, написанные за несколько дней до родов. Они были как с того света, но Солли, читая их, пытался себя обмануть, притворялся, будто она жива. Письма дышали любовью к нему, любовью к жизни, заботой об их ребенке и о других детях, которые еще будут. Солли начал даже мысленно спорить с ней из-за будущего их сына. «Погоди, дай ему прежде родиться! Дай ему отдышаться. Доктор.... юрист... кому, к черту, все это надо?.. Я схожу с ума,— пронеслось у него в голове,— я спорю с мертвой. Она умерла, с этим надо сжиться. Но я не могу, не могу!»

Неделя за неделей отчаяния, одиночества, душевного омертвения, мыслей о смерти... а затем мало-помалу в сознании Солли рядом с Милли стал возникать другой образ. Какая же он низкая, подлая скотина! Как смеет он думать о другой так скоро после смерти жены, оставившей ему маленького сына? Прошло всего лишь семьдесят четыре дня после ее смерти. Как можно быть таким бесчеловечным? Будь ты проклята, Фанни Мэй! И ты, Солли Сондерс, тоже будь проклят! И их любовь, и все, что встало между ним и Милли! А мысли возвращались к Фанни Мэй, хотя мучительное чувство вины не покидало его ни на минуту.

И вот настал день, когда он сказал себе, что все решено. «Милли скончалась свыше двух месяцев назад, и ее не поднять из гроба. Я любил ее, люблю и сейчас, но ее не вернуть к жизни, а нашему сыну нужна мать, которая будет любить его и заботиться о нем. И Милли согласилась бы с этим. Кончится война, и я должен буду найти ребенку мать, а себе жену. Милли сказала бы то же самое. Когда я вернусь, я повезу малыша в Эббенсвилль, и если Фанни Мэй ему понравится и он ее полюбит, а она полюбит его наверняка, тогда я женюсь на ней и дам ребенку мать. Решено, и больше не буду об этом думать. Да и когда-то еще что будет, и война может длиться вечно, и какой же я негодяй, если могу так скоро после смерти жены думать о другой! Милли, родная, прости меня, прости!»

Томительно тянулось время. Дни складывались в недели, недели — в месяцы, а Солли все еще боролся с желанием сообщить Фанни Мэй о смерти жены и появлении на свет ребенка. Ну, хотя бы только сообщить, а о будущем — ни слова! Но чувство вины мешало ему это сделать.

И все же время берет свое, и залечиваются раны, хотя, быть может, и не до конца. Во всяком случае, ни голова, ни рука у Солли уже не болели, вскоре были сняты повязки, стягивавшие грудь, а затем разбинтовали и спину, и после долгих месяцев лечения он наконец выписался из госпиталя, получив тридцать дней отпуска перед возвращением в часть.

Селия обещала приехать за ним после обеда на машине и отвезти в Бейнбридж, где она приготовила ему комнату неподалеку от своего дома. Его боевые друзья, заработавшие «Пурпурное сердце», давно уже отгуляли свой отпуск и были прикомандированы к десантному отряду, расположенному в «Уортингтон фармс» — лагере на другом конце города.

Все утро Солли нервничал: ему казалось, что полдень никогда не настанет. Он встал рано, побрился, собрал вещи. Хотелось поскорее покинуть госпиталь и все, хотя бы отдаленно напоминающее армию. Уехать и забыть... Скорее пришел бы этот час, когда он станет свободным человеком на тридцать дней. Не слышать ни об армии, ни о войне, которая по-прежнему бушует на земле. Забыть об ее существовании. Как только он устроится, он сразу напишет Фанни Мэй большое дружеское

письмо. Не любовное, нет. Просто письмо, в котором расскажет, где он, и как он, и что с ним! И о том, что он овдовел и стал отцом. Он должен поддерживать связь с кем-то в том, другом мире, помимо матери и сына.

Наконец явилась Селия и повезла его в город, но он по дороге никуда не глядел и все время молчал. Он думал о том, как вернется к себе и начнет заново складывать жизнь из обломков. Селия, словно гид в туристском автобусе на Пятой авеню, сообщала о местных достопримечательностях: вот парк, вот река, вот такой-то мост, вот такой-то исторический памятник. Но он почти ничего не слышал.

— Что с вами, Солли? — спросила она.

— Ничего.

— Вы так себя ведете, точно я везу вас в тюрьму, а не на отдых. Верно, влюбились в госпитале в какую-нибудь хорошенькую сестричку? Или соскучились уже по госпитальной отбивной и яйцам всмятку? Как вам нравится моя машина?

— Фейр динкум,— ответил он. «Понимай как хочешь!»

— Это старая колымага, но она служит мне верой и правдой.

Она привезла Солли в Бенсингтон к своему брату, жившему в трех кварталах от ее дома, и познакомила с женой брата Бетти и с ее сестрой Памелой. Втроем они повели Солли в его комнату и помогли распаковать вещи, неумолчно болтая, расспрашивая его о Соединенных Штатах, о положении американских негров, о Конгрессе производственных профсоюзов, о Гарри Бриджесе * и Поле Робсоне. «Интересно, что они за люди?» — думал Солли. Особенно дружелюбной казалась Памела, но Селия сказала ей:

— Он еле на ногах держится. Дай ему отдохнуть и прийти в себя. А потом я приеду и заберу его к себе пить чай.

— Ладно,— игриво ответила Памела,— но не вздумай считать этого красавца своим только потому, что первая его увидела. Не выйдет, дорогая, здесь уж я приму меры. У нас нехватка мужчин, ты это знаешь.

Селия засмеялась.

— Он будет жить с тобой под одной крышей, ты больше будешь его видеть, чем я. Но, кстати, он не падок до романов с австралийками.

Что верно, то верно! Солли лежал в своей австралийской комнате, обозревая свое прошлое, нынешнюю разбитую жизнь и гадая о будущем. Он встал, порылся в вещевом мешке, достал фотографии маленького Соломона и сел их рассматривать. Огромный парень, толстый, как поросенок, с большущими темными глазами, густыми волосенками и высоким лбом; рот и овал лица — отцовские, а глаза — как у матери, большие, широко раскрытые, умные. Солли нахмурился. «Клянусь тебе, маленький, тебя не пошлют на войну, и не армия сделает тебя мужчиной. Я обещаю тебе надежду, и любовь, и смех, и много еды, и Санта-Клауса, и школу, и пузырчатую жевательную резинку, и велосипед, и новую, лучшую жизнь, и мир на Земле, и что ты никогда не будешь знать одиночества...»

Но до чего же он устал, господи! Он снова лег, растянулся на постели. «Обещаю тебе, что ты будешь учиться и выйдешь в люди!.. Спать, спать... Только бы выспаться! Прилети ко мне, сон, унеси меня с собой!»

Но уснуть он не мог. Даже глаз сомкнуть не мог. Он еще не свыкся с мыслью, что Милли больше нет, что ее уже не существует во времени и в пространстве. Он весь год жил рядом со смертью, он умирал — и смерть была рядом, он плакал — и смерть была рядом, и он шагал по

---

* Гарри Бриджес, австралиец по национальности, в описываемый период был руководителем левого профсоюза американских докеров.

смерти и купался в ней. Ходил по колени в смерти. Дышал смертью. Знал ее запах, ее вкус, ее скользкое прикосновение. Ее цвет. И сколько раз он сам мечтал о взмахе нежных белых крыл — мирных и долгожданных... Но то, что смерть унесла его Милли, с которой он лежал на брачном ложе, которую любил, которая носила под сердцем его ребенка, с которой он мечтал о будущем, с которой хотел прожить до старости и вместе перестроить мир,— этого осознать до конца он не мог. Умом понимал, но в глубине души не верил. Не может этого быть! Солли встал с постели и вытер слезы. Неужто он спал? За дверью разговаривали чужие голоса, но, кажется, один из них принадлежал Селии. Солли кашлянул, давая им понять, что не спит, и вышел в халате в коридор. «Добрый день»,—сказал он и направился в ванную комнату. Он лежал в горячей мыльной воде с закрытыми глазами, ощущая в душе гнетущую, назойливую пустоту, и старался представить себе своего сына. «Что ты делаешь, кого ты любишь, где ты сейчас? Когда я тебя увижу и возьму на руки? Когда, когда? Скоро ли кончится это цивилизованное варварство?»

Селия отвезла его в свой маленький белый коттедж — две комнаты и кухня,— опоясанный с трех сторон верандой. На задний двор выходило крыльцо с узорчатой решеткой, обсаженное кустами алых роз. Когда, впервые оставшись наедине, они сели и взглянули друг на друга, Селия неожиданно смутилась и не сразу нашлась, что сказать.

— У меня есть горючее. Хотите? — сказала она наконец.

— То есть как — горючее?

— Ну, спиртное, коньяк. Хотите?

— С удовольствием.— Как раз это ему и надо.

Она принесла из кухни бутылку и рюмки. Они пили, поглядывая друг на друга.

— Закурим? — Она протянула ему пачку сигарет. Они курили и потягивали коньяк, наблюдая друг за другом, как боксеры или фехтовальщики, готовые к удару или защите, нащупывающие слабое место противника. Противники, но не друзья...

Потом она заговорила:

— Наши женщины вам покоя не дадут, а я, кажется, понимаю ваше душевное состояние. Я потому и сказала Памеле, что вы в настоящее время не настроены романтически.

— Как наш симпатичный лейтенант? — спросил Солли, чтобы переменить тему.

Она густо покраснела.

— Боб здоров. Он на базе со всеми вашими товарищами. А сегодня приедет с нами обедать.

Солли глядел в пол.

— Надеюсь, вы не против? — спросила она и добавила: — А потом мы поедем в «Южный Крест». Не думайте, что я вам диктую программу отпуска, но мне казалось, что вначале, так как вы здесь новый человек...

— Что вы, очень хорошо,— ответил он рассеянно.— Фейр динкум.

— «Южный Крест» — это наш клуб для военнослужащих, для всех солдат союзных войск. Мы не признаем различия рас, цвета кожи и прочей чепухи.

Она заметила, что Солли вспыхнул и отвел взгляд. Он встал, пошел на кухню, принес оттуда бутылку виски и тяжело опустился на стул.

— Сделайте мне одолжение! Хотя бы на эти тридцать дней избавьте меня от разговоров о войне, о расовом вопросе и прочих нелепостях, которые изобрел человек. Ладно?

Он глотал рюмку за рюмкой, словно виски Селии было последним на свете, и с каждой рюмкой мрачнел все больше.

И почему эта нахальная белая женщина жива и так вызывающе белокожа, так благополучно белокожа, а Милли мертва, и Фанни Мэй на другом конце света учит детей мечтать о том, что было убито задолго до того, как они научились мечтать?

Солли поднял голову и посмотрел на Селию. Да, он уже здорово пьян. Пьян и зол на весь мир. Хватит пить до обеда, не то его стошнит, как солдата в десанте. Ему и так дурно — дурно от всей этой блевотины, которую называют западной цивилизацией. Он знает одно: рождаясь, человек уже готовится к смерти. Значит, человек родится, чтоб умереть. Солли улыбнулся. Но человек родится, чтоб умереть за дело, которое хоть чего-нибудь да стоит. Где же это дело?

А Селия тоже думала свою думу. Неужто он всегда такой? Угрюмый, необщительный, пожалуй, даже враждебный? На госпитальном судне у нее сложилось о нем совсем другое представление. Он казался дружелюбным и приветливым, мило беседовал с ней, и она думала, что их дружба окрепнет. Только дружба, ничего больше... Возможно, он еще не совсем оправился после всех потрясений этой проклятой войны — ведь он был при смерти, потерял жену... Вечер в «Южном Кресте» немного его встряхнет. Этот Солли Сондерс возбуждал ее интерес. Что он, в сущности, такое? Что он за человек — этот красивый угрюмый негр?

Мысли Солли беспорядочно прыгали, как кузнечики в полдневный зной. Христос и Джон Браун... Голгофа и Харперс-Ферри *... и Нат Тернер ** в Саутгемптоне, в Виргинии... Все они отдали жизнь за свое дело. Отдали жизнь... отдали жизнь...

— Господи! — невольно вырвалось у него.— Я готов отдать жизнь, если это поможет освобождению моего народа.

— Что вы сказали? — спросила она.

— Человек рождается, чтоб переделать мир,— пробормотал он.

— Что?

— Ничего. Это я так, про себя.

— Вам надо выпить чего-нибудь крепкого.

Он уже выпил предостаточно, и она, кажется, тоже!

— Динки дай и фейр динкум! — сказал он.— Дельный совет! — «Милли тоже умерла за дело,— уже спокойнее подумал он,— умерла, чтобы дать жизнь другому существу».

— Вот так будет хор'шоо,— сказала Селия, наполняя их рюмки неразбавленным виски. И вдруг начала изливать свою душу. Она хотела стать писательницей, поэтессой, а вот работает медицинской сестрой. Но как только война кончится, она бросит эту профессию. Ее муж был профсоюзным работником, так же как ее брат. Когда началась война, он пошел на фронт добровольцем, и его тут же отправили за океан, и он был убит в пустыне, в Африке.

— Я тогда едва не лишилась рассудка,— рассказывала она, и на глазах у нее блестели слезы.— Просто не знала, что делать, совсем растерялась. Он был старше меня, но мы очень подходили друг другу. Он был уже вполне сложившийся человек и очень внимательно относился ко мне, к моим желаниям, даже к моим женским причудам. Он был убежденный антифашист. Когда он погиб, да еще так далеко от родины, я потеряла голову. Не знала, за что взяться. Первое время и жить не хотела. Да, мне казалось, что я не хочу жить. А потом поступила в военно-фельдшерскую школу. Война уносила столько жизней, и я думала, что хоть кого-нибудь помогу спасти...

---

* Военный арсенал, на который совершил нападение в 1859 г. Джон Браун со своим отрядом, рассчитывая начать этим восстание рабов.

** Невольник негр, поднявший мятеж рабов в Виргинии в 1831 г.

Слезы мешали ей говорить. Она вытерла глаза платком.

— Я глупая, реву перед вами, и вам, наверно, это неприятно. Мой муж был ярым противником войны, а тут пошел и первым записался. Вы можете это понять? — Темные глаза с мольбой устремились на Солли.

Он смотрел на нее и невольно испытывал глубочайшую жалость к ней. Над ее головой, должно быть, всегда висели тучи, сердце ее пережило не одну грозу, вот она и стала грубоватой, чтобы этим защититься от жестокосердного мира. И все же она не смеет искать у него сочувствия! Она белая, и в этом мире, принадлежащем белым, столь несущественный факт дает ей преимущество перед тремя четвертями всего человечества.

А она теперь плакала уже безудержно.

— Не знаю, отчего я так себя веду... со мной такого не бывало... но мне почему-то показалось, что именно вам одному я могу раскрыть душу. У меня такое чувство, что вы мне родной... как брат...— Она не договорила.— Простите! Пожалуйста, простите! Я сама понимаю, как это противно — пьяная сентиментальная женщина...— Ее плечи вздрагивали, она вытирала глаза, сморкалась и все время повторяла: — Простите...

Он мог бы, конечно, подняться, подойти к ней, присесть рядом и, обняв ее за плечи, сказать: «Поплачь, Селия, выплачешься — станет легче. Не смущайся». Он чуть было не сделал этого, но она была белая, а он был зол на весь мир...

Однако к приходу лейтенанта Сэмюэлса Селия уже овладела собой. Лейтенант, казалось, был искренне рад встрече со своим ротным писарем. Он обнял Солли, оглядел его со всех сторон.

— Вы прямо как новенький серебряный доллар,— сказал он со смехом.

— Вы тоже отлично выглядите, лейтенант.

— Пожалуйста, без лейтенанта. Мы в Австралии, и в неслужебное время я — Боб, а вы — Солли.

— Есть. Вы — Боб, а я — Солли. У моей матери все детишки были смышленые.— Только сейчас Солли заметил двойные нашивки на воротнике Сэмюэлса. — Так-так-так, значит, вы теперь капитан, Боб?

— Так точно. Командир изрубленной в боях и эвакуированной в тыл легендарной Девятьсот тринадцатой. Мы здесь числимся как Двадцать пятый десантный взвод.

Обедать поехали в маленький ресторанчик, где им подали бифштекс с яйцом. Еда была вкусная, вино тоже, и Солли мало-помалу стал освобождаться от своей скованности.

Из ресторана отправились в «Южный Крест» и сразу наткнулись на Червяка Тейлора, Джимми и Скотти, отпущенных в город на пять часов. Все страшно обрадовались встрече и душили Солли в объятиях, как братья, увидевшиеся после долгой разлуки вдали от родного дома.

— Сюда редко заглядывают наши кракеры, таких хороших местечек здесь немного,— сказал Червяк.

«Опять начинается!» — подумал Солли, но даже это не могло омрачить радость встречи с товарищами.

— Верно, друг, мы не очень-то их сюда приглашаем, а если приходят, мы даем им понять, что они должны вести себя прилично,— сказал брат Селии. Это был рослый, рыжий, весьма общительный парень.— Если они являются пошуметь, мы их быстро выставляем за дверь.

Высокий полный человек с лысиной бренчал на разбитом фортепьяно — бома-лома, бома-лома,— и все танцевали. В клубе было много австралийских солдат в шортах цвета хаки и девушек в коротких юбках из пестрой шотландки.

В «Южном Кресте» спиртное не подавали, но Червяк повел Солли в мужскую уборную, достал из заднего кармана фляжку и дал ему отхлебнуть яблочной водки.

— Мне нравятся эти австралийцы,— сказал Червяк.— Если бы не проклятые янки, которые здесь ошиваются, мы бы себя чувствовали как дома.

— Брось. Ты предубежден,— возразил Солли.

— Да нет. Парни в нашем лагере рассказывали, что, когда они сюда приехали в прошлом году, все к ним очень хорошо относились. Их тут считали героями, а на цвет кожи не обращали внимания. Их угощали, поили вином, и девушки приглашали к себе домой. Здесь им было лучше, чем в Америке. Но с полгода назад сюда прибыли американские дивизии с Юга — то ли на «Куин Мэри», то ли на «Куин Элизабет», в общем, на каком-то лайнере с королевским именем,— и сразу неграм повсюду стали объявлять запрет. А военная полиция здесь еще сволочнее, чем в Джорджии! Нет, наши южане собаками были, собаками и останутся, куда бы их ни привезли. Ненавижу их, понимаешь!

Солли отхлебнул еще немного водки.

— Сегодня я не в настроении слушать вашу негритянскую пропаганду. Если есть серьезные жалобы, пишите начальнику на Аделайн-стрит. Генерал Бафорд Джек — друг солдат, их великий белый падре.— Солли повеселел. Яблочная водка согрела грудь и желудок, теплом разлилась по всему телу. Хорошо!

Червяк с сомнением посмотрел на Солли. По временам он не мог понять, дурачится Солли или говорит всерьез.

В уборную влетел Скотти с австралийским солдатом в шортах, кривоногим, как бульдог,— солдата звали Доббс. Он притащил бутылку и бумажные стаканчики, налил всем и провозгласил тост:

— За клетчатые юбочки!

Солли захохотал еще пуще, когда Скотти добавил:

— И за чертовок в клетчатых юбках!

Когда они вернулись в зал, тапер Дэнни стучал по клавишам; все образовали большой круг и танцевали хоки-поки.

К Солли подошла невестка Селии:

— Пойдем, дружок, потанцуем!

Потом Солли пошел еще раз с Червяком в уборную выпить, а когда вернулся в зал, там играли «Матильду», и Памела снова пригласила его танцевать и все время прижималась к нему, но он воспринимал все это как-то со стороны, будто она прижималась не к нему. А Селия то и дело подбегала и спрашивала, весело ли ему. Она порхала по залу, дружески-кокетливо болтая с американцами и австралийцами и явно стараясь поднять у всех настроение, но особенно у капитана Роберта Сэмюэлса... Потом Солли с Червяком, Джимми и братом Памелы разлавили еще примерно около литра и помогли Доббсу со Скотти прикончить и их бутылку. А ведь Джимми в рот не брал спиртного, когда пришел в часть! Вот как армия сделала его мужчиной!

Солли танцевал с Селией, и она висела у него на руке, словно тоже прикладывалась к бутылке. Она уже в сотый раз спрашивала его, весело ли ему.

— Очень,— отвечал Солли,— а вам?

— О, я давно так не веселилась, но я, видите, тяжелая, так что мне уж лучше не усердствовать...

«Капитан Боб не теряет времени даром,— подумал Солли,— а малютка Селия откровенно афиширует их отношения».

Когда они с Червяком нанесли последний визит в уборную, Червяк заметил:

— Эти курочки, я бы сказал, ничего, только половина из них, оказы-

вается, уже тяжелые, и главное — сами без всякого стеснения об этом говорят.

— Что ж, друг, разные культуры, разные обычаи,— едва ворочая языком, ответил Солли.

В зале Солли подошел к Селии, и она сказала:

— Пожалуйста, проводите меня домой. Я тяжелая, честное слово!

— А как же капитан... то есть Боб?

— Он должен вернуться в лагерь, а это в другом направлении, но если вам неприятно...— Она явно обиделась: полные губки надулись, ротик стал совсем круглым. Солли смотрел на светлый пушок над ее губой и находил без всяких скидок, что она здесь самая хорошенькая, пожалуй, даже красивая; и австралийцы, и американцы увивались за ней весь вечер, но что до него, то она сама правильно сказала Памеле — ему не до романов, и к тому же она подружка Сэмюэлса, и к тому же, и к тому же...

Тапер продолжал раскалывать пианино на части и петь во все горло; пары медленно скользили в танце; в углу компания австралийцев затеяла комический «квартет парикмахеров».

— Проводите меня домой, сержант Сондерс,— повторила Селия.

Солли распростился с подвыпившими товарищами и отправился провожать ее домой. Когда они подошли к ее машине, она попросила его сесть за руль, и ему вдруг представилось, что все это уже было. Когда-то... Где-то... Девушка, машина, луна. Девушка села рядом... попросила его вести машину... Эта девушка нравилась его товарищу... Все это вдруг так отчетливо всплыло в памяти... У него всегда все получается в трех экземплярах, а может быть, даже в пяти или шести...

Они проехали через весь город, тихий и безлюдный в этот предутренний час. Машина неслась вдоль извилистой реки Бейнбридж, и тусклые городские огни зыбко поблескивали в сонной воде. Положив голову на плечо Солли, Селия говорила, что любит свой город, особенно ночью. Потом они переехали на другой берег по большому красивому мосту, и Селия стала рассказывать, что Бейнбридж был основан как колония для ссыльных. Солли слушал ее лишь краем уха. В мыслях он был с Фанни Мэй в Эббенсвилле. В памяти воскрес тот вечер, когда они ехали из Храма Пифии в День благодарения, миллион миллионов жизней назад...

Машина шла в гору, потом спустилась вниз и снова пошла с холма на холм, с холма на холм, а кругом были деревья, сросшиеся кронами, превращавшие улицы в зеленые тоннели, и крепкий душистый аромат растений пропитывал влажный утренний воздух. Наконец они подъехали к дому Селии, и Солли пошел проводить ее до крыльца. Она порылась в сумочке и дала ему ключ. Он отпер дверь и попрощался.

— Не хотите выпить стаканчик перед сном? — спросила Селия.

— Нет, спасибо. Надо встать пораньше, чтоб осмотреть ваш город. Ведь отпуск кончится и оглянуться не успеешь. Да и поздно уже, а вам, дорогая сестра Селия, завтра на работу.

— Как раз нет. Я свободна целую неделю и смогу вам показать наш край, наш Банановый город, а уж потом будете заканчивать осмотр сами. Хотя, быть может, у вас другие планы...

— Нет, что вы, очень хорошо, я зайду за вами утром.— Ему хотелось добавить: «Не забудьте, что вы в положении», но он лишь молча гротянул ей руку, а она припала к нему, обхватив его за шею, прижалась влажным ртом к его губам, и он поцеловал ее и пожелал ей спокойной ночи. Сама же она говорила, что он не склонен к романтическим увлечениям,— шутка ли, сколько он пережил за свою короткую молодую жизнь! Да и она, вероятно, тоже. И это крайне упрощало их отношения.

Глава 2

Целую неделю они провели вместе, любовались живописными, многоцветными, как радуга, окрестностями города, гористыми джунглями, пляжами кораллового цвета, осматривали Национальную художественную галерею, музей и обширную, очень красивую территорию университета, побывали в клубе для военнослужащих и в парке Маунт Бут, и в кино, и в порту, и на берегу пастельно-голубого залива. Солли всегда казалось, что выражение «чисто платонические отношения» звучит нестерпимо фальшиво. Тем не менее ему было хорошо с Селией: во время этих поездок они беседовали обо всем — начиная с коралловых рифов и кончая политикой,— и эта непринужденность была возможна лишь потому, что в их отношениях отсутствовали романтические полутона, и оба это понимали. Селия предупреждала всех женщин, с которыми они встречались:

— Не тратьте попусту свои чары на красавца Солли. Он решительно никем не интересуется.

Она знала, что, когда вечером они подъедут к ее дому, он крепко поцелует ее в губы, и кроме этого короткого поцелуя ни она, ни он ничего не ждали друг от друга.

В пятницу они поехали на весь день в Национальный музей, прихватив из дому завтрак, и Солли очень устал, и ему не хотелось идти на вечеринку, которую устраивала в его честь Селия. Она подвезла его на машине к дому своего брата.

— У вас такой усталый вид,— сказала она.— А мне, как медсестре, полагалось бы следить за вашим здоровьем. Может быть, отменим вечеринку?

— Ни в коем случае. Я чувствую себя прекрасно,— солгал он, хотя едва держался на ногах.— И вечеринка сегодня как нельзя кстати.— Ему в эти дни трудно было оставаться одному. Наедине с собой он мог только думать, думать, думать, и его бедная голова уже не выдерживала этого груза мыслей.

— Вот и хор'шоо, но обещайте мне кое-что... Во-первых, что вы не подпустите к себе близко Памелу, а во-вторых, что вы сейчас поспите и примете горячую ванну, а потом, перед вечеринкой, придете ко мне пообедать.

— Фейр динкум.

— Умница,— улыбнулась она.

Солли вошел к себе и повалился на постель, чувствуя неимоверную усталость во всем теле. Эта жгучая боль в груди, этот стук в висках — признаки преждевременной старости, думал он. По годам молодой, а телом развалина. У него шестимесячный ребенок, а он так чувствует себя, словно он не отец этого сиротки, которого знает только по фотографиям, а, скорее, его прадед... И он любит Фанни Мэй, любит, не может забыть, и будь, что будет, а он напишет ей письмо и попросит ее заменить его ребенку мать. И она ответит: «Да! Да! Да! Да!» И тогда он исцелится и всегда будет здоров. Солли улыбнулся, чувствуя, как тепло разливается у него по телу, словно, сильно прозябнув, он глотнул горячего кофе. Сейчас он встанет и напишет ей, встанет и напишет, встанет и напишет. Но он без сил, совсем без сил. Он напишет завтра.

Проснувшись, он сказал себе опять: «Напишу ей завтра». И, лежа в горячей ванне, стал сочинять в уме это письмо, и снова он был с Фанни Мэй, обнимал ее, и чувствовал, как она прижимается щекой к его щеке, и слышал ее голос. «Солли, мой дорогой!» — говорила она, и он отвечал: «Фанни Мэй, любимая!» Он вышел из ванны, растерся полотенцем, надел халат и унес свою волшебную мечту с собой в комнату. Он уже был

одет и собирался выйти на улицу, когда в прихожую выглянула Памела и сказала:

— Вам два письма.

Одно письмо было от мамы, а второе — от нее, от его любимой, от Фанни Мэй. Солли вернулся к себе в комнату и сначала прочел письмо матери. Она сообщала, что у малыша уже четыре зуба, что он — живая копия Солли и хитрый, как бес... К письму было приложено несколько любительских снимков — на одном малыш ревел, обиженный на весь свет. Затем Солли распечатал письмо Фанни Мэй. Руки его тряслись, радостный трепет теплыми ручейками заструился по всему телу. Но, прочитав обращение: «Дорогой Солли», он сунул письмо обратно в конверт. Он прочтет его потом, когда вернется с вечеринки. Почему-то он боялся прочесть его. Смешно! После всего, что он хлебнул в армии Соединенных Штатов, маленькое безобидное письмо любимого друга повергает его в страх! Он положил письмо на кровать и поглядел на него так, точно это была граната, которая, того и гляди, взорвется. Его бросило в жар, сердце стучало, он рассмеялся и заставил себя снова вынуть письмо из конверта.

Фанни Мэй сообщала, что она здорова и надеется, что он тоже. Она много передумала за это время и поняла, что глупо питать несбыточные надежды. Поэтому она стала встречаться с одним бывшим военным, раненным на европейском фронте и уволенным из армии с хорошей аттестацией по состоянию здоровья. Они оба преподают в одной школе.

Солли проговорил вслух, сам того не замечая:

— Я положу этому конец! Пошлю ей письмо сегодня, сейчас! Воздушной почтой, прямым самолетом, заказным! А еще лучше телеграмму!

Успокойся! Сделай вид, что не получал никакого письма, а только сообщи ей свои новости. Расскажи, что Милли умерла полгода назад и оставила сироту-мальчугана. А дальше будь что будет! Он еще раз прочел письмо Фанни Мэй, и, пока читал, в голове один за другим созревали различные планы. «Мы думаем обвенчаться в конце будущего месяца,— писала Фанни Мэй,— хотелось бы, чтобы мое письмо дошло до Вас вовремя. Жду поздравления!» Эти строчки Солли прочитал снова, и снова, и снова. Так вот чего стоит ее любовь! Клялась любить вечно, что бы ни случилось! Вот какова ее великая к нему любовь — выходит замуж за другого! А что, если телеграфировать ей, что он свободен, откажет она жениху? Возможно. А возможно и нет. Возможно, что твоя драгоценная Фанни Мэй — пустая, ветреная кокетка. Нет, это неправда! Он понимал, что это неправда: она самая замечательная девушка на свете! А выходит за другого, потому что думает, что он любит другую и не может принадлежать ей. И он пошлет ей сердечные поздравления и пожелает вечного счастья...

Обычно, когда Солли начинали душить слезы, он боролся с ними изо всех сил. Теперь же, наоборот, ему хотелось открыть все шлюзы и потонуть в слезах, и он бессильно опустился на кровать, стараясь выжать их из глаз. Но слез не было. Убитый горем, он оцепенел, словно после хорошей дозы наркотика.

■

Вечеринка оказалась по сути дела пьянкой. Каждый гость принес с собой «горючее». Пришел брат Селии Стив с женой Бетти, и Памела, и капитан Сэмюэлс, и кривоногий Хэнк Доббс в военных шортах, и Мэгги Саттон, и еще несколько человек, чьих имен Солли не запомнил. Все пили, как заправские алкоголики, с какой-то мрачной решимостью веселиться, а там хоть трын-трава... Что представляют собой эти люди?

Солли пил коньяк с Селией за обедом и поэтому имел фору перед «диггерами» *, и «шейлами» **, и перед капитаном Бобом.

Селия поставила гостям условий:

— Не спорить о политике, не говорить о войне, не уединяться парами и не изливать душу. Все остальное — пожалуйста. Пейте и пейте в свое удовольствие. В любви и на войне позволено все.

— Динки дай, фейр динкум! — одобрил Солли.

Минут через сорок, когда уже было выпито по меньшей мере сто рюмок, Доббс спросил Солли:

— Как дела в вашей партии?

— В какой партии? Я сегодня развлекаюсь.

— В коммунистической. Нам не нравится это ваше «после победы»... Может, для Соединенных Штатов это подходит, а для нас — нет. Мы хотим иметь социализм не позже, чем через пять лет после войны.

Солли уже был основательно во хмелю.

— То есть через пять лет после того, как рак свистнет! — Алкоголь обычно делал его мягким и податливым, но сегодня он был настроен необыкновенно воинственно.

— Держу пари, что в вашей стране будет фашизм,— сказал Стив.— Вот что ждет ваши Соединенные Штаты. А Браудер *** — идиот!

— Повежливее, брат! — предупредила Селия.

Солли не хотелось спорить о политике с этими людьми, не хотелось вступать в драку. Он пришел повеселиться, развлечься. Выбросить из головы мучившие его вопросы.

— Я не коммунист и не сочувствующий,— с горячностью вмешался Сэмюэлс,— но Браудер не дурак. После войны в США будет развиваться прогрессивный капитализм. Мы — страна высокой индустрии и самая богатая на свете, и наши капиталисты в состоянии обеспечить рабочему классу самый высокий жизненный уровень.

— А неграм своим что вы в состоянии обеспечить? — спросил Доббс.— Мне бы, черт побери, очень хотелось это знать.

Солли тяжело вздохнул. В этом мире белых каждый считает себя специалистом по негритянскому вопросу...

— Да, как насчет негров? — подхватила Мэгги Саттон.— Тут уж вам придется сбавить ваш высокомерный тон! — Мэгги была очень светлая блондинка. Белокурые волосы развевались вокруг очень белого лица, глаза у нее были зеленовато-голубые, как Коралловое море, а ресницы совсем светлые, как волосы. Она тоже была уже основательно под хмельком.

«Хоть бы поговорили о чем-нибудь другом!» — думал Солли, боясь, что сейчас разгорится спор. А ему все это смертельно надоело. Он сказал:

— Меня никто ничем не будет обеспечивать.— Язык ворочался тяжело, как мешок с камнями.— Я сам возьму, что мне нужно. А теперь переменим тему. Ладно?

— Ладно,— согласился Стив.

Хэнк Доббс сказал:

— Это ты правильно говоришь, друг.

— Ну и хватит об этом,— сказал Солли.— Ведь мы же, кажется, собрались повеселиться.

---

* Так в Австралии называют австралийцев и новозеландцев. Буквально «digger»— рудокоп.

** Девушка *(австрал. просторечие)*.

*** Эрл Браудер в 40-х годах был секретарем Коммунистической партии США, позднее стал ренегатом. Занимал оппортунистическую позицию в вопросе перспектив развития капитализма.

— А все вопросы согласуем, когда вернемся домой. Верно, Солли? — сказал Сэмюэлс.

Солли хотелось выпить и забыться. Патефон играл «Бумажную куклу»... А Фанни Мэй, видно, практичная особа. Да и с какой стати должна она его ждать? Что он за птица такая?

— Ну и люди же вы! — сказал Стив Сэмюэлсу.— Носитесь с вашим белым превосходством. Чванные дьяволы! И здесь хотите навязать свою гнилую политику вашим союзникам.

— Выметите прежде собственный сор,— ответил заплетающимся языком Сэмюэлс.— Мы у себя тоже почистим после войны, верно я говорю, Солли? — Он быстро пьянел, очень, очень быстро.

Стив рассказывал:

— Месяца три назад ко мне явился один американский полковник и говорит: «Я слышал, вы сдаете комнаты черномазым, которые здесь в отпуску. Мы у себя в Штатах с ними не общаемся. Они все насильники». Я сказал ему, что он не у себя в Штатах, и выгнал его, а он за это уже раз пять устраивал у нас в доме облаву, как в доме терпимости. Вот вам ваш вонючий прогрессивный капитализм. Идите вы с ним знаете куда...

А Солли думал: «Оставили бы они наконец в покое Негритянский Вопрос!»

— Да здравствуют мятежники! За республику! — провозгласил Доббс, опрокидывая в рот большую рюмку виски. Этот парень мог выпить хоть целый галлон — язык у него не заплетался.

— А как насчет вашей «Белой книги» *? — спросил Сэмюэлс.— Как насчет ваших чернокожих туземцев?

— То был не расовый, а исключительно рабочий вопрос,— сказал Доббс.

— Я имею в виду не лично вас, старина, так что не обижайтесь,— сказал Стив Сэмюэлсу,— вы мне нравитесь и Селии тоже, но обычно белые янки заносчивы, как нацисты. Вы-то иной человек, но почти все американцы ведут себя так, словно Соединенные Штаты уже оккупировали Австралию. И если бы я был американским негром, я бы вас послал ко всем чертям. Вы только не обижайтесь, пожалуйста!

Солли обхватил голову руками. Он сидел как на иголках. Вокруг него бушевала гроза, в желудке рвались гранаты, бомбы раскалывали мозг. Какого дьявола он здесь? Хотелось крикнуть: «Помогите, помогите! Меня окружили белые! Сюда, спасите скорее! Фанни Мэй, Джимми, Скотти! Кто-нибудь!» Хотелось встать во весь рост и сказать им: «Замолчите все! Вы — белые! Все вы, сукины дети, виноваты!»

Подошла Селия, опустилась на пол у его ног и заглянула ему в лицо.

— Что с вами, Солли? Вы уже затяжелели, а веселье еще только начинается!

Он поглядел сверху вниз на ее круглый рот, на капельки пота в светлом пушке над губой — словно утренняя роса на лепестке алой розы, увидел ее глаза, полные нежности и участия.

— Как это я затяжелел? — И вдруг он догадался, что́ имели в виду девушки в «Южном Кресте», когда говорили, что они «тяжелые». Этак и он тоже «тяжелый»... Он так громко расхохотался, что все умолкли и поглядели на него, а он подумал: «Надо это рассказать Червяку, чтоб он не думал, что в Австралии все женщины вечно беременны... Они не больше беременны, чем я...»

---

* «Белая книга» — официальный отчет правительства о положении в стране (обычно в белом переплете).

Он встал, поднял на ноги Селию и пошел с ней танцевать. Он чувствовал, что Сэмюэлс не сводит с него глаз. Селия прижималась к нему, висла на его руке. Когда пластинка кончилась, она пошла поставить другую, а Солли налил себе виски и опустился в кресло.

— Вы правы,— говорил Сэмюэлс своим собеседникам,— но после войны каждый порядочный белый будет считать своим долгом добиваться того, чтобы негры были вовлечены в основные сферы общественной жизни Америки.

А Солли, чтобы не слышать его, говорил нарочито громко:

— Бейнбридж — красивый город, великолепный город. Но мне хочется повидать и Сидней.

— Ваша страна со своим буржуазным ханжеством вечно разводит демагогию по поводу свободы, демократии и братства,— спорил с Сэмюэлсом Стив,— между тем, трудно даже вообразить, какие вы шизофреники... нация кровожадных шизофреников. Посмотрите, как вы обращаетесь с вашими неграми...

— Друзья, это же вечеринка, а не митинг! — сердито крикнула Селия.

— Что вы им рот затыкаете? — сказал ей Солли.— Значит, для них это самое важное!

— Я понимаю, старина, что тебе неприятно нас слушать,— сочувственно сказал Доббс Солли,— но мы ведь...

Сэмюэлс продолжал развивать свою мысль, не слушая других:

— ...таков наш долг перед негритянским народом. Из всех американцев негры оказались самыми преданными.— Он ласково поглядел на Солли.— Вас слишком долго держали за дверью и не пускали в дом, как пасынка, который только издали видит тепло и изобилие.

Это было уже слишком. Солли медленно поднялся на ноги. В голове все шло кругом, в желудке тоже.

— Позвольте вас покинуть, друзья,— негромко сказал он.— Я устал и хочу спать, и, признаться, мне с вами надоело. Но прежде чем уйти, я должен вам кое-что сказать. Капитан Боб, мне не надо ни вашего изобилия, ни вашего дома. Может, в вашем доме полно шлюх и сводников, почем я знаю? А может, это сумасшедший дом, дом психопатов — это тоже мне ни к чему! А ты, Доббси, никогда не поймешь, что я чувствую: ты ведь не похож на черную обезьяну...— Он говорил спокойно, хотя все в нем кипело.— Что же касается вас, капитан Боб, то я вижу, какой вы великий борец за лучшую жизнь для негритянского народа. Я помню, как вы смертельно напугали одного полковника военной полиции в Эббенсвилле. Ух, какой же вы были свирепый, прямо тигр лютый! И вы отлично знаете, что много я на вас не поставлю. Я лучше поставлю на громадное цветное *меньшинство,* которое составляет всего только три четверти населения земного шара. Да, на это я ставлю! И еще хочу вам сказать, капитан Боб, по поводу преданности. Преданность раба всегда подозрительна, если он, разумеется, не круглый идиот!

Сэмюэлс сидел красный, как рак, и молчал. Зато Стив воскликнул с горячностью:

— Ты не социалист! У тебя взгляды самого настоящего националиста. Ты против белых, и ты реакционер!

— Очень хорошо, спасибо! — сказал Солли, направляясь к двери, но комната вдруг поплыла перед ним, и он должен был схватиться за что-нибудь, чтобы не упасть. А стены кружились все быстрее, и быстрее, и быстрее, и потолок стал валиться ему на голову. Солли поспешно ухватился за спинку стула, но тот коварно выскользнул из-под его руки, и он стал падать, падать...

Мужчины перенесли его на другой конец комнаты и уложили на тахту.

— Ничего, не беспокойтесь, не беспокойтесь,— бормотал Солли,— ничего, все в порядке!

Селия укрыла его одеялом.

Еще с час, наверно, гости пили виски и толковали о войне, и о том, как будет после войны, и о неграх, и о рабочем движении, и один говорил: «Прочитайте вашу «Белую книгу», посмотрите на положение ваших туземцев!», а другой советовал полюбоваться на генерала Бафорда Джека, чей штаб находился в Бейнбридже на Аделайн-стрит...

Наконец гости разошлись, остался только Сэмюэлс. Он обнял Селию и увлек ее в угол, но она сказала:

— Я не могу, Боб, я совсем затяжелела, честное слово! — И отстранилась от него. Впрочем, она отнюдь не казалась усталой, а, скорее, наоборот очень бодрой и оживленной.

Сэмюэлс поглядел на Солли, уснувшего на тахте.

— Помоги мне привести его в чувство, и я отвезу его домой на своем «виллисе».

— Не надо, Боб, пусть он выспится. Зачем его тревожить?

Сэмюэлс сел и уставился в пол. Он понимал, что ведет себя глупо: надо подняться и уйти.

— Ты ж его друг. Неужели ты ревнуешь? — сказала Селия.— А помнишь, при нашем знакомстве ты мне прежде всего поспешил сообщить, что у тебя в Штатах прелестная любящая жена и милые, обожаемые детки. «Моя любимая жена Кора. Моя дорогая, любимая Кора»...

Сэмюэлс молчал.

— Может быть, ты не лучше тех, кого он называет кракерами. Может, только сверху ты сладкий, а сердцевина у тебя горькая. Правда, *он* считает тебя другим. Он хоть и наговорил тебе бог знает чего, но он считает тебя другим.

Сэмюэлс посмотрел на нее и покачал головой.

— Селия, не говори так! Может, я во многом виноват, может, я и ревнив, но я не кракер из Миссисипи!

Но она его не слушала.

— И он теперь свободен от семейных уз, чего нельзя сказать о тебе! Тебя я тоже люблю,— продолжала она,— ты это знаешь, но за него я готова жизнь отдать. А он об этом и не догадывается. А может, и догадывается, только ему это все равно. Поэтому, Боб, оставайся каким ты был хорошим человеком и не веди себя как кракер.

— Ты уже говоришь его языком! — сказал Сэмюэлс.

Но он понимал, что Селия говорит правду. Он ревновал ее, хотя и сам хорошо относился к своему ротному писарю. Она предпочла красивого черного дьявола, который спит здесь на тахте, ему — *ему*, капитану Роберту Сэмюэлсу, свободному, белому, офицеру американской армии. Поди разберись тут! Такая умная, красивая, тонкая, глубокая... Его руки опустились на плечи Селии. Она протянула к нему ладони, нежно погладила его расстроенное лицо и отстранилась.

— Спокойной ночи, милый друг! — Ее голос звучал тепло, и красивые глаза светились нежностью и глубоким сочувствием.

— Спокойной ночи,— хрипло ответил Сэмюэлс.

Проводив его, Селия подошла к тахте. Поглядела на спящего Солли и покачала головой. С полуоткрытым ртом и свесившейся к полу рукой, он казался кротким и очень беззащитным. Она опустилась на колени и провела пальцем по его губам. Потом коснулась их губами и легла с ним рядом. Солли во сне обнял ее, прижался к ней всем своим мускулистым телом, но так и не проснулся.

■

Солли вскочил, протер глаза, удивленно поглядел на Селию и все вспомнил. А ей казалось, что она еще разговаривает со спящим:

— Скажи, ты можешь меня полюбить?

— Обещай мне...— сонно проговорил Солли.

Она прижалась к нему, обвила его шею руками.

— Обещаю все, чего бы ты ни пожелал.

— Обещай, что больше никогда не будешь говорить о любви.

— Обещаю, Солли.

Они встали, умылись, оделись и сели за стол. За чаем она сказала:

— Ты меня ненавидишь за то, что я белая. Я тебя не смею винить, но это же так несправедливо!

Он глянул на нее с горькой усмешкой.

— Прежде всего, несправедливо говорить, что я тебя ненавижу: это неправда. Но, по существу, ни один белый не смеет требовать от цветного справедливости. Кто к кому несправедлив, скажи? Кто был несправедлив к моей матери и к ее матери, к моему отцу и к его отцу, кто будет несправедлив к моему сыну и его детям? Справедливость! Это слово должно камнем застрять у белых в горле. Я не жду от них справедливости к Солли Сондерсу. Столь ложных иллюзий я не питаю.

Она потянулась через стол и пожала ему руку:

— Солли, я...

Но он сердито мотнул головой.

— Справедливость, детка, одно из самых пустых, бессмысленных слов в словаре, уверяю тебя. Рай, выдуманный идиотами для идиотов и пустых мечтателей...

— Но я чувствую твою неприязнь.— Она закрыла глаза и покачала головой.— Нет, не может быть! Зачем я это говорю? Ведь знаю же, что этого нет!

— Селия, дорогая, ты мне не только нравишься, я тебя очень уважаю. Ты чуткий, прекрасный человек, ты — сама доброта. Как знать, в другое время мы могли бы стать Ромео и Джульеттой. Но сейчас и время не то, и место не то, и я, покончив все счеты с любовью, только начинаю приходить в себя. Так что прошу тебя, любви от меня не жди. Ты мне слишком дорога, чтоб я мог притворяться. Уж раз так вышло, будем довольствоваться тем, что есть, а если это невозможно,— голос его стал тверд,— тогда покончим с этим сразу. Забудем.

— Хорошо, больше ни слова о любви,— вздохнула она,— пока ты сам не заговоришь о ней.— Она протянула ему через стол руку, и он крепко ее сжал. Он испытывал нежность к ней в эту минуту.

— Динки дай?

— Фейр динкум,— подтвердила она, сияя улыбкой.

■

Солли совершал ежедневные поездки по Банановому городу то на трамвае, то на автобусе. Несколько дней он не виделся с Селией и скучал по ней, явно скучал и был, пожалуй, рад этому. А Фанни Мэй он так и не ответил. Будь что будет! Наконец как-то вечером Селия сама зашла к брату и пригласила Солли покататься по городу. Солли сел за баранку, и они поехали. По дороге они пытались зайти то в одно, то в другое кафе, но всюду стояла американская военная полиция, и им говорили, что американским солдатам вход воспрещен. Одним из таких запретных мест оказалось довольно скромное кабаре за рекой в Южном Бейнбридже; когда Солли и Селия уже садились в машину, к кабаре подошла компания сильно подвыпивших янки; они, весело галдя, ввалились в

дверь на глазах у дежуривших там полицейских, а те лишь улыбнулись своим пьяным соотечественникам.

— Видишь: вход сразу стал свободен,— сказал Солли.— Вот мораль янки. Вот он, американский образ жизни... Эта сцена столь же типична, как сосиски на Кони-Айленде, как ку-клукс-клан в Миссисипи. Как дух Юджина Толмейджа. Вот за что мы воюем и умираем!

Селия положила голову ему на плечо. Его ожесточенность порой пугала ее.

— После войны, милый, все переменится. Вот увидишь.

Он повернулся и посмотрел на нее, как на чужую. И вдруг расхохотался — резко, оглушительно расхохотался, неудержимо, словно гейзер вдруг ударил из-под земли.

Она испугалась:

— Солли!

— После войны, милый, все переменится. Вот увидишь!— передразнил он ее, продолжая хохотать.

Один из полицейских — кривоногий, среднего роста — подошел к машине. У него было голубоглазое и довольно симпатичное лицо. Похоже, янки со Среднего Запада — видимо, фермер из Миннесоты или Небраски.

— В чем дело, малый?— спросил он добродушно.

Солли сделал серьезную мину.

— Да ничего,— ответил он, давясь смехом.

— У вас все в порядке, мисс?— участливо спросил полицейский Селию.

— Что за вопрос? Конечно!— возмущенно ответила Селия.

— В таком случае бросай ржать, малый, и валяй отсюда, да поживее! Недаром вашего брата не пускают в такие места. Не умеете себя вести.

Солли опять рассмеялся, негромко, спокойно.

— Слушаюсь, хозяин! Вы, янки, великие чудилы! Первые психопаты на свете!— Мотор взревел, машина тронулась. Полицейский стоял, глядя ей вслед.

■

Через несколько дней Сэмюэлс приехал в город и пригласил Солли пообедать с ним. Они сидели в маленьком тихом ресторанчике, недалеко от дома, в котором жил Солли, и поглядывали друг на друга.

Им подали бифштекс, яйца и кофе. Сэмюэлс сказал:

— Догуливаете последние денечки, скоро опять к нам...

— Просто дождаться не могу!— иронически сказал Солли. Он встал, подошел к радиоле, опустил монетку. Прозвучали первые аккорды «Бумажной куклы». В честь его любимой в Эббенсвилле.

Солли вернулся к столику.

— Из всех модных песенок,— сказал он,— эта — моя любимая.

— Мне хотелось поговорить с вами о вашей военной карьере,— сказал Сэмюэлс.

— У меня одно желание, если, конечно, Дядя Сэм не сочтет его слишком дерзким: вернуться на «гражданку».

Украду я куклу в Эббенсвилле...
У воина с «Пурпурным сердцем».

— У вас есть две возможности: первая — это поступить в офицерское училище здесь, в Бейнбридже, по окончании которого вы получите назначение обратно к нам. Можно с уверенностью сказать, что мы здесь простоим всю войну. Нам так намяли бока японцы, что уже пулю всадить некуда.

— А вторая возможность?

— Вторая — это демобилизоваться по состоянию здоровья. Если очень постараться, это можно устроить. Тогда получите возможность уехать домой и забыть про все...

— Чего же мы ждем? Назначайте прощальный бал!— сказал Солли дрогнувшим голосом.

Сэмюэлс пристально посмотрел на него.

— До прощального бала еще месяц, не меньше — учтите бюрократическую волокиту. А в офицерском училище вы можете быть уже через неделю.

У воина с «Пурпурным сердцем».

— Ну, мне не к спеху!

Сэмюэлс изложил ему все «за» и «против». По новым правилам демобилизации, если он пойдет в училище, то хотя и попадет домой позже на семь-восемь месяцев, зато уже в чине офицера, а это значит и денежное пособие при увольнении больше, и почета больше, и того больше, и этого...

— Знаете, у меня уши вянут это слушать,— сказал Солли.— Ничего я не хочу, только бы меня отпустили!

Сэмюэлс покачал головой:

— Если вы так злы на Америку, чего же вы рветесь туда?

Солли рассмеялся.

— У меня большие надежды и, между прочим, сынишка, которого я еще не видел.— Мысли крутились в голове, как пропеллеры на П-38. Домой, домой... Фанни Мэй... Домой, домой... Фанни Мэй...

— По-моему, вы совершите ошибку,— сказал Сэмюэлс.

А другой голос уже нашептывал Солли: «Верь рассудку, не полагайся на чувства! Почему не стать офицером? Что для тебя лишних шесть— семь месяцев? Особенно в Австралии — здесь живется легко. Война далеко. Твой сын в надежных руках, мама его не обидит. Если ты намерен вечно носиться со своей черной кожей, какого же черта было учиться в колледже? Используй свой ум, образование, характер, и к дьяволу эти дурацкие эмоции. Вот типичная беда всех цветных, даже образованных... А тут и жалованья побольше, и престиж выше, и офицерская квартира, и ты, как офицер, сможешь больше сделать для товарищей, и дома лучше устроишься, и малыша лучше обеспечишь... Пересидишь тут несколько месяцев, зато получишь немножко денег, чтоб начать новую жизнь...»

— Я должен подумать,— пробурчал он сердито.

— Солдаты нашей роты будут счастливы видеть вас своим командиром и я тоже,— сказал Сэмюэлс.

Солли подумал о Фанни Мэй и вдруг почувствовал, что стареет с каждой секундой и времени осталось в обрез... и ну ее к богу — военную службу... Он вспомнил залитый кровью берег и смытые в море десанты. Нет, он должен вернуться домой, домой... Века, тысячелетия оставили ему лишь полсекунды, он должен их прожить... И все-таки надо еще раз взвесить все преимущества возвращения в Соединенные Штаты офицером. Он должен подумать о будущем — и своем, и сына. Фанни — это, может быть, только далекая мечта. Она обещала свою руку другому. А Селия здесь, рядом, и готова на все. Какого же черта так спешить и зачем? Чтобы занять одно из последних мест в Америке?

Сэмюэлс не спускал с него глаз.

— Как поживает Селия?— спросил он.

— Она прекрасна, как искристое вино. Так когда мы начнем хлопотать о демобилизации? — Времени в обрез, времени в обрез... Состаришься и ничего не успеешь сделать. Ему вдруг ужасно захотелось увидеть сынишку, и тоска тяжелым комом легла на сердце. Скорее повидать своего сына, сделать его человеком...

— Можно хоть завтра с утра,— сказал Сэмюэлс. Он покраснел и перевел взгляд на скатерть.— А как отнесется к этой новости Селия?

— Как наши ребята?— не отвечая, спросил Солли.— Сохраняете вы их высокий боевой дух?

Капитан насупился.

— Где там! Хуже быть не может, но я знаю, что моей вины тут нет. Эти расисты, засевшие в армии, превращают Бейнбридж в Джорджию.

Солли саркастически усмехнулся.

— Послушать вас, господин капитан, так можно подумать, что это говорит негр, *член нашего клуба.* Вас надо бы перевести в другое место, и чем скорее, тем лучше. Военная служба сделала вас слишком нервным.

— Я уже всюду заявлял протест — и в штабе базы, и в дивизии, и в корпусе, был даже на Аделайн-стрит, но всзде на меня смотрят, как на сумасшедшего.

— А вы действительно сумасшедший, если воображаете, что вам удастся что-то изменить в этой расистской армии. Ваша беда, что вы всегда хотели быть одновременно и офицером и негром, а это собачья чушь. Вот потому-то я и хочу демобилизоваться...

Сэмюэлс сказал:

— Сидят на куче динамита и ухом не ведут, а ведь он может взорваться в любую минуту...

Солли поднялся и подозвал официанта.

— Это ваша забота, дружище,— сказал он Сэмюэлсу.— Мне это даже неинтересно слушать. Пойдемте-ка лучше в какой-нибудь бар, спрыснем предстоящее торжественное событие. Хочу, чтоб вы усладили мой слух различными подробностями касательно моего отъезда. Доставьте мне такое удовольствие, а потом я пойду в свою одинокую комнатушку и напишу одной особе, чтобы она ждала меня, а не сидела с другим под яблоней. А вы с вашими негритянскими проблемами — идите вы к богу в рай!

Но, простившись с Сэмюэлсом, он не пошел в свою комнатушку. Он отправился на почту и послал телеграмму в далекий Эббенсвилль одной ветреной кукле, которую он должен украсть.

Глава 3

Волокита, формализм, бюрократизм. Вернувшись в часть, Солли первую неделю почти все свое драгоценное время провел либо на медосмотрах, либо в различных канцеляриях, либо подписывая какие-то бумаги и дожидаясь у разных дверей. Сэмюэлс был прав, говоря, что пройдет не меньше месяца, пока он наконец сядет на корабль, отплывающий на другой конец земли — в Штаты, где тыловые патриоты, неизменно сохраняя боевой дух, считают продовольственные талоны, не жалеют жертв, стоят в очереди за сигаретами и провозглашают: «Война до победного конца!» Пока суд да дело, Сэмюэлс добился для Солли производства в старшие сержанты и назначил командиром 25-го десантного взвода на срок его пребывания в части. Сэмюэлс был действительно Большой Белый Друг, верный и испытанный.

А тем временем отношения между белыми и цветными янки в Банановом городе и на всем восточном побережье Австралии резко обострились.

Негритянские солдаты каждый вечер отправлялись в город и старались попасть в самые фешенебельные места с единственной целью — пошуметь и поскандалить. Известное дело — заядлые дебоширы! Сами напрашивались на неприятности и обычно добивались своего. Как только военные полицейские выбрасывали их из одного заведения, они

шли в другое. В лагере «Уортингтон фармс» на окраине Северного Бейнбриджа находилось около трех тысяч израненных в боях и кое-как залатанных и заштопанных негритянских солдат, и каждый вечер не меньше половины их устремлялось на другой берег, в Южный Бейнбридж, хотя почти весь он был объявлен для них запретной зоной. И каждую ночь двадцать пять — тридцать негров заканчивали гулянье в военной тюрьме на Джонс-стрит — самой знаменитой тюрьме в Австралии. Во всех тюрьмах страны, вместе взятых, не раскраивали за ночь столько черепов, как в этой. И тюремщики с Джонс-стрит зверствовали вовсю, дабы не ударить лицом в грязь.

Впрочем, не все в Бейнбридже было закрыто для негров. Австралийцы радушно принимали их в «Южном Кресте», в клубе военнослужащих, в барах «Жирная ложка», «Ушат крови» и некоторых других, поскромнее.

Но вскоре даже в «Южном Кресте» стали не так уж им рады — еще одно доказательство, не правда ли? Каждый вечер там происходили скандалы, а частенько доходило и до драк между белыми и черными янки — чаще всего из-за того, кто будет танцевать с местными красотками, ухаживать за ними и провожать их домой. В конце концов штаб дивизии издал приказ, запрещающий всем американским солдатам, независимо от расы, цвета кожи, религии и боевых заслуг, посещать «Южный Крест». Это уже было последнее предупреждение неграм.

Глава 4

Сегодня не следует ехать в город, говорил себе Джимми. Он знал, что сегодня лучше не ехать. Понимал это в глубине души и все же помылся, побрился и взял увольнительную, как и все остальные.

— Побудем сегодня дома,— сказал он, стоя возле своей койки на втором этаже временной казармы и завязывая черный галстук. Червяк сидел рядом, на своей, и так наяривал щеткой башмаки, что его широкая физиономия отражалась в них, как в зеркале.— Сходим лучше в кино здесь, в лагере.

Червяк поднял голову.

— Кому, к черту, интересно смотреть «В комнате Мейбл»? Нет уж, поедем в город, развлечемся малость. Меня больше интересует комната Мэгги. Если она придет сегодня в «Крест», я ее не выпущу. Это как пить дать.

Джимми ощущал нервные спазмы под ложечкой. Весь 25-й взвод считал, что надо ехать в город и именно в «Южный Крест», коль скоро начальство это запретило. Хотя многие, как и Джимми, побаивались. Но он тоже понимал, что ехать надо. Они солдаты и побывали на войне, у них на глазах люди гибли, как мухи, как комары, как тараканы; их лучшие товарищи умерли у них на руках; они воевали, истекали кровью, и каждый из них, уцелев каким-то чудом, заработал себе «Пурпурное сердце». Они — дешевый товар, песок на островах, на островах, где каждый из них столько раз умирал и воскресал из мертвых... Они должны показать, что знают себе цену. Сейчас самое время...

— Но почему надо непременно в «Крест»? — воинственно спросил Джимми. Он был старшим во взводе после Солли.

Червяк встал, критически оглядел свои блестящие башмаки, потом перевел взгляд на Джимми.

— Потому что по субботам туда приходит Мэгги, да и ты обещал своей девчонке встретиться там.

— Можно позвонить им и назначить другое место встречи.

— Какое?

— Какое угодно.

— У Мэгги нет телефона, и скажи, где еще так весело, как в «Южном Кресте»? Где, скажи?

Для солдат 25-го не было ничего лучше «Креста».

— И раз начальство запретило, мы тем более должны туда поехать,— сказал Червяк.— Это главное. Черт, мы же не на Миссисипи!

— Только нарвемся на скандал,— заключил Джимми.

Все солдаты уже собрались и с нетерпением ждали Джимми и Тейлора. Несколько человек поднялись наверх и подошли к спорившим. Тихоня Ларкер умел незаметно влиять на товарищей, умел заставить их прислушаться к себе, но это удавалось лишь тогда, когда он был уверен в своей правоте. Сейчас такой уверенности у него не было.

— Нам разрешили взять пять «джипов»,— сказал Червяк.— Что с тобой? Моча в голову ударила, как только тебе дали четыре нашивки и сделали канцеляристом? Посмотри на Солли, тот не зевает, а ведь он же у нас старшой!

Джимми ответил тихо, но решительно:

— Это к делу не относится, ты знаешь прекрасно. Я считаю: не надо ехать, потому что будет беда. Сами нарываемся...

— Так ты идешь или остаешься? — спросил Червяк.

— Не думай, что ты самый храбрый,— сказал ему Джимми.— Но будь мы хоть трижды правы, нам не перекроить на свой лад армию Соединенных Штатов.

— Пропуска получены,— сказал Червяк,— что ж, ты воспользуешься своей властью и разорвешь их?

Джимми слышал, как кто-то пробурчал:

— Струсил!

А еще кто-то добавил:

— Все они такие, образованные!

— Ну как, ты с нами или против нас? — наступал Червяк.

— Пошел ты к свиньям! — сказал Джимми, снимая с гвоздя пилотку.

На пяти «джипах» они отправились в город, шли колонной, сделали короткую остановку у винной лавки, оттуда поехали в «Южный Крест».

Скотти, Червяк и Тихоня первыми вышли из машин, чтобы переговорить с Доббсом и мисс Дафной Уокер, администратором «Креста». Главным парламентером был Тихоня. Мисс Уокер ввела их в свой крошечный кабинет. Джимми сказал, что военные власти запретили всем солдатам, независимо от расы, цвета кожи, религии и боевых заслуг, посещать «Крест», о чем он и считает необходимым поставить в известность и ее, и Доббса.

— Мы этот приказ читали,— невозмутимо заметил Доббс.

Парламентеры переглянулись, потом посмотрели на Доббса и на сухую, подтянутую мисс Уокер.

— Да, ребята,— кивнула им Дафна Уокер,— нам это известно.— Дафна была женщина средних лет, с симпатичным лицом. Ее волосы, когда-то черные, как вороново крыло, уже посеребрила проседь.

— Мы не хотели бы причинять вам неприятности,— сказал Джимми. Тейлор и Скотти молчали.

Доббс уже начинал сердиться.

— Пока еще, я надеюсь, в Австралии мы хозяева. И это наш клуб, и нам плевать на их приказы. Вы, товарищи,— другое дело. Если вас накроют, вам здорово влетит.

Солдаты посмотрели на мисс Уокер. В ее голубых глазах, в мягких, но решительных чертах ее немолодого простоватого лица угадывалась внутренняя сила. Она тихо сказала:

— Мы всегда рады вам. Вы для нас — как родные. Надеюсь, что у вас тоже такое чувство. Все вы...

— Но и вам может достаться от военной полиции,— настаивал Джимми. Пожалуй, он был бы рад, если бы они их не впустили.

— Нам не указ ваша чертова полиция...— гордо заявил Доббс.— Ох, Дафна, виноват! Если они явятся и поднимут шум, мы их пошлем к чертям собачьим. Ох! Простите, Дафна!

Они стояли на пороге кабинета, крошечного, как телефонная будка. В зале гремело пианино, слышалось шарканье ног. Дафна Уокер улыбнулась, как всегда, сдержанно, с присущим ей скромным достоинством:

— Можете считать наш клуб своим домом, когда бываете в городе. Надеюсь, вы верите, что я говорю это вполне искренне? Ваши власти и военная полиция нам не указ. Мы своего мнения о цветных янки не изменим.— Теперь лицо ее стало серьезно.— Мы с вами сжились, хорошо вас узнали, и никакая пропаганда не поколеблет нашего доверия к вам.

Джимми уловил гневные нотки в голосе мисс Уокер. Он сказал «Спасибо», и она скрылась в своем кабинетике, а Доббс повел гостей через зал, лавируя среди танцующих.

Веселье было в самом разгаре. Верзила Дэнни колотил по клавишам толстыми пальцами и, заглушая фортепьяно, горланил австралийскую народную песню. Все танцевали, и все цветные янки из «Уортингтон фармс» чувствовали себя как дома. К полуночи «Крест» был уже битком набит — такого столпотворения там еще не бывало: «диггеры», цветные янки и полным-полно женщин — блондинок и брюнеток, рыжих и всех промежуточных мастей, дородных и тощих, как палки, «обтекаемых» и таких пышных, словно для них и не существовало лишений военного времени. Танцевать было очень тесно — о фигурных танцах и думать не приходилось. Однако Червяк, как всегда, облюбовал себе уголок и отплясывал со своей подружкой Мэгги, позабыв все на свете. Мэгги была рыженькая, вертлявая, вся в веснушках и австралийка с головы до ног, но была ему пара под стать, точно выросла в «Савойе» в Гарлеме.

Джимми тоже танцевал почти весь вечер. Его приятельница Дебби была скромная симпатичная девушка. Ему было с ней хорошо. Они познакомились давно, когда он впервые зашел в «Крест»; теперь он уже побывал у нее дома, представился родителям и несколько раз приглашал ее в кино и на танцы. Джимми слыл самым застенчивым парнем у себя в городе, на той улице, где он жил. Великая война сделала его посмелее. Но девушкам нравилась его скромность.

Дебби посмотрела на него, и он улыбнулся, но глаза его были задумчивы. Она спросила:

— Что с тобой?

— Да ничего. Я, как видишь, веселюсь.

— Ты сегодня какой-то отсутствующий. Будто за миллион миль отсюда.

Но он только крепче обхватил ее за талию и прижал к себе.

— Это тебе все кажется,— сказал он со смехом.

Но в животе у него неприятно холодело. «Не надо было ехать сюда, беды не миновать!» Джимми был из тех парней, которые всегда обходят драку за десять кварталов. «После войны, быть может, и надо будет заняться этими вопросами,— думал он,— но не теперь, по-моему. Пожалуй, Солли и Червяк неправы со своей борьбой на два фронта... Неправы, нет. Кстати, куда, к черту, запропастился Солли Сондерс?»

Дэнни выбивал американский буги-вуги в ритме австралийского танца, в зале негде было повернуться, и Джимми казалось, что пол прогибается под тяжестью ног. Все смеялись, болтали, танцевали,— словом, веселились напропалую, и в два часа ночи никому еще не хотелось

уходить. И тут к «Кресту» подкатили две полицейские машины, и началось. Доббс встретил полицию у входа.

— Вероятно, вы ошиблись адресом, друзья,— сказал он сержанту военной полиции.

Но полицейские оттолкнули его и стали пробиваться сквозь толпу на другой конец зала, к пианино. Они бесцеремонно расталкивали танцующих, но и те не оставались в долгу. Раздались негромкие, еще сдержанные возгласы протеста. И только Дэнни продолжал выстукивать «Матильду».

— Ну-ка, подожди бренчать, приятель,— сказал ему сержант.

Но Дэнни стал играть еще громче, громче, громче... Второй полицейский вытащил пистолет:

— Перестанешь ты или нет? Что, хочешь, чтобы?..

Лицо Дэнни покрылось крупными бусинками пота, кожа туго натянулась на его широком блестящем лбу. Он оборвал «Матильду» и тотчас стал негромко наигрывать «Мальчика Дэнни»:

О, мальчик Дэнни,
Ты слышишь трубы?

Пот лился с него градом, рубашка прилипла к телу. Женщины и «диггеры» зааплодировали, цветные янки тоже.

Сержант полиции — мужчина среднего роста с мощной грудной клеткой и злым бульдожьим лицом — произнес неожиданно сиплым, как надтреснутый кларнет, голосом:

— Ладно, ладно, слышишь, ты, хватит!

К нему подошел Доббс.

— Ну вы, морды,— негромко сказал он,— мы уже на вас нагляделись, катитесь отсюда!

Из долины в долину,
С холма на холм...

Полицейский посмотрел на маленького кривоногого австралийского сержанта, потом окинул взглядом сотню сердитых, возбужденных лиц и опять уставился на Доббса.

— Мы не против вас, австралийцев,— захрипел он,— и не против вашего «Южного Креста». Ваше право делать тут что угодно. В конце концов, это ваша страна...

— Еще бы! — злобно сказал Доббс.

Полицейский отвернулся от Доббса.

— Американским солдатам стать вон к той стене! Вам запрещено сюда ходить — всем, без исключения. Вон к той стене! Давай, давай! И показывайте ваши пропуска. Нам нужны ваши номера и фамилии.

Все полицейские вытащили пистолеты.

Несколько цветных солдат успели выскочить через черный ход и боковые окна, но большинство осталось в зале и вместе с австралийцами окружили полицейских, замкнув их в тесное кольцо. Те уже почувствовали себя довольно неуютно. Лица их лоснились от пота. «Чуют, чем пахнет,— возбужденно подумал Джимми, стоя в толпе.— И побаиваются. И с испугу могут пустить в ход свои храбрые пистолеты и дубинки. Нет, не нам выбить из седла американскую армию! Не надо было приезжать в «Крест» сразу после этого приказа». Дебби стояла позади, все время сжимая его руку в такт ударам своего сердца, таким частым и громким, словно она бежала в гору. Джимми чувствовал ее дыхание у себя на затылке. Он был в самой гуще толпы и не мог пробраться к стене, даже если бы захотел выполнить приказ сержанта.

— Расступись! Осади назад! Назад!

Полицейские стали толкать и отпихивать в стороны людей и жарить по спинам своими дубинками. Но это им не помогло.

— Давайте попробуем договориться,— обратился Джимми к сержанту.— Мы ведь не...

— Ты слышал приказ, растак твою душу?

— Чтоб вы сдохли, проклятые белые янки! — зарычал Скотти.

— Давайте договоримся спокойно,— пытался вразумить сержанта Джимми.

Но все уже пошло вкривь и вкось. Полицейские в панике ворвались в толпу и схватили двух ближайших солдат. Один из них был Джимми Ларкер. Они начали толкать их к дверям.

Дебби громко вскрикнула.

Червяк Тейлор не видел этой сцены, он в это время допивал остатки коньяка в уборной, а когда выбежал оттуда, то уже не смог протиснуться вперед. Скотти бросился на ближайшего к нему полицейского, но тот с такой силой ткнул ему в живот дубинкой, что Скотти, скорчившись, рухнул на пол.

Когда полицейские были уже у двери, сержант повернулся и произнес трясущимися от ярости губами:

— Ну, вы здорово отличились! Завтра же закроем ваше заведение, повесим большой замок!

Их поглотил мрак, а вслед им неслись крики:

— Только попробуйте!

— Гады чертовы!

После ухода полиции солдаты 25-го вслед за Скотти и Доббсом высыпали на улицу и, рассевшись по машинам, направились в сторону Джонс-стрит, где находилась тюрьма и управление военной полиции. Червяк вел головную машину и, всхлипывая, рассказывал:

— Джимми не хотел ехать в город. Он предчувствовал беду. Это я его заставил. Он не хотел ехать! А теперь его изобьют до смерти — и это все из-за меня! Он говорил, не надо ехать!

— Да нет, ты тут ни при чем, приятель,— успокаивал его сидевший рядом Доббс.

— Какой смысл ехать туда с пустыми руками? — крикнул кто-то с заднего сиденья.— Эти гады вооружены до зубов, у них разговор короткий...

Проехали еще два темных пустынных квартала.

— Я говорю: у этих гадов оружие, они с радостью поупражняются.

— Ну и что ты предлагаешь, растак твою мать? — обозлился Червяк. Слезы застилали ему глаза, он вел машину почти вслепую.

— Достать оружие, вот что. А так ты не вызволишь Тихоню, никакие «будьте любезны» и «окажите милость» не помогут!

Завизжали тормоза, Червяк остановил машину у обочины и махнул товарищам, ехавшим сзади, остановиться тоже. Все повыскакивали из машин и подбежали к головной.

— Что случилось?

— Ничего не случилось,— отвечал Червяк,— но есть предложение: смотаться в лагерь и достать чего-нибудь, что может подействовать убедительно на этих господ.

— Толково! — одобрил ефрейтор Биллингс.

Обсуждение не заняло и двух минут. Биллингс сказал:

— Чего трепаться, поехали!

Все разбежались по своим машинам и покатили в другую сторону. Доббса высадили возле «Южного Креста».

Доехав до «Уортингтон фармс», они подняли на ноги всех своих и кое-кого из саперов, из артиллерии и хозяйственной части, и все вместе, стараясь не шуметь, побежали в предутренней мгле на склад оружия, прихватив по дороге еще каких-то едва успевших продрать глаза негри-

тянских янки. Торопясь и нервничая, установили крупнокалиберные пулеметы на амфибиях и грузовиках и роздали винтовки и карабины всем, кто отправлялся в зону военных действий...

■

Солли и Сэмюэлс с обеда сидели у Селии. Они принесли с собой продукты и попросили ее приготовить им поесть. За обедом напились и спорили до хрипоты обо всем на свете, и кончилось тем, что Сэмюэлс свалился на тахту в гостиной и уснул. А Солли и Селия сидели в кухне, пили кофе и закусывали сандвичами с холодным мясом.

Селия в сотый раз спрашивала:

— Ты в самом деле уезжаешь?

— Я должен вернуться к моей маленькой семье.— Веки Солли набрякли и поднимались с трудом.

— И меня туда не вызовешь? — с горечью проговорила она.— Тебе наплевать, что будет со мной, лишь бы удрать поскорее.

— С тобой останется хороший защитник, по крайней мере — на ближайшее время,— негромко ответил Солли, кивнув в сторону гостиной.

Внезапно зазвонил телефон, но Селия не двинулась с места. Солли поднялся, но она удержала его.

— Не ходи, не надо. Верно, ошиблись номером. Ко мне никто не звонит в такой час.

Телефон прозвонил еще раза четыре и смолк.

— Видишь, я же говорила!

Но тут снова раздался звонок. И Солли сказал:

— Дай-ка я пойду послушаю.

Селия прошла за ним в гостиную. Телефон стоял возле тахты, на которой спал Сэмюэлс. Звонки разбудили его, и он, с трудом приподнявшись, потянулся к аппарату, но Солли уже взял трубку.

— Сондерс слушает.

Голос на другом конце провода произнес:

— Это ты, сержант?

— Так точно.— У Солли почему-то екнуло сердце.

— Говорит комендант капрал Дженкинс.

Голос капрала звучал взволнованно. Он доложил об инциденте в «Южном Кресте» и о том, что солдаты приезжали в лагерь и отправились обратно в город на грузовиках и амфибиях вместе с другими цветными, захватив с собой пулеметы и винтовки. Они предъявили часовым фальшивый приказ выступить с рассветом на маневры.

Солли глянул на часы.

— Боже милостивый! — Было четверть пятого.— Как же ты не позвонил мне сразу? Когда они выехали?

— Я никак не мог вспомнить, куда записал твой номер, клянусь богом, сержант,— жалобно ответил капрал.

— Ладно,— сказал Солли.— Ты знаешь, куда они поехали? Какой дорогой?

— Они поехали вызволять Тихоню из полицейского управления на Джонс-стрит. Стрельбы не будет, если полиция сама не начнет.

Когда Солли повесил трубку, хмель уже слетел с Сэмюэлса.

— Подтянитесь. Нам надо кое-куда съездить,— сказал ему Солли, а Селию попросил: — Свари ему быстро черного кофе.

— Что? Что случилось? — не мог понять Сэмюэлс.

Солли повторил сообщение Дженкинса. Селия побежала на кухню варить кофе.

— Вы готовы? — спросил Солли Сэмюэлса.

— К чему?

Солли силился умерить дрожь в голосе:

— Я командир взвода, стало быть — вожак, а вожак должен быть со своими, когда они выступают против врага. Не знаю, что намерены делать вы, я же намерен занять место среди своих, и как можно скорее.— Он протянул руку, чтобы взять пилотку. Вошла Селия с двумя чашками кофе.

— Погодите секунду, сержант,— сказал Сэмюэлс,— не будем терять голову.

— О чем тут еще толковать?

— Какого дьявола сержант Ларкер это допустил? Он мог их удержать, они бы его послушались.

Солли горько усмехнулся:

— Да, как раз это я и забыл вам сообщить: его-то и арестовали. Ему всегда достается! — Солли живо вспомнил свое первое знакомство с Ларкером. Бедный Тихоня с большущими темными глазами...

Солли направился к двери. Лучше бы арестовали кого-нибудь другого. Почему всегда хватают Джимми?

— Я старший по званию,— сказал Сэмюэлс,— я ваш командир и приказываю вам сейчас же вернуться и сесть за стол. Обсудим, что можно предпринять, пока пьем кофе.

— Слушайся его, Солли! — взмолилась Селия.— Пожалуйста, слушайся его!

Солли присел к столу, поглядел на Сэмюэлса, потом на Селию. Капитан отхлебывал черный дымящийся кофе.

— Хорошо, капитан Сэмюэлс, сэр, я сел, но я вам прямо говорю, что никакие статьи дисциплинарного устава и никакие приказы, даже самого всемогущего генерала Бафорда Джека, не помешают мне занять мое место среди солдат Двадцать пятого взвода. Это моя война, не их Акционерная Бойня на островах! Это мой плацдарм, понимаете вы? — Он вскочил со стула.

— Они не прибегнут к оружию,— сказал Сэмюэлс.— Не думаете же вы, что...

Снова затрещал телефон, и Солли схватил трубку. Звонил тот же капрал Дженкинс.

— Я забыл тебе сказать, сержант, на твое имя пришла телеграмма.

Сперва Солли подумал, что ему это послышалось, потом у него вдруг закружилась голова и острая боль резанула кишки. Страх комом встал в горле, почти лишив его голоса, но все же он нашел в себе силы проговорить:

— Вскрой и прочти мне.

— Сейчас, минутку.— И Дженкинс прочитал: — «Буду ждать тебя вечно, Фанни Мэй. Эббенсвилль Джорджия США».

— Спасибо, капрал,— сказал Солли, не замечая, что он уже повесил трубку. Все плыло у него перед глазами, и он вдруг испугался, что не выдержит и заплачет от радости, переполнившей его сердце. Он видел лицо Фанни Мэй, слышал ее голос: «Буду ждать тебя вечно». Перед ним был Эббенсвилль, ее дом, ее комната, камин. Он забыл и про Селию, и про Сэмюэлса, и про Тихоню, и про то, что существует тюрьма на Джонс-стрит... Он уедет домой, его ждет Фанни Мэй. Боже милостивый! Кому еще из солдат так везло? Он вскочил, зашагал по комнате. Фанни... малыш... мама... Солли. Фанни... малыш... мама... Солли. Может, этот разговор по телефону ему приснился?

Голос Сэмюэлса вернул его к действительности.

— Что вам сейчас сообщили, Сондерс? Произошло еще что-нибудь?

Солли поглядел на Сэмюэлса так, словно впервые увидел его. Он ответил не сразу:

— Нет. Ничего нового не произошло.— «Как ты сказал? Не произошло ничего нового?!»

— Я поеду туда сам, а вы оставайтесь тут с Селией,— неуверенно сказал Сэмюэлс.— Я их перехвачу по дороге и уговорю вернуться в лагерь.

«Хорошо! Очень хорошо!» — подумал Солли. Противоречивые мысли и чувства рвали его мозг на части. Теперь, когда он знал, что Фанни Мэй согласна ждать его вечно, он не хотел, чтобы она ждала хотя бы одну лишнюю минуту. У него голова шла кругом. Ему было совестно перед товарищами, но ведь там Фанни Мэй, любимая Фанни Мэй, и он не хочет быть героем, он хочет только одного — вернуться к Фанни Мэй... И все же он сказал, глухо, с трудом выговаривая слова:

— Я еду. Что касается вас, не смею ничего сказать. Я еду — еду присоединиться к ним, а не отговаривать. Мы должны освободить Джимми из тюрьмы.

Если он избранник Фанни Мэй, он должен быть там!

— Нет, Солли, нет! — вскричала Селия.

— И все ваши планы тогда рухнут,— сказал Сэмюэлс.— Они вас продержат здесь до конца войны, а потом с позором выгонят из армии. Да еще могут послать на север, на фронт. Могут...

Да, пока не пришла телеграмма от Фанни Мэй, он не задумывался над последствиями. Выгонят с позором — ну и наплевать! Но если он сейчас выйдет из этого дома и сядет в машину своего командира, он, возможно, уже не увидит ни сына, ни мамы, ни Фанни Мэй. Не увидит Фанни Мэй, которая согласилась ждать его вечно! Если он сделает этот шаг, он отрежет себе путь назад. После того как произойдет то, что неизбежно должно произойти, ни о какой демобилизации не может уже быть и речи. Вернее всего, его пошлют опять на север и будут гонять по островам, с одного кровавого плацдарма на другой, пока не выпадет его номер и срок его мучений не истечет. Нет, домой, он хочет домой к Фанни Мэй, и к малышу, и к маме, он хочет забыть про все, что было здесь. Домой... домой... домой! Эта телеграмма все изменила. И ведь если бы ему не пришло в голову вчера днем сказать Сэмюэлсу, что надо сообщить в часть, где они находятся, он ничего бы не узнал и ни в чем не был бы замешан. Он хочет домой... Но ведь он не может уехать домой! Какой он ни есть, он должен быть там, где его товарищи, и должен быть частью того же, что и они, и, если придется, должен умереть с ними вместе, а сейчас должен идти на схватку с врагом в этой самой важной битве за демократию... В битве за Джимми Ларкера, мирного человека... Стрельбы не будет, сказал капрал, если только военная полиция сама не начнет. Внезапно ему послышался голос Фанни Мэй, ее слова, сказанные в тот вечер, их последний вечер вместе: «Никогда не поступайся своим человеческим достоинством! Никогда не поступайся своим человеческим достоинством!»

Селия прочла решимость в его глазах, в движениях головы и плеч. И всё, кроме Солли, перестало для нее существовать, она не думала даже о себе. Она упала на колени и обхватила его ноги. Из груди ее рвались рыдания. Она забыла про Сэмюэлса.

Сэмюэлс хрипло сказал:

— Он должен идти, Селия.

— Нет! Нет! Нет!

— Селия,— чужим, хриплым голосом сказал Солли и судорожно глотнул воздух,— Селия, вся моя жизнь, все обстоятельства моей жизни вели к этой минуте, все и вся, каждый дом и каждая улица, по которой мне случалось когда-либо пройти...

Она упала на тахту. Солли нагнулся к ней, нежно поцеловал ее в щеку, потом сказал «До свидания» и повернулся к Сэмюэлсу:

— И объясните ей также, что вы должны поехать со мной, иначе вы окажетесь последним обманщиком. Скажите ей, что эти ребята, которым мы едем помочь, самые благородные и верные товарищи из всех, каких вам когда-либо доводилось встречать, и что Тихоня — кротчайшее существо на земле, и...

— Ладно, хватит, сержант.— Он тоже поцеловал Селию в щеку, и они вместе вышли из дому.

Уже на крыльце Солли повернулся к Сэмюэлсу:

— Я *должен* ехать, вы это понимаете, правда? У меня нет выбора. Я защищаю свою жизнь. Там, в тюрьме, сейчас мой брат. Но вы могли бы не ехать. Вы могли бы остаться здесь и сказать, что вам ничего не было известно. Я не хочу вас втягивать...

— Я сам знаю, что мне надо делать, Солли Сондерс. Ваше высокомерие неуместно.

Несколько секунд они пристально смотрели друг на друга, потом Сэмюэлс повернулся и, первым сбежав с крыльца, зашагал к машине. Солли душили слезы. Фанни Мэй! Сейчас она была с ним рядом, он почти держал ее в объятиях. И вот, быть может, этого уже никогда не будет... Быть может, ему уже никогда не обнять ее... Чтоб им пропасть — достоинству, мужеству и тебе, Фанни Мэй, с твоей великой праведностью!

Глава 5

Город еще спал глубоким сном, но над заливом и там, вдали, над Коралловым морем, уже полыхала заря, и рассвет захватил свой первый плацдарм в битве с отступающей мглой. Ночь кончилась, но утро еще не наступило. В темном мире сейчас существовали лишь две краски — серая и розовато-оранжевая,— и гул амфибий и грузовиков, мчавшихся по шоссе в сторону мирно спящего города, похож был на грозную музыку. Вдоль шоссе тянулись поля сахарного тростника, предутренний ветерок колыхал его стройные, красивые стебли. Поля упирались в горы, одетые в плотный зеленый плащ джунглей.

Семь амфибий и три грузовика с установленными на них пулеметами везут пятьдесят, а может, и больше солдат в касках, с винтовками и карабинами... Одни бодры, другие еще не стряхнули с себя сон и только прикидываются храбрецами, одни испуганы, другие злы, но все возбуждены и готовы драться.

Пропустив их, часовой побежал в сторожку звонить по телефону в штаб. Он ждал довольно долго, пока на другом конце провода раздался сонный голос. Часовой сообщил, что большая колонна цветных солдат покинула лагерь.

— Что-о? Что ты мелешь? — Сна как не бывало.— Да ты никак спятил! Какие еще маневры черномазых?

Часовой несмело повторил свой доклад и, когда комендант повесил трубку, помчался в редеющей мгле искать дежурного офицера, который спал, хотя ему полагалось бодрствовать, а тот, в свою очередь, побежал будить старшего адъютанта, который спал с женой начальника базы, в то время как сам начальник был в городе и тоже развлекался как мог.

Через несколько минут адъютант с дежурным офицером и хмурым старшим сержантом уже неслись на «виллисе» по шоссе вдогонку за негритянской колонной.

Головную амфибию вел Скотти. У развилки шоссе он свернул не на ту дорогу и обнаружил это, лишь проехав несколько миль. Поспешно развернув машину, он помчался обратно. Вся колонна следовала за ним.

«Виллис» встретил их у самой развилки. Адъютант — красивый полковник лет тридцати пяти, с типичной внешностью стареющего футболиста из американской сборной, с коротко стриженным затылком и белобрысым чубом, южанин до мозга костей, поставил свою машину поперек дороги. Вытянувшись во весь рост, он замахал фуражкой, приказывая колонне остановиться. Чудом не смяв его машину и скрипнув тормозами так громко, зловеще и пронзительно, что мог бы разбудить всех рыб, спящих в Коралловом море, Скотти остановился.

— В чем дело, мать твою? — заорал он.— Жизнь, что ли, надоела? Ох, простите, капитан! — По своему обычаю он, как всегда, снизил звание офицера.

— Повежливей, солдат,— сказал полковник с достоинством. У него был ярко выраженный южный акцент.— Кто тут у вас за старшего?

— А вам зачем?

С задних машин неслись нетерпеливые гудки и крики:

— Чего застряли? Поехали!

Сержант Генри Уильямс, вежливый, воспитанный бостонец, сидел в головной машине.

— По всей вероятности, я, полковник, сэр, если вы имеете в виду звание.

— Что за чертовщину вы затеяли, сержант?

— Ничего мы не затеяли, сэр. Мы едем на выполнение задания.

Теперь уже все гудки ревели хором.

— Поехали!

— Чего стоим?

Полковник сказал:

— Приказываю вам, сержант, вернуться со всеми людьми на базу.

Солдаты кричали, ревели гудки, а на горизонте, там, где шла смертельная схватка ночи с днем, уже вспыхивали первые лучи солнца. И полковник безуспешно пытался перекричать весь этот гам, а сержант Уильямс говорил ему вежливо:

— Полковник, сэр, если бы я даже захотел выполнить ваш приказ, мне бы никак не повернуть этих людей обратно. Их слишком часто поворачивали отовсюду обратно...

Скотти завел мотор, его примеру последовали и остальные, сидевшие за баранками.

— Уберите, пожалуйста, вашу машину с дороги, полковник Миссисипи, сэр,— сказал Скотти.— Мы спешим по делу.

Полковник вытащил пистолет, капитан тоже. Оба направили дула пистолетов на Скотти, и все крики и гудки разом смолкли, и на шоссе воцарилась тишина.

— Приказываю вам, сержант, немедленно направить всех солдат на базу, а вам, капрал-водитель, повернуть и повести за собой всю колонну.

Было так тихо, что, казалось, слышно, как из скорлупы мрака вылупляется день. Тишину нарушил Скотти:

— Полковник Миссисипи, или как там вас, сэр...

— Полковник Уильям Брэдфорд Третий, капрал,— внушительно сказал адъютант.

Скотти поднялся из-за руля, стащил с головы каску и, вытянувшись во фронт, отдал честь. Полковник приложил два пальца к виску.

— Слушаюсь, сэр, майор Бэдфорк, я готов исполнить ваш приказ. Ведь что ни говори, а каждый солдат в этой колонне — преданный, законопослушный американец. Если бы вся наша армия была такой, мы бы завтра кончили войну!

Полковника умилила эта детски-простодушная патриотическая тирада и открытое лицо Скотти, и он невольно сунул пистолет в кобуру.

— Благодарю вас, капрал. Только называйте правильно: полковник Брэд-форд. Я ценю...

— Так точно, капитан Бэдкок, сэр, — гаркнул Скотти,— мы за вами в огонь и в воду! Вы нам только покажите дорогу домой. А я-то ведь из ваших краев, ваш земляк! — Он отдал честь полковнику, и тот, недоуменно глядя на него, козырнул тоже.

— Ты что делаешь? — свирепо спросил сидевший рядом Грант.

— Очень хорошо, капрал. Мы не забудем вашей преданности, — сказал полковник. Он сел и приказал сержанту ехать на базу в «Уортингтон фармс». А Скотти величественным жестом предложил остальным водителям следовать за ним.

«Виллис» помчался в сторону лагеря в сопровождении всей колонны, но, поравнявшись с перекрестком, Скотти крикнул: «Была не была!» — дал газу и, с адским грохотом срезав угол, вылетел на другую дорогу, ведущую на мост Елизаветы, в Южный Бейнбридж, и остальные машины одна за другой, одна за другой с ревом выскакивали на перекресток и на всем ходу сворачивали с шоссе, и пыль летела из-под колес, и солдаты орали во всю глотку, стараясь перекрыть грохот.

Командирский «виллис» проскочил уже футов сто за перекресток, когда полковник понял, как его одурачил этот простодушный негр. Он повернул назад, а грузовики и амфибии с ревом проносились мимо. Он вскочил на ноги, весь в пыли с головы до пят, и, потрясая пистолетом, стал кричать им, чтобы они остановились.

Наконец молодой сообразительный полковник понял, как глупо он выглядит, деря бесцельно глотку и глотая пыль. И запах этой пыли был ему не по вкусу. Она прескверно пахла, эта пыль. Он сел, выругался и приказал сержанту ехать на базу. Возле ночной закусочной он выскочил из машины, бросился к телефону и позвонил в лагерь, а потом в город — командиру, помешав его амурам, а потом в штаб дивизии, расположенный на другом конце Бейнбриджа, потом еще куда-то, и еще куда-то, и напоследок — на Джонс-стрит.

■

Когда колонна машин со Скотти на головной амфибии приближалась с севера к мосту Елизаветы, на бульваре показался грузовик с белыми солдатами, направлявшийся на мост с другой стороны. Колонна амфибий подошла первой, но остановилась пропустить трехтонный грузовик. С каждой машины на грузовик были наведены пулеметы. У Генерала Гранта уже давно чесались руки. Скотти вовремя успел его остановить.

— Стой, черт побери! Кто там? — прорезал тишину его грозный рык.

Но грузовик приближался, и Грант сказал:

— Не бойся, друг. Пусть подойдет поближе, и я в каждом из них просверлю несколько хорошеньких, розовых дырочек.

Скотти заорал еще громче:

— Стой, говорю! Кто там? — И прибавил крепкое словцо.

— Да это ж я, черти полосатые! Я, Доббс! — Грузовик замедлил ход и остановился в пятидесяти шагах. Из него выскочил Доббс и побежал к головной амфибии.

— Я так и знал, черт побери! Понимаешь, догадался! — Скотти радостно захохотал.— Не стрелять, ребята! Это наши товарищи! — Он хотел сделать серьезное лицо, но не мог. Когда кривоногий австралиец подошел к машине, он сказал ему со смехом:— Слушай, научись быстрее отвечать! Мы тебе чуть было не всадили пулю в зад! За каким чертом вы здесь в этакую рань?

— За тем же, что и вы. Мы решили, что, может, вам надо будет подсобить на Джонс-стрит.

— Вот молодцы! Чем больше, тем лучше! — сказал Скотти.

— Изложите стратегию и тактику,— сказал Доббс.

— Говори ты! — сказал Скотти сержанту Уильямсу.

Сержант изложил Доббсу план: переехать через мост и потом в трех кварталах от него разделиться, подъехать к полицейскому управлению с разных сторон и выслать вперед делегацию, которая войдет и потребует освобождения Джимми. Вот и все. А если полиция откажется его выдать, то забрать силой, благо у них численный перевес. К оружию прибегать никто не собирается. Только в случае крайней необходимости, для самозащиты.

Доббс вернулся к своей машине, и колонна осторожно двинулась через мост. Из-за Кораллового моря уже выплыло солнце, и настало утро — теплое, мирное воскресное утро, напомнившее Скотти его родину. Миссисипи — Чикаго — Гарлем. И вот теперь — Бейнбридж. Сколько он себя помнил, ему вечно приходилось менять местожительство, и почему-то особенно запечатлелись в памяти воскресные утра. Небо было как синий, бездонный, безбрежный океан над головой. Он часто видел такое небо по воскресеньям. Скотти нервничал, что-то кричал, и ему казалось, что он кудахчет, как курица с яйцом. Наступила самая значительная минута его армейской жизни.

Вторую машину вел Червяк Тейлор. Он гадал, что ждет их там, по ту сторону моста, вспоминал свой дом и томился страхом, что, быть может, ему уже не вернуться к той прежней жизни, казавшейся теперь бесконечно милой. Его вдруг охватила тоска по дому, вспомнились домашние запахи и вкус домашней еды, он представлял себе своих родителей в воскресное утро. Мать — крупная женщина, медлительная с виду и весьма решительная на деле — собирается в церковь. Отец ходил в церковь лишь на пасху, а сам Джо — лишь в тех случаях, когда уже было невозможно увильнуть. Ему казалось, что он слышит стройное церковное пение, видит Гарлем, запруженный по-воскресному одетыми людьми. Уличные митинги. Помни, что ты черный! Покупай у черных! Живи, как черные. Театр «Аполло»... Червяк усмехнулся. Мрачная сторона забывается, помнишь только приятное... Гарлем — его черный город во чреве города-гиганта. Он совсем забыл, где он, и вернулся к действительности лишь на середине моста. Куда, к черту, пропал Солли Сондерс? Хотелось, чтобы друг был с ним рядом или, по крайней мере, где-то в их колонне, тогда было бы легче на душе... Мост был уже позади. Они освободят Джимми и вернутся в лагерь. А дальше — будь, что будет. Военный суд и все, что положено. Жаль, черт побери, что Солли нет с ними!

Проехали три квартала по пустынной улице, разделились на две группы, и, осторожно шурша шинами, словно боясь потревожить спящий воскресный город, одна группа двинулась направо, другая — налево.

Минут через пятнадцать-двадцать амфибии подъехали с обеих сторон к двухэтажному каменному зданию военной полиции. Все пулеметы были наведены на вход, и только два замыкающих грузовика навели свои пулеметы на широкую пустынную улицу. Делегаты тихонько спрыгнули с машин и, держа винтовки наперевес, с бьющимся сердцем побежали к дверям. Их было восемь человек — в том числе Червяк, Бэнкс Детская Мордашка, Доббс и сержант Уильямс, которому было поручено вести переговоры. Скотти остался на улице за старшего.

В первой комнате за столом дежурного они увидели дремавшего капрала. Червяк тихо шагнул к нему и ткнул его винтовкой. Тот мгновенно открыл глаза:

— Что за черт?

Тем временем четверо десантников вбежали в караульное помещение, где трое полицейских играли в кости, расстелив на полу одеяло.

Десантники ввели всю тройку перепуганных игроков в приемную, чтобы их соне-капралу не было скучно одному. Впрочем, всякий сон с него уже слетел.

Уильямс вкратце изложил цель их появления:

— Мы ищем военнослужащего старшего сержанта Джеймса Ларкера. Его доставили сюда ночью из «Южного Креста». Мы хотим увезти его с собой. Вот, собственно, и все.

— Но это... это так нельзя,— сказал капрал.— Где у вас приказ об его освобождении?

Пока велся этот разговор, Червяк и Бэнкс собрали все оружие полицейских и сложили в угол.

— Приказа у нас нет,— спокойно ответил Уильямс,— но мы все равно его заберем, потому что у нас есть оружие и мы сильнее вас. У нас машины с пулеметами и много хороших стрелков.

— Мы не охотники до драк, но, если уж драка начнется, мы вам дадим жару,— добавил Червяк.

Капрал принялся листать страницы регистрационной книги. Губы его дрожали.

Червяк сказал нетерпеливо:

— Хватит в заду чесать, делай дело, не то я разнесу твою куриную башку вдребезги,— и приставил пистолет к голове капрала.

С того уже пот лился ручьями. Он сказал:

— У нас не числится арестованного под такой фамилией.

— Вот тот рыжий был в «Кресте», когда Джимми забирали,— сказал Бэнкс.— Я его рожу теперь не забуду.

В эту минуту пятеро десантников ввели с улицы еще четырех полицейских. Один из них был сержант, арестовавший Тихоню. Они направлялись к себе в управление, и солдаты схватили их, как только те завернули за угол.

— Я помню этого сержанта,— сказал Уильямс.— Он знает, где наш Тихоня, прошу прощения, наш сержант Джеймс Ларкер.

Спертый воздух караульной был жарок, удушлив и с каждой секундой казался все удушливей. Червяк понимал, что полицейские нарочно тянут, хотят выиграть время. Чем дольше они проволынят, тем меньше надежды вызволить Тихоню, не прибегая к оружию. Только бы вывести Тихоню поскорее и убраться отсюда, пока не поздно. Червяк яростно ткнул сержанта в живот винтовкой.

— Говори, чертов сын, а то продырявлю тебе брюхо. Веди меня к Джимми!

У сержанта лицо покрылось испариной. Он вывел Червяка и Уильямса из караульной и стал подниматься по лестнице на второй этаж, где были расположены камеры.

— А ключи взял? — напомнил ему Червяк.

Сержант повернулся и пошел обратно, открыл ящик стола, достал связку ключей и снова вышел на лестницу. Его медлительность действовала Червяку на нервы.

Он подтолкнул его прикладом и прошипел:

— Пошевеливай своей свинцовой задницей, а то я тебе еще свинца подбавлю!

Червяку показалось, что прошла вечность, пока они добрались до камеры и сержант отпер дверь. Но вот наконец Червяк обнял Тихоню, и слезы выступили у него на глазах:

— Прости меня, Джимми!

— Пошли скорей из этой сволочной дыры! — крикнул Бэнкс.

— Прошу так не выражаться, красавчик! — весело прикрикнул на него Червяк.

Другой солдат, задержанный вместе с Джимми, находился с ним в одной камере, и они его вывели тоже. Они забрали с собой также все полицейские пистолеты и винтовки, но никто из них не догадался перерезать телефонные провода.

Очутившись на улице, все направились к своим машинам, и Червяк подумал вслух:

— Больно уж легко все получилось, больно легко...— И впервые за все утро его охватил настоящий страх, от которого его сразу бросило в жар, и судорогой свело кишки, и пересохло во рту. Он побежал вместе с другими к машинам. Один из солдат, бежавший с охапкой винтовок, споткнулся и упал, и грохот металла о мостовую нарушил зловещую утреннюю тишину. Червяк метнулся к растяпе, помог ему подобрать оружие и потащил его к машине.

— Поехали! — негромко скомандовал он.

У двух машин почему-то никак не запускались двигатели, и на это было потеряно еще минут пять-десять. Наконец все разместились, Джимми сел рядом с Червяком. На амфибии сзади и по бокам рукой Червяка крупными печатными буквами было написано: «БОРЬБА НА ДВА ФРОНТА ДО ПОБЕДЫ», а над этим, еще более крупно: «ФАННИ МЭЙ». Обратно колонну повел Червяк, забравшись в свою «Борьбу на два фронта». Он включил зажигание и, прежде чем тронуться, внимательно поглядел на Джимми. Лицо у Джимми осунулось, большие добрые глаза ввалились, и взгляд был страдальческий, но это лицо дышало таким гневом, какого Тихоня, вероятно, никогда раньше не испытывал.

— Ну как, друг? — подмигнул ему Червяк.

И Джимми ответил растроганно:

— Отлично. Правая рука не действует, но мне жаловаться стыдно. Что ни говори, у меня самые лучшие товарищи на свете. Даже умереть не жаль в это солнечное утро.

Миновав первый перекресток, Червяк прибавил скорость, остальные машины тоже. Солнце заливало бледным светом пустынную улицу, деревья в цвету отбрасывали мягкие скользящие тени и, протянув друг к другу ветви через дорогу, сплетались, образуя многоцветный свод. Машина шла со скоростью пятидесяти миль в час, но Червяк примечал каждую мелочь на пути. Все чувства его были сейчас как остро отточенная бритва. Скорей, скорей, скорей! Только бы добраться до моста, пересечь его и попасть на шоссе — и тогда все будет в порядке... Его не заботила мысль о военном трибунале, который несомненно их ожидает. Лишь бы добраться до лагеря. Проклятая машина плетется еле-еле. Тревога сводила плечи. Страх комком подкатывал к горлу, урчал в желудке. Но все же было отрадно сознавать, что важное дело выполнено, и от этого теплело на сердце, а взор невольно наслаждался игрой света и тени в листве деревьев... «Жаль, что Солли нет с нами!» Он вспомнил Фанни Мэй, и ему захотелось крикнуть: «Борьба на два фронта до победы!» Он искоса взглянул на Тихоню, нажал толстой ступней на газ, и стрелка спидометра, дрогнув, поползла к шестидесяти. Уже стал виден громадный мост впереди. Успели! Проскочили! И тут их удаче пришел конец.

Зиииииииииинннг боп!

Тат-тат-тат-тат-тат!

Зиииииииииинннг боп!

Со всех сторон затрещали пулеметы, и пули защелкали о борта машин; они пели над ухом, и отскакивали рикошетом, и пробивали крохотные дырочки в ветровом стекле.

Все, кто был в машине, бросились на пол, кроме самого Червяка, который, втянув голову в плечи, круто развернул машину и погнал ее обратно по солнечной улице, да Бэнкса, согнувшегося в три погибели у своего пулемета, уже заливавшегося смертельной трелью. Другие машины тоже развернулись и помчались следом.

Тат-тат-тат-тат!

Зииииииииииинннг боп! Зииииииииииинннг боп!

Однако не всей колонне удалось так удачно повернуть назад: одна машина застряла, загородив дорогу другим; испуганный водитель в панике беспомощно крутил баранку. Тем временем Червяк уже промчался два с половиной квартала по Джонс-стрит, преследуемый пулями, свистевшими у него за спиной, и вдруг заметил в трех-четырех кварталах впереди шедшие ему навстречу грузовые машины. Вскоре он уже различил белые лица под касками, винтовки и пулеметы... Это были бесспорно янки, и лица их не предвещали ничего хорошего. Червяк еще ниже пригнул голову и дал полный газ, так неистово нажав на акселератор, что машина прыгнула вперед, как дикий зверь в джунглях. Солдаты, все, кроме одного, повскакали с пола и вскинули винтовки. Червяк домчался до угла и на двух колесах, чуть ли что не на одном, влетел в узкую улочку. Вокруг уже был ад — стреляли со всех сторон. Червяк притормозил и, приказав Бэнксу сесть за руль, метнулся к пулемету.

— Пусть только подойдут, сволочи!

Один солдат все еще лежал ничком. Червяк сказал:

— Вставай, парень. Возьми себя в руки. У нас серьезные дела впереди! — Но солдат не двигался, и страх схватил Червяка за горло, жаром полыхнул в лицо, заполз туда, где билось сердце. Червяк вылез из-за пулемета — нет, не может быть, не может быть! Господи, помилуй! Господи Иисусе! Он шагнул к солдату, опустился на колени и стал переворачивать его на спину, но, еще не успев перевернуть и не видя дымящегося отверстия во лбу над густыми бровями, уже знал... Обычная сдержанная улыбка застыла на гордом лице Джимми, исполненном любви, достоинства, добрых, возвышенных чувств. Смерть не успела исказить его черты страхом.

Червяку казалось, что он все еще слышит голос Джимми: «Мне стыдно жаловаться. У меня самые лучшие товарищи на свете». Никогда ему не забыть этих слов! И, глядя на улыбку Тихони, Червяк улыбнулся, а слезы градом катились по его широкоскулому лицу. Он бережно опустил мертвое тело товарища. Ярость душила его. Ярость и сознание своей вины... Он вернулся к пулемету и закричал, обливаясь слезами:

— Пусть только подойдут, сволочи!

Впрочем, и без его приглашения к ним уже спешили со всего Бейнбриджа, а главным образом из двух лагерей на противоположных окраинах города. Многие уже прибыли на место благодаря усердию полковника Уильяма Брэдфорда Третьего из «Уортингтон фармс». Он поднял на ноги всех своими телефонными звонками, и вскоре налицо оказалось столько волонтеров, что начальство не в силах было остановить их поток. Каждый хотел доказать свой патриотизм и принять участие в этом воскресном пикнике, и на всех центральных улицах Южного Бейнбриджа уже кипел бой — сверкали молнии и гремел гром. Червяк слышал, как эта гроза надвигается со всех сторон.

— Джимми убит! — крикнул Червяк Бэнксу.— Убит наш Джимми! — повторил он тише и вытер мокрое от слез лицо.

Внезапно Бэнкс заметил, что они заехали в тупик — дальше проезда не было. Он сбросил газ, притормозил, дал задний ход и развернул машину, и в эту минуту подкатил грузовик, до отказа набитый вооруженными солдатами в касках. Искаженные лица, безумные глаза. По говору — южане. Потные от страха и ошалело-возбужденно-злые...

— Вот они, черномазые!

Несколько негров спрыгнули с амфибии на мостовую, кинулись в подъезды домов, и их винтовки обратились с речью к этим южанам из захолустных городишек Миссисипи и Джорджии. Но не все сумели добежать до подъездов — их скосили пули. Бэнкс рванул машину в сторону южных янки, а Червяк принялся, как безумный, поливать их огнем, мстя за Джимми. Первым, на ком Червяк выместил свою боль, был мальчишка-пулеметчик, а за ним он прочесал весь грузовик — от носа до кормы. Вокруг него визжали пули, но он знал одно: убили Тихоню! Тихоню убили!

А в двух-трех кварталах от места схватки Скотти вел свою амфибию по длинной широкой улице, и его друг Генерал Грант сидел сзади за пулеметом и давал жару расистам, которые преследовали их на двух военных грузовиках. Генерал Грант прочесал передний грузовик слева направо и сверху вниз, и грузовик врезался в зеркальную витрину модного магазина мужского платья. Сыны американского Юга орали, зеркальное стекло летело во все стороны и резало, как жатка; хлестала кровь. А Грант хрипло хохотал.

И Скотти утробно хохотал тоже, хотя ему больше хотелось плакать. Кругом трещали выстрелы, но больше — сзади, и пули выстукивали на кузове амфибии то «Прыжок в час ночи», как Чик Уэбб в театре «Говард» в Вашингтоне, то «Подвези меня, друг, в Гарлем», как в «Аполло» на 125-й улице. Боже милостивый, какое счастье быть сейчас в Гарлеме! Скотти сознавал, что в любую минуту смертоносный остроконечный кусок металла может попасть ему в затылок или между лопаток; он ощущал это почти физически и знал, что этого не миновать, и тогда уже ему наверняка крышка, и, однако, не слишком страдал от этой мысли и не очень боялся. «Двум смертям не бывать! Двум смертям не бывать!» — твердил он себе. И странно — в это утро в нем не было даже этой острой ненависти к ним, а просто: «Убивай, чем больше, тем лучше, потому что они — наши враги. У них и глаза, как у меня, и нос, и рот, и мозг, и уши, как у меня, и ноги, как у меня... но я их не признаю. Как говорит Солли, не их самих я ненавижу, а все, что они творят. Мне не жалко умереть, если я умру, продырявливая им зады за свою свободу».

Он вспомнил Тихоню и вдруг забеспокоился — не слишком ли жестоко они его избили. Таких славных парней, как Тихоня, раз-два и обчелся в этом окаянном сумасшедшем мире!

Пинг! Пинг! Пинг! Пинг!

Маленькие капсюли смерти плясали на ветровом стекле. Скотти не сомневался, что Джимми жив, он только беспокоился — не слишком ли жестоко его избили. Полицейские всюду сволочи. Полицейские — это сволочи. Он насмотрелся на них и на Бауэри в Нью-Йорке, и в Чикаго, и в Лос-Анжелесе, да и в любом городе, где только есть трущобы. Он видел их в Гарлеме, верхом на рослых конях, видел, как они крошат черепа, пока заболят руки. Видел, как они торжествуют, измываясь над беззащитными людьми...

«Вот потеха,— думал Скотти,— боюсь за Тихоню, хотя сам лечу в тартарары. Мчусь на всех парах на собственные похороны, а думаю о Тихоне. Черт-те что!» — Скотти даже смех разобрал, а по лицу его текли слезы. Он все смеялся и смеялся и не мог остановиться, и его машина пошла писать вензеля, будто увертываясь от визжащих пуль.

А за его спиной, поливая огнем преследующих расистов, Грант подумал вслух:

— Этот чертов сын Скотти, видать, совсем спятил!

Когда они выходили из полиции, сержант Генри Уильямс сел не к ним, а в другую машину, за которой сейчас гнались два грузовика, изрыгая пламя и смерть. И тут ей навстречу с другого конца улицы выско-

чили еще три грузовика с белыми солдатами. Обстреливаемая со всех сторон, амфибия застряла посреди улицы. Мотор ее заглох. За несколько секунд все находившиеся в ней негры были перебиты, кроме сержанта Уильямса и водителя.

— Дьяволы черномазые! Дьяволы черномазые!

Уильямс присел на корточки, укрываясь от пуль, летевших вперекрест и отскакивавших рикошетом от машины. Он решил сохранить себе и водителю жизнь. Привязав белый платок к штыку винтовки, он стал размахивать им над головой, но пулемет продолжал свою музыку смерти.

И вдруг умолк.

Уильямс и водитель поспешно соскочили с машины. Уильямс продолжал размахивать белым флагом. Они благоразумно решили сдаться на милость своих великодушных белых противников.

Уильямс закричал:

— Это бессмысленно так уничтожать друг друга! В конце концов мы же американцы!

— Ты черная скотина, вот ты кто! — заорал пулеметчик с ближайшего грузовика и дал по ним очередь, и они упали замертво в черную тень амфибии, на залитую солнцем мостовую.

А там, на грузовике, белый сержант сказал пулеметчику:

— Это было совсем не нужно, кроважадный ты сукин сын!

Пулеметчик виновато усмехнулся:

— Так это дерьмо тоже никому не нужно...

Глава 6

Когда Солли с Сэмюэлсом подъехали с северной стороны к мосту, на другом берегу стоял такой треск, словно тысячи пишущих машинок во всех конторских зданиях мира уже выстукивали похоронные и сообщали матерям-патриоткам о том, что они имеют право на «Золотую звезду».

На середине моста они остановили «виллис» и, привстав в машине, увидели войну во всем ее неистовстве. По улицам, похожим на ущелья ада, отчаянно металась амфибии, стараясь вырваться из кольца, которое медленно сжималось вокруг них. Дюйм за дюймом, фут за футом, улица за улицей белые теснили цветных и их союзников, все туже затягивая петлю. Солли стоял растерянный, беспомощный и плакал. Да, он не сомневался, что все это — правда, однако картина, представшая его помутневшему взору, казалась невероятной. Он не мог, не хотел верить, что Соединенные Штаты Америки способны творить такое. Ведь это его родина, и родина его отца, и родина его матери, и родина его предков! Он чувствовал, что каменеет от ярости, превращается в цементную глыбу. Он вытер глаза, и слез больше не было. Как спасти товарищей? Слезами тут не поможешь! Если они не сдадутся, их перебьют — всех до единого!

Сэмюэлс стоял рядом, качал головой и тоже плакал, глядя, как люди падают, словно скошенный бамбук.

— Не верю! Я просто не верю своим глазам!

— Вот вам ваша проклятая демократическая антифашистская армия!— сказал Солли.

— Нет, я просто не верю!

— Чему же тут не верить? Вы все видите сами! А вот что вы предпримете, чтоб их остановить?

— Может быть... может быть...— голос Сэмюэлса дрожал,— если я пойду туда один, может быть, мне удастся поговорить с тем, кто командует белыми солдатами...

— Бросьте, никто ими не командует! Это же просто линчевание.

Обычное увеселение, как в доброе старое время. Мужественные американцы ополоумели от радости, что могут опять заняться этим чистым, невинным спортом... Сезон охоты открыт!

— Но, может, я уговорю хоть некоторых, чтоб перестали стрелять, пока я доберусь до наших и заставлю их сдаться.

Солли видел, как одна амфибия на всем ходу врезалась в какой-то дом и солдаты бросились с нее врассыпную, и кто-то сразу заработал себе «Пурпурное сердце», а кто и «Золотую звезду» для своей матушки.

Солли опять сел за руль. Надо что-то предпринять! Он дал машине задний ход и, пятясь, быстро съехал с моста. Местные жители — одни принаряженные для церкви, другие еще полуодетые и заспанные — смотрели на противоположный берег, где кипел бой, и не верили своим глазам. Стояли безмолвные, потрясенные.

Когда машина сошла с моста, ее сразу окружили австралийцы.

— Что там происходит, друзья?

— Чертовы янки воюют со своими?

— Прямо светопреставление!

— А может, это японцы напали внезапно?

Солли обратился к кому-то:

— Где здесь поблизости телефон?

Высокий русоголовый австралиец вскочил к нему в машину, и они помчались по улице.

— Что вы намерены предпринять? — спросил Сэмюэлс у Солли.

— Ну, как вы думаете, что? Вызвать подкрепление и пойти вместе с ними.

— Вот тут сверните, друг,— показал австралиец.

Солли свернул и, промчавшись еще два квартала и сделав еще один поворот, остановился посреди пустынной улицы возле крохотного кафе, которое, видимо, только начинало утреннюю торговлю.

— Если вы вызовете негритянские войска,— сказал Сэмюэлс,— вы только превратите это в расовую войну.

Солли поглядел на него с горькой усмешкой и выскочил из машины. Вбежав в кафе, он увидел на стене телефон, а в глубине, на стойке, маленький радиоприемник.

Два посетителя пили кофе, а владелец, облокотившись на стойку, сонным взглядом уставился на радио.

«...Воскресный покой жителей Бейнбриджа нарушила война, докатившаяся и до нашего города. В самом сердце Южного Бейнбриджа, в торговом районе, в настоящую минуту кипит бой между черными и белыми американцами. Имеются сведения, что некоторые наши сограждане принимают в нем участие на стороне черных...»

Солли прислушивался к радио, вызывая к телефону старшего сержанта одной из саперных рот «Уортингтон фармс», с которым был в дружеских отношениях. Ждать пришлось довольно долго. Когда ему ответили, Солли попросил позвать сержанта Бейли.

— Смеетесь, что ли,— сказал голос в трубке,— все, кто только мог, умчались в город на подмогу Двадцать пятому взводу.— И, помолчав, добавил:— Последние из могикан отбывают через несколько минут, и я с ними...

У Солли от волнения пробежал по спине холодок. Он набрал другой номер и слушал гудок за гудком, но никто не отвечал. А радио сообщало:

«...Жители Австралии потрясены этим проявлением расовой вражды. Вызваны вспомогательные войска из двух основных лагерей, они направляются к центру, где сейчас идет бой. Все это кажется нам невероятным и позорным...»

Один из посетителей, сидевший за чашкой кофе, сказал:

— Вот наглецы эти янки. Не лучше проклятых нацистов!

— Ну что?— спросил Сэмюэлс, когда Солли вышел из кафе.

— Все рвутся принять участие,— бросил Солли и полез в машину. Сэмюэлс и австралиец полезли за ним.

— Ну, что теперь?— спросил Сэмюэлс.

Солли взорвался:

— Какого черта вы все время меня об этом спрашиваете?

Он включил мотор и повернул машину к мосту, но, не доехав до угла, остановился. Стрекот пишущих машинок, выстукивавших похоронные, и арифмометров, подсчитывавших жертвы, долетал сюда с того берега; в мирном воскресном небе то и дело вспыхивали молнии. Долговязый австралиец молча забился в угол машины.

Солли повернулся к Сэмюэлсу:

— Прежде чем ехать дальше, давайте выясним, кто мы и где мы и почему...

Смуглое лицо Сэмюэлса покраснело и покрылось капельками пота.

— Как это? Не понимаю.

— Прекрасно понимаете. Я, например, знаю, кто я. Я черный человек и я проберусь к своим товарищам, даже если мне придется пройти вброд по крови белых.

Они даже не заметили, как их спутник выскочил из машины и побежал в сторону моста.

— У вас есть еще возможность передумать и вернуться,— горячо заговорил Сэмюэлс.— От того, что в Южном Бейнбридже станет одним солдатом больше, положение наших ребят не изменится ни в ту, ни в другую сторону. Вам повезло. Вы сможете уехать домой и забыть всю эту мерзость. У вас есть сын, которого вы еще не видели, так исполните свой отцовский долг. Кстати, вернувшись, вы можете и *не забывать* того, что вам довелось увидеть, и что-то предпринять.

Солли слышал удары грома в своем сердце и раскаты его в животе, и мозг его был в смятении, и он гнал изо всех сил мысли о сыне, о Фанни Мэй и о возвращении домой. Перед глазами стояли товарищи и впереди всех — Тихоня, который вышел тогда из очереди на автобусной станции в Эббенсвилле. Сколько с тех пор миновало столетий?.. Да, он очень хочет уехать домой, хочет увидеть своего сына, подержать его на руках, услышать его лепет... узнать хотя бы, какой он... Он хочет любить Фанни Мэй и стать ее мужем. Сэмюэлс прав. Прав, конечно, незачем ехать на тот берег. Он может сказать всем, что у него была увольнительная на субботу и воскресенье и он заночевал у своих друзей-австралийцев, был пьян и спал как убитый, а когда проснулся, война в Бейнбридже уже кончилась.

Сэмюэлс заметил, что Солли колеблется, и усилил атаку:

— И вы принесете куда больше пользы всем, если вернетесь в Штаты и посвятите себя борьбе за построение нового мира. Вот в чем ваш долг перед товарищами. Именно в это верит и Ларкер. В конце концов вы же человек с образованием!

«Конечно,— подумал Солли,— и в конце концов я человек с образованием, и мой долг перед товарищами — выжить и продолжать борьбу. За них... За Джимми... За моего сына. Я человек с образованием... «Доверяйся только рассудку! Чувства — плохой советчик». Спасибо тебе, Милли! Ты была совершенно права!»

Солли круто повернул машину. Он обливался потом, он ненавидел даже дыхание, вылетавшее из его рта. Но он действует, как велит рассудок...

— Ну, и куда? — спросил Сэмюэлс.

— Вы мой командир, и я вам подчиняюсь. Обратно к Селии, а потом домой, в добрые старые Соединенные Штаты, продолжать борьбу. Я сознаю свой долг перед сыном...— Голос его прервался.

Они ехали по длинной широкой магистрали, обсаженной с обеих сторон эвкалиптами, китайскими розами, джакарандами, поинсианой и бугенвиллеями, залитой солнцем, утопавшей в аромате цветущих деревьев и кустарников. В такой день забудешь про войну... И он ее забудет... Дорога, петляя, пошла в гору. Сюда стрельба уже не долетала. Легкий ветерок был нежен и душист, и Солли вдыхал его полной грудью, глотал его, широко открывая рот. Он больше не хочет ничего знать о войне. Не хочет видеть войну и слышать ее омерзительный запах...

Он покосился на Сэмюэлса.

— У меня два взаимоисключающих долга,— сказал Сэмюэлс.— Первый — перед моими солдатами, а второй — перед армией Соединенных Штатов.

Солли снова рассмеялся:

— Ваш первый и единственный долг, Роберт Сэмюэлс,— перед самим собой, и только. «Будь верен самому себе»,— сказал Вильям Шекспир.— Солли поглядел на капитана, покрасневшего от смущения и досады, и понял, что в этих словах кроется ответ и ему самому. Если быть верным себе, тогда нельзя предавать ни сына, ни товарищей, ни Фанни Мэй, ни свой народ, ни свою страну. А если он струсит и убежит, он не простит себе этого до самой смерти. И суть не в коменданте, который что-то знает, и не в Сэмюэлсе или Селии, и даже не в Джимми, а в том, что нечистая совесть будет вечно его терзать...

Он снова крутнул баранку, дал газ и помчался обратно — под гору, и снова под гору, и дальше по шоссе, пока не выехал на магистраль, ведущую к мосту. За всю дорогу он не произнес ни слова. Он вел машину на предельной скорости до самого въезда на мост.

Сердце его колотилось неровными толчками, потная рубашка прилипла к телу. Теперь, сделав свой выбор, он был печален, смертельно испуган и счастлив. Голова негритянской колонны, состоявшей из грузовиков и амфибий, была уже на середине громадного моста, а хвост ее растянулся по улице на два квартала. Но их продвижение задерживал жестокий заградительный огонь с южной стороны. Мост был выпуклый, словно радуга, и первый грузовик, застряв на самой вершине дуги, служил великолепной мишенью для стрелков с того берега. Небо за рекой побагровело — там бушевала война.

Солли наметил себе одну из амфибий, притормозил машину и повернулся к Сэмюэлсу:

— Ну-с, капитан, решайте скорее, какого вы цвета, пока мои товарищи не приняли вас за врага.

— Как это?

— Вы отлично понимаете как, черт побери! Вы с нами или против нас? Последний шанс поджать хвост и показать ваш настоящий цвет, как тогда в Эббенсвилле. Поймите, мне вы ничем не обязаны, я выйду здесь через минуту. Если это не ваша борьба, садитесь за руль и поворачивайте обратно. Забудьте все, держитесь с Селией за ручки и любуйтесь на все это со стороны, как Нерон пожаром.

Сэмюэлс побагровел.

— Вы просто скотина, Сондерс!

— Только не делайте мне никаких одолжений! Скажите одно: какого вы цвета!

Сэмюэлс проговорил почти беззвучно:

— Я иду с вами, черт бы вас побрал!

Солли рассмеялся.

Он поставил машину у обочины и вместе с Сэмюэлсом побежал к амфибии, стоявшей на другой стороне улицы, ярдах в семидесяти от моста. Все пулеметы разом нацелились на них, и казалось, что с каждой миллионной долей секунды улица становится все шире и шире. Но они

все-таки добежали и, ухватившись за борт, уже готовы были прыгнуть в машину, но суровый темнокожий пулеметчик остановил их:

— А ну стойте! — И Солли, голова которого уже поднялась над бортом, почувствовал у горла дуло винтовки.

Он испуганно закричал:

— Сам ты стой, холера! Мы же из Двадцать пятого!

— Так бы сразу и говорил, я твою физиономию первый раз вижу,— сказал пулеметчик.— Почем я знаю, может, вы на сегодня перекрасились в негров!

Солли прыгнул в машину и почувствовал, что он дома, дома! Привалившись к мешкам, уложенным штабелем высотой в два-три фута, он на мгновение закрыл глаза; ему было очень страшно, но он был счастлив. Капрал сунул им в руки по винтовке, и Солли все глубже и глубже уходил спиной в мешки с песком, и они вдруг показались ему мягкими, как плюш. А вокруг гремел гром и сверкали молнии войны, и Солли пристально поглядел на Сэмюэлса, укрывшегося за мешками напротив, и позабыл усталость и страх; всю его скорбь по родной стране, которую он горячо любил, но часто ненавидел, заслонила радость потому, что Боб Сэмюэлс сделал свой выбор, и Боб — его друг, и Боб — его родина, лучшая часть его родины, самая здоровая часть, как сам он, как Джимми, как Червяк, как Скотти и Длинный; и Боб — не фальшивая монета, и вовсе не все белые — подлецы; и ему вспомнились два белых солдата на автобусной станции в Эббенсвилле, и белый солдат в клубе Красного Креста, и Селия, и Доббс, и Стив, и те несчастные зенитчики, которые были развеяны в прах там, на севере Филиппин. Он хотел верить, что вовсе они не подлецы и что есть в Соединенных Штатах белые, которые совсем, совсем не подлецы, которые хотят добра, да действуют неумело...

Он все глубже погружался в плюшевую мягкость твердых мешков и неожиданно уснул и увидел свою мать и своего сына и, смеясь и плача, держал его на руках, а потом он увидел Фанни Мэй, любящую его, верящую в него и ожидающую его, и он справлял с ней свою свадьбу, и Сэмюэлс был у них на свадьбе в военной форме, и были там также Червяк, и Джимми, и Скотти, и Длинный Линкольн, и Солли сказал: «Друг ты мой дорогой, ты же умер!» — и ему было очень, очень грустно, но тут он проснулся от резкого толчка. Где он? Сколько времени он проспал?

Он вскочил и огляделся. Машина проползла еще немного и снова стала. Солли спросил:

— Где мы находимся, черт побери?

— Ты ничего не пропустил,— ответил пулеметчик.— Подвинулись на два шага ближе к мосту, и только.

В голове Солли немного прояснилось, он отыскал глазами Сэмюэлса и сразу вспомнил и кто он, и где, и когда, и почему... И в уши проник гул войны.

— Почему мы не едем на мост? — спросил он.

— А что, по-твоему, мы стараемся делать все это время? — сказал пулеметчик и, помолчав, добавил: — Может, стоило бы пробраться к другому мосту?

— Что ж, тут их четыре,— сказал Солли.

— А ну пойдем,— сказал пулеметчик. Они спрыгнули с машины и побежали к мосту, где смерть косила своей косой направо и налево. Против них на другом берегу растянулась цепь грузовиков, их было невесть сколько, и в каждом — полно белых солдат, и все они стреляли, метя в самый центр радуги. А некоторые из этих грузовиков въехали уже на мост и, медленно продвигаясь вперед, сеяли смерть. Кругом стоял неумолчный грохот. Солли и пулеметчик бежали, пригнувшись, к пятой по счету амфибии от головы колонны, и под ногами у них то и дело

вздымались фонтанчики пыли. Все же они добежали до цели и вскочили в машину. Пули били градом по машинам, и уж какие бы тут, казалось, формальности, но пулеметчик сказал:

— Это наш старший сержант Роджер Джонс.— Старшой был чернокожий с холодными серыми глазами и смутно напомнил Солли сержанта Грира.

Солли представился:

— Я Солли Сондерс из Двадцать пятого десантного. Там гибнут мои товарищи, и я считаю, что нам надо попробовать прорваться к ним по другому мосту.

Роджер Джонс пристально поглядел на Солли.

— По какому другому?

— Ну, например, по мосту Короля Георга. Он отсюда недалеко.

— Ступайте к своей машине, поедем,— сказал Джонс.

Они побежали обратно, крича по пути водителям, что решено заходить с фланга, и те повели машины задним ходом на берег. Стоявшие на противоположном берегу не стали их преследовать, решив, очевидно, что Черная Армия струсила и отступила. Грузовики белых тоже стали очищать мост.

Прежде чем ехать дальше, они вынесли из машин своих убитых и раненых и оставили нескольких солдат охранять их и помочь отряду австралийских добровольцев уложить их в госпитальные машины, которые должны были прибыть.

Наконец они добрались до моста Короля Георга, и амфибия, в которой находились Солли и Сэмюэлс, шла второй в колонне, и солнце палило землю почти так же, как на том тропическом острове в Южно-Китайском море. Машина въехала на мост вслед за головным грузовиком. Все присели на корточки, у всех лица блестели от пота, каждый нервно выглядывал из-за мешков с песком: на том берегу не прекращался бой — пулеметы, автоматы, винтовки трещали, не умолкая, и люди гибли на этой человеческой бойне, в этом кромешном аду.

От середины моста начинался спуск, и машины пошли быстрее. Солли заметил, что пулеметчик улыбнулся, впервые за все время. Он поглядел на Солли и сказал:

— С твоей смекалкой, сержант, тебе бы в Белый дом. Был бы ты с нами спервоначалу, мы бы давно попали в город, черт возьми. Хотя, может, были бы покойниками, взлетели бы уже на небо или ломились в ад...

Солдаты рассмеялись, и это немного ослабило напряжение, Солли засмеялся тоже, и Сэмюэлс засмеялся, и даже у пулеметчика промелькнул в глазах лукавый смешок. Они уже на три четверти прошли мост и все еще тихонько пересмеивались, как вдруг налетел ураган, нацеленный прямо на их колонну, со всех сторон застучали пули, отскакивая от амфибий и грузовиков. Первая машина остановилась в нерешительности. Тогда водитель следующей машины надвинул пониже каску, пригнулся, дал газ и вынырнул из-за передней машины на сторону встречного движения, задев при этом перила моста и едва не угодив в реку. Но он вовремя успел вывернуть баранку и помчался навстречу пулям. И все пулеметы, и все автоматы на его амфибии заговорили разом.

Оглянувшись, Солли увидел, что остальные тоже обходят головную машину и выносятся на полосу встречного движения; теперь неистовая колонна мчалась в два ряда.

Беспощадный ураган огня поливал амфибию, но она неслась вперед, как раненый, истекающий кровью бык. Укрывшись за мешками с песком, Солли стрелял из пулемета, подхваченного им две минуты назад из рук другого парня, который обрел себе «Пурпурное сердце» и вечный покой. Любовно сжимая пулемет, Солли строчил по грузовикам на набе-

режной, особенно облюбовав один, на котором неистовствовал плечистый парень с крупнокалиберным пулеметом. Смерть плясала над головой Солли, пищала в ушах — пинг-пинг-пинг-пинг,— но все машины неуклонно шли вперед. Солли думал: «Где Червяк и Скотти? Живы ли, а может, убиты? Что эти гады сделали с Джимми? Жаль, что я не был с ними сначала. Фанни Мэй, люби меня, люби меня и пойми! И прошу тебя, не выходи замуж за другого, пока не узнаешь, что я погиб. Жди меня вечно! Сынок мой! Сынок мой дорогой! Мама, позаботься о маленьком!»

Грузовики и амфибии, как слепые летучие мыши, неслись по мосту прямо в разверзшуюся перед ними пропасть ада. Солли не помнил, как они очутились на берегу, причем несколько машин врезались в перила моста и свалились в зеркальную гладь реки, но их машина осталась цела, слава богу, каким-то чудом она уцелела и ринулась дальше. А мирное воскресное утро уже давно превратилось в пылающий полдень и с бешеной скоростью устремлялось к вечеру.

Машина, в которой находился Солли, помчалась под огнем обстрела по Мэри-стрит. Пулеметчик Джонсон, припав на колени позади мешков, прочесывал одну сторону улицы, поручив Солли другую. Снайперы скрывались за каждым углом, а у Джонсона были самые чуткие уши на свете, и самый зоркий глаз, и самый острый нюх. Они уже оставили позади три квартала, когда заметили, что машины и люди вдруг куда-то исчезли и стрельба утихла. Джонсон внезапно дал очередь по подъезду одного из домов, хотя там не видно было ни души, и оттуда донеслись дикие вопли, и двое белых солдат ошалело выскочили из своего укрытия и бросились прямо под пули.

На следующей улице их тоже встретила тишина, и Солли облегченно вздохнул, втягивая в легкие пороховой дым и запах солнца. Живы пока! И выскочили из боя! Но передышка была недолгой.

Из-за угла на них шел громадный грузовик. Пока он приближался, Солли молил бога, чтобы там оказались цветные или австралийцы, но сердце подсказывало ему, что это воинственно настроенные стопроцентные янки, и он навел свой пулемет на бледное испуганное лицо водителя, которого он теперь уже отчетливо видел, и тотчас из грузовика стали палить по его амфибии, но он все еще малодушно колебался, надеясь, что Джонсон откроет огонь первым. Однако его пулемет молчал, и Солли подумал, что, верно, и Джонсона уже тошнит от всего этого ужаса, и он на миг оторвал взгляд от грузовика и посмотрел на Джонсона, и сердце его покатилось в пропасть, потому что большой, храбрый Джонсон лежал мертвый. Тогда Солли закричал:

— Сэмюэлс, Боб! Какого черта ты с нами поехал? Кататься?

И его Великий Белый Друг шагнул к пулемету Джонсона, и Солли скомандовал ему:

— Стреляй!

Но амфибию уже поливали огнем, и не было времени ждать, пока Боб прицелится. И Солли выместил всю свою ярость на кабине грузовика, строча слева направо, и бледный как смерть водитель поднял руки, и его машина устремилась на тротуар и, врезавшись в витрину, перевернулась со страшным грохотом, и во все стороны полетело зеркальное стекло, среди дикого крика и воя, словно в джунглях ночью. Амфибия тоже потеряла управление — водитель был ранен и повалился на руль, но Сэмюэлс быстро вскочил на сиденье, оттолкнул солдата и вовремя уберег машину, которой грозило разделить судьбу грузовика. А Солли подумал: «Сукин сын, рад быть за рулем, лишь бы не стрелять!» Теперь вторым пулеметом завладел высокий черный солдат, и в живых их оставалось только трое: он, да Сэмюэлс, да этот черный. Все остальные уже переплыли Иордан. Сэмюэлс выровнял машину и повел ее по странно

затихшей улице. Тишина звенела в ушах, хотя в отдалении еще гремел и перекатывался гром.

— Не спеши! — крикнул пулеметчик Сэмюэлсу.— Я вижу, вон там они вылезают из-под грузовика.— И он дал очередь низко над землей.

Но Сэмюэлс не остановил машины, и через несколько минут они снова попали под обстрел. Солли недоумевал, где же все его товарищи? Мелькнула мысль: если ему суждено сегодня умереть, так хоть бы рядом с ними!

Еще одна тихая улочка; вдруг из какого-то дома к ним навстречу выбежал солдат и стал кричать:

— Сержант Сэнди! Сержант Сэнди!

Сердце Солли так и подпрыгнуло, Сэмюэлс притормозил машину.

— Скотти! Скотти! Черт окаянный! — закричал Солли.

Коренастый солдат подбежал, подпрыгнул и перемахнул за борт. В его сердитых глазах стояли слезы, и Солли тоже с трудом удерживался от слез. Они обнялись и на миг словно лишились языка.

Потом Скотти сказал:

— Черт побери, дружище, встретить тебя здесь приятней, чем мою старуху на Эджком-авеню!

Солли боялся заговорить. Он боялся, что Солдат Львиное Сердце заметит его слезы. Он вспомнил первую встречу с этим задирой. «Если арестованный убежит, вы отбудете его срок... армия не должна нести потерь». Сейчас он понимал Скотти, как никогда прежде. Джерри Абрахам Линкольн Скотти был верным патриотом: для него отечеством было Достоинство, и правительством — Мужество, и родной землей — Свобода. Только на таких условиях соглашался он жить. Или умереть.

Поборов волнение, Солли спросил:

— А где все наши?

— Где-то здесь. Кто убит, а кого еще убивают...

— Я никого не встретил, кроме тебя, за весь день. А где Червяк, Джимми?

— Последний раз, когда я их видел, они еще дрались, но это было рано утром. Кто знает, может, их загнали на Джонс-стрит.

— Да, может быть, может быть...— сказал Солли.

— И это «может быть» — еще не самое худшее, поверь мне! — сказал Скотти.

Странно, что уже минут десять было тихо — ни грома, ни молний. Солли спокойно стоял рядом со Скотти. И вдруг все началось сызнова. Бешено заколотилось сердце, и в животе стали рваться снаряды, и пот прошиб с головы до пят. Если их затащили в полицию, там наверняка полно расистов и полковников военной полиции. Надо ехать туда, а не метаться по улицам, как кровожадные волки. Ехать, драться, не падать духом... А здесь они так и так обречены...

— Как проехать на Джонс-стрит? — спросил Солли.

— Прикажи своему водителю подвинуться, я сяду за руль,— сказал Скотти, и, когда Сэмюэлс подвинулся, уступая ему место, он взглянул на него и оглушительно захохотал.— Вот молодец, товарищ! — Он обнял капитана.— Ты первый из всех белых, про кого не скажешь, что он мертвый лучше, чем живой!

■

Был пятый час утра, и битва в Бейнбридже длилась уже вторые сутки, и с той минуты, как они перебрались через мост Короля Георга, они брали с бою каждый дюйм, не переставая стрелять ни на одну миллионную долю секунды, и Солли уже потерял представление о времени и пространстве, и ему казалось, что у него вот-вот переломится позвоночник, и что он никогда уже не будет больше спать, и никогда у него не

будет больше слез. А ключица, наверно, уже треснула от непрерывной отдачи автомата, а рука совсем онемела, нажимая все время на спуск.

Они дрались за каждый квартал, с боем продвигались мимо каждого строения, каждого дома, перестреливались с каждым грузовиком и с каждой амфибией, боролись врукопашную, как звери. Он видел убитых и тяжелораненых, валявшихся повсюду, но среди них не было ни Червяка, ни Тихони. Скотти убили возле здания полиции на Джонс-стрит.

Амфибия бешено мчалась по узенькой улочке. За ночь Солли и Сэмюэлс три раза меняли машины. С амфибии на грузовик, с грузовика на другую амфибию... Внезапно они очутились на большом сквере, залитом холодным оранжевым светом луны. Война была теперь далеко, и Солли почувствовал отчаянную радость оттого, что он жив и может вдыхать этот прохладный, свежий воздух, похожий на охлажденное вино. Он выпрямился и огляделся вокруг, потом широко открыл рот и крепко зажмурил глаза, жадно глотая воздух. «Была не была!» — как говаривал Скотти.

За скамьей на аллее послышался едва уловимый шорох, и две винтовки нацелились на Солли, подпуская его ближе, еще ближе...

Сэмюэлс не столько услышал, сколько почувствовал этот шорох и, не размышляя, дал по скамье очередь из автомата, который достался ему в наследство от кого-то еще в самом начале этого безумия. Из-за скамьи раздался крик, и тут же все стихло.

Солли ничком бросился на пол машины. Когда к нему вернулся дар речи, он сказал:

— Спасибо тебе, друг! — *Время* отделяло Жизнь от Смерти, и Время могло помедлить, но оно могло оказаться и нетерпеливым!

Его друг сказал:

— Да, пора уже нам считать себя друзьями. Мы здесь достаточно попотели вместе!

— Сегодня ты стал цветным, дружище. Я похлопочу, чтобы тебя приняли в наш *клуб*...

Но Сэмюэлс вскочил и сердито закричал:

— Я белый и я твой друг, а ты негр и ты мой самый лучший друг, и мы оба — друзья человечества. А твой этот националистический бред я слышать не желаю!

Солли вгляделся во мраке в лицо Сэмюэлса и решил обратить все в шутку.

— Как скажешь, дружище.

■

Между Вашингтоном и Бейнбриджем горели телеграфные провода. И уши горели тоже. И было ясно, что многим важным особам военного звания не сносить головы.

От австралийских властей в Вашингтон поступило сообщение о вооруженном столкновении в Бейнбридже, и военное министерство связалось с Аделайн-стрит, штабом американского командования в южном бассейне Тихого океана.

Генерал Бафорд Джек находился на Филиппинах. Один из его прихвостней, генерал-майор Бенсон, получил здоровенную взбучку от Пентагона.

— Никаких извинений, Бенсон! Приказ: прекратите эту чертову расовую войну!

— Но, сэр...

— Вы там что, совсем рехнулись? Не знаете, за что ведется война?

— Но...

— Никаких «но», Бенсон! Немедленно положите этому конец и произведите подробное расследование. Узнайте, кто виновник этого безобразия. Я имею в виду не солдат... Дело требует досконального расследования и военно-полевого суда над виновниками. Это позор для Америки!

— Слушаюсь, сэр.

— И чтоб ни одно слово не попало в газеты, иначе ваша голова полетит, вместе с остальными. Я слов на ветер не бросаю, вы знаете. Никакой огласки, понятно? Предотвратите это любыми средствами, а какими — меня не интересует.

Повесив трубку, генерал Бенсон вызвал командира дивизии и долго кричал, и бесновался, и распекал своего подчиненного на все корки, и сыпал угрозами. А командир дивизии вызвал к себе бригадного генерала Джефферсона Джемисона, командующего базой «Уортингтон фармс», и повторил ему слово в слово то же самое, а тот, свою очередь, потребовал к себе своего адъютанта, полковника Уильяма Брэдфорда Третьего.

— Что вами предпринято, чтобы прекратить этот расовый бунт? — накинулся на него генерал Джемисон. Это был верный сын Юга, как и его адъютант, кадровый военный и бывший воспитанник Вэст-пойнтской академии. Высокий, голубоглазый и преждвременно поседевший, ибо ему было всего пятьдесят лет, он выглядел весьма импозантно.

Брэдфорд только что вошел к нему в кабинет. С трудом отдышавшись, он сказал:

— Пока ничего, сэр. То есть мы пытаемся, но...

— Ничего? — заорал его начальник, выпучив глаза.— То есть как это — ничего? До сих пор ничего не предприняли?

Брэдфорд пока еще сохранял спокойствие. Как ни внушительно выглядел генерал, Брэдфорд не мог питать к нему уважения, ибо, будучи любовником супруги генерала, знал многие интимные подробности жизни великого человека.

— Сэр, я вам телефонировал и докладывал, когда вы вернулись в лагерь, и я не считал нужным, то есть я старался... мы сделали все...

— Слушайте внимательно, полковник Брэдфорд,— сказал генерал.— Во-первых, вы имели возможность остановить колонну и не пустить ее в город. Так ведь? На том все бы и кончилось, но вы позволили черномазым одурачить себя — вы сами в этом признались! — Генерал сделал паузу, презрительно уставившись на адъютанта.— Во-вторых, вы, именно вы — как вы сами же мне признались — спровоцировали мятеж вашими идиотскими звонками по телефону. Если бы вы уделяли столько же старания военным делам, сколько вы уделяете стратегии и тактике проникновения под юбку каждой шлюхи отсюда до Мельбурна, ваш военный гений прославил бы вас в веках!

«Сукин сын знает про меня и про свою жену,— мелькнуло в голове у полковника,— и рад бросить меня на съедение этой волчьей своре. А должен был бы быть мне благодарен. Я развлекаю его Марту, пока он гоняет по всему городу в поисках острых развлечений».

— Перед вами был несложный экстренный случай, а вы, вместо того чтобы шевелить мозгами, впали в панику, как беременная баба. И только вы один отвечаете за все последствия. Ваши действия были истеричны и глупы...

Полковник дрожал от злости и не мог выдавить из себя ни слова. Обретя, наконец, голос, он сказал:

— Сэр, я не могу согласиться с вами. Я не...

Но генерал уже довел себя до белого каления. Он стукнул ладонью по столу:

— Мне плевать, согласны вы со мной или нет,— и он добавил непечатное словцо.— Поступил приказ из Вашингтона. Вы понимаете, что это значит? Кому-то здорово влетит, но только не мне, понятно? Ха! Расовый бунт в Австралии... Когда я разделаюсь с этими черными десантниками, они пожалеют, что родились на свет. А вы, полковник, вы...

— Я не позволю никому сделать меня козлом отпущения, генерал.

— Молчать и слушать, что я говорю. Немедленно собрать всех белых с этой базы, кто пока еще не сбежал в Южный Бейнбридж. Всех собрать под ваше командование. Приказываю вам перевезти их на ту сторону и без всяких эксцессов прекратить это идиотство, которое вы сами начали. Приказываю заняться этим немедленно. Впрочем, я, пожалуй, поеду с вами. Вы, чего доброго, опять нагадите. Извольте доложить, когда все будет готово.

Брэдфорд смотрел на генерала. Теперь вся картина ему ясна. Он станет козлом отпущения, а генерал — героем, прекратившим войну и спасшим армейскую честь... Себя выгородить ему не удастся. Его изничтожат, а генералу Джемисону нацепят еще одну медаль... Но ничего, он все расскажет военно-полевому суду. Пускай все летит к черту, но он и генерала доконает. Вот как. И Брэдфорд почти утешился тем, что доконает генерала. Он обрушит все здание, даже если ему самому суждено погибнуть под обломками...

— Пошевеливайтесь, Брэдфорд! — грубо крикнул генерал.

Брэдфорд отдал честь и поспешно вышел в предрассветную мглу.

— Под суд этих проклятых десантников! — гремел голос генерала в темноте.— Драться захотели, а? Так я вас отправлю прямо на север, на фронт, проклятые черные калеки!

■

Бросив машину, они уже больше получаса шли по залитому лунным светом Южному Бейнбриджу, натыкаясь на мертвых и умирающих, встречая на пути незнакомых солдат — пешком и на машинах, хмурых и притихших, белых и цветных,— и перевернутые грузовики, и опрокинутые амфибии, шли мимо разбитых оконных витрин и видели повсюду следы тайфуна, урагана, землетрясения, обрушившегося на торговый район города. Стрельба уже прекратилась. «Вероятно, исчерпали боеприпасы»,— угрюмо подумал Солли. «Исчерпали ненависть»,— с надеждой подумал Сэмюэлс. Оба устало брели по улицам, переворачивали винтовками трупы, искали своих. Искали в подъездах домов, под амфибиями, под грузовиками. Они видели спящих солдат, заснувших от изнеможения в тот же миг, как только утихла стрельба, и Солли вспомнились нью-йоркские бродяги с Бауэри, спавшие в мороз на панели... Уже брезжил рассвет, когда Солли и Сэмюэлс присели на край тротуара, и весь страх, и скорбь, и усталость, накопленные за эти сутки, сморили их, и они растянулись прямо на камнях, но заснуть не смогли. Солли даже подумал, что никогда уже больше не заснет.

— Пошли,— сказал он Сэмюэлсу.— Надо найти Червяка и Джимми и выбраться из этого проклятого места.— Он хотел встать, но почувствовал, что у него не хватает сил. Собственно, куда спешить? И что их ждет там, куда они явятся? Военно-полевой суд и приговор: отправить на передовую. Там их присоединят к другим обреченным, и этим кончится долгая репетиция смерти. Он даже позавидовал Скотти.

— Посидим еще две-три минуты,— сказал Сэмюэлс.— Давай посидим еще две-три минуты!

— Вставай, пошли! — решил Солли.— Нечего здесь спать. Надо выбраться отсюда. Надо найти своих... Пошли! Пошли! Не спи!

Он кое-как встал на ноги и помог Сэмюэлсу подняться, и они побрели дальше.

— А как отсюда выбраться? — бормотал Сюмюэлс.— В какой стороне мост?

Они завернули за угол и вдруг увидели опрокинутую амфибию, и Солли сразу кинулся к ней. Он заметил на кузове знаменитое тавро Червяка и надпись: «БОРЬБА НА ДВА ФРОНТА ДО ПОБЕДЫ», а сверху большими буквами: «ФАННИ МЭЙ», и обрадовался, как ребенок при виде рождественской елки.

— Червяк! Это Червяк!

Из-под машины они вытащили Червяка, Бэнкса и Джимми.

Они положили их на тротуар аккуратно в ряд и, сев возле мертвых товарищей, заплакали, не стыдясь своих слез. Чаша горя переполнилась. Они забыли, что они мужчины и плакать им не положено.

Нет никакой Свободы и нет никакой Демократии... И мир полон печали, проклятый этот мир,— самое скорбное место во всей вселенной!

Солли встал и посмотрел мутными от слез глазами на своих убитых друзей.

— Клянусь вам, товарищи, что никогда не забуду этого понедельника и всего, что мы пережили в это утро! Я буду вечно всем сердцем, всей душой ненавидеть войну. Я буду вечно бороться со всеми, кто бьет в барабаны войны, прикрываясь святой любовью к родине, буду бороться с ними, в какой бы они ни жили стране, на каком бы ни говорили языке. Всеми силами буду бороться против проклятых стервятников, которые жиреют на крови и трупах!

Теперь он многое понял и не должен этого забывать. Все его надежды откреститься от того, что он негр, были иллюзорны, нереальны, лишали мужества... Все его планы использовать личные преимущества — красивую внешность, характер, образование,— чтобы добиться успеха, попасть в мир белых и обеспечить себя материально, были пустой иллюзией, лишавшей его человеческого достоинства. А Фанни Мэй требовала от него достоинства и мужества. Без мужества он никогда не будет счастлив, к чему бы ни стремился! И если он подпишет частное соглашение с капитаном Чарли, это все равно не гарантирует ему благополучия в громадных цивилизованных белых джунглях, где вечно бушует война. И будет ли ждать его сына благополучное плаванье? Где и когда?.. Нет, он искал спасения не там, где следует!

— Спасибо тебе, Червяк, дружище!

— Что ты бормочешь? — спросил Сэмюэлс.

— Спасибо тебе, Червяк, дружище! И вам спасибо, Мордашка и Джимми! Спасибо тебе, моя дорогая Фанни Мэй! Спасибо тебе, Скотти!

«Никогда не поступайся своим достоинством,— сказала ему Фанни Мэй.— Никогда не приноси в жертву свое мужество!» Он негр и только вместе с Червяком, и с Джимми, и с Бэнксом мог достичь чего-то, что имеет непреходящую ценность... Вместе со Скотти, и с Грантом, и с Длинным. И с Фанни Мэй, и с матерью, и с маленьким сыном. На этом челне плыви, и ты не потеряешь своего человеческого достоинства! Один в волнах открытого моря ты погибнешь. Наверно, Тихоня Джимми это знал, когда вышел из очереди в Эббенсвилле.

Он снова бросил взгляд на мертвых товарищей, и слезы опять подступили у него к горлу. Вина его в том, что он остался жив, один из всех остался жив, а другие все убиты, и сознавать это было горько, и ему было стыдно, что он не может не радоваться, что остался в живых. И он дал клятву себе и товарищам, что он расскажет миру их печальную повесть. Он напишет книгу. Если выживет.

— Если я вернусь на родину, братья мои,— невольно подумал он вслух,— я расскажу всему миру о вашей битве в Бейнбридже. Может быть, еще не поздно сказать во весь голос, что *этот* вопрос должен быть

решен, иначе весь мир постигнет участь Бейнбриджа. Да, весь мир станет таким, как Бейнбридж в это окаянное утро!

Он совсем забыл о Сэмюэлсе и удивился, услышав его голос:

— Быть может, теперь воцарится мир. Вот кончится война...

Солли сердито покачал головой:

— Нет, мира не будет, пока не будет свободы. Нельзя сделать людей рабами и заставить их жить в мире с поработителями!

К ним подошли двое белых солдат и остановились поодаль. Солли и Сэмюэлс по привычке схватились за свои пустые автоматы.

Один из солдат сказал испуганно и хрипло:

— Мы не ищем драки, друзья.— У него был говор южанина.—Мы хотели только присесть и отдохнуть малость.

Солли вскочил:

— Знаем мы! Знаем мы все эти хитрости, черт их дери! Сейчас они нам покажут.— Он покачнулся и чуть не упал.

Второй солдат, потерявший где-то свою пилотку, сказал:

— Какие хитрости, дружище? Мы без сил, устали как собаки, и мы не против вас! — Он поднял руки ладонями вверх, словно проверяя, нет ли дождя.— Гляди, у нас даже оружия нет. Мы сами горюем, что так все получилось. Нам цветные ничего плохого не сделали. И я не хотел ехать в город. Ей-богу, ни я, ни мой товарищ не хотели ехать.

Где-то вдали на шоссе послышалось громыхание машин. Солли понял, что они направляются в их сторону. Над заливом вставало утро, солнце поднимало свой пылающий факел, благословляя зарождающийся день. Солли подумал: «Мир просыпается. Пусть навеки сгинет тьма...»

Боль жгла его, испепеляла. Весь мир в огне. Он хотел верить, что из дымящихся руин поднимется новый мир. Люди образумятся и возведут новое, другое, совсем, совсем новое, совсем другое здание мира. Он хотел верить, что Восток и Запад сойдутся где-то, и это будет скоро, пока еще не поздно им сойтись, пока еще весь мир не превратился в Бейнбридж... Сойдутся и построят нечто новое, не похожее ни на Восток, ни на Запад, ни на Север, ни на Юг, а нечто более совершенное, чем все, что существовало до сих пор... Как ребенок, наследующий черты отца и черты матери, но в целом совсем отличный от них обоих... Он хотел верить, что ложь Киплинга, устарев, утратила смысл. Он яростно хотел верить, что все эти погибшие сегодня люди отдали жизнь не зря. Это научит кое-кого уму-разуму! Можете нас не любить, но уважать нас вы обязаны! Он вспомнил Генерала Гранта с его праведным гневом. Возможно, он был мудрее нас, когда говорил, что мир перевернется и «кто был внизу, поднимется наверх». Возможно, в Африке или в Азии родится новый мир, добрый к человеку... На что еще надеяться?

Откуда-то появилось еще пятеро солдат-негров.

— Как пройти на мост, товарищи? — спросил один из них.

Солли поглядел на их растерянные, измученные лица.

— Присаживайтесь, товарищи, будьте как дома,— сказал он.— Новый мир — здесь!

Они посмотрели на Солли и переглянулись. Еще один прибрел из-за угла.

— Что ж, можно и посидеть,— сказал первый.— Все равно идти-то нам вроде некуда.

И они подошли, сели и стали ждать. Чего они ждали?

Грузовики генерала Джемисона уже вступали в город для выполнения своей миротворческой миссии. Зарождался новый день.

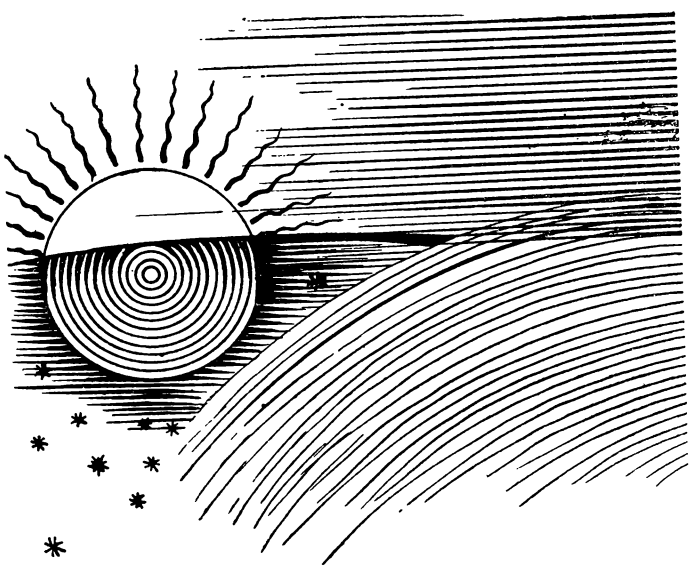
А мы, бедняги несчастные, сидели и плакали.

Литературное наследие

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

Из книги «РИФМЫ»

К 700-летию со дня рождения



Перевод
с итальянского
ЕВГЕНИЯ
СОЛОНОВИЧА

Написанные в разные годы и на разные темы сонеты, канцоны, баллаты и станцы Данте, не включенные поэтом в его юношескую «Новую жизнь» и в более позднее его произведение — «Пир», увидели свет, когда великого флорентийца уже не было в живых. Они составили отдельную книгу стихов, получившую название «Rime» («Рифмы» или «Стихотворения»). Несмотря на двухсотлетнюю известность Данте в нашей стране, русский читатель до сих пор не знаком с этой книгой, составляющей значительную часть творческого наследия поэта.

■ ■ ■

Вовек не искупить своей вины
Моим глазам: настолько низко пали
Они, что Гаризендой* пленены,
Откуда взор охватывает дали,

Проспали (мне такие не нужны!)
Ту самую, которая едва ли
Не краше всех, и знать они должны,
Что сами путь погибельный избрали.

* Гаризенда — наклонная башня, одна из достопримечательностей Болоньи.

А подвело мои глаза чутье,
Которое настолько притупилось,
Что не сказало им, куда глядеть.

И принято решение мое:
Коль скоро не сменю я гнев на милость,
Я их убью, чтоб не глупили впредь.
Недолго мне слезами разразиться
Теперь, когда на сердце — новый гнет,
Который мне покоя не дает,
Но ты, господь, не дай слезам пролиться:

Пускай твоя суровая десница
Убийцу Справедливости* найдет;
Он яд великого тирана** пьет,
Который, палача пригрев, стремится

Залить смертельным зельем целый свет.
Молчит, объятый страхом, люд смиренный,
Но ты, любви огонь, небесный свет,

Вели восстать безвинно убиенной,
Подъемли Правду, без которой нет
И быть не может мира во вселенной!

■ ■ ■

Мое три дамы *** сердце окружили,
Но не вошли в него,
Затем что моего
Владыки в нем — Амура — пребыванье.
И красотою дамы поразили
Амура до того,
Что молвить ничего
Не в силах он и погружен в молчанье.
Усталость, безутешность и страданье
Несут они, изгнанницам под стать,
Не смея уповать
На собственную добродетель боле.
Достойны лучшей доли,
Когда-то были все они любимы,
Не то что ныне, и, не пряча боли,
Теперь, людьми гонимы,
Они пришли как будто к другу в дом:
Ведь я сказал, кто пребывает в нем.

---

* Убийца Справедливости — папа Климент V, отлучивший от церкви императора Генриха VII, в котором Данте видел носителя идеи всемирного государства, призванного, по мнению поэта, положить конец феодальной раздробленности и беззаконию в Италии и во всем мире.

** Великий тиран — король Франции Филипп Красивый, покровитель Климента V.

*** Согласно комментарию Пьетро Алигьери, сына Данте, три аллегорические дамы представляют собой божественную Справедливость, человеческую Правду и Законность.

Подрезанной, к земле поникшей розы
У первой дамы вид;
Она судьбу корит;
Одна рука — страдания колонна —
Обнажена, по ней струятся слезы,
Другою — лик сокрыт,
Что слез дождем омыт.

■ ■ ■

Боса, но видно — высокорожденна;
И сквозь худой покров Амур смущенно
Приметил то, о чем не говорят,
И, жалостью объят,
Спросил владыка, кто она такая.
«Почти что всем чужая,—
Вздыхая тяжко, отвечала дама.—
Влекомая родством с тобой, сюда я
Поторопилась прямо:
Ведь мне сестрой приходится твоя
Родительница. Справедливость я».

Потом о тех, которые молчали,
Амур спросил у ней,
И стыдно за людей
Ему и бесконечно больно стало.
И снова слезы горькие печали
Упали из очей,
И, загрустив сильней,
Она — в ответ: «Как, неужели мало
Недавних слез? Но все узнай. Сначала,
Как, впрочем, знаешь ты, наверно, Нил*
Ключом прозрачным был,
И там, где зелень уступила зною,
Над девственной волною
Я дочерью вот этой разрешилась,
Что светлой утирается косою.

А там и дочь склонилась
Взглянуть на отражение свое
И родила. Вот эта — дочь ее».

Крепился бог любви что было мочи,
Рассказом потрясен,
И, прослезившись, он
Любезно дам приветствовал впервые
И стрел коснулся: «Поднимите очи —
Бездействием урон
Оружью нанесен,

* Нил — по средневековому представлению, одна из четырех рек земного рая.

Сверкавшему во времена былые.
Умеренность и Щедрость и другие
Родные наши нищими бредут.
И пусть рыдает люд
И вслух судьбу корит многоголосо —
С него не будет спроса,
А нам никак нельзя — по той причине,
Что мы спустились с вечного утеса,
И как бы худо ныне
Нам ни было, родится снова тот,
Кто этим стрелам блеск былой вернет».

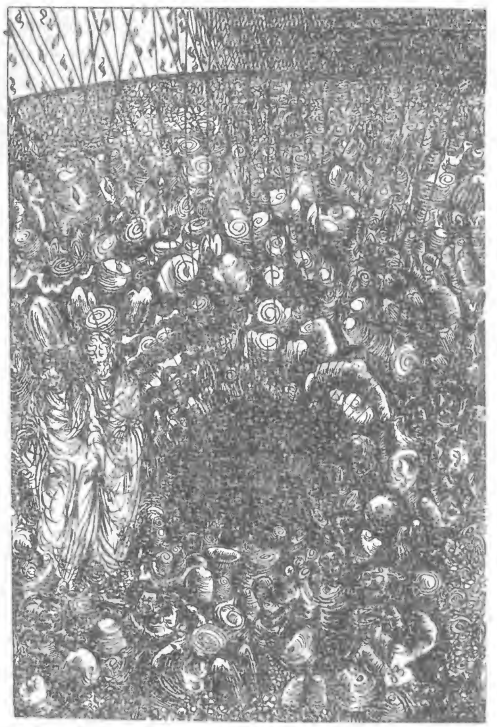
И я, внимая слову утешенья,
Хоть не ко мне оно,
А к трем обращено
Изгнанницам, горжусь моим изгнаньем.
Пусть белыми по воле Провиденья
Цветам не суждено
Пребыть, но, заодно
Кто пал с достойными, того признаньем
Не обойдут. И если б расстояньем
Я не был от красавицы моей
Отторгнут и о ней
Не грезил, мне еще бы легче было.
Но плоти не щадило
Негаснущее пламя, и на страже
У сердца смерть стоит — уж подступила.
Будь я виновен даже,
Недолго прожила моя вина,
Раскаяньем давно погребена.

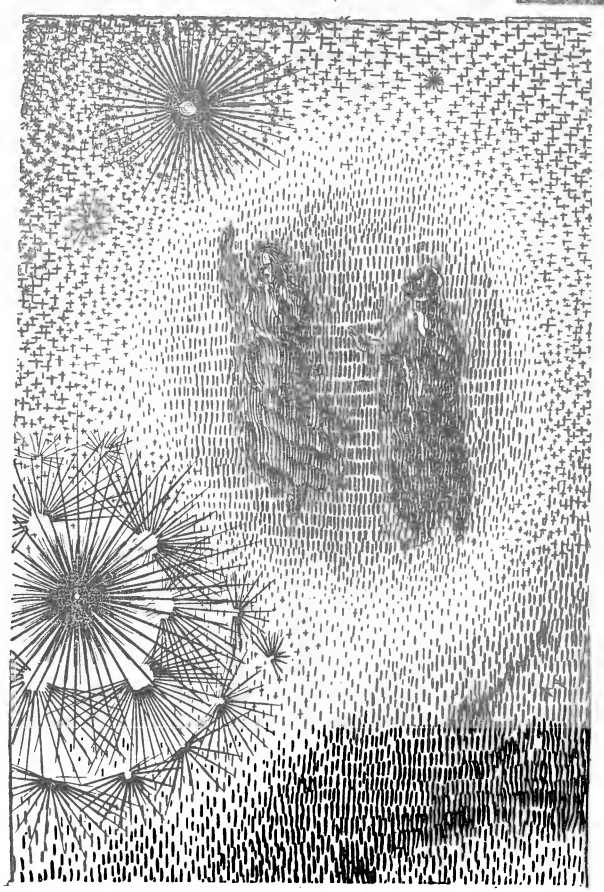
Да не притронется ничья рука,
Моя канцона, к твоему наряду:
Пускай доступным взгляду
Любуются и в сладостную суть
Не тщатся заглянуть.
К тебе, однако, если обратится
Друг добродетели, не обессудь
И, прежде чем открыться,
Вся просветлей — цветка цветущий вид
Желанье в пылком сердце породит.

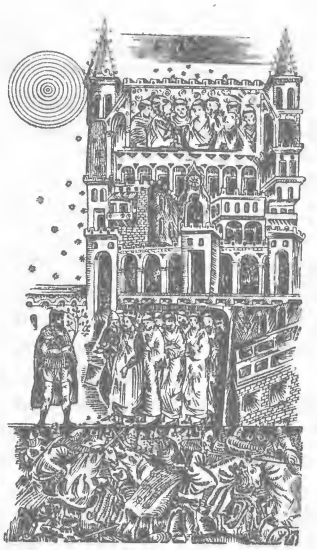
Канцона, птицей белой * мчись на лов,
Канцона, черными лети борзыми,
Что путь под отчий кров
Отрезали, меня лишив покоя.
Ни от кого скрывать не вздумай, кто я;
Разумные уметь прощать должны:
Прощенье — наилучший лавр войны.

---

* Белая птица и черные борзые — намек на флорентийские партии белых и черных гвельфов.







Новые иллюстрации Василия Лактионова к «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Д. ЗАТОНСКИЙ

ИСКУССТВО И МИФ

1. «Почему вы можете это объяснить!»

Выступая в 1964 году на открытии художественной выставки «Миф и символ», Адольф Арндт — сенатор по вопросам науки и искусства в магистрате Западного Берлина — рассказал своим слушателям следующую поучительную историю. Однажды его посетил католический епископ из Азии. Прелат очень удивился тому, что в современной Европе строят церкви в манере Корбюзье, рисуют абстрактные картины и создают странные скульптуры. Арндт долго растолковывал старцу истоки и смысл «нового искусства». Тот слушал с истинно восточным терпением, а когда Арндт наконец умолк, спросил: «Почему вы можете это объяснить?» И Арндт почувствовал себя пристыженным: в самом деле, какое он имел право выражать в словах то, что художник создавал с помощью камня и резца, холста и краски? Разве не поставлены границы попыткам истолкования? Ведь мы имеем дело с «мифическим искусством», которое не следует рассматривать «как сказку, аллегорию или притчу, а именно как миф в его первичной роли, то есть как «слово», которое еще не объясняет (deutet)... но лишь означает (bedeutet), как единство языка и события, которое не только высказывает, но и само является тем, что говорит, беспричинным и лишенным временно́й перспективы, параболой (сравнением) в смысле равенства с существованием».

Хотя Адольф Арндт отнюдь не был первым среди тех, кто заговорил о «мифотворчестве XX века», читателю, не посвященному в секреты модернистской терминологии, все это может показаться несколько странным. Миф? Понятие мифа применительно к современному искусству? Но ведь от всего этого веет какой-то ахейской архаикой! Вспоминается Гектор, преследуемый под стенами Трои, и Сизиф, осужденный богами носить безо всякого смысла тяжелые камни, и царь Эдип, убивший отца и женившийся на матери, и Прометей, бунтующий против Зевса, и Ясон, плывущий с аргонавтами в далекую Колхиду...

Марксизм рассматривает мифологию как бессознательно-художественную переработку природы и общества. Когда в начале своего развития человек начинал познавать окружающую действительность, он на каждом шагу сталкивался с непостижимым, необъяснимым, непроницаемым, с тем, что вызывало удивление и страх. Все это, непонятное и чуждое, все — от грозных сил природы до непознанных социальных законов — он облекал в конкретные, осязаемые образы. Он одновременно отчуждал от себя эти силы и законы и приближал их к себе, «обезвреживая» заклинанием. Река становилась богом, луна становилась богом, огонь становился богом, то есть абстрагировался, получал некую «всеобщность», а безликая власть, давящая и порабощающая абстракция, в свою очередь «обретала плоть» в грубо высеченном каменном идоле.

«Всякая мифология,— писал Маркс,— преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения»...* Но что же может быть здесь общего с новейшим искусством, с современными способами восприятия и художественного отображения мира?

В основу статьи положен доклад, прочитанный на конференции «Современные проблемы реализма и модернизм» в Институте мировой литературы им. А. М. Горького.

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 12, стр. 737.

Гегель писал:

«...Народы в ту эпоху, когда они созидали свои мифические вымыслы, сами жили в стадии поэзии и поэтому осознавали свои самые внутренние, самые глубокие переживания и мысли не в форме мысли, а в образах фантазии, не отрывая общих абстрактных представлений от конкретных образов».

А вот что, уже в наш век, говорил Эрнст Кассирер, признанный авторитет в науке о мифах. В его книге «Философия символической формы» (1925) читаем: «...Для мифического воображения не существует членения тотального комплекса на его составные части, а только единая, неделимая целостность — тотальность, которая не знает разделения на отдельные факторы, в особенности на фактор объективного восприятия и на фактор субъективного чувствования».

Другой современный исследователь, Эрих Фромм, полагает, что символический язык мифов — это такой язык, «в котором внутренний опыт, чувства и мысли выражены так, словно бы они были... событиями внешнего мира».

Как видим, для Гегеля миф — это прежде всего историческая категория и лишь как таковая — определенная художественная форма. Что же касается Кассирера и Фромма, то их уже больше интересует именно художественная сторона мифа, которая начинает так или иначе отделяться от конкретных общественных условий, приобретает самостоятельное, внеисторическое значение. Миф в их толковании представляет собой нерасторжимое единство объективного и субъективного, содержания и его случайного одеяния, это «объективизация», «материализация» субъективного впечатления. Для мифотворца, каким представляют его себе Кассирер или Фромм, порождения его фантазии — реальность, реальность, ничуть не менее конкретная, нежели стена, которую можно потрогать, нежели хлеб, который можно съесть, нежели женщина, которую можно обнять. Мир, который он отражает,— это мир, преображенный его, как стало ныне модно говорить, «человеческим присутствием». Мир этот существует в самом себе и потому целен и не нуждается в объяснении. Он — свое собственное отражение, образ самого себя или, как выразился тот же Эрих Фромм, «средство коммуникации от нас к нам самим».

Кроме того, миф — это как бы картина «чистого существования», то есть освобожденного от всего социально определенного, исторически подвижного. Он, как пишет Гюнтер Блёккер в книге «Новая действительность» (1957),— «тяга к исходным схемам, изначальным образам, к неизменному, покоящемуся вглуби...». Все это к древнему мифу не имеет, однако, вообще уже никакого отношения хотя бы только потому, что, будучи чем-то «изначальным», миф не мог «стремиться к изначальному». Кроме того, миф являлся для своего времени конкретно-исторической формой восприятия мира, пусть это и не осознавалось его коллективным создателем.

Тем не менее в этой эстетической и философской «специфике» мифа — отчужденной, как правило, от его некогда обязательного мифологического сюжета — и ищут нечто родственное современному искусству.

В первой четверти века французский психолог Л. Леви-Брюль выпустил несколько книг («Мыслительные функции в низкоорганизованных обществах», 1910; «Примитивное мышление», 1922 и др.), в которых доказывал, будто миф есть форма «дологического», «дикарского» мышления. И особенность этого первобытного мышления состояла, по Леви-Брюлю, между прочим, в том, что сознание дикаря не отражало объективную действительность, но лишь субъективно организовывало хаотический мир ощущений.

«В мифе,— писал Леви-Брюль,— первобытный человек обретает сопричастность социальной группы с ее собственным прошлым... слушая миф, группа чувствует себя как бы мистически сопричастной с тем, кто сделал это племя таким, какое оно есть».

Итак, миф, по Леви-Брюлю,— не средство познания реально существующего мира, а только способ придать субъективному воспоминанию, индивидуальному человеческому опыту некий обобщающе-объективный характер, придать за счет феномена магической «сопричастности».

Другой психолог, швейцарец Карл Юнг — один из «еретических» учеников Зигмунда Фрейда,— ввел в обиход буржуазной науки понятие «архетипа», то есть неразрушимой и неизменной «модели» человеческого подсознания, аккумулирующей «варварский», «животный», коллективный опыт первобытного человека. Задача искусства, по мнению последователей Юнга, и сводится не к худо-

жественному освоению мира, а лишь к очищению, обнажению «архетипа».

У Леви-Брюля дикарь мыслил только алогично, только в категориях мистической «сопричастности», у Юнга современный человек стал мыслить, как дикарь, во всяком случае, «дикарское мышление» составило фундамент его сознания. Так были открыты те философские шлюзы, через которые «мифическое» хлынуло в XX век.

Среди современных буржуазных ученых встречаются и такие, которые готовы приравнять к мифотворчеству всякое искусство вообще. Так поступает, например, Джон Холловей — автор работы «Концепция мифа в литературе». Он полагает, что «отсутствие анализа и разграничения», свойственное мифу, присуще художественному мышлению, как таковому. Однако другие — и их большинство — видят в мифе только один из возможных путей в искусстве, но путь этот, с их точки зрения,— магистральный путь искусства нашего века.

«Достигнув середины XX столетия,— пишет Блёккер,— мы ощупью спускаемся к тем пределам, где зарождались величайшие проявления всех времен. Не субъективный опыт, не психология, не эксперимент с действительностью интересуют нас прежде всего в произведении искусства, но дикое, непосредственное соприкосновение с первоэлементами, чистый ритм бытия».

В одной из своих старых статей (1946) — она носит название «Творцы мифов» — Жан-Поль Сартр также отстаивал мысль, что мифотворчество — это «новое», «последнее» слово в искусстве. И он противопоставлял тогда экзистенциалистское мифотворчество реализму:

«Поскольку цель наших драматургов созидать мифы, проецировать для зрителей увеличенный и магический образ их собственных страданий, они отворачиваются от постоянного занятия реалистов, направленного на то, чтобы уменьшить расстояние от зрителя к спектаклю... У экзистенциалистов спектакль всегда должен отставаться ритуалом».

Взгляды Сартра с тех пор претерпели изменения, но соотношение между реализмом и той умозрительной формой новейшего мифотворчества, которую он пропагандировал в 40-е годы, осталось прежним.

2. Молоко старой колдуньи

В первом эпизоде романа Джемса Джойса «Улисс» рассказывается, как во время утреннего завтрака трех молодых людей — хозяина квартиры Бака Маллигана и его постояльцев Гэйнса и Стивена Дедалуса — в комнату входит старуха молочница, обыкновенная старуха, которая каждое утро приносит им к завтраку молоко:

«— Сколько вам, сэр? — спросила старуха.

— Кварту,— ответил Стивен.

Он наблюдал, как она переливала в кружку, а оттуда в кувшин густое белое молоко, не свое. Старые сморщенные сиськи. Она налила еще кружку и еще немного. Старая и таинственная, вошла она из утреннего мира, может быть, вестница. Наливая молоко, она расхваливала его. На корточках возле терпеливой коровы, ранним утром, среди сочного луга — ведьма на своем мухоморе,— проворно выдаивая скрюченными пальцами ее вымя. Они мычали, узнавая ее, шелковистые от росы коровы. Шелковая коровница и бедная старуха — так звали ее в старые времена. Бездомная странница, неизменная форма бессмертной сущности, она служила тому, кто ее покорил, и тому, кто беззаботно предал ее, их общая наложница, вестница таинственного утра. Служить или обвинять — он не знал, но просить ее милости он не хотел».

Это мысли Стивена Дедалуса, его индивидуальное, поэтически и мистически окрашенное восприятие внешней действительности — в данном случае старухи молочницы. Но это не просто его мысли. Ткань «Улисса» представляет собою сплошные внутренние монологи трех главных героев — Стивена Дедалуса, Леопольда Блума и жены последнего Молли. Объективный авторский взгляд отсутствует, и поэтому единственная реальность мира в романе — это «реальность» субъективного ощущения, мифического видения. А коль скоро это так, то старуха молочница — «ведьма на своем мухоморе» не только в глазах поэта Дедалуса, но и должна стать таковой для читателя. Ведь последний видит старуху точно так же, как видит ее Стивен, то есть не только наливающей молоко в комнате Бака Маллигана, но и проворно выдаивающей скрюченными пальцами вымя шелковистых коров где-то на «лугах вечности».

Джойс ни на мгновение не выпускает читателя из этой атмосферы многозначности и символической многоэтажности. Дублин и легендарное Средиземноморье, то есть мир действительный и мир мифический, слиты, сплавлены воедино. Миф здесь не просто

одна из возможных форм проявления реального, не художественное иносказание, а сама «реальность», которая не имеет и не может иметь иной, более «рациональной» формы своего проявления.

Джон Апдайк в «Кентавре» тоже сращивает действительное с мифическим — учителя Колдуэлла с кентавром Хироном. Однако у Апдайка, в отличие от Джойса, существует не один, а несколько ракурсов авторского видения: нередко мы глядим на Колдуэлла и «трезвыми» глазами его сына Питера. И это не только дополняет наши представления о герое и его окружении, это сообщает повествованию качественно другой, нежели у Джойса, характер. Мир обретает реальные и в то же время ярко поэтические очертания. Мифическое раскрывает себя как сложное художественное иносказание, иносказание не только допустимое, но в ткани этого романа необходимое.

У Джойса мифическая атмосфера — это не просто особенность стиля, это свойство метода писателя, его мироощущения. Иносказательные образы «Улисса» внеисторичны, порой иррациональны.

Молочница выходит из своего «житейского бытия». И она не только «очищается» от всего конкретного, индивидуального, непосредственного, но и становится «неизменной формой бессмертной сущности», абстрактной эмблемой чего-то общечеловеческого. Однако параллельно с упрощением и снятием покровов идет другой процесс: эмблема обрастает рядом туманных символических значений. Молочница — и «ведьма», и «бездомная странница», и «общая наложница», и «вестница таинственного утра».

Или другой пример. Человек собрался с двумя друзьями на загородную прогулку, но проспал, вопреки своей обычной пунктуальности. Встревоженные друзья, не дождавшись внизу, стучат в дверь его комнаты. Он просыпается, вскакивает. Через несколько минут он уже готов в путь. И вдруг друзья замечают, что у него между лопатками торчит старый рыцарский меч. Они осторожно извлекают меч из тела человека.

Разъясняя смысл этой химерической сценки, занесенной им в свой дневник, Кафка пишет: «Кто согласится терпеть, чтобы древние рыцари шатались по нашим сновидениям, безответственно размахивали мечами, вонзали их в тела невинно спящих и лишь потому не причиняли тяжелых увечий... что... за дверьми стоят верные друзья и стучат, готовые прийти на помощь?»

Сон вторгся в пределы действительности, слился с ней, «материализовался» в образе старого рыцарского меча, неясной угрозой навис над сознанием и даже жизнью человека.

У Кафки — и в еще большей степени у Джойса — ощущается связь с древним мифом, с чем-то традиционно-легендарным, а иногда ритуально-жреческим, шаманским. И тем не менее современное мифотворчество вовсе не сводится к перелицовке или даже переосмыслению древних мифов. Хотя начиналось оно в конце прошлого века именно с этого (например, «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше).

На эллинском мифе об Одиссее построен «Улисс» Джойса, на кельтских мифах — его же «Поминки по Финнегану». И это понятно, потому что, заимствуя у мифа способ видения и изображения, художники вольно или невольно пользовались его фактурой. Однако это вовсе не обязательно, тем более что светлая атмосфера греческих мифов резко контрастирует с умонастроением многих модернистов. У Беккета мы уже не найдем и следа связи с традиционными мифологическими сюжетами. В мифе он берет лишь примитивно-символическую страсть персонифицировать абстрактные понятия, его первозданный страх перед тайнами непознанного мира.

А между тем именно пьесы и романы Сэмюэля Беккета — «В ожидании Годо», «Конец игры», «Последняя лента Крэппа», «Мэлон умирает», «Не имеющий имени» — могут служить наиболее показательными примерами иррационального мифотворчества в современном искусстве. Двое бродяг под деревом у пустынной дороги без тени надежды ожидают прихода некоего таинственного спасителя; жалкий слепой паралитик, мудрствующий в кресле, за спиной которого копошатся в мусорных ящиках его родители; человек, прослушивающий магнитофонную ленту с косноязычной записью истории его никому не нужной жизни,— все это, по словам швейцарской исследовательницы Г. Цельтнер-Нойком, «картина насчитывающего уже добрую тысячу лет последнего дня человечества». Герои Беккета живут «нигде» и «везде», «никогда» и «всегда», то есть, иными словами, пребывают в мифическом пространстве и мифическом времени.

«Время остановилось»,— говорит Владимир, один из двух центральных персонажей «В ожидании Годо». На вопрос Хамма: «Который час?» — его слуга Клов отвечает: «Тот же, что и обычно», а на вопрос, что он видит, выглядывая из окна, Клов отвечает: «Нуль» («Конец игры»). Ничто не движется, нет ни «вчера», ни «сегодня», ни «завтра», а только замкнутое в самом себе мгновение, наиболее экономная аббревиатура «общечеловеческого», внеисторического бытия.

Роман Беккета «Мэлон умирает» является второй частью трилогии, написанной им в 1951—1953 годы и включающей, кроме названного, еще две книги: «Моллой» и «Не имеющий имени». В нем от первого лица беспорядочно и отрывочно рассказывается о медленном, но безостановочном и неотвратимом процессе умирания героя, имя которому Мэлон. Кто такой Мэлон, как он оказался здесь (в больничной или приютской палате, а может быть, и просто жилой комнате), почему он умирает, не знает не только читатель, но и сам герой. Не желает знать этого даже автор. Мэлон просто человек и, как всякий человек, где-то живет и когда-нибудь умирает. Вокруг Мэлона — другие люди. Он не видит их, только слышит: они разговаривают, хлопают дверьми, занимаются любовью. Но это не нарушает одиночества Мэлона. Напротив, присутствие каких-то равнодушных и неизвестных людей лишь усиливает его чувство неизбывного одиночества. По временам течение хаотической мысли Мэлона прерывается картинками из жизни неких непонятных, призрачных персонажей — Сапо и Макмэна.

Однако постепенно выясняется, что это не самостоятельные, суверенные личности, а лишь воплотившиеся в чувственных образах воспоминания героя о самом себе: Сапо — молодость Мэлона, Макмэн — его зрелость. Но они не слепок с его судьбы, ибо Сапо и Макмэн — не только реальные воспоминания, а и мысли, и чувства, и случайные аналогии, возникающие в голове Мэлона. Да и что такое, в сущности, сам Мэлон, как не почти мистическая и в то же время ординарно-будничная материализация импульсов тускло мерцающего, угасающего сознания?

«Все, о чем я рассказываю вам,— сообщает Мэлон,— все это происходит только в моей голове, да, да. Но порой мне кажется, что и сам я нахожусь в чьей-то голове, что я только безвольный объект чужого сознания, галлюцинаторная фантазия, всплывающая в чужом мозгу. Я ощущаю, что эти восемь, нет, шесть, да. именно четыре плоскости, которые охватывают меня со всех сторон, состоят из сплошной костной массы. Могу ли я сделать из этого вывод, что это моя голова, мой череп? Нет, никогда!»

И потому ничуть не удивительно, что, уже скончавшись, Мэлон видит, как двое молодчиков вынимают из грязной постели, тащат по узким коридорам его собственный труп, и мерно раскачивается в такт шагам его запрокинутая, желтая голова.

То, что равнодушно наблюдает за похоронами Мэлона,— это персонифицированная мысль, обретшая самостоятельное, чисто мифическое существование. В последней части трилогии Беккет непосредственно рисует именно этот образ, образ «обретшего плоть» сознания. Герой «Не имеющего имени» — получеловек-полурастение, иногда называющее себя Мехудом, неподвижно торчит в цветочной кадке у дверей ресторанчика. А в это время мысль его в обличье угрюмого человечка быстро-быстро скачет на костылях по «пустыне существования»...

3. «Мифотворцы» или «манеристы»?

Даже эти скупые примеры способны, как мне кажется, показать, что́ имеют обычно в виду, когда произносят слова «современное мифотворчество». Способны эти примеры показать и другую, не менее важную вещь — что не всякий отказ от изображения жизни «в формах самой жизни», что не каждый случай символического расширения художественного образа непременно должен рассматриваться как мифотворчество.

Между тем некоторые экзистенциалистские и фрейдистские теоретики — с целью подкрепления своих позиций — склонны причислить к мифотворцам многих крупнейших художников нашего времени. Так, например, поступает Г. Блёккер. В его интерпретации создателями современных мифов являются не только Кафка и Джойс, Брох и Паунд, но и Томас Манн, Герман Мелвилл, Федерико Гарсиа Лорка, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер.

Любопытно, что такой взгляд на новейшее искусство не всегда находит поддержку даже внутри самого буржуазного литературоведения. Западногерманский филолог Герман Понгс, человек далеко не прогрессивных взглядов, в своей книге «Перевороты эпохи» (1950) полемизирует с мифотворческими увлечениями Блёккера. Опираясь на исследование Густава Р. Хокке «Мир

как лабиринт» (т. I, 1957), Понгс доказывает, что «Блёккер всех тех художников, которых Хокке именует «манеристами», превращает в великанов, воплощающих в себе «новую действительность».

Для Хокке и Понгса «манеризм» (термин обычно прилагался к некоторым направлениям живописи барокко) — это новейшее иррационалистическое, формалистическое течение в литературе, это, по словам Хокке, «самосознание мира, сошедшего с рельсов». Важнейшие художники «манеризма» — Музиль, Кафка, Пруст, Джойс. Но «манеристы» не могут быть мифотворцами, ибо «мифический опыт,— как говорит тот же Хокке,— ...предполагает наивное, невинное отношение к миру». Названные же писатели — натуры слишком мятущиеся, раздвоенные, кризисные, их творчество слишком отчужденно от мира и слишком надуманно, чтобы быть «мифом» и, следовательно, чем-то великим. Это суждение по-своему довольно любопытно. Понгс, конечно, не ставит точек над «i», но четко отделяет модернистское направление, именуемое «мифотворчеством», от искусства, так или иначе связанного с народной поэтикой, с «наивными» мифами, сказаниями, легендами. Причем Понгс отказывает этому модернистскому направлению в праве называться мифотворческим потому, что оно не создает «первичного мифа», а лишь конструирует «вторичный», что оно представляет собой нечто разорванное, искусственное, умозрительное, так сказать, слишком «мозговое».

В самом деле, для искусства некоторых стран со специфическим путем развития (например, стран Латинской Америки, где метафорические легенды ацтеков, инков или майя являются и по сей день живой составной частью национальных культур) миф не умер. Он питает передовую литературу, живопись, театр. Народная фантастика в конечном счете всегда опирается на реальность, на конкретные человеческие представления и потребности. Об этом писал М. Горький.

Однако модернистское мифотворчество оторгнуто от такой здоровой фольклорной основы. Его «наивность» вымучена. От гиперболически веселой или многозначительно страшной маски ничего не осталось. Вместо нее появилась манерная, болезненная гримаса.

Миф, представляющий собой акт коллективного сознания, ибо он связан с историей, обычаями, нравами, отделяется у модернистов от всего социального, становится сугубо индивидуальной конструкцией, и создающего такие мифы художника от субъективного искажения видимого и изображаемого ничто не может спасти — ни чувство неудовлетворенности окружающей капиталистической действительностью, ни искренняя тревога за будущее человечества, ни большой поэтический талант.

Однако «симпатия» к примитивному (но отнюдь не народному, как это может иногда показаться), тяга к наивному, варварски непосредственному, желание спуститься в темные глубины веков, опереться на нечто бесконечно простое, исходное и потому «надежное», «нерушимое» действительно отличает многих социологов, философов, искусствоведов, художников современного Запада. Чем же это объясняется?

Было бы смешным заблуждением думать, будто миф стал модернистской модой лишь потому, что Леви-Брюлю захотелось объявить мышление первобытного человека «дологическим» и «сопричастным» магии, а фрейдисты и юнгисты принялись искать дикаря в современном цивилизованном человеке, что бергсонианцы отдали пальму первенства интуиции, а экзистенциалисты пожелали опереться на «изначальную основу» всякого людского бытия. Источник современного «мифотворчества» не в «идеях», а в условиях общественной жизни, в страхе перед непознанными и непонятными социальными законами капиталистического мира.

Мы живем в сложную и противоречивую эпоху, сложную и противоречивую, как и всякий перелом, поворот мировой истории. Наша эпоха — эпоха вопиющих контрастов: с одной стороны — вершины человеческого величия, с другой — глубины человеческой подлости и жестокости; с одной стороны — Октябрь 1917 года, Интернационал, братание в окопах, речь Ленина с броневика, Димитров, обвиняющий нацизм в Лейпциге, парни всего мира, сражающиеся за демократию на Гвадалахаре, с другой — дележ добычи в Версале, экспедиционные корпуса в Мурманске и Владивостоке, пылающий рейхстаг, залитые кровью Варшава и Прага, Бухенвальд, Освенцим, Орадур-сюр-Глан. С одной стороны — освобождение народов на всех континентах земного шара, народов, берущих свою судьбу в свои руки, с другой — рост гигантских,

немыслимо гипертрофированных бюрократических аппаратов, аппаратов насилия, подавления, уничтожения, конформистского унифицирования. Расцвет науки, проникновение в сокровенные тайны природы и как жуткое «следствие» этого расцвета — Хиросима. Устремленность эпохи в будущее, счастливое, гармоничное будущее,— и мрачная, леденящая душу тень термоядерной бомбы, нависшая над миром.

Разобраться в этих контрастах, понять, что́ есть основное, ведущее, определяющее, где истинные порождения и свершения эпохи и где ее ядовитые отходы — не просто. Отсюда поиски, судорожные метания многих художников буржуазного мира, отсюда и их заблуждения.

По непосредственному своему содержанию мифотворчество не обязательно должно быть чем-то реакционным, варварским, антигуманным. Нет! Побудить к нему может и искренняя боль, неподдельная тревога, страстное желание обрести точку опоры. Но модернистский миф прежде всего детище бессилия, плод заблуждения. Человек не понимает новейший «отчужденный», «индустриализованный», «механизированный» мир. Если он при этом не верит в самое возможность познать правду, не только в свою собственную, но даже в чью бы то ни было способность — тогда он созрел для иррационального мифотворчества.

Вряд ли кто-нибудь согласился бы с прямо и недвусмысленно высказанным суждением, что коль скоро эпоха сложна, то не следует и пытаться постичь ее сущность, а нужно удовольствоваться только первым интуитивным впечатлением. Между тем именно это делают новейшие мифотворцы: вспомним хотя бы слова сенатора Арндта: миф «...не объясняет... но лишь означает...», он «...беспричинен и лишен временной перспективы...» Создается *схема, модель,* но не модель мира, а лишь модель субъективного его восприятия. Мир кажется беспорядочным, абсурдным, непознаваемым. И он моделируется как хаос, как непостижимая бессмыслица. У этого хаоса свои неверные «правила», свои беззаконные «законы», перенесенные сюда не из окружающей действительности, а из мятущегося сознания, творящего миф индивида.

«Если человек не приемлет свое общество,— писал Эрнст Фишер в книге «О необходимости искусства» (1959),— но в то же время страшится его изменения революционным путем, то в сфере литературы и искусства он оказывается в состоянии прогрессирующей десоциализации... «Я», которое лишь кажется противопоставленным обществу, становится в своей изоляции сомнительным и неопределенным... Человек превращается в иероглиф, намекающий на нечто абсолютное, в знак, в символ, позади которого вырисовываются контуры «целостности» и единства, не общественного, а «космического» характера».

Мифотворец «созидает». Но созидание это не имеет ничего общего с активным отношением к миру, к жизни, к истории. Напротив, в социальном смысле мифотворец на редкость пассивен. Он сторонится действительности, бежит от нее. Более того, создавая замкнутую в себе схему, призванную имитировать и одновременно заместить мир, он как бы выдает всему тому беззаконию, против которого только что ополчался, право на жительство, легализирует его и в конечном счете *примиряется* с ним.

4. Не купайтесь дважды в одной и той же реке!

Одним из тех, кто выступил с резкой критикой в адрес новейших мифотворцев и их почитателей, был в свое время, как мы видели, Эрнст Фишер:

«...Миф — речь идет об *истинном* мифе, о мифе, в который верили народы минувших времен, о фантастическом отражении неисследованной действительности, населенной богами, демонами, сказочными существами, или же речь идет о чем-то искусственном, о литературной конструкции, насильственно подделанной под миф, миф техники, смерти, пола, атомной энергии, борьбы за покорение природы, вплоть до дурно пахнущего розенберговского «мифа двадцатого века»?»

Слова эти заимствованы мною из статьи, опубликованной в 1958 году журналом «Зинн унд форм». Статья носит название «Мистификация действительности». Однако с тех пор взгляды Фишера подверглись значительным изменениям. На страницах австрийского журнала «Вег унд циль» (№ 11 за 1963 год) он говорит следующее:

«...Я не захожу так далеко, чтобы в созидании мифов видеть основную функцию искусства, но я считаю ее существенной, для некоторых эпох решающей. Величайшая картина нашего века, «Герника» Пикассо, носит мифический характер, она представляет собой не отражение того, что произошло с испанским городом Герника под бомбами

немецких летчиков, а видение Пикассо, событие, вторгшееся в него и через переживание и сознание претворенное в символ нашей эпохи... У многих наиболее значительных современных художников нельзя не увидеть тенденцию к мифу, к преодолению всяческого натурализма, к отказу от случайных деталей, к концентрации внимания на сути вещей. Но с незапамятных времен существовал не только устремленный вперед революционный миф («так это не останется, в будущем все изменится»), но и устремленный назад, консервативный («так должно быть, так предопределено богами»). Не связанный более с религией, секуляризованный миф нашего века также может быть многообразен: он в равной мере может иметь своим содержанием как страх, отчаяние, абсолютное отрицание, так и надежду, уверенность в безграничных возможностях человека. Он может изображать погружение в хаос (Беккет), проблеск надежды среди отчуждения (Кафка), революционную уверенность (Брехт)... Характерным для мифа будет то, что он выходит за пределы «сейчас» и «здесь», сопоставляет человека с бесконечностью (или с ничто), с его неограниченными возможностями, не отражает внешний мир, а превращает его в переживание и тем самым «деформирует»; значительные образы, которые он заимствует у внешнего мира, он заново сочетает в зависимости от их значения, пытаясь, следовательно, заново сотворить мир.

Этот столь решающий для развития и перспектив искусства вопрос о мифе — соотношение между критической позицией и мифотворческой силой, всестороннее размежевание с теорией отражения потребует еще разнообразных усилий, размышлений, дискуссий».

Следовательно, в 1958 году Фишер относился к мифу отрицательно, ныне — вполне положительно. В 1958 году (в отличие от 1963 года) он, например, не делил мифы на революционные и консервативные, а лишь на истинные и фальшивые, или, иными словами, старые и новые, те, что некогда соответствовали своему времени, и те, что ныне вступили в противоречие с нашим. Современный миф был для Фишера «чем-то искусственным», «литературной конструкцией, насильственно подделанной под миф». Вопрос о непосредственном содержании современного мифа даже не ставился. Не ставился потому, что миф этот как *способ видения*, как *метод изображения* казался Фишеру ложным в основе.

Статья «Мистификация действительности» была направлена главным образом против книги Г. Блёккера «Новая действительность». Фишер убедительно разоблачал блёккеровское стремление выдать Мелвилла и Музиля, Томаса Манна и Федерико Гарсиа Лорку за мифотворцев и сделать это на том единственном основании, что все они прибегают к символическим обобщениям, пользуются метафорическими образами.

«Нарекать «мифом»,— писал Фишер,— изображение самого существенного, выделение основных черт всеобщего в частном — это терминологическая нечистоплотность; идя таким путем, можно объявить мифом и «Гамлета», и «Короля Лира», и «Фауста», и «Человеческую комедию», и «Воскресение» Толстого, и «Мать» Горького и добиться лишь одного — что понятие мифического утратит какую бы то ни было определенность и станет тождественно понятию существенного».

Миф, с точки зрения Фишера 1958 года, это нечто вполне определенное и реакционное:

«Под формулой «возвращение к мифу» следует понимать... отрешение человека от общества, его редукцию до состояния одинокой, беспомощно покоряющейся своей судьбе индивидуальности...»

Блёккеровским мифотворцам Фишер противопоставлял Маяковского, Лакснесса, О'Кейси, Брехта — писателей, о которых автор «Новой действительности» не обмолвился и словом, ибо они не укладываются в русло его концепции,— противопоставлял как художников-революционеров, художников-новаторов, исполненных высокого гражданского пафоса.

Говоря об изменении взглядов Э. Фишера на современное мифотворчество, нельзя не обратить внимание на то отношение к декадансу, которое выражено в его книге «Дух времени и литература» (1964). Отправляясь от бесспорной мысли о том, что деградация буржуазного мира не означает абсолютного упадка связанного с этим миром искусства, Э. Фишер приходит к такому выводу:

«В капиталистическом мире опасны не «формализм», не абстрактные картины и стихи... и не «антироманы»; страшная опасность исходит от в высшей степени предметной, конкретной, «реалистической» пако-

сти — варварских фильмов и комиксов, ширпотреба, насаждающего глупость, подлость, уголовщину».

Спору нет, «ширпотреб» этот необычайно ядовит и опасен. Он — главное орудие милитаристской и антикоммунистической пропаганды. Однако он, собственно говоря, уже вне пределов искусства. Литературоведению следует заниматься литературой. Но если оно даже станет заниматься комиксами, бульварными романами и уголовными фильмами, то все равно только на этом материале не решит проблему декаданса. Эта проблема во всей своей сложности не снята с повестки дня.

Некоторые наши зарубежные оппоненты вообще представляют себе наше отношение к культуре буржуазного общества в высшей степени упрощенно: капитализм загнивает, следовательно, загнивает вся культура буржуазного общества. В действительности советское литературоведение, исходя из ленинского учения о двух культурах в каждой национальной культуре, прекрасно отдает себе отчет в том, что буржуазное искусство и искусство буржуазного общества — понятия отнюдь не тождественные. В искусстве Запада есть и революционное, последовательно прогрессивное крыло, есть и многочисленные внутренне противоречивые переходные формы, являющиеся в той или иной мере его союзниками в борьбе против буржуазного декаданса.

В то же время вряд ли можно согласиться с логикой такого утверждения Э. Фишера:

«Нередко,—пишет он,— друг другу противопоставляют «пессимизм» позднебуржуазного и «оптимизм» социалистического искусства. Действительно, тотальное, отчаянное, безвыходное всеотрицание Сэмюэля Беккета, этого большого писателя без надежды и милосердия, представляет собою антитезу к позиции социалистического художника; но горе литературе и искусству, если историческая уверенность социалиста в том, что мир *можно* сделать достойным человека, упрощается до «эпохального оптимизма»...»

Почему вполне естественное неприятие украшательских и лакировочных тенденций обязательно должно означать приятие (в той или иной форме) Сэмюэля Беккета? Откуда вообще могла появиться подобная альтернатива?

Сегодня часто приходится встречаться с утверждением, будто социалистический реализм это и есть вульгарный оптимизм. И отказываясь от такого рода оптимизма, нужно, следовательно, отказаться и от социалистического реализма как искусства чисто иллюстративного и чисто идеологического. Э. Фишер заменяет термин «социалистический реализм» расплывчатым понятием «социалистическое искусство», которое есть не *метод,* а лишь *позиция* (Haltung) художника. Здесь мы снова-таки сталкиваемся со стремлением упростить позицию оппонента. Социалистическому реализму чужд вульгарный, поверхностный оптимизм, но ему в равной мере чужд и вселенский пессимизм. Истинный социалистический реализм — а не те поделки, которые иногда за него выдавались и на которых основывает свою критику Э. Фишер,— это искусство большой жизненной правды, не уходящее ни от трудностей, ни от жизненных сложностей. И этот социалистический реализм мы будем отстаивать.

Чувство отчужденности, одиночества, недоверия к жизни и связанная с ним мистификация действительности — одним словом, все то, что Фишер прежде (и вполне резонно) считал специфическими порождениями кризиса *буржуазного* сознания,— представляются ему ныне следствием некоего общего кризиса «современной цивилизации».

«Задача крупного художника состоит не только в том, чтобы стать историографом своей эпохи, своего общества, но и в том, чтобы создавать образы и ситуации, которые перерастают свое время и продолжают жить в веках»,— пишет Э. Фишер.

Нет, я далек от того, чтобы отрицать общечеловеческий смысл и значение великих произведений искусства. Бессмертие «Дон Кихота» или «Гамлета» вне сомнений. Однако я не думаю, что обеспечение их бессмертия было «задачей» Сервантеса и Шекспира, то есть что художники эти более или менее сознательно ставили себе целью создание «вечных образов». Диалектический парадокс художнического величия состоит в том, что писатель может перерасти свое время, только оставаясь «его историографом». Данте, Сервантес, Шекспир, Гете отражали свою эпоху; они настолько глубоко проникли в ее сущность, что достигли и неких глубинных пластов общечеловеческого. Но достигнуть этих глубинных пластов можно только так, а никак не в обход эпохи. Не абстракция, а историческая конкретность сделала в конечном счете образы Франчески да Римини, идальго из Ламанчи,

датского принца или доктора Фауста столь емкими, что каждое новое поколение в состоянии вложить в них что-то «от себя».

И если уж пользоваться в данном случае термином «миф», то я бы сказал так: ни Шекспир, ни Гете «мифов» не сочиняли. Великими символическими обобщениями «Дон Кихота» и «Гамлета» сделали последующие века. Даже Гомер в «Илиаде», по-моему, не создавал мифа, а лишь писал конкретную историю Троянской войны, историю, как ее тогда понимали.

Что же до современных художников, которые занимаются «мифотворчеством», то они пишут именно мифы, мифы, а не историю, и поэтому их произведения останутся преимущественно как свидетельства заблуждений определенной и в самой себе ограниченной эпохи.

Как уже упоминалось, Фишер относит к специфике мифа тенденцию к «преодолению всяческого натурализма, к отказу от случайных деталей, к концентрации внимания на сути вещей». Но ведь против натурализма, против второстепенного, поверхностного, случайного, за раскрытие основного и главного борется и передовое, реалистическое искусство, искусство, не имеющее ничего общего с мифотворчеством. Надо думать, все зависит от того, что разуметь под «случайными деталями» и что под «сутью вещей». Если, например, рассматривать в качестве «случайных деталей» самое содержательность изображаемого, если по завершении произведения снимать ее, подобно тому как снимают строительные леса, если считать «сутью» только космическое, мистически-сокровенное и воплощать его в линиях, красках и контурах «чистой» формы — то перед нами действительно окажется миф. Но выдавать это хилое дитя старого идеализма и старой метафизики за новаторство, право, не стоит!

Все течет, все изменяется. Еще Гераклит сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Поэтому не легко найти занятие менее благодарное, чем указывать кому-либо на противоречия, возникающие при сопоставлении его старых и новых взглядов. Подлинная наука невозможна без пересмотра устаревших выводов, без поиска. В работах Э. Фишера, созданных им за долгие годы его деятельности, есть немало ценного. Тем более необходимо отметить то, что нам кажется в его новых высказываниях ошибочным.

5. Магия «человеческого присутствия»

Пример Эрнста Фишера довольно ясно показывает, что вопрос о принятии или непринятии модернистского мифотворчества может быть сведен к вопросу о том, что же в конечном счете призвано делать искусство — отражать ли реально существующую действительность или творить свой автономный поэтический мир? Именно так формулировал этот вопрос Жан-Поль Сартр, выступая летом 1963 года на ленинградской встрече писателей, посвященной роману: «создавать, или отражать, или открывать?».

Конечно, искусство всегда создает свой собственный мир, мир, подчиненный особым законам художественного, мир условный, во многом непохожий на настоящий. Разве не вымышленным миром Фолкнера является округ Йокнапатофа, который не найдешь ни на одной карте США и в который автор собрал всех тех людей, какие только могли ему понадобиться, и поселил их рядом, как в хорошем зоологическом саду, округ Йокнапатофа, где все человеческие отношения заострены, обнажены и упрощены до степени наивной библейской притчи? А разве не поэтическим миром Бальзака был мир «Человеческой комедии» — тоже своего рода зоологический сад, населенный титанами и карликами, бурлящий всеиспепеляющими страстями, разрываемый величественными трагедиями, мир со сгущенной, сконцентрированной атмосферой, заряженной электричеством прозрения? И разве не индивидуально окрашен мир Достоевского с его глубоко травмированными, оскорбленными душами, с его чудаками и моральными уродами, с его болезненной жаждой самоанализа и экстазами самораспятия? Все это миры, отмеченные «человеческим присутствием» их создателей.

И все-таки, почему альтернатива — создавать или отражать? Разве искусственный мир Фолкнера — это одновременно не картина американского Юга? Разве атмосфера Бальзака — это не воздух послеНаполеоновской Франции? И разве книги Достоевского — это не образ великой и нищей России?

Существует мнение, будто всякое подлинное произведение искусства выражает форму присутствия человека в мире. Отсюда

делается вывод, что нет искусства, которое не было бы реалистическим, ибо нет такого произведения, в котором не присутствовал бы человек и не ощущался бы «примат его воли».

Однако дело обстоит далеко не так просто. Присутствие человека в искусстве может быть разным. Человек может рассказывать о себе, но проверять свое «я» сопоставлением с миром. И он может рассказывать о мире, но проверять мир сопоставлением со своим «я».

Мамонт или бизон, нарисованные или высеченные на стене пещеры, были началом искусства. И, невзирая на все их несовершенство, в них было заложено — может быть, даже в особенно обнаженной и ясной форме — все то, что присуще искусству вообще, искусству как особому виду человеческой деятельности. Мамонт на стене пещеры был похож на живого мамонта, бродившего за ее пределами — там, в страшном и жестоком мире кровавой, непримиримой борьбы, борьбы за жизнь, за пищу, за воду, за огонь. Он был похож на живого, его можно было узнать. И все-таки он отличался от живого. Отличался не только тем, что был нарисован или высечен на камне. И даже не только тем, что жалкие орудия, примитивная техника, недостаток художнического умения делали его лишь грубым и схематичным подобием оригинала. Мамонт на стене отличался еще и как творение человеческой мысли и человеческого чувства. Изображая животное, художник не копировал, но выделял самое, в его представлении, характерное. Он старался овладеть явлением, проникая в его сущность и обобщая. Живой мамонт обладал огромными бивнями, и художник изображал эти бивни еще большими, чем они были на самом деле, чтобы подчеркнуть наиболее опасное для себя оружие мамонта. Возможно, он даже хотел предостеречь соплеменников, уходящих на охоту. Так чисто практическая вначале цель становилась средством искусства, более того—одним из его законов. У живого мамонта была длинная шерсть, и художник делал ее еще длиннее. Ноги мамонта выглядели совсем короткими; вся фигура деформировалась, теряла непосредственное сходство с оригиналом. Зато создавалось ощущение некоей почти неодолимой статичной мощи, присущей живому мамонту. И все же это не была действительность вообще, абстрактная и безотносительная, а действительность «человеческая», объективная и субъективная одновременно. Мамонт на стене был уже не просто мамонтом, но мамонтом, увиденным и измеренным человеческим глазом, оцененным его разумом и преображенным его эмоциями. Свойства мамонта выводились художником из сопоставления с самим собой, и они были объективными лишь до тех пор, пока соотносились с качествами человека. С чьей точки зрения мамонт был велик, силен и грозен? С позиции динозавра он казался бы безобидным травоядным карликом, с позиции блохи — чем-то вообще необозримым, вроде Гималайских гор, и потому тоже не очень страшным... Велик, силен и грозен мамонт был *с точки зрения человека.*

Однако «человеческое присутствие» древнего художника в его картине не ограничивалось этим. Умея надежно оперировать пока только размерами, он подчас вкладывал в них свое отношение к каким-то другим, не лежащим на поверхности признакам окружающей действительности. На рисунке, найденном в пещере Ляско (Франция) и относящемся к верхнему палеолиту, быки изображены огромными, несоизмеримо меньшими — лошади и совсем крохотными — олени. Пренебрежение к истинному соотношению величины нарисованных животных можно объяснить здесь тем, что художнику важнее было показать нечто другое — степень опасности, а возможно, и полезности быка, лошади и оленя для человека. И не умея сделать иначе, он показал это так — конечно, с нашей точки зрения, весьма наивно и примитивно.

Но то, что в искусстве более развитом и совершенном скрыто, а порой сознательно зашифровано, здесь выпирает наружу. Наскальные рисунки древних как бы в простоте душевной выбалтывают истину, которую позднее иногда старались превратить в «сокровенную тайну», истину, что искусство всегда условно и всегда отмечено «человеческим присутствием» создателя. И в то же время рисунки древних откровеннее, нежели картины, скульптуры, книги многих последующих веков, свидетельствуют, что искусство и по происхождению своему, и по смыслу, и по цели на редкость утилитарно. Оно помогает открывать мир, познавать мир, жить в мире. Первобытному человеку оно прямо и непосредственно помогало охотиться и уберечь себя от хищных клыков. Оно было для него и заклинанием, символом, ритуалом, с помощью которого он преодолевал свой страх и свою неуверенность.

Уже по одному этому оно не могло не быть тесно связанным с действительностью, не могло не отражать ее.

Но нельзя ли найти что-то похожее в современной условной живописи?

Марк Шагал так комментировал свою работу «Часы». На подоконнике сидит человек — это сам художник. Одиночество. Тишина. Тикают стенные часы. И человеку кажется, что он маленький, незаметный, а гигантские часы заполняют собою всю комнату. Так все это и нужно изобразить: на всю картину гигантские часы, качается маятник, а где-то внизу, в уголке картины, маленький человечек, точечка. Такой образ неправдив относительно действительности, зато он точнее передает «состояние души» художника.

Я не собираюсь здесь давать оценку всему творчеству Шагала — художника очень талантливого, хотя противоречивого и сложного. Я не намерен даже, исходя из сказанного Шагалом, определять свое отношение к его «Часам» — работе раннего экспрессионистского периода,—ибо смысл картины может быть и шире, и глубже того, что предполагал выразить сам художник. В данном случае меня интересует только шагаловский автокомментарий, ибо в нем речь идет *о том же приеме,* которым пользовался древний художник, рисовавший быков, лошадей и оленей на стене пещеры Ляско. С помощью деформации внешних размеров изображаемого Шагал старался передать некие более сложные отношения и представления. Рисуя себя крошечным, а часы огромными, Шагал хотел выразить состояние *своей* души. Это состояние, разумеется, как-то связано с состоянием мира. Но оно лишено настоящей всеобщности, той, что может быть заключена и в единичном, и в случайном. Гигантские, всеподавляющие часы Шагала — это его «личное божество», его субъективное, да к тому же еще мимолетное, видение. Когда же художник из пещеры Ляско рисовал быков огромными, лошадей неизмеримо меньшими, а оленей совсем крохотными, он стремился передать признаки, которые находили в этих животных *все* люди его племени. Здесь-то и обнаруживается принципиальное различие между модернистским мифотворчеством и мифом зари цивилизации. И у безымянного древнего художника, и у прославленного Марка Шагала «человеческое присутствие» автора выдвинуто, так сказать, на передний план. И достигается это с помощью сходного приема. А все-таки мы имеем дело с разными видами «человеческого присутствия». Ибо в первом случае оно по-своему способствует отражению действительности, во втором — исходит, по крайней мере теоретически, из разрыва с нею. «Человеческое присутствие», таким образом, само по себе не может служить основным критерием при определении ценности и значительности произведения искусства.

Фишер, как мы помним, настаивает на «всестороннем размежевании с теорией отражения» И это не какое-нибудь случайно вырвавшееся слово.

По его мнению, «без страстной увлеченности делами изображаемой действительности искусство не существует. Эта художническая увлеченность лишь очень приблизительно определяется понятием отражение».

Но отчего же так «приблизительно»? В. И. Ленин писал: «Ощущение есть субъективный образ объективного мира...» Эти слова являются квинтэссенцией теории отражения. И они устанавливают не границы субъективной свободы отражающего сознания, а лишь тот непреложный факт, что содержанием образа всегда и неизменно остается объективный мир. К размежеванию (да к тому же «всестороннему»!) с теорией отражения можно всерьез стремиться лишь в том случае, если вознамеришься оторвать друг от друга эстетическое творчество и эстетическое познание.

Споры о том, что «главнее» — искусство или природа, всегда казались мне несколько схоластическими. Мих. Лифшиц в статье «В мире эстетики» («Новый мир», 1964, № 2) утверждает, что «искусство вообще, даже наделенное стихийной силой гения, не может догнать природу». Эрнст Фишер, напротив, заявляет, что «произведение искусства не сколок с природы, а новая действительность, и если это великое произведение искусства, то оно истиннее, чем сама действительность».

Достаточно того, что природа первична по отношению к искусству и что они неразрывно, но и диалектически свободно связаны между собой.

Однако как же конкретно такая связь выглядит? Поэтический мир — это не что иное, как *часть действительности,* разумеется, трансформированная даже одним тем, что она отделена от целого. Автор, худож-

ник, не творит мир заново, он преображает его, преображает благодаря тому, что по-новому на него смотрит. А вот что об этом сказал однажды Уильям Фолкнер, писатель, которого ныне так охотно изображают мифотворцем:

«Целью каждого художника является искусственная остановка движения, имя которому жизнь, и его закрепление, с тем чтобы через сто лет, когда кто-нибудь взглянет на произведение художника, движение могло возобновиться, оживиться — ибо является жизнью».

Фолкнер не отрывал творение от воспроизведения, и творение («искусственная остановка движения»), с его точки зрения, служит в конечном счете задачам воспроизведения («чтобы... движение могло возобновиться, оживиться»).

Реализм — это своего рода *мера человеческого присутствия* в искусстве, состояние равновесия между творением и воспроизведением. И стоит это равновесие нарушить, как писатель, живописец, актер непременно окажутся в плену схем, абстрактных, умозрительных построений, чуждых художественной правде.

«Исконное право художника на создание своего собственного мифического мира» иногда отстаивают под флагом борьбы с догматизмом. Но при этом один вид догматизма — грубо утилитарное представление об искусстве как прямой иллюстрации к политическим лозунгам, представление, которое страшится даже самой мысли об интуитивности творчества и, по сути, лишает его всякого своеобразия,— просто заменяют другим видом догматизма. Ибо сводить все в искусстве к мифотворчеству, к стремлению «освободиться от оков» действительного, реального, конкретного мира — это тоже догматизм, ничуть не менее ограниченный и сектантский, нежели его вульгарно-социологический антипод. И сколько бы симпатии и сочувствия ни вызывало у нас страстное желание некоторых зарубежных марксистов утвердить своеобразную и высокую миссию искусства, хочется предостеречь их, напомнив, что цели не достичь ни с помощью нового догматизма, ни за счет эклектической всеядности. И еще хочется напомнить одно место из ленинских «Философских тетрадей»: «Познание человека не есть (respective не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую линию, которая (если за деревьями не видеть леса) ведет тогда в болото, в поповщину...» *

Разве односторонняя приверженность к мифам Джойса, Кафки или Сэмюэля Беккета не напоминает чем-то эту опасную «прямую линию»?

---

* В. И Ленин. Полное собрание сочинений, 5 е изд., т. 29, стр. 322.

М. ТУГУШЕВА

СОЛДАТЫ ДЖОНА БРАУНА

1. НАСТАЛО ВРЕМЯ

Рядовой американский гражданин не ждал никаких особенных событий от лета 1963 года. Хотя безработица находилась на прежнем уровне, хотя президент Кеннеди с тревогой отмечал, что каждый пятый человек в стране ложится спать голодным, грядущее лето не предвещало никаких неожиданностей. Лето будет жарким — в этом американцы могли быть уверены. Оно действительно оказалось «жарким»: в социальном климате страны произошли решительные перемены. Началось грандиозное движение негров Америки. «Негры вышли на улицу,— писал американский журнал «Ньюсуик».— Назад их не вернуть».

Американские негры не раз поднимались на борьбу за свои гражданские права. И каждый раз буржуазная пресса Америки заявляла, что пришел «новый» негр, не желающий мириться с бесправием и угнетением. Важнейшим этапом в развитии негритянской освободительной борьбы стали 20-е и 30-е годы, годы роста рабочего движения в Америке. В 1926 году негр адвокат Бенджамин Дэвис защищал юношей из Скотсборо. Вскоре он стал одним из выдающихся деятелей американской коммунистической партии. После второй мировой войны стало ясно, что нельзя совместить борьбу с фашизмом за пределами страны с расовым неравенством внутри нее. Начинается новая, самая активная фаза борьбы за права негритянского народа.

Эта борьба накладывает отпечаток на все стороны жизни американского общества. По словам американской прогрессивной газеты «Уоркер», значительная часть белых американцев сочувствует негритянскому освободительному движению. Вместе с тем усиливается сопротивление расистов, в том числе и тех членов сената, чьи политические и экономические интересы неразрывно связаны с системой расовой дискриминации. Один из них, бывший кандидат в президенты Барри Голдуотер, как-то заявил, что отмена расовой дискриминации в Америке — все равно что отмена частной собственности. Известно, что он голосовал против законопроекта о гражданских правах, принятого конгрессом США после долгих дебатов.

Реакционные элементы пытаются использовать в своих интересах националистическую негритянскую организацию «черных мусульман». Эта организация требует образования обособленного негритянского государства в Соединенных Штатах, выступает за абсолютную политическую, экономическую и культурную изоляцию негритянских общин в городах. Она убеждает негров разорвать все гражданские связи с Америкой белых.

Однако большая часть негритянского народа не приемлет программу «мусульман», требующую создания «черных штатов». Американские негры считают Соединенные

Штаты своей страной, а себя — американцами и хотят лишь одного: чтобы родина одинаково относилась ко всем своим сыновьям.

Тридцать лет назад один из видных руководителей негритянского движения, А. Филипп Рандолф, мечтал о марше Свободы. 28 августа 1963 года его мечта осуществилась. 210 тысяч участников марша на Вашингтон (30% участников составили белые) закончили поход у беломраморного памятника Аврааму Линкольну, подписавшему закон об отмене рабовладения в США. Обратившись к собравшимся, Мартин Лютер Кинг сказал: «Мы пришли сегодня в столицу нашей страны, чтобы в известном смысле слова получить по счету... В Америке не будет мира и спокойствия до тех пор, пока негры не станут полноправными гражданами. Настало время исполнить демократические обещания».

Есть много причин, в силу которых движение негров активизировалось именно летом 1963 года. В своей книге «Почему мы не можем больше ждать», опубликованной в прошлом году, Мартин Лютер Кинг называет главные из них.

Со времени решения Верховного суда об отмене сегрегации во многих высших учебных заведениях США прошло уже 9 лет. Но в 1963 году только 9% негров-южан учились в школах вместе с белыми. При таких темпах десегрегация в области образования растянется на столетие. Другим фактором было — по словам Кинга — «разочарование негров в обеих политических партиях, не скупившихся на предвыборные обещания». Чаяния негритянского народа оставались неосуществленными. (Правда, теперь его наиболее популярных представителей приглашали в Белый дом на музыкальные «суаре».) Кроме того, пишет М. Л. Кинг, не следует сбрасывать со счета и взаимосвязь между «негритянской революцией» и внешнеполитическими событиями. «Негры не раз становились свидетелями того, как их правительство приводит страну на грань ядерного конфликта. А в виде оправдания... всегда говорилось о готовности Америки пойти на любой риск в целях сохранения свободы». То, что государство, которое якобы намерено отстаивать свободу в чужих странах, не может ее обеспечить для двадцати миллионов человек своего собственного населения, сильно поколебало веру негров в демократию американского образца.

И безусловно, важную роль, как справедливо отмечает М. Л. Кинг, сыграла освободительная борьба народов Африки, оказавшая значительное воздействие на «негритянскую революцию». Американские негры полны решимости воплотить в жизнь принципы Декларации Независимости: «Все люди равны», «Все люди имеют право на жизнь, свободу и стремление к счастью».

2. И «САПОГИ», И «ЧЕРНИЛА»

«Чтобы осуществить Декларацию Независимости, нужны сапоги, а не чернила»,— сказал один из многих тысяч негров, опрошенных в разгар событий 1963 года корреспондентами «Ньюсуик». Говоривший имел в виду, что время письменных петиций, запросов и меморандумов федеральным и местным властям ушло в прошлое, наступила пора действия. Однако «чернилам», говоря символически, суждено сыграть немалую роль в развитии освободительного движения негров Америки, усиление которого совпадает по времени с концом эры маккартизма, когда начались благотворные перемены во всей американской литературе.

Несколько ранее, в 1945 году, Синклер Льюис обратил внимание своих соотечественников на то, что «негритянская революция уже здесь». Отзвуком ее явился роман Льюиса «Кингсблад — потомок королей», известный в нашей стране. В последующие годы появилась целая поросль талантливых молодых писателей-реалистов. Новый творческий подъем начался у «ветеранов» — Э. Колдуэлла, Дж. Стейнбека, поднимающих самые острые социальные проблемы американской действительности. Э. Колдуэлл в романах «Эстервилл», «Дженни»*, «У нас дома»** снова и снова возвращается к расовой проблеме. Только что вышло в свет его новое произведение, охватывающее, по свидетельству писателя, «пятидесятилетие борьбы негритянского народа за свои гражданские права» («В поисках Биско»). Советский читатель помнит гневные страницы Дж. Стейнбека из его «Путешествия с Чарли» ***, обличающие расизм.

---

* См. «Иностранную литературу» № 12, 1962 г.

** См. «Иностранную литературу» №№ 10—11, 1963 г.

*** См. «Иностранную литературу» № 3, 1963 г.

Два года назад был переведен на русский язык антирасистский роман писательницы-южанки Харпер Ли «Убить пересмешника» *. Прогрессивная американская печать тепло встретила «Равнодушный мир» известного писателя Уоррена Миллера. Привлек к себе внимание прессы США и недавно опубликованный роман Шерли Энн Грау «Хранители очага». Антирасистский аспект этого произведения Ш. Энн Грау не понравился литературным комментаторам правого толка. Один из них пишет: «Успех роману приносит не политическая сторона и не рассказ о насилиях, а изображение нежных чувств...» Имеется в виду любовь белого и негритянки, «порядок и стройность» их взаимоотношений, противопоставленные «хаосу расовой вражды» окружающего их мира. Нет слов, утверждение любви, отвергающей расовые преграды,— одно из больших завоеваний современного американского романа, но «Хранители очага» — острый, талантливо написанный социально-политический роман, а не всего лишь любовная «робинзонада». О произведениях уроженки Юга Карсон Маккалерс «Сердце — одинокий охотник» и «Часы без стрелок» не раз упоминалось в статьях советских критиков. Эти безусловно яркие произведения поражают глубокой человечностью и печалью. Время остановилось на Юге США. Тьма расизма безысходна и бесконечна, говорит писательница. Когда же забрезжит утро нового дня и в негров не будут стрелять в их собственных домах, если они поселятся в квартале для белых?!

В период после второй мировой войны не только появилось много писателей-негров, но и существенно изменилась сама негритянская литература, она приобрела более наступательный и оптимистический характер, тогда как даже в произведениях Ричарда Райта, талантливого писателя, сложившегося в довоенный период, часто звучало отчаяние и неверие в будущее.

Естественно, что творчество писателей-негров отражает неоднородный характер самого освободительного движения. Некоторым из них свойственны националистические настроения, другие же выступают с проповедью идеи непротивления расизму. Элементы декадентского изображения «мира цветных», смакование натуралистических деталей встречаются иногда и в произведениях тех писателей, чье творчество играет немалую роль в разоблачении расовой дискриминации. Взаимоотношения белого и негра могут быть поданы как фрейдистский комплекс «негр и белая женщина» — патологическое сексуальное притяжение рас, роковая неизбежность, которая всегда приводит к катастрофе,— именно так решена эта проблема в «Сыне Америки» Р. Райта.

Есть у этой проблемы — взаимоотношения негра и белого — еще один аспект: комплекс вины белого человека перед негром. С предельной законченностью выразил ее Фолкнер в исполненной апокалипсического ужаса символической картине: тень Негра, распятого на кресте Несправедливости, падает на мир белых, омрачает жизнь еще не рожденных младенцев.

«И мне почудилось, что я вижу черную тень в виде креста. И казалось, что белые младенцы, не сделавшие еще ни единого вдоха, изо всех сил пытались избежать тени, которая окутывала их со всех сторон и простиралась так же, как простирались их руки, отчего казалось, что они гвоздями прибиты к кресту. Я видел белых младенцев, всех, когда-либо существовавших на земле и даже еще не рожденных,— длинную, длинную цепь их, раскинувших руки на черных крестах». Писатель как бы хочет сказать: судьбы белого и негра связаны неразрывно, но это — трагическая связь распятого с крестом. Распяв сначала негра, белые в конечном счете «распяли» самих себя на кресте мучительных моральных страданий, обрекши на них и еще ни в чем не повинных детей. Такова сила проклятия: брат убивающий брата, навсегда отмечен печатью Каина.

Наряду с теми произведениями, где остро ставится проблема расовой дискриминации, в американской литературе появляется немало книг, в которых расовая вражда белого и негра предстает как вечное зло, коренящееся в природе людей, так что всякая социальная борьба за равноправие негров выглядит бессмысленной. Ужасы сегрегации изображаются в этих книгах обычно грубо натуралистически и вызывают у читателей чувство безысход-

---

* См. «Иностранную литературу» №№ 3—4, 1963 г.

ности, в лучшем случае — глубочайшую растерянность: не ясно, как же вести себя в создавшемся положении — то ли довольствоваться анархическими выходками, то ли устремиться по пути реформаторства, а может быть, дать событиям развиваться своим чередом и оставить себе роль созерцателя?

Читатель оказывается окончательно запутан, когда, описывая зло расового угнетения, писатели «уравновешивают» его изображением преступлений тех, кто подвергается дискриминации, причем последним, как страдающей стороне, выдается нередко своего рода «отпущение грехов».

В этом смысле очень характерен роман «Человек-невидимка» негритянского писателя Ральфа Эллисона, вышедший еще в 1952 году. Негр в Америке, утверждал Эллисон, лишен гражданских прав, это человек с разрушенной личностью, человек «невидимый», «несуществующий» с точки зрения американской демократии. Эта «невидимость» ощущается неграми как тяжкое проклятье. Протестуя против такого положения, человек вступает на путь порока и преступлений и становится действительно «асоциальным».

Главное в романе Эллисона — попытка героя заявить о себе как о личности, имеющей право на место в жизни. Однако Р. Эллисон в своем изображении негров дал много материала для радости самым отъявленным расистам, утверждающим, что негры — существа низшего порядка. Пьянство, разврат, агрессивность — таковы пороки, от которых погибают персонажи Эллисона.

Чем же завершаются усилия «человека-невидимки» реализовать себя как личность? Ральф Эллисон заставляет своего героя принять как высшую мудрость мысль, что самое важное для человека — «познание самого себя». Но, «познавая себя», его герой отказывается от необходимости бороться против униженного положения своего народа.

Ежедневно на книжном рынке Америки появляются произведения, посвященные расовой проблеме. Это объясняется отчасти тем, иронически заметил обозреватель газеты «Геральд трибюн», что американские издатели «не колеблются эксплуатировать эту очень доходную тему». Для издателей, писал недавно Лэнгстон Хьюз, безразличен цвет кожи писателя, если «негритянщина», то есть роман на расовую тему, обещает хороший барыш, независимо от того, обладает он художественными достоинствами или нет.

Однако даже буржуазная пресса признает, что современному писателю, будь он негр или белый, посвятившему свое творчество расовому вопросу, «трудно избежать радикального ответа на него».

В поисках этого радикального ответа современная негритянская литература стремится порвать с условностями негритянской «экзотики», изображать без буколических «виньеток» взаимоотношения негра и белого, разоблачая сентиментальный миф о незлобивом, преданном и веселом негре и его добром и благородном белом хозяине.

Современная негритянская проза талантлива, хотя по одаренности и глубине социального видения рядом с Хьюзом или Райтом можно поставить, пожалуй, лишь Болдуина и Килленза. В Америке широко распространилась теория о «неполноценности», «посредственности» негритянской литературы, причем ее разделяют и некоторые писатели-негры, например Лерой Джонс, недавно поместивший статью на эту тему в журнале «Сатердей ревью». Корень зла он видит в том, что писатели-негры пишут на потребу дня, не думая об эстетической ценности своих произведений, он упрекает негритянскую литературу в чрезмерном увлечении политикой и «социальностью». Негритянская литература в массе своей «посредственна» еще и потому, продолжает Джонс, что она копирует «литературу белых». В чем же выход? Рецепты, предлагаемые Джонсом, очень напоминают программные положения «черных мусульман» — полнейшая независимость от всего, что связано с миром белых, своя автономная, «черная» литература. Желание противопоставить две Америки — белую и черную — наносит вред освободительному движению. Послевоенное миросознание писателей-негров характерно именно стремлением преодолеть давно укоренившееся понятие о существовании двух Америк. Понятие «моя Америка» (на память сразу приходит известное стихотворение Л. Хьюза) все более упрочивается.

Выступая на митинге за ликвидацию Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности в октябре 1962 года, недавно скончавшаяся Л. Хэнсберри говорила

о том, что американская интеллигенция не имеет права быть безучастной свидетельницей происходящего в стране. Она слишком поглощена, сказала Хэнсберри, такими «важными», сугубо философскими вопросами, как, например, поиски «смысла жизни». «Многие мои современники и коллеги по искусству ищут корни войн, эксплуатации человека, нищеты и отчаяния не в той почве, на которой выросли и сформировались сами эти художники.» Загадка бытия разрешается отнюдь не в одиночестве студий, а в общей борьбе за лучшее будущее. Задача современного писателя (в том числе, конечно, и негритянского) — понять и отобразить в своих произведениях ту мысль, что если человек создал мир неудачно, от человека же зависит переделать его», «создать заново» на основах истинной демократии и справедливости, говорила Хэнсберри*. Этот призыв к действенному отношению к жизни все чаще звучит в негритянской литературе.

Современная передовая американская литература и публицистика последних лет стремятся показать, как шел процесс превращения «невидимого человека» в человека, полного решимости обрести свободу. Особенно обострился интерес к расовой проблеме весной 1964 года. Вышли из печати пьеса Дж. Болдуина «Блюз для мистера Чарли»**, сборник политических статей под названием «Черный, белый и серый», включающий более двадцати статей о расовой проблеме, написанных с диаметрально противоположных точек зрения. Среди авторов статей Дж. Болдуин, губернаторы Орвел Фобус (Арканзас) и Джордж Уоллес (Алабама), Мартин Лютер Кинг. Прошлым летом и была опубликована книга Кинга «Почему мы не можем дольше ждать», а также сборник «Свобода сейчас же. Борьба за гражданское равноправие в Америке» со статьями Болдуина, Кинга и Ломакса.

Все реже в литературе о неграх встречается вышеупомянутый жанр любовной «робинзонады», потому что «укрытие в любви» от бурь действительности ныне невозможно. Именно об этом в первую очередь говорит роман Уильяма Гарднера Смита «Каменное лицо» (1963). Образ главного героя Саймона Брауна — в высшей степени привлекателен. Это человек, свободный от расовой ненависти, добрый, отзывчивый, полный чувства собственного достоинства. Будучи парижским корреспондентом влиятельной американской газеты, он оказывается в особом положении. Во Франции нет расовой дискриминации, направленной против негров. Но он видит, как французские власти издеваются над «бико» — алжирцами (действие происходит в 1960—1961 гг.). Саймон не может остаться в стороне, его враг — расизм, где бы он ни встречался. Каждый настоящий человек должен принять участие в борьбе за справедливость — и Саймон уезжает в Америку. Интересно решена любовная «тема» романа: любовь негра Саймона к белой девушке Марии — естественное прекрасное чувство двух равных, искренне любящих людей, без неприятного физиологического «подтекста».

Одна из причин, побуждающих Саймона возвратиться в Америку,— фотография, запечатлевшая события в Литл-Роке, которую он видит в газете. Эти же события оказались в центре романа негритянского писателя Джулиана Мэйфилда «Большая процессия». Одна из финальных сцен романа — мэр города Грин-Пойнта Дуглас Тейлор ведет к дверям школы белых сквозь толпу разъяренных расистов маленькую негритянскую девочку — написана с большой обличительной силой. Террористическая деятельность «Совета белых граждан», изображенного в романе, очень напоминает деятельность бирмингемских убийц, взорвавших два года назад негритянскую церковь. Кстати говоря, из всех видов оружия представители «Совета» как раз и предпочитают бомбу. Глава «Совета» Кларк Брайант, который «всем сердцем верил, что интеграция — коммунистическая идея», кажется списанным с алабамского губернатора, расиста Уоллеса, разве что первый не масон. Именно Уоллес сказал после бирмингемского убийства: «Кто повинен в этом насилии? Агитаторы и вмешательство коммунистов в расовые дела».

Расизм всегда смыкается с антикоммунизмом и фашизмом — с осознанием этого непреложного факта все чаще встречаешься в произведениях прогрессивных писателей-негров. Так, в романе Чарльза Бью-

---

* Пьесу Л. Хэнсберри «Изюминка на солнце» см. в «Иностранной литературе» № 11, 1959 г.

** Опубликована в «Иностранной литературе» № 11, 1964 г.

М. ТУГУШЕВА

СОЛДАТЫ ДЖОНА БРАУНА

монта «Незваный гость» (1959) расисты объявляют движение негров против сегрегации в школах и решение Верховного суда США 1954 года «инспирированными евреями и коммунистами». Одна из лучших сатирических сцен пьесы Джеймса Болдуина «Блюз для мистера Чарли» разоблачает этот самый «ходкий» аргумент расистов, защищающих свои привилегии.

3. «ВСЕ ЛЮДИ — БРАТЬЯ...»

Американский писатель Генри Джеймс говорил: то, о чем негр думает, что чувствует, чего хочет, к чему стремится, все это — непознаваемая тайна. Все это — неизведанный край, «другая страна».

Джеймс Болдуин так и назвал свой последний роман — «В другой стране» (1962). Вместе с ним, первооткрывателем Улиссом, мы вступаем на «чужой берег». В отличие от легендарного Одиссея Улисс — Болдуин не «залепляет» уши своим спутникам, а то, что они слышат, совсем не напоминает чарующее пение сирен. Стон раздавленной гордости, проклятия ненависти, рыдания безнадежной любви, призывы к отмщению слышит пораженный читатель. Он обескуражен, его страшит эта страна, где обитает униженный, поруганный народ, автор же настойчиво увлекает его за собой и заставляет увидеть то, мимо чего хотелось бы пройти с закрытыми глазами.

Негры и белые, герои романа,— обитатели различных миров, делает горький вывод Дж. Болдуин. Они никогда не поймут друг друга, хотя все они — жители одной «галактики», Америки. Оба эти мира охвачены пожаром взаимной вражды, в котором они и сгорят.

В романе «В другой стране» проявились настроения безысходности и отчаяния, не чуждые произведениям Джеймса Болдуина, талантливого, умного, очень наблюдательного писателя. Они во многом объясняются трудностями, которые выпали писателю на его жизненном пути.

Для мальчика, выросшего в Гарлеме, казалось, была уготована судьба бродяги, находящегося в состоянии непрерывной войны с полицией. Но Джеймса Болдуина, по его словам, «спасло» то, что он стал проповедником, затем протестантским священником. Через три года он оставил церковь, занялся журналистикой, писательским трудом. Своим выдающимся положением среди писателей-негров он обязан не только необычайной одаренности. Его творчество — отклик на самые острые проблемы жизни негра в США. Его творчество — сгусток ненависти ко всему, что связано с расовой дискриминацией. Блестящий психолог, Болдуин, как никто другой из современных американских писателей, может найти самое уязвимое место либерального свободомыслия своих белых сограждан, показать истинную цену прекраснодушного краснобайства о «гражданских правах» и псевдодемократизма, столь характерного для многих «ревнителей» расового равноправия в стране, которая, по его словам, празднует столетнюю годовщину освобождения негров «на сто лет раньше срока».

Сейчас Болдуин щедро наделен славой и признанием. Наряду с голливудскими кинозвездами он — самая яркая знаменитость прессы и телевидения. Кажется странным, что всего четыре года назад он не без горечи назвал сборник своих очерков «И никто не знает моего имени».

Существует мнение, что «наступательная» позиция Дж. Болдуина объясняется влиянием «черных мусульман», в частности его знакомством с их лидером Элайджой Мухаммедом. Творчество Болдуина — тревожный набат, взывающий к совести белых и чувству национального достоинства негров. Многие его высказывания свидетельствуют о том, что Болдуин ненавидит расизм, в каком бы обличии он ни выступал, ибо это всегда «рецепт убийства».

Многое в мировоззрении и художественной практике Болдуина родилось в полемике с миросозерцанием Ричарда Райта, с его отношением к судьбе негра в Америке и вопросу расовой борьбы. Недаром его сборник «И никто не знает моего имени» носит подзаголовок «Заметки еще одного сына Америки». В последнем романе Райта «Долгий сон» (1958) дана очень пессимистическая картина положения негра в Америке. «Прошлое без памяти, будущее без надежды» — таким предстает в романе Райта мир негра. В «долгий сон» погружены чувства собственного достоинства, независимость, честность — сон, от которого «спящие не пробуждаются».

Болдуин-публицист во многом отталкивается от Райта. Он принадлежит к новому поколению, не скованному «комплексом неполноценности» от постоянно ущемляемого национального достоинства. В од-

ном из интервью на вопрос, как он понимает «равенство», Болдуин ответил: «Я не возражаю, чтобы сенатор Истленд из Миссисипи (известный расист.—*М. Т.*) жил, но я против того, что американская республика облекла его властью. И я, конечно, с возмущением отвергаю всякое намерение сделать меня, негра, равным такому человеку, как он». Это новое самосознание полнее всего выразилось в уже упоминавшемся сборнике статей и в другом, более позднем, опубликованном под названием «Завтра — пожар».

В первом из них Болдуин рассказывает о том, как, живя в Париже, он постигал трудное искусство «быть американцем». Подобно Райту, он уехал во Францию, спасаясь от расового произвола. «Удалясь от социальных сил, которые мне угрожали, я почувствовал, что эти силы как бы вошли в меня — я их перевез через океан»,— так пишет Болдуин о душевной борьбе, пережитой в годы добровольного изгнания. Борьба кончилась победой над самим собой. Это решило и писательскую судьбу Болдуина, решило для него вопрос о роли писателя в борьбе его народа. Отныне он — не сторонний наблюдатель; в отличие от Райта его место — в Америке. Его задача — понять «законы общества», по которым живет его страна. Больше всего возмущает Болдуина желание некоторой части негритянской интеллигенции примириться со своим положением и не требовать «слишком многого». Нет, нужно бороться за приобщение негра к жизни страны, как равноправного члена общества, бороться против равнодушия, отчаяния, вызванных неверием в возможность добиться лучшей участи.

«Мы живем в стране,— писал в одной из своих статей Болдуин,— где слова используются главным образом для того, чтобы убаюкивать спящего...» Задача писателя, утверждает Болдуин,— «пробуждать». В одном из лучших эссе сборника — «Муха в пахте» — он рассказывает о том, как день изо дня мать-негритянка, не отступая перед опасностью, пренебрегая угрозами расистов, посылает в школу для белых своего единственного сына. Она так объясняет свою решимость: если не научить сына быть человеком с юности, он никогда им не станет. Наступили новые времена. Мальчик понимает, что в этой ежедневной борьбе он завоевывает право на лучшее будущее не только для себя, но и для своего народа.

Американская буржуазная газета «Геральд трибюн» писала в своем литературном приложении: «Для нас опять настало время, когда возникают пользующиеся поддержкой масс такие движения, как это (негритянское.— *Прим. ред.*), во главе которых стоят интеллектуалы типа людей тридцатых годов». Тридцатые годы в Америке были, как известно, годами обострения классовой борьбы пролетариата и расцвета американского «рабочего» романа. Сейчас передовые негритянские писатели закономерно приходят к переоценке многих классовых представлений. Полтора года назад Дж. Болдуин, выступая с лекцией в Нью-Йорке, сказал собравшимся, что система сегрегации неразрывно связана с установившимися в Америке государственными порядками, а они, в свою очередь, обусловлены существованием в стране власти капиталистических монополий.

Это заявление очень знаменательно. Оно говорит о революционизирующем воздействии негритянского освободительного движения на творчество писателей-негров, на американскую интеллигенцию.

Главная мысль выступлений Болдуина в последнее время — утверждение общности интересов белых и негров. «Все люди — братья,— пишет он в предисловии к пьесе «Блюз для мистера Чарли», которое он назвал «Ноты для блюза».— И если нельзя убедить в этом закоренелого расиста, пребывающего в «кромешном духовном мраке», то надо открыть глаза хотя бы его детям».

Пьеса Болдуина сложна и противоречива: в ней отражено многообразие мироощущений, владеющих негритянским народом,— от религиозной покорности (матушка Генри) до воинственной озлобленности (Ричард). Интересна фигура белого «негрофила» Парнелла. Болдуин изобличает в нем тех самых либералов, которые не смелы и половинчаты в преодолении расовых предрассудков. Парнелл стремится быть справедливым, но его справедливость, страшась самой себя, идет не прямой дорогой, а окольными путями.

Нельзя не признать, что иногда Болдуин сужает значение и смысл расовой борьбы, сводя ее к «извечной» вражде белого мужчины к негру, в котором он видит своего «соперника». Болдуин стремится разобла-

---

М. ТУГУШЕВА
СОЛДАТЫ ДЖОНА БРАУНА

чить этот миф, как и другие подобные мифы. Глубоко в сознании американского народа укоренилось представление об Америке как стране счастливых и равных возможностей для всех, стране удачи и свободы, о которой до сих пор поется в «пограничных» балладах, стране, где женщины чисты, мужчины смелы, благородны и не мудрствуют лукаво, а жизнь течет спокойно и размеренно. Между прочим, именно на этом комплексе «американизма» спекулировал (и не безуспешно) Голдуотер в ходе предвыборной кампании 1964 года, апеллируя к чувствам «простого, настоящего американца».

Джеймс Болдуин показывает оборотную сторону этого американского «демократизма». Этот «демократизм» основывается на расовом угнетении 20 миллионов негров, говорит он, на ханжестве, мещанской ограниченности и нетерпимости, которая является благодатной почвой для всякого рода предрассудков. Недаром именно в этой мещанской среде так успешно прививается национализм и антикоммунизм.

Расизм, вновь и вновь подчеркивает Болдуин, растлевает души как угнетателей, так и их жертв. Ричард заражен не только комплексом мужского превосходства, его отношение к белым иногда кажется продиктованным идеями «черного мусульманства» — достаточно вспомнить хотя бы его многозначительные слова о том, что «черные должны выгнать всех белых вон».

Времена изменились, времена «раскололись», даже блюзы, которые белые так любили за мелодичную грусть, стали мифом. Теперь в них звучит ярость и ненависть негритянского народа, говорит Меридиан. Этот блюз ненависти и поют сейчас негры для белых.

Пока существует расизм, невозможно сделать Америку цветущим и благодатным краем. Однако «слишком много поставлено на карту, чтобы негры и белые противопоставляли себя друг другу. Надо всем «миром», сообща бороться против расовой дискриминации, нужно вместе идти по одной дороге» — этими словами заканчивается пьеса Болдуина. Но «мистер Чарли должен измениться», чтобы этот союз был прочным и дружеским.

Болдуин хочет от своих читателей «любви к ближнему» — требование, которое может показаться абстрактным, но только в том случае, если забыть, что Болдуин прежде всего социальный критик. Именно это в нем порицает «Партизан ревью», недавно горько сетовавший на то, что с каждым днем все меньше и меньше становится писателей, создающих и исследующих индивидуальности, и что «многие из писателей (в том числе Болдуин.— *М. Т.*) могут быть названы «литературными» исследователями общества, растрачивающими свои силы главным образом на описания социальной борьбы...»

«Порицание» — говорящее в пользу как Болдуина, так и всей прогрессивной американской литературы.

Широкую известность в США приобрело творчество другого талантливого негритянского писателя — Джона Оливера Килленза.

В его романе «Молодая кровь» (1954) уже явственно проявляются черты «нового миросозерцания», к которому негры приходят в результате многолетней борьбы за равноправие. Американский Юг изображен в романе Килленза правдиво и страшно. Разгул расовой дискриминации по-разному влияет на души и характеры главных героев — Джорджа Янгблада (буквально фамилия переводится как «молодая кровь») и его жены Лоры Ли. Джордж вооружает свою душу религией, покорность и непротивление — вот его «символ веры».

Однако негры все меньше верят в непротивление злу насилием. Кроткий Джордж Янгблад не выдерживает издевательств надсмотрщика и восстает против него. Сын Джорджа Робби уже никогда не примирится с положением униженного и оскорбленного, в его жилах течет обновленная, «молодая кровь», в нем крепнет воля к борьбе и сопротивлению расовым бесчинствам.

Не так давно старейший американский журнал «Харперс» посвятил обширную статью бесправному положению негров в армии США. Со скрупулезной точностью автор статьи перечислил факты бесчеловечного, унизительного отношения белых офицеров к черному «пушечному мясу» в мирное время.

Новый роман Килленза «И тогда мы услышали гром» (эти слова произнесла известная аболиционистка Генриэтта Табмен, когда раздался гром пушек северян) разрушает миф об «окопном» равноправии, якобы царившем в армии во время второй мировой войны.

По словам прогрессивной американской газеты «Нэшнл гардиан», автор «сорвал по-

вязку с одной из самых незаживающих язв на теле нации... Роман отражает гнев людей, взятых в армию для того, чтобы защищать страну, угнетающую их».

Соломон Сондерс, испытав дискриминацию сначала в учебных лагерях Джорджии, а потом в боях на Тихом океане, озлобляется и, когда его товарищи-негры вступают в бой с белыми солдатами, своими же соотечественниками, говорит: «Вот это моя настоящая война»,— так до него «долетел» гром пушек, возвестивших сто лет назад начало борьбы за свободу. Армия, солдатом которой он является, ведет борьбу против фашизма — но это расистская армия. Автор не только сдирает оболочку красивости с войны, показывая ее в крови, рвоте, смертном страхе, он сомневается в ее демократическом характере — жизнь предстает полная злой, невыносимой иронии: расисты воюют с фашизмом. Это противоречие раздирает душу Соломона Сондерса, вызывает у него ненависть к Америке белых, которая обрекла его народ на бесправие и унижение.

И в то же время он приходит в ужас при мысли, что может разлюбить родину. Он благодарен белому капитану Сэмюэлсу за то, что может назвать его другом. В решающий момент тот вместе с солдатами-неграми выступает против озверевших линчевателей. Сондерсу снова возвращена возможность любить Америку. А ведь был такой этап в его жизни, когда, дойдя до предельного отчаяния, Соломон Сондерс в своей ненависти готов умереть, как Самсон, обрушив на себя «здание» современной Америки, лишь бы при этом погибли «филистимляне» — белые. Именно в этот период Сондерс отдает дань обостренному национализму — от обиды, от постоянных издевательств над его человеческим достоинством. Его одновременно и привлекает, и отталкивает убежденная, абсолютная ненависть ко всем белым, которую испытывает один из его друзей по роте Генерал Грант — олицетворенный «рупор идей» «черных мусульман». Сондерс всей душой жаждет опровержения «лжи» Киплинга. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись».

В финальной фразе романа: «А мы, бедняги несчастные, сидели и плакали» — звучит признание, что еще можно надеяться на будущее, потому что это плачут люди, не потерявшие, а ищущие землю обетованную. Если негры и белые могут вместе плакать над ужасной братоубийственной резней между ними, американцами, значит, еще не все потеряно, значит, еще можно вместе построить «новый мир». И этого можно достичь лишь одним путем — борясь «на два фронта»: с фашизмом, выступающим в обличии расизма внутри страны, и с фашизмом за ее пределами, против которого сражаются союзнические армии и все прогрессивное человечество.

Книга Килленза подкупает своей искренностью. Она поистине рождена в муках — такой болезненный след лично пережитого носит каждый ее эпизод. Этот большой роман производит странное впечатление незаконченности, словно многочисленные страницы не в силах вместить всю полноту горя, выплеснувшегося на них.

И произведения Болдуина, и роман Килленза не свободны от националистических настроений. Причину этого не трудно понять — расовое неравенство слишком больной вопрос для народа, столетиями испытывающего на себе национальный гнет, и преодолеть подобные настроения писателям, видящим вокруг себя и испытывающим на собственном опыте все обиды и тяготы дискриминации, не легко. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что успехи демократических, прогрессивных сил США внесут в творчество негритянских писателей более определенные оптимистические интернационалистские ноты.

В сентябре 1963 года, вскоре после похода на Вашингтон, американский писатель и критик Харвей Сводос писал о том, что «негритянская революция» окажет немалое воздействие на литературную жизнь Америки. В течение трех столетий негров угнетали, презирали и держали в невежестве. И почти чудо, пишет Сводос, что среди них появляются такие писатели, как Ричард Райт, Джеймс Болдуин и Ральф Эллисон. Говоря о будущем американского романа, Сводос утверждает: «Несомненно, настанет день, когда будет невозможно измерить вес и значение американской литературы на мировой арене, не принимая в расчет творчество американских негров, и не как негров, а просто как американских писателей. Этот день придет скоро, лишь только негритянская интеллигенция освободится от необходимости обращать все свои

М. ТУГУШЕВА
СОЛДАТЫ ДЖОНА БРАУНА

физические и духовные силы на завоевание того, что ей принадлежит по праву».

Сводос несколько опоздал со своим прогнозом: негритянская литература уже является неотъемлемой частью американской литературы, очень весомой с точки зрения ее художественной ценности. Об этом говорил в свой недавний приезд в нашу страну известный американский писатель Джон Стейнбек.

Но Сводос абсолютно прав, утверждая, что мужество и храбрость борцов за свободу не могут не породить замечательную литературу:

«С тех пор как мы узнали о существовании нацистских лагерей уничтожения и сбросили две бомбы на Японию, нас угнетает чувство бессилия, ощущение того, что мы попали в ловушку, расставленную какими-то безликими могущественными силами, борьба против которых не только тщетна, но и бессмысленна. Из этого чувства бессилия возникла литература, сначала выражавшая смирение, затем пустоту. Она все больше и больше утверждалась, и вот, наконец, стало возможным создавать бессодержательные произведения и рассматривать абсурд как самую разрушительную силу в мрачном и наводящем уныние мире.

Но теперь, когда молодые мужчины и женщины показывают, что они могут добиваться невероятного в борьбе за гражданские права, что жизнь не бессмысленна, но бесконечно значительна, что... проявляя убежденность и волю, они могут творить чудеса, начиная с того, чтобы купить чашку кофе (в ресторане «только для белых».— *М. Т.)*, и до того, чтобы получить приличное образование, жить бесстрашно, как герои прошлого... мне кажется, у нас на глазах создается целый новый мир, достойный новых мифов и легенд, мир невероятных деяний, которые могут стать источником вдохновения для еще не рожденных поэтов. Я не могу знать, о чем они напишут, но я завидую тем, кто придет нам на смену и сможет это прочесть».

...С той же неуклонностью, с какой сменяют друг друга времена года, демократическое движение за права негров растет и развивается. Путь, политый кровью борцов за свободу, еще далеко не окончен.

...Тело Джона Брауна в сырой земле зарыто,
Но дух его идет вперед,—

пела армия северян, вступая в южные штаты. В братстве негров и белых — залог успешной борьбы негритянских масс и их союзников за подлинное равноправие, за подлинный социальный прогресс. Она безусловно вызовет к жизни немало новых талантливых произведений американской литературы.

Культура и современность

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

КОРНИ УХОДЯТ ВГЛУБЬ

Человек спит, уронив голову на руки. А за его спиной происходит что-то чудовищное: нацеливаются жерла каких-то странных орудий, полыхают над раскрытой книгой языки пламени, виднеются страшные морды, то ли человеческие, то ли звериные. Так выглядит литография Фрица Кремера, смысл которой проясняется ее названием,— «Когда спит разум, выползают чудовища». Этот рисунок воспроизведен в майском номере еженедельника «Зоннтаг», посвященном началу Международной встречи писателей в Берлине и в Веймаре. Внутренняя связь между этой интернациональной встречей и произведением известного художника определяется общностью поставленной задачи: стремлением призвать человечество к бдительности. Разум должен бодрствовать, потому что явные и тайные враги мира на земле не дремлют.

Международная встреча писателей в Берлине и Веймаре, состоявшаяся с 14 по 22 мая 1965 года, приурочена не только к 20-летию со дня разгрома германского фашизма, но и к 30-летию со дня происходившего в Париже антифашистского конгресса писателей, названного конгрессом в защиту культуры. Вот почему в ГДР на страницах майских газет и журналов парижский Международный конгресс 1935 года упоминается снова и снова.

...Это случилось еще раньше, перед 1935 годом. Ян Петерсен, который был одним из руководителей «Союза пролетарских революционных писателей Германии» и стал главой подпольной организации писателей-антифашистов, пришел в квартиру, занимаемую молодыми художниками, мужем и женой. В этой квартире изготовлялись фотокопии подпольного издания «Штих унд хиб», насчитывавшего семь страниц машинописного текста. Для того чтобы вышел «тираж», надо было сделать не одну сотню фотокопий. И вот когда очередная серия снимков была развешена для просушки, раздался звонок. Он повторялся без конца, все настойчивее, все пронзительнее. Хозяин дома открыл дверь. Оказалось, пришел служащий снять показания счетчика...

Эта быль рассказана Яном Петерсеном в майском литературном приложении к газете «Нейес Дейчланд». Там же — фотоснимок одного из номеров «Штих унд хиб». того, в котором печатался отрывок из книги Яна Петерсена «Наша улица», созданной в 1933—1934 гг. в Берлине и посвященной героям антифашистского подполья.

В другом, но тоже майском номере «Нейес Дейчланд» напечатана статья Яна Петерсена, в которой он переходит от прошлого к настоящему.

«В мае 1935 года в мою комнату на Кнезебекштрассе в Шарлоттенбурге явился связной из-за границы и приветствовал меня словами: «Добрый день! Помните

ли вы еще, как мы пили кофе у моей тети Хульды?» Это был пароль. Связной предложил мне поехать в Париж на Международный конгресс и выступить там от имени немецких писателей, участников подпольной борьбы,— пишет Ян Петерсен.— Это было необычное задание. За время моей подпольной работы я десятки раз переходил границу фашистской Германии, чтобы посоветоваться с эмигрировавшими в Прагу товарищами. Но обычно мое отсутствие хранилось в строжайшей тайне и длилось не больше одного-двух дней. В Праге я встречался только с Виландом Герцфельде и Францем Вайскопфом. А если я поеду в Париж, сам факт моего исчезновения из Берлина на две недели может показаться нацистам подозрительным».

И все же Ян Петерсен выполнил задание. Он вспоминает, как в Париже на конгрессе его гримировали за сценой, как он надел черные очки, заменившие маску. В списке выступавших он коротко именовался: «Клаус — Германия». К тому времени, когда он вышел на сцену, всех фоторепортеров удалили из зала, все входные двери заперли. Генрих Манн, глава антифашистской литературной эмиграции, пожал ему руку. И тогда делегаты конгресса, писатели тридцати семи стран, молча встали — все, как один. Они почтили вставанием павших и живых борцов за освобождение Германии от фашистского гнета. Ян Петерсен прав, когда он пишет:

«Тот факт, что представитель борющейся Германии участвовал в конгрессе, для присутствующих был исполнен глубокого смысла».

Петерсен рассказывает о забавном случае, происшедшем в тот день с Бертольтом Брехтом. Ему было жарко, и он пошел выпить лимонаду, а потом тщетно ломился в закрытые двери. Впоследствии Брехт говорил, что никогда в жизни не платил за лимонад так дорого.

«С тех пор прошло тридцать лет,— пишет в заключение Петерсен.— Теперь, как и прежде, писатели тоже несут ответственность за судьбы человечества».

Он добавляет, что теперь, через двадцать лет после разгрома германского фашизма, над человечеством нависает опасность новой мировой войны, еще более страшной, чем прежняя. Писатели, владеющие силой слова, могут и должны способствовать предотвращению этой опасности.

Петерсена радует, что нынешняя Международная встреча писателей состоится на его освобожденной, на его обновленной родине, в Германской Демократической Республике.

«Всем участникам встречи 1965 года мой привет — на этот раз без черной маски»,— пишет он.

Чтобы участвовать в Международной встрече, в Берлин и Веймар приехали Уильям Сароян, Константин Федин, Пабло Неруда, Людмил Стоянов, Джеймс Олдридж, Джанни Родари, Дьюла Ийеш, Пьер Гамарра, Карел Птачник, Фрэнк Харди, Мулк Радж Ананд, Джон Килленз. Накано Сигэхару, Мигель Анхель Астуриас, Ханс Шерфиг, Альва Бесси, Владимир Познер, Алан Маршалл, Андре Вюрмсер, Гуго Гупперт, Петер Вейс, Арно Рейнфранк и многие другие.

Искренне сожалея, что не смогут в ней участвовать, встречу горячо одобрили Джон Стейнбек, Константин Симонов, Катарина Сусанна Причард, Тойн де Фрис, Джек Линдсей, Веркор и другие.

Встреча в самом деле оказалась международной. В ней участвовали писатели пятидесяти двух стран, они съехались в Берлин и Веймар с пяти континентов.

Еще за месяц до встречи мюнхенская «Зюддейче цейтунг» громогласно заявила: «Если восточноберлинские газеты сообщат, что писатели ГДР встречаются «с иностранными коллегами», это будет означать, что круг участников встречи ограничен социалистическими странами».

Когда встреча началась, «Зюддейче цейтунг» предпочла хранить молчание. Молчали и «Франкфуртер альгемейне», и гамбургская «Вельт». Что им еще оставалось делать?

«Нейес Дейчланд» задала «Зюддейче цейтунг» вполне резонный вопрос: «Быть может, США, Англия, Франция, Испания, Греция, а также Чили, Перу, Парагвай, Гватемала и Гондурас или Индия, Камбоджа, Индонезия или еще более отдаленная Австралия — назовем хотя бы некоторые страны — за ночь превратились в социалистические государства только лишь для того, чтобы западногерманская монополистическая пресса смогла выдать за правду свою ложь об изоляции ГДР?..»

Подчеркивая, что пресловутая доктрина Хальштейна потерпела очередное поражение, «Нейес Дейчланд» предложила западногерманским газетчикам ответить еще на один вопрос: чем они объясняют, что на встречу, проходящую под знаком антинацизма и антимилитаризма, писатели разных стран съехались в ГДР, а не в ФРГ?

Американский писатель Альва Бесси, в сущности, дал ответ на этот вопрос. Он, как сообщает «Берлинер цейтунг», сказал, что в ГДР, в отличие от ФРГ, устранены те причины, которые в свое время вызвали вторую мировую войну. Вот почему он с радостью приехал в ГДР.

Еще в канун Международной встречи, когда корреспонденты «Нейес Дейчланд» спросили Анну Зегерс, в чем, с ее точки зрения, смысл предстоящего события, она ответила коротко и ясно:

«Можно сказать, что на этой встрече соберутся те писатели, для которых день победы над гитлеризмом — это настоящий праздник, это день, когда они освободились от бесчеловечности фашизма, от его духовного и физического насилия. Люди, испытывающие такое ощущение,— наши желанные гости».

Таким образом, с точки зрения Анны Зегерс, смысл Международной встречи прежде всего и больше всего в том, что она объединит писателей, чья ненависть к фашизму и милитаризму неразрывно связана с их любовью к человеку, с их стремлением к миру.

Анна Зегерс добавила, что программа встречи меньше всего предусматривает заседания и доклады. Зато предполагается, что иностранные гости получат возможность побывать на заводах и фабриках, в школах и институтах, в театрах и музеях.

«Они смогут,— сказала Анна Зегерс,— своими глазами увидеть все то, чего мы добились во имя человечности...»

Участники встречи побывали и там, где около десяти лет чудовищная, преступная бесчеловечиость была единственным законом,— в Бухенвальде. Когда немецкий писатель Бруно Апиц, бывший узник, рассказывал гостям о том, как мучали людей в этом лагере смерти, алжирский литератор Анри Аллег, тоже бывший узник, не смог сдержать слез. Это не укрылось от наблюдательных репортеров. Но они написали об этом не ради сенсации. Тут иная причина. Она связана с тем, в чем смысл встречи.

Борьба за свободу была, есть и будет до тех пор, пока будет существовать порабощение. Когда герои этой борьбы приносят себя в жертву, их жертвы не напрасны. Разумеется, это было известно и до встречи 1965 года. Но встреча 1965 года еще раз напомнила о том, чего не должен забывать никто, а писатель — в особенности: о преступлениях и о подвигах, совершенных и совершаемых. Именно это и имел в виду Арнольд Цвейг в своем письме к участникам встречи, когда он, сравнивая современных писателей с легендарными пророками, заметил, что первые, в отличие от последних, не нуждаются в том, чтобы бог говорил их устами. Их собственной памяти достаточно для того, чтобы они не могли молчать. А память запечатлевает и то, что было, и то, что есть.

В майском номере журнала «Нейе дейче литератур» опубликованы созданные в тюрьмах поэтические произведения немецких подпольщиков-антифашистов, среди них стихотворение Фрица Шульце, обращенное к любимой и написанное по случаю нового, 1942 года.

Вот они, эти поэтические строки, принадлежащие человеку, у которого отняли все, кроме душевного богатства и душевной щедрости; ими он обладал в избытке до тех пор, пока жил.

Тебе дарю я небеса,
тебе в наследство отписал
я эту голубую высь,
ты в ней, как в доме, поселись.
Тебе дарю я солнца свет,
лови его малейший след,
дарю луну во мгле ночей,
сшей платье из ее лучей
и свей из падающих звезд
венок лучистый для волос.
Дарю весенний ветерок,
пусти его на свой порог,
к столу вечернему дарю
тебе вечернюю зарю.
Дарю росу цветов и трав,
глотай росинки по утрам,
и эту дату я тебе
дарю, как память о себе.
Прими же все мои подарки
и радугой свяжи их яркой.

(Перевод с немецкого В. Вишняка)

Фриц Шульце, коммунист, возобновивший подпольную работу после того, как однажды уже побывал в концлагере, знал, что его ждет. Участники Международной встречи писателей помнили о таких, как он, когда подпевали Эрнсту Бушу, в песнях которого прозвучала вся история немецкого иародно-освободительного движения Но в каждой стране есть своя история народно-освободительного движения. И участники встречи снова и снова вспоминали о тех уголках нашей планеты, где полыхает огонь и льется кровь, где народ отстаивает свою независимость и свою свободу. Они, в сущности, утверждали историческую преемственность освободительной борьбы и международную солидарность тех, кто отдает все силы и даже жизни этой благородной борьбе.

Когда участники встречи собрались 19 мая в Веймаре, в Немецком национальном театре, первой взяла слово Анна Зегерс. Она говорила о том, в чем для писателя цель жизни. О силе художественного слова, о воздействии, оказываемом книгой на читателя. Писатель отвечает за то, чтобы это воздействие было благотворным и своевременным. Он должен вовремя сказать нужное слово.

Среди писателей были и будут люди с различными воззрениями — политическими, эстетическими, сказала Анна Зегерс. Все они говорят во всеуслышание о том, что их разделяет. Но сейчас — больше, чем когда-либо,— важно услышать в их словах то, что их объединяет. Сейчас необходимо объединиться в целях предотвращения атомной войны, атомной смерти.

Не только Зегерс, но и другие упоминали о том, что Парижский конгресс в защиту культуры состоялся незадолго до начала второй мировой войны, что эта война все-таки началась, хотя люди доброй воли и тогда старались ей воспрепятствовать.

Однако за тридцать лет, прошедших со времени Парижского конгресса, мир неузнаваемо изменился. Неизмеримо возросли силы мира и демократии, умножилось число стран — не только в Европе, но и в Азии, и в Африке,— народы которых победили своих врагов, внешних и внутренних. И это увеличивает надежду на то, что в настоящее время совместные усилия людей доброй воли увенчаются успехом.

О необходимости совместных усилий говорили все, выступавшие в Веймаре.

Австрийский писатель Бруно Фрей напомнил, что и теперь горят города и села, жены становятся вдовами, дети — сиротами. Нам близок вьетнамский народ, оказывающий сопротивление захватчикам. Мы знаем, что там, в джунглях Вьетнама, бойцы народной армии защищают и нашу культуру. Мы обязаны оказать им поддержку — и моральную, и материальную.

Болгарский писатель Людмил Стоянов отметил, что всенародное движение сторонников мира уже дало известные результаты. От того, что империалисты напуганы этим движением, они решаются затевать только «малые войны». «Но война есть война, где бы она ни происходила, и ей легко разгореться в мировой пожар»,— предостерег Людмил Стоянов. Он призвал сторонников мира к единению.

Весенняя прелесть майских дней не в силах изгнать из памяти мертвецов Бухенвальда, павших борцов Вьетнама, Санто-Доминго, сказал парагвайский писатель Эльвио Ромеро. И хорошо, что человеческая память стоит на страже человеческой совести.

Американский писатель Уильям Сароян выразил свое убеждение в том, что защита мира на земле — долг писателя перед самим собой и перед другими.

«В каждом стихотворении или романе, в каждой новелле или драме, которые мы создаем, должно быть ощутимо сознание этого долга. Конечно, это легко сказать и трудно сделать, но писатель всегда готов и часто способен делать то, что трудно...— сказал Уильям Сароян.— Мы должны это понять и добиться более глубокого взаимопонимания».

«Однако я лично думаю — вопреки всем признакам, подтверждающим противоположную точку зрения,— что с нашей помощью, с помощью нас, писателей, и всех людей доброй воли род человеческий не уничтожит сам себя,— закончил Уильям Сароян.— Он будет процветать, строить и впредь такие чудесные города, как Веймар, рождать и впредь таких прекрасных людей, как Гете и Шиллер».

Оптимистические суждения о светлом будущем высказывал не только Уильям Сароян. Но при этом все понимали, что победа достигается в борьбе.

«После кубинской революции Латинская Америка готовится к бою, который может оказаться последним, решающим...— сказал гватемальский романист Мигель Анхель Астуриас.— В Латинской Америке писатель был и будет борцом».

Малийский писатель Сидике Дембеле говорил о том, что фашизм все еще существует и в Конго (Леопольдвиль), и в Южном Вьетнаме, и в Южной Африке. Но он может и должен быть уничтожен. И только его уничтожение откроет народам путь к миру и свободе. Об этом свидетельствует исторический опыт антифашистского германского государства, знакомство с которым приносит глубокое удовлетворение.

Английский писатель Джеймс Олдридж откровенно признался:

«Впервые за долгое время я могу, оглянувшись назад, почувствовать: я снова люблю немцев.

Чтобы это сказать, надо в это в самом деле поверить. Эта встреча и эта страна, Германская Демократическая Республика, дали мне то, чего для меня давно не существовало,— уважение к немецкому народу, к его культуре и веру в его будущее... Я полон благодарности, я испытываю облегчение оттого, что с моих плеч спала огромная тяжесть».

Нелегко отстаивать правду писателю Западной Европы, Западной Германии. Об этом говорил немецкий драматург Петер Вейс, живущий в Швеции.

«Должен сказать, я очень сожалею, что никто или почти никто из моих западногерманских коллег не нашел дороги сюда; ведь в наши дни надо использовать

каждую возможность, чтобы прийти к взаимопониманию. Для нас, живущих и работающих в западном мире, распространение правды, о котором говорил Брехт, связано с большими трудностями. Первая трудность, которую нам надо преодолеть, состоит в том, чтобы вообще отыскать правду, а потом, когда она будет найдена, нам придется по-партизански распространять ее».

Пресса ФРГ, нарушив обет молчания, ополчилась на Вейса. Ему не простили ни участия в «красной встрече», ни выступления в Веймаре.

Вместе с писателями ГДР, которые были хозяевами страны, где проходила встреча, более ста восьмидесяти иностранных гостей, писателей всего мира, подписали Веймарское воззвание, выразив свою волю к единению в борьбе против явного и скрытого фашизма и милитаризма.

На Международной встрече 1965 года, как и на Парижском конгрессе 1935 года, прозвучал голос той литературной интеллигенции, которая дорожит гуманистическими ценностями.

«Мы на Парижском конгрессе и не подозревали,— сказала в Веймаре Анна Зегерс,— сколько сил еще потребуется для того, чтобы идеи, провозглашенные нами, утвердились, пустили корни».

Они пустили корни. Международная встреча 1965 года свидетельствует об этом.

Л. Симонян

СМЫСЛ ДИАЛОГА

«Мы знаем, что здоровое искусство неотделимо от разумной политики и что между ними нельзя воздвигнуть стену». Эти слова, заключающие редакционное вступление к «Американскому диалогу», ясно определяют ведущую идею нового журнала. Открывшаяся на его страницах широкая дискуссия по самым разнообразным проблемам американского и мирового искусства неразрывно связана с глубинными течениями общественной жизни. И не случайно само появление «Американского диалога», которое становится в один ряд с созданием нью-йоркского Центра Линкольна, началом работы репертуарных театров в Миннеаполисе и Сиэттле, активизацией независимого кинематографа, совпало с развернувшейся в США борьбой за гражданские права.

Инициаторы издания «Диалога» (среди них один из создателей «Нью мэссиз» Джозеф Норт, известный режиссер Джулиан Бек, писатель Альва Бесси, двукратный лауреат Нобелевской премии ученый-химик Лайнус Полинг, английский критик Арнольд Кеттл) обращают свои мысли к завтрашнему дню: «Наша цель, — пишут они,— вести диалог по вопросам, определяющим будущее». При этом они следуют лучшим традициям демократической публицистики и критики, и потому, пытаясь определить место журнала в нынешней действительности Америки, естественно вспомнить о предшественниках «Диалога» — журналах «Мэссиз», «Нью мэссиз», «Либерейтор», игравших серьезную прогрессивную роль в общественно-политической и культурной жизни США. Эта параллель может показаться натянутой — 60-е годы не сравнимы с 30-ми по идейно-политическому климату. Но с точки зрения позиции журналов такое сопоставление правомерно. «Диалог» тверд в главном: «На этих страницах нет места расистам, ультраправым и бешеным»,— заявляет редакция в первом же номере журнала. Авторы, выступающие во втором номере (на обложке его портрет Голдуотера со скрещенными под ним костями), резко осуждают политическую реакцию в США: ведь если на последних президентских выборах и победил разум, это еще далеко не означает очищения американской общественной атмосферы. «Появление Голдуотера,— пишет Бертран Рассел,— это отражение распространенных в США разрушительных идей, подогреваемых фанатической ненавистью к коммунизму». Погромные и поджигательские заявления аризонского экс-сенатора тревожат и старого писателя Эптона Синклера, выступившего с короткой сильной заметкой «Украли политическую партию»,— партия Линкольна отдана на растерзание безумцам.

А в редакционной статье «Книги не для того, чтобы их жечь» говорится о том, что политический экстремизм сторонников Голдуотера, если бы им удалось прийти к власти, не пощадил бы таких художников, как Лэнгстон Хьюз, Джеймс Болдуин и т. д. Об этом свидетельствует исторический опыт — достаточно вспомнить 30-е годы.

«И тогда «Лига свободы» и другие предшественники Голдуотера пытались разрушить ренессанс культуры, выдвинувший в национальном сознании на первый план простого человека».

Статья Джона О'Нила, основателя Свободного театра Юга, отделена от передовой многими полосами, но связь их прочна, ибо рассказ молодого драматурга воплощает идею журнала в живых конкретных фактах американского искусства. Создание Свободного театра Юга — событие знаменательное. Это прямой отклик на негритянское движение наших дней со всеми его особенностями и новыми чертами. Свободный театр Юга — бродячий театр. Труппа играет в церквах и школах, в недостроенных театральных помещениях, играет под настороженными, неприязненными взглядами городских властей. Играет много, дает подчас по два спектакля в день. Играет пьесу Мартина Дубермана «В Белой Америке», документально рассказывающую о 300-летней истории унижений, через которые прошел негритянский народ, о его борьбе. Свободный театр Юга еще не пользуется в США широкой известностью, но, несомненно, его возникновение — событие большого общественного значения, и есть все основания надеяться, что он станет заметным явлением культурной жизни в общенациональном масштабе.

Статья О'Нила — своего рода манифест этого театра. Он пишет:

«Людей, интересующихся идеей Свободного театра Юга, занимает вопрос: что это, театр борьбы за гражданские права, пропагандистский театр, или «театр как театр»? Надеюсь, наша программа и род диалога, в который мы вовлечены, показывают неправомерность этого вопроса. Если театр, который честно и правдиво отражает условия жизни и рассматривает определенные положения, приносящие пользу его зрителям,— пропагандистский театр, то это то, к чему мы стремимся. Если театр Юга, отказывающийся признать стандарты сегрегации, направленные на разрушение человеческого духа и человеческой личности,— театр борьбы за гражданские права, то, верно, мы — именно такой театр».

Статьи известного литературного критика Максуэла Гейсмара, опубликованные в первой и третьей книжках, обогащают «Диалог» новыми идеями и фактами американской общественно-литературной жизни и тверже очерчивают его контуры. Поводом для этих критических статей послужили книга литературных очерков Дианы Триллинг и исследование Джона Говарда Лоусона «Фильм: творческий процесс». Но по своему содержанию они выходят далеко за рамки рецензий. Объект критики Гейсмара — современные либералы (одна из статей так и названа — «Ностальгический яд либерализма»), предавшие славные революционные традиции 30-х годов, надолго напуганные маккартизмом, скрывающие за либеральной фразой вполне законопослушное отношение к существующим порядкам.

Автор известных книг «Американские современники: от бунта к конформизму» и «Кризис писателей», в которых раскрывалось общественное значение классической американской литературы, Гейсмар и в этих статьях с горячим сочувствием пишет о социальном критицизме Драйзера, Шервуда Андерсона, Хемингуэя, Фолкнера. А нынешние либералы, легко отказываясь от великой традиции американской литературы, противопоставляют этим писателям Генри Джеймса, оказавшего будто бы универсальное влияние на искусство США XX века. Пожалуй, в полемическом запале Гейсмар несправедливо отозвался о Джеймсе, как об «экзотической орхидее нашей литературы», но сущность его возражений нам близка и понятна. Позиция критика кажется тем более плодотворной и убедительной, что он находит связи литературных достижений Америки с революционной общественной мыслью первых двух десятилетий нашего века и 30-х годов.

Суть спора Гейсмара с либералами (или «экс-радикалами», как он их иногда называет) выражается, в частности, в противоположных оценках американского прошлого. Для Дианы Триллинг и ее единомышленников 30-е годы стали — ретроспективно — временем «коммунистического заговора в США»; для Гейсмара эти годы знаменовали «подъем национальных достижений и национального духа».

Современное состояние американского общества внушает Гейсмару серьезную тревогу. Полемизируя с рецензентом книги Лоусона, он пишет:

«Так ли уж «навязчива» мысль об упадке буржуазного общества? Ныне она стала настолько распространенной в Европе, Азии, Африке, что кажется всеобщим убеждением. Быть может, навязчиво предполагать противоположное».

Нельзя не согласиться с Гейсмаром, когда он говорит о распаде буржуазной этики и о свойственной правоверным либералам тенденции представлять этот распад благородной и трагической борьбою личности против гнета социально-политических догм. Он несомненно прав и в том, что ждет от литературы трезвого, полнокровно художественного анализа сложных событий и явлений американской современности. Но при всем том некоторые его положения вызывают желание возразить критику в порядке участия в диалоге. Нам кажется неоправданно пессимистическим взгляд Гейсмара на современную американскую литературу, в которой он не находит следов традиции социального романа, чем, собственно, и вызван резкий, чуть ли не желчный тон его статей. Например, Гейсмар пишет:

«Пока господствует психология «холодной войны» — психология? скорее, невроз, патология, ибо она глубоко поразила национальный дух,— те самые интеллектуалы, которые были, быть может, главными жертвами маккартизма, будут смы-

каться с нашим государственным департаментом, нашими учреждениями, со всем тем, что связывает культуру с капитализмом».

Как уже сказано, критическое отношение Гейсмара и журнала к «интеллектуалам» из числа либералов или экс-радикалов имеет веские основания. Но справедливо ли безоговорочно, как это делает критик, зачислять по этому разряду Апдайка и Чивера, Олби и Сэлинджера, Маламуда и Стайрона? Объективность требует признать, что эти художники глубоко озабочены американской действительностью, что их гнетет моральная коррупция и духовное обнищание американцев, что они с горечью и болью рисуют бесконечное одиночество человека в буржуазном мире, хоть им и неведомы корни этих бед, хоть протест их принимает подчас искаженные формы, теряя во многом свою силу.

Такие писатели, как Апдайк, Чивер, О'Хара, вряд ли заслуживают той пренебрежительной и небрежной характеристики, которую им дает Гейсмар. Его высказывания отмечены известной узостью, не побоимся сказать, сектантской, которая, будь она характерной для публикаций нового журнала, существенно ослабила бы их действенность и общественный резонанс. Однако большая часть критических статей и заметок, опубликованных в «Диалоге», не дает оснований для таких опасений. Особый интерес среди них представляет, на наш взгляд, статья Сиднея Финкельстайна «В ловушке экзистенциализма».

Взяв за пример творчество Нормана Мейлера и молодого Эдварда Олби, Финкельстайн пишет о недуге, симптомы которого обнаруживают многие литераторы-современники:

> «Тот факт, что экзистенциализм стал интеллектуальным пристанищем большинства одаренной американской литературной молодежи, порождает тревожные вопросы у тех, кто еще не махнул рукой на будущее».

Эти слова определяют тон статьи. Анализ Финкельстайна вдумчив и основателен. Действительно, творчество американских современников полно сложностей и противоречий, и критик не пытался толковать их упрощенно и тем более игнорировать, что, к сожалению, весьма свойственно Гейсмару.

Всем памятен замечательный литературный дебют Мейлера — роман «Нагие и мертвые». С безжалостной откровенностью представил романист на читательский суд свидетельства антидемократической сущности американской армии: детальные портреты генерала Каммингса, проповедника власти жесткой силы, смешавшего в своих философских построениях идеи Ницше и Гитлера, и сержанта Сэма Крофта, применяющего концепции своего начальника в повседневной жизни. Справедлива оценка романа у Финкельстайна:

> «Этот роман зазвучал по-новому — он безжалостно разрушил «благородно-рыцарский образ» американского солдата и бескомпромиссно правдиво показал его истинную жизнь...»

«Нагие и мертвые» при всех слабостях, отмеченных и Финкельстайном, и советскими критиками, обещали рождение крупного социального романиста. Однако атмосфера «холодной войны» и маккартизма серьезно отразилась на творчестве большого писателя, который в конечном итоге пришел к безысходному отчаянию экзистенциализма. Мейлер декларирует верность идее социальной ответственности художника, но абсолютное неверие в успех социального протеста делает ее отвлеченной и бесплодной. А в 1959 году в своеобразном трактате «Белый негр» Мейлер провозгласил рождение новой философии — хипстеризма, американского экзистенциализма. Хипстер, по его словам,— это «негр-изгой», примитивный, психопатически темпераментный анархист. Прав Финкельстайн, когда говорит, что «Мейлер «возвышает» негров таким образом, что большинство из них предпочло бы, чтобы он оставил их в покое». Экзистенциалистское влияние в творчестве Олби (можем добавить Апдайка и Стайрона, если говорить о самых одаренных) проявляет себя иначе, чем в книгах Мейлера. Как отмечает критик, зрелость их пришлась на расцвет «холодной войны», и они не были свидетелями того «социально-исторического очищения, в условиях которого Мейлер по крайней мере начинал свою литературную карьеру». Это, разумеется, окрасило творчество молодых в мрачные тона, но, с другой стороны, у них не было и иллюзий, а потому они не испытали разочарования, которое, как известно, часто ведет к полной утрате веры.

О трагическом влиянии на американское искусство безвременья 50-х годов согласно говорят и Гейсмар, и Финкельстайн, и передовые «Диалога». Но Гейсмар полагает, что оно необратимо разрушило молодую литературу, а Финкельстайн справедливо говорит о возможностях преодоления его влияния и находит эти возможности в связи молодых литераторов с реальной действительностью.

Анализируя пьесу Олби «Кто боится Вирджинии Вулф», Финкельстайн пишет:

> «Похоже, что он (Олби.— *Н. А.*) еще в поисках, и есть надежда, что дальнейшее изучение американской жизни выведет его за пределы экзистенциалистского «бунта».

Присоединимся к этому выводу, распространив его на творчество многих других молодых американских писателей.

Диалог не обязательно предполагает перепалку. Участники его, оставаясь на единых принципиальных позициях, могут различно толковать художественные факты — это легко заметить при сопоставлении статей Гейсмара и Финкельстайна. Думается, этот смысл в основном и вкладывают создатели журнала в его название — «Американский диалог». Однако на страницах «Диалога» возникают споры и между деятелями культуры, стоящими на принципиально противоположных творческих позициях. Таков, например, спор между Эдом Рейнгартом и Фрэнком Клейнгольцем.

Художник-абстракционист Эд Рейнгарт откровенен: представление о том, что искусство обогащает жизнь или углубляет взаимопонимание между людьми, по его мнению, бессмысленно.

«Единственное, что можно сказать об искусстве и о жизни,— заявляет он,— это то, что искусство есть искусство, а жизнь есть жизнь».

Фрэнк Клейнгольц опровергает его с помощью простых, исторически подтвержденных доводов:

«Великое искусство по своему глубинному содержанию всегда было объективным, всегда вдохновлялось гуманизмом, всегда порождалось человеческим опытом, всегда искало смысл, объяснение, решение жизненных проблем, ограниченных, разумеется, периодом, в который жил художник».

Клейнгольц доказывает, что даже искусство, декларирующее разрыв с социальной действительностью, находится с нею в неразрывной, хотя и неосознанной связи:

«Разве эра Маккарти, «охота за ведьмами», черные списки... не повлияли на предмет живописи и ее метод? Как удобно беспредметное искусство в качестве заповедника для отступающих бойцов!»

Это стремление искать корни явлений культуры в почве общественной жизни вполне отвечает общему направлению «Американского диалога», и, хотя редакция журнала не комментирует спор Рейнгарта и Клейнгольца, у внимательного читателя не остается никаких сомнений насчет того, на чьей стороне ее сочувствие.

Размеры настоящей заметки не позволяют подробно остановиться на всех интересных и важных материалах, опубликованных в журнале. Тут и неизвестные письма Хемингуэя, ярко показывающие роль, которую сыграла в прозе писателя война в Испании, и отрывок из книги Ивана Кашкина о Хемингуэе, и беседа с театральным критиком Евгением Сурковым, посетившим США в составе делегации советских литераторов, и многое другое. «Диалог» верен своему названию — океанские расстояния не оказываются помехой для открытого обмена идеями.

Вышло три номера «Американского диалога». Разумеется, это только начало. Но начало обнадеживающее.

Н. Анастасьев

О МИСТИФИКАЦИЯХ, СВОБОДЕ И МНОГОМ ДРУГОМ

Что бы вы сказали о господине, который одновременно уверял бы всех, что он «self-made man», и чванился бы своим четырехсотлетним дворянством? Такого господина подчас напоминают нынешние «авангардисты». С одной стороны, они изо всех сил стараются доказать, что открывают абсолютно новую страницу в истории искусства (хотя, как известно, абсолютно новая страница — это абсолютно чистая страница), а с другой — ревностно ищут себе предков среди великих художников прошлого, щедро наделяя их своими собственными чертами, то есть по большей части своей собственной пустотой и претенциозностью. А так как известного рода «авангардизм» пользуется ныне на Западе почти официальным признанием и покровительством и общие места «ультрасовременных» концепций уже перешли из манифестов художественных школ и течений в речи политических деятелей и министерские циркуляры, то «модернизация» великих приобретает государственную силу и государственные масштабы. Жертвой такой «модернизации» стал даже Микеланджело, четырехсотлетний юбилей которого недавно отмечался во всем мире. В своем «Дневнике 1964 года», отрывки из которого опубликованы в газете «Унита», Ренато Гуттузо пишет об этом с сарказмом и возмущением. «Преображению» Микеланджело в Италии как нельзя более способствовало то обстоятельство, что мероприятия, связанные с его юбилеем, проводились под руководством весьма компетентных лиц и учреждений, располагающих доселе неизвестными данными о жизни и творчестве великого мастера. Так, рассказывает Гуттузо,

«из одного циркуляра, разосланного руководителям культурных учреждений (университетов и т. д.), мы узнали, что Микеланджело писал на холсте. Это поистине сенсационное открытие; в курсе его, очевидно, был лишь какой-то чиновник министерства общественного образования, который сообщил о нем по секрету министру».

Не полагаясь на скудное воображение и грубый вкус деятелей изобразительных искусств, власти поручили составление программы юбилейных торжеств комитету, в который вошли люди, к означенным искусствам никакого касательства не имеющие, зато имеющие высокие чины и громкие звания, а вдобавок чуткие к новейшим веяниям и весьма наслышанные обо всем на свете. Об их учености и глубокомыслии свидетельствует уже одно то, что значение творений Микеланджело они сочли необходимым «разъяснить» с помощью «пластических эквивалентов» в модернистском духе.

«В составе комитета,— пишет Гуттузо,— среди более или менее известных имен нет ни одного художника, ни одного скульптора. А ведь еще и сегодня в Италии живут и работают «коллеги» Микеланджело, люди, которые в меру своих сил занимаются тем же ремеслом, что и он.

Быть может, Моранди и Манцу чувствовали бы себя не очень удобно рядом со столькими «вашими превосходительствами», но зато Микеланджело в обществе этих художников, наверно, чувствовал бы себя немного менее чужаком. Возможно, к голосу Моранди и Манцу и не прислушались бы при составлении программы юбилейных торжеств, но они-то, например, несомненно поняли бы (хотя специально не изучали социологию, этнографию и кибернетику), что при желании можно представить себе «пластический эквивалент» какого-нибудь танца или музыкального произведения (и, наоборот, ритмический, музыкальный эквивалент пластического произведения), но что искать пластический эквивалент пластического произведения лишено всякого смысла».

Усилиями этого комитета художественная выставка, посвященная Микеланджело, а заодно и сам Микеланджело, были приведены в полное соответствие с «духом времени».

«Поскольку целью выставки было «приблизить широкую публику к Микеланджело», был осуществлен принцип «популяризации на высоком методологическом уровне»; этот принцип состоял прежде всего в стремлении доказать, что Микеланджело нравится людям не тем, чем он должен нравиться, а поэтому «научить» «людей» презирать «того» Микеланджело и показать им другого, творчество которого стояло бы на уровне скульптур, экспонировавшихся на выставке «Бьеннале» в период с 1954 по 1960 год (и экспонирующихся там по сегодняшний день). Прежде всего необходимо во что бы то ни стало вырвать его из эпохи Возрождения и создать для него свою особую историческую среду (не учитывая исторических, социологических, культурных факторов, связей, традиций, обстановки, в которой он сформировался и развился, и т. д.), каковая должна найти выражение в «схематизации в пластиках» архитектонических принципов и «пространственных компонентов» его произведений.

Облекая критическую мысль в зримые формы, удастся избежать обращения к печатному слову, которое в связи со стремительным развитием зрительных средств массового воздействия быстро устаревает (какая нужна смелость, чтобы утверждать, что «изобразительное слово» не устаревает!).

При помощи этих средств «широкая публика» сразу же поймет мощную динамику «лабиринтного пространства» и то, что у Микеланджело «идея всегда находится в диалектическом споре с материей» (Баттисти), поймет, что слепки скульптур расположены прямо на полу в целях «демистификации» и что электронная музыка — это стимулирующий восприятие критический комментарий и тому подобное, а также сможет принять участие в диспуте, дабы выяснить, предлагают ли «критические пластики» «прочтение» Микеланджело в ключе слишком барочном или же недостаточно барочном. Каков бы ни был этот ключ, он во всяком случае не раскрывает гуманный и гуманистический мир Микеланджело, считавшего (по крайней мере, так говорил он сам), что и архитектура подобна телу человека, как не раскрывает и той эпохи, когда он жил и работал».

Термин «демистификация» или «демифологизация», упоминаемый Гуттузо в приведенном отрывке, стал в последнее время, употребляя выражение Лафарга, одной из «метафизических кокоток», которых то и дело встречаешь на страницах любого издания, посвященного вопросам культуры.

В этом термине самом по себе нет ничего одиозного. В своем первоначальном и истинном смысле он по существу означает «срывание всех и всяческих масок», противопоставление суровой жизненной правды мифическому благополучию, развенчание фальшивой помпезности, фальшивой гармоничности, фальшивой красивости буржуазного искусства. Но под флагом «демифологизации» нередко создаются новые, «негативные» мифы, и лицемерно-успокоительная картина действительности подменяется не менее ложной картиной, внушающей пессимизм и отчаяние. В своем «Дневнике» Гуттузо, касаясь, в частности, выставки Вакки, решительно выступает как против мифологизации академического толка, так и против «мифологизации наизнанку».

«Лишить ореола. Демистифицировать. Сорвать покров мистики. Хорошая работа! Но только если за дело взяться всерьез. У меня, однако, создалось впечатление, что в этой «открытой войне», объявленной мифам, не все идет как надо, и война эта все больше приобретает абстрактный, формальный характер. Использование «мифа» в «негативном смысле» может служить средством демистификации, однако недопустимо, чтобы эта «демистификация» велась в одном только направлении. Почему, например, смакование ужасов, любование катастрофами и т. д. мы не должны тоже считать мифами, которые надо разоблачить, свести к их истинному значению, рассматривать в диалектике реальной действительности?..

...Мифическое искажение правды всегда негативно, будь оно в «позитивном» или «негативном» плане. Приятие же правды не негативно, наоборот, именно оно и является задачей каждого, кто хочет что-то выразить. Поэтому нужно остерегаться думать, что все вокруг — это «мифы», и не поддаваться «панике» мифа».

Особый интерес в «Дневнике» Гуттузо представляет его критика идейных позиций абстракционистов. Теоретической посылке, на которую они опираются, выступая против фигуративного искусства, и которая состоит в том, что «объективная видимость» — это не подлинная реальность, а реальность мистифицированная, и следовательно, «нереальность», он противопоставляет диалектико-материалистическую идею неразрывной связи между явлением и сущностью.

«Следует учитывать,— пишет он,— что, игнорируя эту связь, мы не сможем постигнуть материальный мир. А в такие времена, как наши, нельзя забывать об этом ни на минуту».

Полемизируя с художником Ведовой, Гуттузо показывает всю ложность того представления, что фигуративная и абстрактная живопись — суть просто последовательные этапы в истории искусства или, в лучшем случае, его различные, но равноправные формы, сменяющие одна другую,— представление, в основе которого нередко лежит, пусть неосознанное, преклонение перед модой.

«Если бы в живопись вновь вернулась фигура, то я бы только выиграл от этого — я умею рисовать»,— пишет Ведова.

«Это неоспоримо,— отвечает Гуттузо,— Ведова умеет рисовать, причем даже хорошо. Остается, однако, выяснить, что он хочет сказать, употребляя выражение: «Если бы вернулась фигура».

Кто такая эта фигура? Это человек? Персонифицированная абстракция? Как она придет? Кто ее принесет на руках? Банкир х, торговец картинами у? Или примирительное решение Ассоциации художественных критиков?

На крыльях какого пакета акций, под парусом какой яхты она прибудет?

Художнику, выходит, надо стоять и ждать ее на молу. Фигура не прибыла, значит, будем продолжать в прежнем духе до следующего парохода.

Фигура — не призрак, который появляется и исчезает. Фигура не прибывает, не возвращается, не является на переэкзаменовки.

Если некоторые могут мыслить подобным образом («вернется — не вернется»), то это значит, что в нашем сознании произошла глубокая деформация или что поистине «наше бедное сердце уже не знает, что ему и думать».

...Говорят, «назад не возвращаются». (А «назад» — значит к фигуре). Но мы только и делали, что наблюдали возвращения с естественными вариациями (которые заложены, скорее, в вещах, чем в идеях), само собой разумеется, носившими исторический характер; все только тем и занимались, что к чему-либо возвращались... Конечно, с кое-чем новым и, быть может, даже многим новым. Можно вернуться к тому или другому, и это может быть приятным возвращением или повторной встречей, носящей более глубокий характер, но как можно «вернуться» к фигуре?

Фигура — это не «концепция», это не этап развития мысли, не тенденция, не выбор; это конкретная объективная структура предметов вещного мира, это синоним формы, то, что мы сегодня понимаем под формой в самом широком смысле этого слова».

Пожалуй, нет более избитой лжи, чем ложь о свободе художника в буржуазном мире. Как прославляют эту «священную свободу», как клеймят ее врагов, к которым относят всех тех, кто считает, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества! Но не нужно ни особой проницательности, ни особой осведомленности, чтобы понять, что скрывается за этими фразами и сколько в них лицемерия. Ренато Гуттузо в своем «Дневнике» показывает это на обыденных, но «колоритных» фактах.

«Десять или двадцать художников, от Пикассо до Кальи, послали приветствие Белоянису. Какой скандал! Искусство под властью диктата! Но если сто или двести художников один за другим вдохновляются лицом Кеннеди или Мерилин, в этом нет ничего плохого. При условии, разумеется, что с этим будет связана какая-нибудь двусмысленность».

Так «свобода художника» превращается в «подчинение диктату», едва художник позволяет себе выступление, отвечающее его демократическим убеждениям. Зато открытый или замаскированный подкуп или использование художника в реакционных политических целях освящается этой самой «свободой».

«Мне пишет Луиджи Ноно из Милана: «Фонд Форда зондировал почву, чтобы выяснить, соглашусь ли я принять их стипендию (приблизительно 20 тысяч долларов плюс квартирные расходы) и остаться на год в Берлине (Западном). Я ответил отказом. Без малейших сомнений и колебаний».

Ответ Ноно на предложение Форда — новое доказательство его последовательности.

Однако это дело с фордовским фондом достаточно любопытно: что означает приглашать деятелей искусства, предлагая им жалованье в миллион лир в месяц, квартиру, машину и слуг-негров в Западном Берлине? Что имеется в этих новых Афинах столь важного для культуры (чтобы это к тому же интересовало американцев)? Великая китайская стена, или стены Иерихона, или башни Ниневии?

Нет. Там есть лишь пограничная стена между двумя государствами. Разъезжать в «кадиллаке» по эту (западную) сторону стены, бахвалиться богатством, показывать беднякам-социалистам, что значит настоящая жизнь,— вот та культурная деятельность, которую призывают проводить некоторых видных представителей европейской культуры!

А вот еще один примечательный штрих, довершающий картину, не оставляя никаких иллюзий относительно свободолюбия американских меценатов:

«Сегодня мы узнали из газет,— пишет Гуттузо,— что Луиджи Ноно было отказано во въездной визе в Соединенные Штаты. Это смехотворное использование власти посредством «виз» — современная форма американской демократии для дискриминации деятелей культуры.

«Нетерпимость 1960 года» — название оперы Луиджи Ноно.

«Нетерпимость 1965 года» — вот девиз американского консульства в Трисете».

Вопреки словоблудию тех, кто понимает свободу как беспринципность, подлинная свобода не только не противоречит партийности, а, напротив, предполагает ее. Только художник, занимающий определенную, недвусмысленную позицию в идейно-политических битвах своего времени и ставящий свое искусство на службу одушевляющим его идеалам, только художник, не поддающийся ни идеологическому шантажу, ни модной лжи, ни укоренившимся предрассудкам (среди которых не последнее место занимает старательно культивируемое представление о художнике-сверхчеловеке),— только такой художник может по праву называться свободным.

К таким художникам и принадлежит Ренато Гуттузо. Это доказывает как его творчество, так и его публицистические и критические выступления, в том числе — блестящий «Дневник».

Н. Владимиров

АЛЕКСАНДР КЛЮГЕ

ОПИСАНИЕ ОДНОЙ БИТВЫ

Перевод с немецкого Н. ВЕТЛОВА
под редакцией И. КАРИНЦЕВОЙ

Среда, 6 января 1943 г.

На аэродромы, использующиеся для снабжения Ст., из ставки прибыли шесть «юнкерсов-52». Это были личные самолеты Гер., Рих., Лея и других.

Генерал-интендант К. организовал для зоны действия группы армий поезда-молнии. Эти поезда формировались в Шлезвиг-Гольштинии и грузились сырокопченой колбасой, шпиком, шоколадом и другими продуктами. Пропускались они в первую очередь, даже впереди эшелонов с боеприпасами, и шли из Шлезвиг-Гольштинии до Рос.* семь дней.

На сегодня русскими было запланировано генеральное наступление на котел.

Четверг, 7 января 1943 г.

Вечером 7 января, т. е. накануне передачи ультиматума, русские попытались установить радиосвязь со штабом окруженной армии. Так как им никто не ответил, то фронтовая радиостанция, которая использовалась на Донском фронте для воздействия на окруженные войска, всю ночь передавала сообщения о высылке парламентеров.

376-я пехотная дивизия находилась на западном участке котла. Солдаты сидели в снежных ячейках; позиций здесь не оборудовали, хотя вблизи находилась полусгоревшая деревня, в которой можно было найти стройматериал. Штаб армии принял решение заменить 376-ю пехотную дивизию частями 29-й моторизованной дивизии.

Пятница, 8 января 1943 г.

Волга замерзла. По многим дорогам через Волгу к русским беспрерывно текут грузы и пополнение. Немецкая артиллерия 94, 389, 305, 79, 100, 295 и 71-й дивизий давно уже мечтала о подобных целях, но у нее нет снарядов, необходимых для ведения беспокоящего огня.

В котел возвратился генерал Х. В западной части котла, благодаря настроенному оптимистически генералу, дух несколько поднялся.

Русские парламентеры Смыс. и Дят.** покинули свои окопы на северном участке фронта и, как было объявлено по фронтовой радиостанции, направились к проволочным заграждениям противника. Но их никто не встречал. Через некоторое время окруженные открыли минометный огонь. Генерал В. сказал при этом: «Вражеская сторона ведет себя по-вражески!» Из Москвы пришел приказ: «Переговоры прекратить!»

Окончание. Начало в № 5.

* Рос.— Ростов.

** Смыс.— майор Смыслов, Дят.— капитан Дятленко.

Суббота, 9 января 1943 г.

Вопреки полученному из Москвы указанию, генерал В. решил еще раз послать товарищей Смыс. и Дят., на этот раз на южный участок котла. У проволочного заграждения парламентеры были встречены немецкими офицерами, потребовавшими отдать им пакет. Смыс. запротестовал, и их в соответствии с международной конвенцией повели с завязанными глазами через немецкие позиции. У парламентеров были приготовлены на этот случай большие белые платки. Ультиматум был передан в конверте лично П.

Посоветовавшись с вышестоящими инстанциями, П. оставил ультиматум без ответа.

Примерно в 21 час русское командование уведомило германскую армию о том, что 10 января в 6 часов утра после 45-минутной артиллерийской подготовки начнется генеральное наступление на котел.

Начштаба 6-й армии считал, что противник сможет начать генеральное наступление не раньше 20 января.

Ночью продолжалась смена 376-й пехотной дивизии 29-й моторизованной дивизией; артиллерия находилась на марше. В это время русские нанесли удар.

На позициях в районе Орловки, куда было трудно добраться на грузовиках, в этот день выдали последний хлебный паек.

Воскресенье, 10 января 1943 г.

1-й день русского наступления. Целый день светило солнце.

Русские начали наступление точно в 6 часов.

21-я армия наступала на Мар.* (крайний западный участок), 65-я армия — между совхозом № 1 и Димитр. (растянувшийся северо-западный участок). На севере наступала 66-я, а на юге 64-я армии.

В котле:

71-й пехотный полк (западный участок): зная приказ командования армии о том, что каждый, кто подобьет в ближнем бою танк противника, будет эвакуирован, многие солдаты пытались забросать бутылками с бензином русские танки, двигавшиеся с 6.30 между дзотами в поисках целей.

29-я моторизованная дивизия (западный и северо-западный участки): к вечеру уцелело только одно орудие. В полдень с севера пришел оставшийся в живых солдат 44-й пехотной дивизии и сообщил, что на северном участке больше никого нет. Теперь офицеру с 50 солдатами 29-й моторизованной дивизии пришлось прикрывать северо-западный выход из лощины.

44-я пехотная дивизия (северо-западный участок): с самого раннего утра на дивизию беспрерывным потоком надвигаются русские танки с пехотным десантом; на башнях развеваются красные знамена. Над степью из репродукторов походных раций гремят марши и призывы. За танками плотными колоннами движется пехота. 44-я пехотная дивизия залегла по обе стороны плоской вершины Казачьего кургана. Забраться на эту вершину, чтобы вести наблюдение, никто не отважился. Наконец, преодолев утренний шок, солдаты начали оказывать сопротивление. Однако очень быстро часть их была уничтожена

Западный участок: здесь действуют 8-й армейский и 14-й танковый корпуса. Вскоре после полудня в полосе обороны образовались большие бреши.

113-я пехотная дивизия (северный участок): ровно в 5.15 дивизия вышла из-под артиллерийского огня русских, оттянув основной состав на передний край. Перехитрив таким образом противника, она отбивает последовавшую атаку. Однако эта атака была вспомогательной.

60-я моторизованная и 16-я танковая дивизии (на северной отсечной позиции) понесли тяжелые потери.

Понедельник, 11 января 1943 г.

День рождения Фридриха Великого.

2-й день русского наступления.

Обстановка в окружении:

В первой половине дня противник вклинился небольшими силами на северном и южном участках; катастрофических размеров достигло вклинение на западном участке. Солдаты, оборонявшие долину реки Кар., где еще были теплые землянки, отброшены в открытую степь.

Обстановка в группе армий:

В этот день отчаявшийся майор Т. решил отказаться от всяких переговоров в группе армий и с авиационными штабами и возвратиться на самолете в котел. Начальник штаба группы не дал ему разрешения, сказав: «Дорогой Т., вы слишком хорошо ознакомились с обстановкой. Что вы хотите доложить генералу П.? Необходимо, чтобы П. получил действительно положительную информацию, а таковой в данный момент нет».

---

* Мар.— Марьяновка.

Вторник, 12 января 1943 г.

3-й день русского наступления. Пасмурно.

Остатки разбитых соединений западного участка котла отходят на рубеж: совхоз № 1—Новоалекс.— Жирн.*. Новый рубеж, кажется, удастся удержать.

На северном участке солдаты 16-й танковой и 60-й моторизованной дивизий вот уже 30 часов лежат перед своими позициями, которые им так и не удалось возвратить. Укрывшись за снежными валами, они топчутся по кругу, чтобы хоть как-нибудь согреться. Во время очередного артналета нервы у них больше не выдерживают. Командир одной роты прискакал на КП дивизии верхом на полевой кухне.

Среда, 13 января 1943 г.

4-й день русского наступления.

С энтузиазмом было встречено в котле приземление четырехмоторного самолета «юнкерс-290». В огромном фюзеляже разместились сто пятьдесят раненых. При взлете солдаты заскользили по гладкому металлическому полу самолета в хвостовую часть. Получив перегрузку на хвост, этот колосс врезался в землю, все раненые погибли.

За несколько дней до этого выяснилось, что на высоте более 1000 метров раненные в легкие и в голову умирали. В Н. было разгружено четыре транспортных самолета с умершими в пути.

Генерал Х. из 14-го танкового корпуса располагается с остатками своего штаба в районе Дуб.**, в 6 км за Новоалекс. В связи с продвижением русских на южном участке его оборонительный рубеж потерял значение. Х. расставляет штабных офицеров и нескольких оставшихся в его распоряжении солдат у окраины населенного пункта. Так как все уже безнадежно, генерал сам окапывается, чтобы стоять здесь насмерть. Значительную часть техники его подчиненные уничтожили и, расположившись вокруг генерала Х., рассчитывают дать последний бой. Вечером к ним начали приближаться отдельные русские танки.

По заданию генерал-полковника П. из котла вылетел капитан генштаба Бер. Он вез с собой журнал боевых действий 6-й армии, а также письма от П. к фон Ман. и от начштаба армии Ш. к начштаба группы армий «Дон». В полдень он прибыл на командный пункт в Таганроге. Ему дали указание: обрисовать фон Ман. и Гит. безвыходность положения армии, а также объяснить, что через 48 часов 6-я армия погибнет, если не будут приняты действительно решительные меры.

Почему П. послал именно Бера?

Офицеров генерального штаба Гит. считал профессиональными пессимистами. Попытка послать к Гит. генерала уже однажды предпринималась, но безуспешно. Может быть, на Гит. подействует разговор с молодым, приятной наружности кавалером «Рыцарского креста»?

Кроме того, П. хотел, чтобы за пределами котла был хоть один свидетель событий. П. считал, что, вероятно, дня через два котлу придет конец. К этому времени Бер не успеет еще возвратиться.

Высокий чин Беру не терять, и, может быть, поэтому он будет держаться с Гит. без стеснения. Кроме того, молодой капитан приходился свояком одному из военных адъютантов Гит. Когда Бер вылетал с аэродрома Басаргино, было уже ясно, что в ближайшее время аэродром будет потерян.

За пределами котла атмосфера была совершенно иной, что Бер и почувствовал сразу же, как только покинул здание аэропорта. Но он сохранял невозмутимость, не дал сбить себя с толку. Майор Т., перехватив Бера, сообщил, что его некоторым образом просто не выпускают отсюда. Удивленный фон Ман. принял Бера немедленно, однако вылететь в этот же день в ставку ему не разрешил.

Бер привез майору Т. открытку от К., в которой тот писал о случаях разложения в окруженной армии. Это потрясло Т., никогда раньше его начальник К. не доверил бы открытке даже намека на подобные явления.

Четверг, 14 января 1943 г.

5-й день русского наступления.

На южном участке котла разбита 297-я пехотная дивизия.

Русские танки и колонны войск, двигавшиеся в направлении Новор. и Басаргино, повернули затем на восток.

С сегодняшнего дня перестали вести списки потерь. Однако боевая обстановка на карты наносится.

Особенно упорно преследуемая противником группа Рейнбр. из 29-й моторизованной дивизии сумела к вечеру довольно основательно окопаться. Техникам, присланным из дивизии, в течение ночи удалось отремонтировать два 20-миллиметровых орудия.

---

* Новоалекс.— Новоалексеевский, Жирн.— Жирноклеевка.
** Дуб.— Дубининский.

К концу дня на аэродроме в Басаргино возникла паника — пронесся слух, что невдалеке появились русские танки. Было приказано эвакуировать аэродром. Оставшиеся на аэродроме четыре истребителя поднялись в воздух, однако при попытке приземлиться в котле на полевом аэродроме Гум. разбились. К вечеру начштаба 6-й армии генералу Ш. удалось по телефону прекратить панику.

Утреннее донесение армии: только половина войск получила по 200 г хлеба. Боеприпасов так мало, что о подавлении противника и речи быть не может.

Дневное донесение: дивизии ведут частично рукопашные бои, так как нет боеприпасов. Вследствие превосходства противника, особенно в артиллерии, а также из-за многочисленных случаев обморожения и полнейшего истощения войск невозможно больше удерживать занимаемые на западном участке позиции.

Миссия капитана генерального штаба Бера:

В первой половине дня капитан Бер вылетел из Таганрога в ставку. На аэродроме в Р. его встретил свояк; он проинформировал Бера о настроениях в ставке, а также отбил атаки чиновников и охраны, пытавшихся проверить и обыскать капитана. К 21 часу он был приглашен на ежевечернее совещание к Гит. Присутствовали: Кейт, Йод., Шм., Бод., Гит., Бор.*, офицеры, подготавливающие данные с различных театров военных действий, стенографы, адъютанты Гит. и офицеры для поручений. Гит. произнес: «Хайль, господин капитан!» От такого обращения Бер вначале смешался. После многочисленных бесед с офицерами в ставке, истощенный, подавленный тяжестью возложенной на него ответственности, он чуть было не дал сбить себя с толку. Гит. уже хотел заняться обычным обсуждением обстановки, как Бер взял слово. Услышав, что Гит. перебили, все высшие офицеры затаили дыхание. Стоявший за спиной ф. Кейт. подавал Беру знаки, чтобы он замолчал. Шм. негодовал. Бер сказал: «Мой ф., прошу выслушать меня, я еще не закончил». Гит. слушал сообщение Бера, заметно волнуясь. Он понял теперь, что для Ст. необходимо немедленно что-то предпринять. Бера он пригласил прийти вечером следующего дня.

Пятница, 15 января 1943 г.

6-й день русского наступления.

В районе Б.** солдат удается удерживать в окопах только угрозами. На еще обороняющихся участках в долине реки Рос.*** у солдат такая апатия, что они просто сидят на дне окопов и стреляют в воздух. Солдаты, оборонявшие позиции восточнее Новоалекс., получили в 13 часов приказ отойти. Едва они вышли из окопов, как их со всех сторон обстреляли. Укрыться в снегу было невозможно. Русские преследовали их, выкатив на открытые позиции артиллерию и станковые пулеметы.

Ночью русские войска двинулись к окружной Ст-ской дороге. На хуторах попадаются машины со штабными документами. По поводу создавшегося положения фон Зейд. выразился следующим образом: «В этом жалком медленном умирании, в гибели немецких солдат под гусеницами русских танков я не вижу никакого высшего смысла». А Ш. заявил: «Говорите везде, где вы только сочтете нужным, что армия была предана высшей инстанцией и брошена на произвол судьбы».

Вечером Гит., как и обещал, принял капитана Бера. «Передайте привет П.,— сказал он.— Я сделаю все, что от меня зависит». Друзья вручили Беру мешок шпика для передачи своим знакомым. Еще в присутствии Бера Гит. предоставил фельдмаршалу М. обещанные чрезвычайные полномочия. После разбора обстановки Гит. обратился к фельдмаршалу М.: «Так как нами принято окончательное решение удерживать Ст., необходимо использовать для этой цели все возможные средства. Я знаком с обстановкой и знаю, что там все напряжены до предела. В целом там сделано все, что можно было сделать; тем не менее я требую доставлять ежедневно в крепость 300 тонн грузов, чтобы она могла держаться, сковывая крупные силы русских. Предоставляю вам чрезвычайные полномочия и право отдавать приказы и распоряжения всем командным инстанциям вооруженных сил».

Суббота, 16 января 1943 г.

7-й день наступления русских. Мороз —30°, метель.

В этот день был оставлен аэродром в Басаргино; командный пункт армии перенесен дальше в глубь котла.

Дневное донесение 6-й армии: противник предпринял массированные атаки на южном, юго-западном и западном участках, однако в результате жестоких боев на новом оборонительном рубеже все они были отбиты. Положение со снабжением катастрофическое. Из-за недостатка горючего подвоз продовольствия к фронту невозможен. Большинство рот на западном участке уже два дня не получает питания. Войска круглые сутки находятся на тридцатиградусном морозе, ничем не защищенные от тяжелых бомб русских пикирующих бомбардировщиков. Наша же авиация либо неисправна, либо отозвана из котла.

---

* Бор.— Борман.
** Б.— Бабуркин.
*** Рос.— Россошка.

Совершающий по поручению штаба армии инспекторскую поездку полковник З. имел в северной части котла беседу с командиром корпуса генералом Штр. относительно того, какой избрать конец. К этому времени было проведено уже несколько сот бесед с офицерами штабов о том, что предпочтительней: попытка вырваться из котла или смерть. Командование армии предоставило право каждому принять по этому вопросу любое решение, кроме дезертирства.

Воскресенье, 17 января 1943 г.

8-й день русского наступления.

В течение ночи на импровизированном запасном аэродроме в Гум. не приземлилась ни одна машина. Позже, правда, выяснилось, что приземлились пять машин, но так как на аэродроме не оказалось обслуживающего персонала, весь груз был передан проходившей мимо аэродрома части.

Генерал-полковник П. направил ф. радиограмму о том, что военно-воздушные силы предают находящиеся в котле войска. Фон Ман. звонит по телефону М.; Гер. также звонит М., М. звонит генералам Ф. и фон Рих., по селектору производится опрос аэродромов и экипажей, а в это время от 6-й армии поступает новая радиограмма с обвинениями. Между командованием военно-воздушных сил и командованием 6-й армии идет спор, можно ли приземляться на аэродроме в Гум., который находится под артиллерийским обстрелом. У одного приземлившегося самолета проходившая мимо войсковая часть выкачала из бака весь бензин, и самолет не смог вылететь обратно. Высокие инстанции договариваются, наконец, о том, что на следующий день в котел прибудет представитель авиации, который на месте разрешит спор.

Фронтовая радиостанция передает из Харькова специальную программу для Ст. (в основном, песни о Вене и Дунае).

Понедельник, 18 января 1943 г.

9-й день русского наступления.

В помощь обороняющимся перебрасывают истребители и бомбардировщики из Франции. Для доставки грузов М. предполагает использовать грузовые планеры. Придя в себя после автомобильной катастрофы, случившейся накануне, М. нанес визит фон Ман.; мнения фельдмаршалов совпадают.

Радиограмма командующего 6-й армией: «Мой ф., Ваши приказы относительно снабжения армии не выполняются. Аэродром в Гум., начиная с 15 января, полностью готов к приему самолетов. Посадочная полоса признана безупречной. Необходимо Ваше немедленное вмешательство, обстановка чревата катастрофой».

Следующая радиограмма: «Претензии авиации рассматриваются здесь только как отговорка. Посадочные возможности признаны летными частями вполне приемлемыми. Командующий просил непосредственно ф. вмешаться в это дело, так как промедление авиации уже стоило жизни многим и многим людям».

Ночная радиограмма: «Все еще ни одного самолета. Армия просит отдать экипажам самолетов приказ производить посадку».

Вторник, 19 января 1943 г.

10-й день русского наступления.

Дневное донесение армии: на западном участке противник возобновил массированные атаки на левый фланг 76-й и на правый фланг 44-й пехотных дивизий, которые были успешно отбиты. Вследствие снежных заносов найдена только часть сброшенных кассет с продовольствием.

В 11 часов в котле приземлился офицер ВВС, майор Т. К 16 часам его самолет не был еще разгружен. Над Ст. много истребителей противника, но они не опускаются ниже 1000 м. Как только противник обнаруживает какое-либо передвижение на аэродроме, три русских патрулирующих штурмовика начинают сбрасывать бомбы. Если же объекту удается избежать удара с воздуха, немедленно подключается русская артиллерия. Солдаты наземной службы находятся в состоянии апатии и почти не выполняют приказов.

М. отдал за пределами котла распоряжение не отвечать на упреки 6-й армии в адрес ВВС, так как ситуация в котле действительно тяжелая. Такую же сдерживающую тактику проводил и генерал-фельдмаршал фон Ман.

Полковник А.,* адъютант П., сказал в этот день своему другу: «Ты знаешь, нас осталось теперь только 150 000, но все эти 150 000 — государственные изменники. Писатель-коммунист В.** читал сдавшимся в плен стихи. Пленных, главным образом офицеров, собрали для этого в деревне К. на Дону, в школе. Обычно столь упрямые, офицеры не в состоянии были сопротивляться поэзии, хотя она содержала неприятную информацию».

---

* А.— Адам.
** В.— Эрих Вайнерт.

Среда, 20 января 1943 г.

11-й день русского наступления.

Дневное донесение: приступили к сокращению северо-западного участка фронта. Отсутствие горючего приведет к большим потерям в людях, оружии и технике.

П. отправил Цейт. следующую радиограмму: «Крепость может продержаться еще всего несколько дней. Прекращение снабжения лишило людей последних сил, а технику — подвижности. Скоро будет потерян последний аэродром, в связи с чем снабжение сократится до минимума. Базы для выполнения боевой задачи по удержанию Ст. больше не существует. Уже сейчас русские могут прорваться на отдельных направлениях, так как целые участки фронта остаются открытыми из-за больших потерь в людях. Тем не менее героизм солдат и командиров еще не сломлен. Чтобы использовать его для последнего удара, я намереваюсь перед катастрофой отдать всем частям приказ на организованный прорыв в юго-западном направлении. Отдельным группам удастся прорваться и вызвать замешательство в тылу противника. Если же мы останемся на месте, то наверняка все погибнем; даже те, кто попадет в плен, погибнут от голода и холода. Предлагаю вывезти на самолетах некоторое количество специалистов — офицеров и солдат,— чтобы использовать их в дальнейшем. Приказ на это необходимо отдать как можно быстрее, ибо вскоре негде будет совершать посадку. Офицеров прошу перечислить поименно. Лично я при этом, разумеется, исключаюсь.

Подпись: П.»

Ответ:

«Радиограмму получил. Совпадает с моим предложением, сделанным четыре дня назад. Еще раз докладывал ф.

1. Относительно попытки прорваться: ф. оставил за собой право принять последнее решение. Прошу, при возможности, направить мне еще одну радиограмму.

2. Относительно эвакуации самолетами: ф. пока что отклонил это предложение. Прошу прислать сюда Ц., с тем чтобы он еще раз доложил об этом. Я возьму его с собой к ф.

Подпись: Цейт.».

Два офицера нашли в погребе кассету с продовольствием; съели содержимое, а затем застрелились.

Четверг, 21 января 1943 г.

12-й день русского наступления.

Генералы Пф. и фон Зейд. просили в этот день П. прекратить бои. П. не знал, что предпринять. Переводчика в штабе армии не было. По радио пригласили капитана фон Н. из 4-го армейского корпуса. Во время совещания П. сказал фон Н.: «Возможно, то, что мы сейчас делаем, является государственной изменой»,— и добавил: «Что мне остается делать, если ф. не дает согласия?» В этот день, находясь в подавленном состоянии, они решили согласиться на предложение о капитуляции от 9 января. Фон Н. перевел на русский язык письмо следующего содержания:

«Генерал-полковнику артиллерии В.

Я готов вступить в Вами в переговоры на основе Ваших условий от 9 января. Прошу Вас отдать 23 января с... часов приказ о прекращении огня. Мои полномочные представители прибудут на двух машинах с белыми флагами в ... часов 23 января по дороге вдоль железнодорожной линии Ген.— разъезд Конный — Котлубань. Командующий 6-й армии».

Утреннее донесение 6-й армии: начиная с 16 января получено только по 36 снарядов для легких полевых гаубиц, израсходованы уже тысячи; на каждый ствол остается по 30 выстрелов. Горючего и продовольствия по-прежнему недостаточно.

Дневное донесение: с беспримерным героизмом дивизии западного участка фронта вели ожесточенные бои, отражая массированные атаки войск противника, поддержанные танками и артиллерией. Сегодня нами ликвидированы несколько глубоких вклинений; контратаками мелких групп пока что удалось приостановить продвижение полков противника. Уничтожено несколько танков, главным образом, в ближнем бою. С наступлением темноты 60-я мотопехотная, 113-я и 76-я пехотные дивизии, ведя сдерживающие бои с атакующим противником (противник зашел в тыл!), отходят на рубеж Надежа — 4 км. восточнее Гончара, который необходимо удерживать в течение 22 января. 44-я пехотная дивизия, вероятно, уничтожена.

Ярко светит солнце. Обледенелый труп на холме клюют вороны. Птицы в степи — зрелище необычное. Маленькое белое солнце, пробивающееся через белесую дымку, изменило привычную свою окраску, но, увы, не греет. Чистое небо дышит жестоким холодом, а движущиеся со стороны Астрахани массы холодного воздуха вовсе не желают считаться с тем, что может выдержать человек.

Пятница, 22 января 1943 г.

13-й день русского наступления.

Начальник штаба 6-й армии Ш. предложил командующему армией ввиду создавшейся обстановки «регулировать смертность», т. е. сдать госпитали противнику. П. не

хотел решать этого вопроса без консультации с вышестоящими инстанциями. Мнения П. и его начальника штаба (при свидетелях) разошлись.

Утреннее донесение 6-й армии: в ходе тяжелых, продолжавшихся целый день боев на северном, западном и юго-западном участках фронта противнику удалось глубоко вклиниться на юго-западном участке. У большей части подразделений боеприпасы израсходованы. Отмечаются отдельные случаи морального разложения войск. Последними средствами удалось уничтожить 20 танков противника. На западном участке слабая оборона в виде редкой цепочки опорных пунктов. 76-я и 297-я пехотные, а также и 3-я моторизованная дивизии уничтожены.

Фронтовая радиостанция русских передает немецкие лирические песни: «Здесь каждая роза твердит о любви...»

В восточной части котла, в 305-й и 79-й пехотных дивизиях, упорно ходят слухи, что в котел прилетел ф. с несколькими полками парашютистов-десантников.

В 389-й пехотной дивизии, находящейся на северо-западном выступе у Ш. на реке В., изучалось предложение командования 51-го корпуса: внезапной атакой совместно с тремя соседними дивизиями совершить, против воли П., прорыв на восток, через Волгу. Двигаться намеревались сначала на восток, затем назад, через Волгу, на запад и юг к немецким позициям. Позднее от этого плана отказались.

Подполковник Ф. из штаба корпуса генерала Г. приказал одному из шоферов штаба отвезти его на аэродром. Там он, утверждая, что имеет задание наладить важные организационные мероприятия за пределами котла, сумел прорваться в самолет. После возвращения шофера в штаб корпуса было обнаружено, что подполковник Ф. просто дезертировал. Явившись в штаб группы «Дон» с фальшивым заданием, он был расстрелян на следующий день за трусость. Для начальника этого офицера, которого все звали «папа», было непонятно, как мог подобным образом покинуть штаб сотрудник, с кем он вместе проработал много лет.

Суббота, 23 января 1943 г.

14-й день русского наступления.

Штаб армии передислоцировался сначала на командный пункт 71-й пехотной дивизии, а затем в южную часть Ст.

В штабах частей побеждает мнение, что раненых при отходе лучше оставлять там, где они лежат. Против этого говорит известное чувство сентиментальности, но с практической и медицинской точек зрения правильнее оставить их на попечение противника, чем, сохранив им на несколько дней свободу, оставить их без всякого ухода. В этот день с импровизированного аэродрома вблизи Ст. вылетел последний самолет.

Воскресенье, 24 января 1943 г.

15-й день русского наступления. Погода солнечная.

Тысячи солдат разгуливают по улицам Ст. Русские стреляют редко. На всех углах жарят и варят. Из Гум. к городу движутся толпы людей. Прошлой ночью войска оставили балку Тигода и отошли на условную линию, частично обозначенную на снегу колышками и веревкой. Им было сказано, что это последний оборонительный рубеж. В полдень западный участок фронта официально оттягивается на окраину Ст. Капитана фон Н., знающего русский язык, снова вызвали в штаб армии и приняли, как герцога. Подавали кофе, сигареты и французский коньяк. Капитан будет находиться в распоряжении командования армии в качестве переводчика. Начальник штаба Ш. сказал ему: «Желательно удержать командующего и его приближенных от непосредственного участия в бою. Об этом не должны знать фон Эльхлепп и начальник оперативного отдела. Основная идея состоит в следующем: командующий не сдался, а был захвачен в плен».

В этот день П. несколько раз говорил, что ему надо застрелиться. Генерал Ш. в подобные разговоры не вступал. Он твердо придерживался своей линии: организованные действия в котле, а затем столь же организованный переход на статус военнопленных.

Примерно в полдень начальник штаба 51-го корпуса собрал вблизи развалин какой-то фабрики всех своих подчиненных и сказал: «Вы свободны делать, что хотите; битва проиграна. Желаю вам счастья»,— а затем пожал всем присутствующим руки. Люди, привыкшие к приказам, не знали, что делать со своей свободой.

П., потрясенный безвыходностью обстановки, которая была ясно видна на его карте, направил Гит. следующую радиограмму: «На основании оперативных сводок корпусов и личных донесений их командиров командование армии докладывает: войска без боеприпасов и продовольствия, связь поддерживается лишь с частями шести дивизий. Случаи разложения войск отмечаются на южном, северном и западном участках фронта. Единоначалие больше неосуществимо. Восточный участок особых изменений не претерпел. 18 000 раненых не получают никакой медицинской помощи; нет ни перевязочных материалов, ни медикаментов. 44, 76, 100, 305 и 384-я пехотные дивизии уничтожены. Противник глубоко вклинился на многих участках. Опорные пункты и укрытия есть только в самом городе. Дальнейшая оборона бессмысленна. Катастрофа

неминуема. Для спасения оставшихся армия просит разрешения на немедленную капитуляцию».

Гит. не пожелал понять, как мог П. послать ему подобную радиограмму, и, разумеется, отверг капитуляцию.

Главное командование предложило П. представить людей к наградам и повышению в звании.

Утреннее донесение 6-й армии: в городе положение ужасающее. Около 20 000 раненых, не получающих никакой медицинской помощи, нашли себе пристанище в развалинах домов. Примерно столько же голодных, обмороженных и отбившихся от своих частей, большинство без оружия.

Понедельник, 25 января 1943 г.

16-й день русского наступления.

297-я пехотная дивизия под командованием Морица фон Др. двигалась маршем к русским позициям; к ней не присоединился ни один солдат из соседних дивизий, но никто и не стрелял в нее. Бывший президент имперского военного трибунала генерал Г., командовавший 8-м корпусом, приказал открыть огонь по штабу капитулирующего соседнего корпуса фон Зейд. Убито несколько офицеров. Из оставшихся 150 000 солдат, начиная с 20 января, 120 000 не участвовало в боях.

В руинах Ст., протянувшихся на 21 км, укрылось еще примерно 150 000 солдат.

Утреннее донесение 6-й армии: на самом высоком здании в центре города поднято знамя со свастикой.

Дневное донесение: противник предпринимает мощные атаки, поддержанные большим количеством танков и артиллерии при незначительных силах медленно продвигающейся пехоты. Западная окраина Ст. в основном удерживается. Пригород Минино оставлен. 11-й армейский корпус обороняется, имея небольшое количество тяжелого оружия, боеприпасов мало, продовольствия нет. Авиация противника совершает беспрерывные налеты на всю территорию города. Количество раненых, умерших от голода и отбившихся от своих частей, растет с каждым часом.

Вторник, 26 января 1943 г.

17-й день русского наступления. Ночью метель и сильный ветер.

В этот день русские генералы В. и Р. разрезали котел на две части.

Встреча русской 21-й армии с наступающей с востока 13-й стрелковой дивизией произошла в районе расположения немецкой 100-й егерской дивизии и стоила последней жизни.

Объединенные остатки штабов 4-го армейского корпуса и 71-й пехотной дивизии («Счастливой») под командованием генералов Пф. и Александра фон Г., а также полковники Гр. и В. сидели в блиндаже, ожидая конца. Когда русские перешли в атаку, все во главе с Александром фон Г. вышли на насыпь и, стоя в полный рост, до тех пор стреляли в русских, пока последние не застрелили генерала фон Г. Это моментально охладило пыл оставшихся в живых, и они покинули насыпь. К концу дня начальник оперативного отдела штаба М. сколотил отряд в 280 человек, чтобы организовать прорыв в юго-западном направлении. Попытка состоялась вечером. В этот же день командир разбитой 371-й пехотной дивизии застрелился на командном пункте генерала Пф.

Генерал-майор В. удивленно спросил офицера Б.: «Почему Вы меня не приветствуете?»

Последняя батарея одного артиллерийского полка была добита из минометов.

Когда подполковник генштаба фон Ц. доложил Гит. о положении в оставшейся части котла, Гит. приглушенным голосом, который для многих из его приближенных звучал отечески, сказал: «Люди восстанавливаются быстро!»

Как «восстанавливался» полковник В.

В Польше полковник В. был еще капитаном. На его глазах погибли семь его друзей-офицеров. Эти жертвы были оправданы победой. Во Франции он потерял еще двух своих друзей; отныне он больше не торопился приобретать новых друзей. Однако не мог избежать привязанности к молодым людям, которых обучал. В Сербии он потерял часть своих молодых солдат, попавших в засаду. В Греции (он дошел только до Салоник) от огня собственной артиллерии он потерял двух солдат. В южной России артиллерии не было. Солдаты увязали в липкой, скользкой грязи и попадали в засады. Форсируя Днепр, они не заметили дзот противника, это стоило жизни 15 солдатам, которых обучил и воспитал В. Зимой на реке Миус В. потерял еще 40 человек убитыми и ранеными, среди которых был и его друг, лейтенант М. К весне 1942 г. у В. осталось еще 12 человек старого кадрового состава. Под Ст. он потерял до ноября еще восемь. В октябре В. получил пополнение и дошел с ним до поселка Р. Плохо обученные солдаты пополнения сразу же погибли. Пробыв 30 дней в котле, В. решил спасти хотя бы одного из оставшихся четырех кадровых солдат. 10 января в 6.00 утра противник после 45-минутной артиллерийской подготовки перешел в генеральное наступление. Артиллерийский огонь не причинил вреда подразделению В. Кое-кто из его солдат пытался выступить против русских танков с бутылками, наполненными бензином. В этот день

погибло трое из четырех оставшихся у него кадровых солдат. Сам В. был ранен и успел выбраться из Ст. Он «восстанавливался» во Франции, формировал там новую роту. Эту роту он потерял в Яссах. Так как к тому времени В. снова был ранен, у него была полная возможность оправиться и от этого шока. В Пуште в конце 1944 года он снова принял участие в битве. Здесь он командовал танковым соединением и надеялся на этот раз сохранить хоть часть своих солдат. Когда же в декабре ему пришлось в течение одного дня покинуть подряд четыре танка, так как все они были по очереди подбиты, он сел в борозду на поле и заплакал. После четырехнедельного пребывания в тылу В. снова «восстановился» и даже принимал участие в обороне Ахензее в Баварии.

Среда, 27 января 1943 г.

18-й день русского наступления.

На восточном участке котла обычная боевая обстановка. Здесь даже предпринимались попытки наскрести резервы. На командном пункте 14-го танкового корпуса во второй половине дня появился генерал-полковник П. и беседовал с заместителем командира корпуса генералом Шл. Несмотря на крайне бедственное положение П. не принял никакого решения.

Начальник штаба корпуса полковник М. просил начальника штаба армии Ш. дать указание прекратить бой. Ш. ответил: «Обстановка нам известна, но приказ гласит — продолжать бой». М. спросил его: «Что могут сделать солдаты без боеприпасов?» Ш. ответил: «У них есть ножи, а у кого нет, пусть кусается». Услышав это, заместитель начальника оперативного отдела штаба корпуса застрелился. Узнав об этом, его начальник М. выскочил из командного пункта и скрылся на территории полуразрушенной фабрики.

Четверг, 28 января 1943 г.

19-й день русского наступления.

Генерал фон Д. принял командование беспризорным 14-м танковым корпусом. Он пригласил к себе командиров дивизий и посоветовал им сдаться на следующий день в плен. П., узнав об этом, сместил генерала фон Д. По телефону ему удалось убедить командиров дивизий не капитулировать по крайней мере до завтра. Тогда генерал фон Д. решил капитулировать хоть с одной 376-й пехотной дивизией.

Основной темой при разборе обстановки у Гит. было возрождение 6-й армии. Большие надежды Гит. возлагал на переброшенные в южную Россию свежие танковые дивизии СС. Гит. стал осторожным. Он требует изучить вопрос: нельзя ли все-таки вывести войска из Демянского котла. Захват Ленинграда он считает более важной задачей, чем сохранение этого котла.

Пятница, 29 января 1943 г.

20-й день русского наступления.

В Ст. все перемешалось: немецкие солдаты, раненые, русские солдаты. Только отдельные офицеры и старые унтер-офицеры получили разрешение стрелять по русской пехоте, чтобы не попасть при этом в своих.

Суббота, 30 января 1943 г.

21-й день русского наступления.

Генерал-полковник П. обдумывает возможность подорвать себя.

В полдень в сверкающем голубом небе русская авиация несколькими эскадрами провела на небольшой высоте воздушный парад.

Присвоив П. звание фельдмаршала, Гит. дал армии полководца. Награды солдатам и офицерам сыпались как из рога изобилия.

Генерал К. с подразделениями 295-й пехотной дивизии отбил оставленную ранее часть здания казармы.

Немецкие штурмовые группы добились частного успеха на улице... Русская артиллерия обстреливала центральную часть города. Железобетонные перекрытия универмага, под которыми находился штаб армии, держались прочно. Генерал Роске, командовавший частями в центральной части города, отклонил предложение поднять в полдень над его командным пунктом германское знамя. Солдаты, укрепившие было знамя на тросах, получили приказ: «Отставить! Знамя может служить для русской артиллерии хорошим ориентиром». Большинство телефонных линий оборвано. Из отбившихся от своих частей солдат были сформированы три роты. Через два часа они разбежались. В этот день фельдмаршала охраняло 17 человек из надежных частей.

Вечером вблизи «Нового театра» майор П. наткнулся на какой-то штабель. Оказалось, что это замерзшие трупы погибших солдат. С точки зрения гигиены это было счастьем, ведь если бы катастрофа произошла в более теплое время года, то могла бы вспыхнуть эпидемия.

В третьем часу утра генерал Роске решил принять парламентера противника. Русские прислали капитана. Но его отправили назад — немецкое командование потре-

бовало по меньшей мере старшего офицера. После этого русские прислали майора. Уточнялся вопрос о том, смогут ли офицеры 6-й армии, приняв безоговорочную капитуляцию, сохранить при себе холодное оружие (палаши, кортики, шпаги). Это условие было отклонено.

Воскресенье, 31 января 1943 г.

В ясном голубом небе летают немецкие разведчики дальнего действия.

В северном котле генерала Штр. относительно спокойно.

В южной части Ст. серое мрачное утро; ни одного выстрела. В предрассветных сумерках у главного входа в универмаг стоял майор Ц. Русские солдаты едва не попали на минное заграждение перед главным входом; это могло бы привести к осложнениям. Майор Ц. предупредил их. В коридорах подвала много русских и немцев. В специальном подвале армейского полка связи уничтожают передающую и приемную аппаратуру. Кто-то сказал, что фельдмаршал хочет застрелиться, поэтому майор Ц. был послан офицерами штаба армии разыскать П. и не допустить самоубийства. Во всех подвальных помещениях жгли документы. Ц. увидел фельдмаршала во дворе универмага; П. стоял и смотрел вдаль, оружия у него, по всей видимости, не было. В течение часа Ц. неотступно следовал на некотором расстоянии за фельдмаршалом. Солдаты почти не знали фельдмаршала в лицо, они знали только его имя. Некоторые приветствовали его, потому что это был все-таки генерал. Около полудня фельдмаршал, несколько генералов и старшие офицеры штаба уехали на машинах в плен.

На командном пункте коменданта центральной части Ст. у только что получившего повышение в чине генерала Роске, который сдал центр города вместе со штабом армии, был накрыт скудный стол для прибывших русских офицеров. Все немецкие офицеры нервничали. А нервничали высшие чины, между прочим, и потому, что не могли дать удовлетворительного ответа на вопрос о местонахождении 3500 русских военнопленных. Генералы не знали, получали ли в последнее время эти русские довольствие. Часть военнопленных была переброшена из населенных пунктов в восточной части котла на запад. Где они были в последней фазе битвы — неизвестно.

В полдень в штаб русского Донского фронта прибыл народный комиссар Агеев, он попросил выделить ему 300 трофейных машин и разрешить участвовать в допросе фельдмаршала П. Немецкие генералы, включая П., были доставлены в Зав., там им предложили закусить. После обеда П. провели в штабное здание генерала В. Ни товарищу В., ни товарищу Р. не приходилось прежде допрашивать немецкого фельдмаршала. Кинооператору Кар.* было разрешено присутствовать и производить съемку. Подойдя к В. и Р., П. поднял руку в гитлеровском приветствии. Ему предложили сесть. Сигареты он не взял.

В. сказал: «Мы предлагаем вам немедленно отдать приказ германским войскам, продолжающим оказывать сопротивление в северо-западной части Ст., прекратить бесполезное кровопролитие». П. не хотел отдавать подобного приказа. Р. закурил, после этого взял себе сигарету и П. В. предложил П. еще раз взвесить ситуацию и приказать остаткам германских войск капитулировать. П. нервничал и отказывался. После этого В. спросил, какая диета нужна ему при нынешнем состоянии его здоровья. Вопрос поразил П.; он ответил, что просит помощи не для себя лично, а для больных солдат и офицеров своей армии. В. разговаривал перед этим с начальником медицинской службы 6-й армии относительно состояния здоровья П. Дискуссия продолжалась до позднего вечера. В заключение В. сказал: «Мы хотим обратить внимание фельдмаршала на то, что по его вине многие солдаты подчиненных ему войск будут завтра уничтожены». После этого П. встал и поднял правую руку.

Понедельник, 1 февраля 1943 г.

389-я пехотная дивизия выделила специальную боевую группу для сбрасывания трупов в Волгу.

За последние дни военно-полевой суд вынес 364 смертных приговора. Бывший президент имперского военного трибунала, ныне командир корпуса в центральной части котла, капитулирует. Гит. после разжалования капитулянта П. заявил: «Нужно будет наградить этого Штр.**, чтобы он держался до последнего».

Вторник, 2 февраля 1943 г.

Ночью генерал фон А. разговаривал с подполковником медицинской службы Г. и заявил ему, что отказывается капитулировать. Позднее его нашли мертвым. Когда офицеры штаба генерала фон А. вышли утром из своих погребов, они услышали от стоящих вокруг немцев предупреждение: «Не стрелять!» В балке Ор. генерал фон Л. сдавал свою дивизию в плен. Выстроив всех оставшихся в живых солдат, фон Л. поблагодарил их и пожелал им всего наилучшего на их пути в неизвестность. После него выступил русский командующий Р. Оба генерала приветствовали друг друга и направились к блиндажу, где был организован завтрак.

---

* Кар.— Кармен.

** Штр.— генерал пехоты Штрекер, командующий 11-м армейским корпусом.

Отдел генштаба «Иностранные армии Востока» считал, что в результате окончания боев в Ст. освободится 107 русских войсковых частей и 13 танковых полков резерва главного командования. Практически часть этих войск была переброшена из Ст. уже в последние дни боев.

Вечером фельдмаршала П. снова препровождают в штаб Донского фронта. В. и Р., которые сегодня же вылетают в Москву, задают ему следующие вопросы:

1. Располагали ли вы информацией о готовящемся в ноябре крупном наступлении?

Ответ частично отрицательный.

2. Как вы, образованный и опытный военачальник, могли проводить столь рискованную операцию, не имея достаточного прикрытия флангов?

Ответ обстоятельный со ссылкой на приказы свыше.

3. На что вы надеялись? Почему не проявили необходимой активности? Вы могли бы попытаться прорвать наш фронт?

П. ответил, что сам он не мог решить этих вопросов, их решала вышестоящая инстанция.

VIII. ОБОБЩЕНИЕ, ИЛИ ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Кого защищают солдаты?

Кого защищают солдаты? Внутренний порядок. О каком порядке идет речь? О существующем. На чем основано его существование? На разграничении обязанностей в производстве. А что этим достигается? Рабочие служат и работодатели служат. Кому они служат? Церкви и солдатам. А кому служат солдаты? Порядку. Кому служит порядок? Церкви, военным и разграничению обязанностей в производстве. Кто их защищает? Солдаты.

Исторический экскурс.

Княжеские армии.

Разбойничьи армии.

Церковные армии.

Боевой порядок Фридриха Великого.

После поражения у Иены и Ауэрштедта Пруссия ввела в своей армии разведку. У кого есть идейная сплоченность, тому не нужна сплоченность боевых порядков. Прусские реформисты переняли для монархии идею levée en masse *.

Польза реформы для нереформированного мира: монархия получила теперь эффективную военную машину, столь необходимую для ее существования.

В 1848 году в армии еще имелись либералы. Задача армии состояла в том, чтобы охранять внутренний порядок и трон. Эта задача на долгий срок исключала всякий либерализм. В 1848 году демократия победила армию, но та незаметно опять восстановилась. Роон сказал: «Армия — наше отечество». Вслед за этим произошел государственный переворот: был увеличен военный бюджет.

Кризис начался в 1918 году, 19 июля 1918 года объединившиеся вокруг Гугенберга пангерманцы, которые затеяли войну, потребовали: «Умно выйти из войны».

22 ноября главное командование разрабатывало план, как очистить Берлин с помощью 10 дивизий. Позднее это удалось в несколько иной форме. Задача состояла в том, чтобы спасти важнейший консервативный фактор — армию.

Несмотря на союз с правящей партией, армия сокращалась. 1 апреля 1919 года она насчитывала 800 000 человек, 10 января 1920 года — 400 000, 15 мая 1920 года оставалось только 200 000. 1 января 1921 года командование рейхсвера объявило, что численность личного состава равна 100 000 человек (включая и так называемый черный рейхсвер).

В 1925 году произошло дальнейшее сокращение рейхсвера. 1926 год был плохим годом для рейхсвера. В это время офицерский корпус под руководством фон З., фон Шлейх., фон Г. обучался оборонительным действиям и осторожности. Основная цель состояла в том, чтобы сохранить идею и кадры рейхсвера.

К захвату власти рейхсвер отнесся выжидательно. После введения всеобщей воинской повинности Верховное командование вплоть до 1939 года занималось обучением оборонительной армии. Из осторожности (с целью сохранить идею рейхсвера) шли на компромиссы между оборонительной и наступательной концепциями, на компромиссы в военно-политических и кадрово-политических вопросах. Армия не хотела войны. Но и здесь она пошла на компромиссы (как в вопросе войны с Россией), чтобы сохранить в рамках вермахта кадры рейхсвера. Успехи пробудили в офицерах хищные инстинкты.

Тем не менее война с Россией была для большинства не «его» войной, а просто компромиссом для сохранения важной традиции, традиции рейхсвера, от которого не желали отказаться.

---

* Рекрутский набор (*франц.*). Во времена французской революции Национальный конвент принял закон о рекрутском наборе неженатых молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Генеалогическое древо.

Министры Фридриха Великого были по существу мелкими чиновниками. После Иены и Ауэрштедта это положение изменилось. За фон Штейном много лет правил фон Гарденберг. За ним последовал фон А. За фон А. ... и так до М. М. передал бразды правления Брюн., а Брюн.— фон Пап. Фон Пап., собственно, не хотел ничего передавать фон Шл., но должен был это сделать и в отместку передал бразды правления Гит.

На поколение 1830—1860 гг. работало поколение 1810—1840 годов... и т. д.

На поколение 1860—1890 гг.— предшествовавшее.

На поколение 1890—1920 гг. работали предшественники их предшественников.

На поколение 1910—1940 гг. вначале работало третье поколение предшественников, второе же поколение предшественников позднее не захотело уйти с политической арены.

Гит. прогнал стариков,
и вот после 1933 г. и 1940 г.
молодежь наконец захотела сама
жить,
действовать,
не рисковать, допуская стариков до правления,
а идти сама на риск
(что в свое время делали и старики).

В 1806 году прусские генералы (принц Луис при Заальфельде, Тауенциен — у Дорнберга близ Иены, Грауерт — по одну, а Рюхель — по другую стороны Каппельсдорфа, выстроив войска облическим боевым порядком Фридриха Великого, очертя голову ринулись навстречу своей гибели.

Гинденбург знавал садовника своей бабушки, который 14 дней успел еще прослужить под знаменами Фридриха Великого. В походе 1866 года Гинденбург уже принимал участие сам; лейтенантом он побывал в Версале; в 1911 году ушел в отставку. Потом командовал войсками в первой мировой войне. В 1917 году он отметил свое семидесятилетие. В 1919 году писал мемуары, а в 1925 году был выдвинут правыми на пост рейхспрезидента. Его девиз: «Никаких авантюр».

Государственный секретарь М. говорил: «Уберите бумагу, иначе старик подпишет ее». Он подписывал очень много бумаг. В 1934 году ему удалось еще спасти 27 консерваторов. Собственно говоря, ему всегда хотелось одного — стать владельцем имения Нейдек.

Военный министр генерал фон Бл., как истый офицер, отклонил летом 1933 г. всякие политические переговоры. Фон Бис., внук великого Бис., заявил ему: «Я пришел не к офицеру, а к военному министру фон Бл.». Фон Бл. стукнул кулаком по столу и сказал: «Я запрещаю вести подобные разговоры в моем служебном кабинете!» Фон Бис. возразил: «Если бы в 1862 году Роон думал так же, то сейчас на этом месте сидели бы не вы, а демократы». В стремлении немецких генералов заниматься военной политикой и в то же время принципиально воздерживаться от участия в политике сказывалось определенное разделение труда. Трусость, тщеславие, ум, знания, безрассудная смелость, откровенность — все это служило одной цели: способствовать успеху армии.

В консервативном лагере фон Бис. также существовало разделение труда: одни поддерживали новый курс, другие оказывали ему достойное сопротивление; но и те и другие преследовали определенную цель — сохранить свой класс.

О б я з а т е л ь с т в о — н е д у м а т ь.

В порядочном обществе не принято касаться вопросов высокой политики. Аналогичным образом при дворе Людовика XIV смех короля определял успех или неуспех комедии. Но в 1920—1930 гг. в Германии не было короля. Были те, кто задавал тон и в свою очередь зависел от тех, кто этим тоном руководствовался.

К т о о п л а ч и в а е т п о л и т и к у р е й х с в е р а?

Камарилье 1848 г. не нужно было платить.

Победители 1871 г. не платили.

Реформаторы армии 1892, 1905 и 1912 гг. не платили; не платили и авторы военно-морских реформ.

Рейхсканцлер генерал фон К. заявил, что не может позволить себе такой роскоши, как его предшественник фон Б., который начинал действия, имея по пять патронов на человека. Он начинает, имея по два.

«Речь идет о судьбе наших поместий»,— сказал фон Пр., но платить не захотел.

Не хотели платить:

пангерманцы,

сотрудники Министерства иностранных дел и Управления имперской канцелярии 1905—1914 гг.,

консерваторы,

заправилы промышленного и финансового мира,

пресса и

верховное командование.

Генерал-полковник Рейнгардт из Баден-Вюртемберга, первый республиканский начальник Управления сухопутных войск, был в глазах военных недостаточно консервативным. Его заменили генерал-полковником фон З., который обещал сделать все так, как было раньше, учитывая, однако, особенности республики. Платить он тоже не хотел.

Лишенные прав левые не хотели платить, не хотели и центристы и правые.

Так как фон Пап. тоже не хотел платить, то передал все счета Гит.

Гит. хотел иметь все, но не хотел платить.

Не хотели платить за свою карьеру: фон Ман., фон Б., фон Рун., фон Лис., фон Кл.*, П., Ш. и др.

Армия фон Р.

6-я армия была армией генерала фон Р.** и первоначально называлась 10-й. Сформированная в Лейпциге, она считалась первоклассной армией и была оснащена значительно лучше других. Генерал фон Р. слыл способным и преданным национал-социализму. Гинденбург, однако, считал его несерьезным человеком.

В 1934 г. фон Р. составил проект разъяснения по поводу расстрела его предшественников, генералов фон Шл. и фон Бр.; их, может быть, и не расстреляли бы, если бы фон Р. не промолчал.

В 1935 г. он разработал проект военной присяги ф.

Фон Р. человек тучный, галифе висят на нем пузырями, состоит в родстве с богемской знатью, однако не верит больше в великое предназначение этой прослойки. Земельных владений не имеет. Не питает никаких чувств к старой касте военных. Отечество для него там, где живут он сам и его друзья; он за полную свободу перемещения в этом мире. И ведет он себя по отношению к этому миру как главарь разбойничьей шайки. Отсюда — позерство. Не видит причин отказывать себе в удовольствиях, т. к. нет причин для пуританства; поэтому не признает никаких ограничений для солдат. Не прочь пооригинальничать — подчиненные могут обращаться к нему непосредственно, не соблюдая субординации (часто говорит, что ему нравится, когда офицеры и рядовые говорят друг другу «ты»). Непринужденно ведет себя в присутствии начальников; курит сигареты во время еды. Не бережет себя под огнем противника, считая, что заранее ничего не угадаешь, а главная опасность не в потере собственной жизни, ибо жизнь, как таковая, едва ли имеет самостоятельный смысл. Основная характерная черта: руководствуется личными симпатиями, холоден. Когда однажды Гим., Гейд. и Далюге подошли в ресторане к столику фон Р., он не встал, а просто сказал: «Присаживайтесь, но не мешайте нам!»

Его отношение к национал-социализму. Он верил в это движение, был всей душой предан ему и надеялся принимать участие в руководстве движением, которое, по мнению ученых, может превращать людей в слепые орудия (себя-то уж он ни в коем случае не причислял к таковым).

Во время польской кампании детище фон Р., 6-я армия, двигаясь из Силезии, успешно повернула на север и не раз окружала значительные группировки противника. Зимой 1939—1940 гг. фон Р. приказал расстреливать солдат 6-й армии для поднятия дисциплины. На западе армия ворвалась в Бельгию и выиграла несколько битв. Ее предполагали высадить в Англии. На нее возлагалась также задача по захвату Гибралтара. Позднее армия оказалась в России, на северном фланге группы «Юг». Здесь она тоже считалась одной из лучших по оснащению. Год спустя, находясь под Ст., армия имела в своем составе столько дивизий, сколько обычно имеют две армии, вместе взятые.

В январе 1941 г. фон Р. был назначен командующим группой «Юг»; 6-ю армию он оставил за собой. В Полтаве этот энергичный человек командовал сразу двумя большими штабами. К этому он всегда стремился. С самого начала фон Р. был рейхсверовцем, и с самого начала он был также сторонником Гит. Коллеги мешали его продвижению по службе. Разразившийся на рождество 1941 г. кризис лишил его коллег власти. Три недели фон Р. занимал новый пост. Как-то морозным утром его хватил апоплексический удар. Грузного, потерявшего сознание маршала отнесли в самолет, который должен был доставить его на немецкую землю. Во время промежуточной посадки во Львове самолет разбился. Фон Р. был тяжело ранен в голову; маршальский жезл сломался пополам. Официальные похороны состоялись в Берлине.

В это время армия, получив пополнение, отразила наступление русских у Харькова.

Заменил фон Р. его бывший начальник штаба, генерал П.

Лето 1942 г. принесло прежде всего большие переходы. Предусмотренные битвы с окружением противника не дали существенных результатов. Это были так называемые «ординарные победы» в стиле Шлиффена. У Воронежа танковые войска слишком за-

---

* Рун — Рунштедт, Лис.— Лист, Кл.— Клюге.

** Р.— Рейхенау.

держались, надеясь овладеть городом. Воинственный командующий фон Б. не хотел упускать тактического преимущества. Штабы пуще всего опасались осени. Еще побежденный французский генерал Вейган высказывал в своих научных докладах сомнения относительно выдвижения танковых клиньев, не защищенных с флангов. Он говорил: «Каждый может отсечь такие клинья». Генералы фон В. и П. уже в августе высказывали опасения относительно своего северного фланга. Высшие офицеры генштаба изложили эти опасения письменно. Большая излучина Дона как бы всосала в себя массу немецких войск, поставив их в сравнительно незащищенное положение. Первоначально планировалось: создать группу армий «Дон» под командованием румынского маршала А.; передать командование 6-й армией генералу фон Зейд.; генерала П. перевести в ставку в качестве личного помощника Гит. Фон Ман. принял командование Кавказским фронтом. 6-я армия должна была в конце ноября перейти за Доном на зимние квартиры.

Ожидали прибытия первых танков типа «тигр». Войскам обещали придать танковый корпус СС.

Эти настроения и планы были сорваны подготовленным наступлением русских. Оказалось, что победоносная 6-я армия вполне готова и к поражению.

Командовали бы генералы до рождества иначе, чем Гит.?

«Если спросят, как вообще было возможно что-либо подобное, то следует отвечать так: немецкий офицер вырос в традиции повиновения. Ни одна армия не может отказаться от этого...»

(Из служебной инструкции)

После ст-ской катастрофы четверо из 70 непосредственно участвовавших в операциях генералов покончили жизнь самоубийством. Из генералов, находившихся за пределами котла, покончил с собой один только генерал-полковник Ешоннек, отвечавший непосредственно перед Гер. за снабжение по воздуху (он сделал это и за своего хозяина).

Командовали бы генералы до рождества иначе, чем Гит.?

Нет.

Можно ли было перебросить 11-ю армию на Дон после взятия Севастополя?

Из-за недостатка транспортных средств это так же маловероятно, как и переброска армии под командованием Бласковица в Смоленск зимой 1941 г. 11-я армия была частично переброшена под Ленинград, поскольку железнодорожная связь север — юг позволяла это сделать.

Можно ли было раньше начать наступление с целью деблокирования?

Да.

Можно ли было при деблокировании рассчитывать на больший успех, если бы пошли кратчайшим путем, более благоприятным для танков?

Вполне возможно.

Можно ли было раньше подтянуть к Ст. танковый корпус СС, который готовился для февральского наступления 1943 года?

Из-за отсутствия транспортных средств — нет.

Следовало ли оттянуть с Кавказа группу армий «А» и бросить ее на Ст.?

Да.

Следовало ли 6-й армии, учитывая создавшуюся обстановку, попытаться вырваться из окружения между 24 и 27 ноября?

Да.

Не следовало ли 6-й армии 23 декабря нанести удар в направлении отходящей 4-й танковой армии?

По всей вероятности, это было бы опасно.

Какие примеры напоминают обстановку 20 ноября?

Фридрих Великий
Мольтке
Положение рейхсвера в 1918—1928 гг.
Положение национал-социалистского движения до 1933 г.
Демянск
Холм
Харьков 1942 г.

Какие примеры могли бы послужить предостережением?

Фридрих II (Колин, Хохкирх, Кунерсдорф, Максен)
Мольтке-младший
Шлиффен
Шлейхер
Рейхенау
Демянск
Холм
Харьков 1942 г.

Были ли у П. категорические возражения против использования его армии?

У него были только сомнения.

Было ли назначение П. командующим 6-й армии большой кадрово-политической ошибкой?

Генерал Гейм полагает, что да.

В 1934 г. П. командовал автобатом в Вюнсдорфе, затем служил в штабах. Последнее время был генералом танковых войск.

19 ноября. П. еще надеялся, что это только испытание судьбы, как под Харьковом. Он предпочел сохранять спокойствие. 20 ноября он приказал прекратить в Ст. действия штурмовых групп; 21-го он убедился в серьезности обстановки: перед его командным пунктом появились танки противника. Он заполнял время телефонными переговорами. 22-го утром он встретился с генералом Г., а в 14 часов улетел в котел; 23-го он пришел к убеждению, что армия должна пробиваться на запад. Это мнение разделяли все подчиненные ему генералы, его начальник штаба, вышестоящий начальник и начальник генерального штаба. Но это мнение так и не удалось реализовать.

С 24-го началась жизнь в котле.

Мог ли П. надеяться, что останется безнаказанным, если на свой риск выведет армию из Ст.?

После 24 ноября это было невозможно, так как уже имелись специальные приказы.

А раньше?

Может быть, да, а может быть, и нет; может быть, ему заметили бы, что следовало бы дождаться приказа.

Вступился бы за него фон Ман.?

В этом полной уверенности нет.

А мог бы он его защитить?

Полной уверенности также нет.

Вступился бы за него Цейт.?

Может быть,— в случае заступничества фон Ман. Может быть, за более мягкое наказание для П. выступили бы и другие фельдмаршалы.

Потерпел бы Гит. самостоятельные действия П.?

Нет.

Окончилась бы на этом карьера П.?

Да.

Закончилась бы карьера фон Ман., если бы он вступился за П.?

Возможно. Во всяком случае, позднее он все равно поссорился с Гит. по другим причинам.

Закончилась бы карьера фон Ман., если бы он самостоятельно отдал приказ на выход из котла?

Безусловно.

На что надеялся в случае благоприятного исхода фон Ман., послушно выполнявший приказы?

Он мог стать главнокомандующим сухопутных войск и прослыть «светлой головой» в оперативных вопросах.

На что мог надеяться, послушно выполняя приказы, П., если бы все обошлось благополучно?

Стать советником Гит. в генштабе или же начальником штаба группы армий, а может быть, получить и более высокий пост. Кроме того, он мог быть причислен к лику упорных и последовательных командиров.

П.

Фридрих Эрнст П. родился в 1890 г. в Брейтенау в семье бухгалтера исправительно-трудового заведения; по вероисповеданию евангелист. Предки: крестьяне, управляющий молокозаводом, учитель, священник, тюремные служащие. «Мать — красивая, тихая, терпеливая женщина, переносившая все тяготы и лишения, не жалуясь на судьбу». Будучи офицером генерального штаба старой школы, он старался не наживать врагов, тщательно следил за своей внешностью. Имел фигуру кавалериста. Обладал превосходными манерами. Мог бесконечно долго обдумывать формулировку какого-нибудь приказа; писал готическим шрифтом, а расписывался латинским. Женился на представительнице румынской знати, род которой берет начало еще от византийских царей. В дни боев каждый вечер повторял шепотом весь ход событий истекшего дня. На соревнованиях по спорту и стрельбе его рота показала в 1922 г. результаты лучшие, чем рота Роммеля.

Беспомощен и беззащитен против грубости; всякая жестокость, которая не оправдывалась какой-либо предварительной договоренностью, парализовала его. Гит. был для него «ф.», к своему начальнику Фричу относился с особым уважением, а в лице фон Р. уважал вышестоящего начальника (хотя тот чавкал за едой и расстреливал солдат). Он почитал также своего начальника фон Ман. Из П. вышел бы отличный председатель какого-нибудь земельного суда.

В сентябре 1940 г. ему поручили разработать планы наступления на Россию. Лично он считал, что решающим для исхода войны является Средний Восток, тем не менее, из чувства долга, взялся за разработку порученного ему плана. Несмотря на требование строгой секретности, П. обсуждал с женой все планы стратегического развертывания войск (вопросы политические он решать не брался). П. сомневался в благополучном исходе войны, хотя это не значило, что он погрузился в безбрежный пессимизм. Он не был национал-социалистом, но не был и противником национал-социализма.

Скачок на протяжении одного поколения от бухгалтеров и тюремных служащих до крупного военного был связан с большими трудностями. П. стал разносторонним актером. Он соблюдает все договоренности и все правила: правила аристократического общества (щедрость, утонченность), правила того общества, из которого происходит (пунктуальность, точность), правила старшего поколения (солдатские идеалы), правила молодого поколения (танки), национал-социалистские правила (вера). Он исходит из того, что все правила действительны. После освобождения из плена П. умер точно в тот день (2.2), который в свое время был будто бы предсказан ему Гит.

Дело П.

Разве фон Ман. не взял действительно на себя ответственность за Ст.?

Фон Ман. готов был взять на себя ответственность, если бы П. добился успеха.

Русский генерал В. сказал: «Фон Ман. потерял 10 дней, прежде чем перешел в наступление на Ст.»

Почему фон Ман. не наступал сразу?

Сначала он рассчитывал получить для деблокирования дополнительно 11 дивизий. Тогда он мог бы устроить новые Канны с преследованием до Астрахани.

Почему он не добился 23 декабря реализации своего приказа «Зимняя гроза»?

Он не желал добиваться исполнения своих приказов, как нотариус добивается исполнения завещания. Данная ситуация создалась не по его вине. Некий офицер генерального штаба, подчиненный фон Ман., выразился по этому поводу следующим образом: «Мы не выбирали этого преступника — Гит.». Фон Ман. заявил: «Я ничего не обещал». Он намечал для себя победы только там, где их можно было добиться, а там, где победы были невозможны, он и не пытался их добиваться.

Альтернативы для П. и фон Ман.

Действовал ли бы кто-нибудь из занимавших тогда руководящие посты фельдмаршалов или генерал-полковников иначе, чем П.?

Все они были очень осторожными.

Могли бы фон Кл., фон Б., фон Лис., фон К. или другие командовать иначе, чем фон Ман?

Они были людьми осторожными, это значит, что кое-кто из них был еще более осторожным, чем фон Ман., ведь у них не было такого надежного прикрытия, как у фон Ман., который только что захватил «крепость».

Кто мог бы действовать иначе, чем П. и фон Ман.?

Целый ряд генералов, но они не имели командных постов и не могли их получить.

Откуда это известно?

Они сами заявляли об этом.

Официально?

Нет, доверительно, своим друзьям.

Действовали бы они так, как говорили, если бы оказались на месте П. или фон Ман.?

Четверо из них — да.

Действовали бы они так даже в том случае, если бы имели столь блестящие перспективы, как фон Ман.?

Двое из них — да.

Их доводы?

Традиция. Генерал-полковник в отставке фон Г. заявил: «П. должен был прорваться, даже рискуя головой». Генерал-полковник в отставке Б., ученый-теоретик, хотел бы, будь это в его власти, предать П., а может быть, и фон Ман. военному суду.

Кто мог бы действовать иначе, чем П. и фон Ман.?

Умерший фон Р.

Итак, либо мертвый, либо отставной.

Что предпринимал начальник Цейт.?

Для деблокирования Ст. Цейт. делал все, что только мог. Две дивизии, которые он хотел послать туда, пришлось передать войскам на излучине Дона. Половину горно-стрелковой дивизии взяла группа «А», а вторую половину перехватила во время переброски группа «Центр» вследствие создавшегося здесь кризиса. Вместо них на февраль главное командование обещало Цейт. дивизии с Запада.

Совет фельдмаршала Кейт.

Кейт., который пользовался у Гит. авторитетом, сказал: «Мой ф.! Оставайтесь на Волге». Гит. в ответ кивнул.

Соображения генерал-полковника Йод.:

Йод. говорил спокойно, уверенно, взвешивая каждое слово.

«Мой ф.,— сказал он,— это действительно трудный вопрос. Если мы уйдем с Волги, мы должны будем оставить большую часть территории, которую заняли. С другой стороны, если мы не выведем 6-ю армию, обстановка может стать очень серьезной. Операции, запланированные для освобождения армии, могут привести к успеху, но могут оказаться и безуспешными. Я думаю, что мы должны выстоять на Волге!»

Что знал Гит.!

Дидро говорит: «Предчувствия бесполезны. События развиваются независимо от них».

Знал ли Гит., что принесет ему осень?

У него были только предчувствия, но ничего определенного.

Чрезмерные притязания Гит.

Уже осенью 1941 г. Гит. заявил: «Не желаю больше слышать о трудностях снабжения наших войск зимой. Нечего ломать себе над этим голову, никакой зимней кампании не будет. Надо лишь нанести русским несколько мощных ударов, и все увидят, что русский колосс стоит на глиняных ногах. Категорически запрещаю обращаться ко мне по поводу зимней кампании». Подобные высказывания явились результатом чрезмерных притязаний. Чрезмерные же притязания были следствием перегрузки. А перегрузка — результатом недоверия. Гит. не доверял генералам. Армия — это машина, а за машиной нужно следить.

Техника «игольного ушка».

Агент из русской столицы докладывал 6 ноября 1942 г. отделу «Иностранные армии Востока» о совещании ответственных военачальников в Москве. Цейт. упомянул об этом донесении 9 ноября, но никаких распоряжений не последовало. 27 октября Цейт. высказал мнение, что широкая пропаганда противником новых крупных операций является пропагандистским трюком. Уже 12 ноября генерал-полковник фон Рих. знал о подготовке в донских лесах русского наступления. Сам Гит., а также и Цейт. высказывали различные предположения: Цейт. уже 9 октября считал вполне возможным зимнее наступление русских. 26 октября Гит. забеспокоился, не начнет ли противник наступать в направлении одного важного порта на Черном море. Вся информация должна была пройти, как сквозь игольное ушко, либо через мозг Гит., либо через мозг Цейт.; только они могли принимать решения. Но как Гит., так и Цейт. одновременно могла владеть только одна идея. А посему эти «индивидуальности» не в состоянии были оценить по достоинству ни данных своих агентов, ни знаний своих сотрудников, ни собственных соображений. Агент, передавший столь важное донесение от 6 ноября, был через некоторое время схвачен в Москве и расстрелян.

Гит., убедившись, что ему удастся заключить договор о ненападении с Россией, барабанил кулаками по стене и кричал: «Победа!» Узнав о победе на Западе, он запрыгал на одной ножке и как ребенок радовался, когда ему удалось обмануть Чемберлена.

После захвата Франции Гит. находился в основном либо в ставке, либо на командных пунктах. Положение на фронтах он видел глазами Г., затем Цейт., Шм., фон Б. В октябре—ноябре 1942 г. Гит. послал на угрожаемый участок одного за другим шесть известных офицеров генштаба; разумеется, они не смогли предотвратить катастрофы. В октябре Гит. все надежды возлагал на фон Зейд., в ноябре — на Венка, Шп., фон Рих. (в тайне на фон Ман. и авиацию); в декабре надеялся на фон Ман., Г., Рауса, П., в январе — на фельдмаршала М., генерала Гуд., с оговорками на П. и уже почти никаких надежд не возлагал на фон Зейд.; в феврале — снова на фон Ман. и танковые корпуса СС. Ни одна из его надежд не продержалась более одного месяца.

Конечные цели войны.

«Задачи Германии носят подчеркнуто континентальный характер,— говорил Гит.,— однако от притязаний на колонии, включая Того, Камерун и Бельгийское Конго, мы не отказываемся. Восточную Африку иметь желательно, но не обязательно».

Военные цели на 1942 г.: Гит. заявил Ошиме, что Москва и Ленинград должны быть уничтожены. Следует добраться до Ирана и Ирака, а тогда можно будет завладеть и Афганистаном; Японии надо в первую очередь захватить Австралию. Посол (бывший вице-канцлер) ф. Пап. был убежден, что сейчас настал подходящий момент снова утвердить церковь на Востоке. Гит. же считал основной проблемой оснащение полиции танками, а также дележ огромного «пирога», чтобы можно было:

1. овладеть им;
2. управлять
3. и эксплуатировать его.

Северную Африку следует удерживать во что бы то ни стало в качестве предполья Европы. Как только Баку и Ст., а также Саратов, Горький, Астрахань и Архангельск будут взяты, а случится это в начале октября, все будет в основном окончено. Возможно и так, что войной на Востоке не придется больше заниматься. Гит. не боялся ни Англии, ни Франции, ни рейхсвера, ни «Стального шлема», ни промышленников и помещиков, так как имущие классы не воюют. О России и Америке он точно ничего не знал. За свою империю ф. испугался, только когда она стала принадлежать к разряду имущих. Поэтому он начал на Россию, пока общественное мнение это еще позволяло.

Пример Н.*

После того как Н. предал идеалы французской революции, он вторгся в Россию с армией в 450 000 человек. Его противниками были 160 000 русских. После 84 дней марша (включая 14-дневную остановку в Витебске) он достиг Москвы с 95 000 человек. 19 октября он начал отход. 26—28 ноября он перешел Березину с 14 000 солдат в строю и 26 000 отставших. 5 декабря Н. покидает пределы России. В первой трети декабря начинаются холода.

Не следует полагать, что армия следовала за ним добровольно. Уже в 1810 г. в Европе под господством Н. было осуждено за уклонение от службы в армии 160 000 человек; репрессировали и семьи осужденных. В 1811—1812 годах 60 000 чел. было осуждено за неповиновение

Зима 1812 г. не отличалась чрезмерной суровостью. Позднее сторонники Н., чтобы как-то оправдать поражение, объявили природу его противником. Скорее сам замысел похода страдал просчетами. Солдаты Н. дошли бы до самой Индии, если бы им кто-нибудь мог сказать, для чего это нужно.

Гит. не хотел поступать как Н.!

Генералы советовали ему идти прямо на Москву. А он вовсе не хотел идти на Москву! Ну, а если же он все-таки попадет в Москву, так не даст противнику сжечь ее, а скорее сам потопит!

Подготовка Гит. к военным действиям в 1942 г.

1. Сбор зимних вещей; среди прочего были пожертвованы: меховая шуба старого рейхсканцлера фон Бис. и охотничья муфта Гинденбурга.

2. Вынесены смертные приговоры представителям высших слоев общества, директорам заводов, начальникам учреждений, ведающих распределением продовольственных карточек, и даже бургомистрам — чтобы создать атмосферу, в которой каждый еще больше проникся бы духом войны.

3. Назначен генеральный инспектор по автотранспорту.

4. Весной в Восточной Пруссии были приняты Антонеску, Борис III, фон Каллай и Маннергейм; укрепление союзов.

5. Создан совет военной промышленности, своего рода орган самоуправления промышленности в период войны. Гауптамтслейтер Зауэр отвечал за производство танков. Несколько авиационных заводов было переключено на производство локомотивов. Сталепрокатные заводы перевели на трехсменную работу. С ноября 1942 г. предполагалось ежемесячно выпускать по 25 танков типа «тигр».

6. Генерал фон Ун. назначен специальным уполномоченным по «прочесыванию» тыла.

7. Гит. добился от рейхстага чрезвычайных полномочий.

8. Генералу азиации Ф. поручено сформировать в Южной Греции специальный штаб (с немецко-арабским учебным батальоном).

9. Генерал-фельдмаршал фон Кл. предложил взять из его фронтового резерва в районе Ржева 12 дивизий для наступления на юге. Это предложение было отклонено Гит.

Гит. и зима.

Гит. физически не переносил мороза и снега. В начале лета под Воронежем Гит. был еще хладнокровен и действовал расчетливо. К концу лета он становился все более раздражительным. Часто менял подчиненных. Летом случалось, что четыре армии, выполняя беспрерывно поступающие противоречивые приказы, маневрировали вокруг котлов, в которые так и не попали основные силы противника.

Revirement**

Гит. угнетала уже сама мысль о том, что придется выстоять еще одну зиму. Он сместил фон Б. и разжаловал начальника генштаба Гал *** за его предложение отступить на одном из участков. Гит. заявил: «От командования я требую такой же твердости, как и от войск на фронте». Гал. возразил: «У меня эта твердость есть, мой ф.,

---

* Н.— Наполеон.
** Смена руководства (*франц.*).
*** Гал.— Гальдер.

но ведь на фронте гибнут наши храбрые солдаты». Гит. ответил: «Генерал-полковник Гал., каким тоном вы позволяете себе разговаривать со мной?».

Буквально вслед за этим разгорелся спор с генерал-фельдмаршалом Л., руководившим операциями на Кавказе. Гит. послал к Л. своего помощника генерал-полковника Йод. По телефону Гит. упрекнул Йод. (который, кстати, после Нарвика сидел за обедом по левую руку Гит.) в том, что он будто бы поддался на уговоры Л. Йод. счел себя оскорбленным. Гит. решил как можно быстрее заменить его. Плохо настроен был он и по отношению к генерал-фельдмаршалу Кейт. Свое убежище Гит. покидал только потайным ходом. Он перестал обедать вместе со штабом. Позднее пустовавший стул Гит. занял Бор. Не прошло и 48 часов после спора с Йод., как появилась дюжина рейхстаговских стенографов, которые в дальнейшем стали записывать все военные заседания. По этому поводу Гер. заявил: «Если так будет всегда, то ф. от этого только проиграет. Генералы станут говорить только для стенограммы». После смещения фон Л. Гит. сам взялся командовать армиями на Кавказе.

Первый удар судьбы.

В ночь на 3 ноября в Африке отступил Ромм.* Гит. предположил наличие сговора между Ромм. и одним 50-летним майором из второй закрытой зоны, который вовремя не разбудил его (Гит.). Утром 3 ноября Гит. приказал расстрелять в течение 10 минут этого майора. Начальник майора, генерал В., пытался заступиться за него. Майора отдали в штрафной батальон.

Второй удар судьбы.

В полдень 6 ноября Гит., сопровождаемый ближайшими сотрудниками, сел в служебный поезд, направляясь в Мюнхен. Во второй половине ночи поезд задержали на какой-то станции в Тюрингии. Гит. передали сообщение о высадке союзников на западном побережье Северной Африки.

Третий удар судьбы.

19-го поступило донесение о событиях в Ст. В это время Гит. принимал в Оберзальцберге гостей — своих сотрудников из первой закрытой зоны. Здесь же присутствовал министр Лам. Остальные офицеры находились в поезде «Атлас», неподалеку от Берхтесгадена, а генштаб — в Мазурских лесах. А что поделывал Гер.? Шесть раз звонил по телефону Кессельрингу из парижского отеля.

Ссора Гит. с Йод. помешала последнему нанести еще один удар по самонадеянности Гит.

От генерал-полковника фон Рих. поступило предложение отвести 6-ю армию назад. Но Гит., прибыв в Восточную Пруссию, углядел в районе Ст. «самые благоприятные перспективы». Весь день 29 ноября изучалась обстановка.

О находящемся в Африке фельдмаршале Ромм. Гит. сказал: «Я действительно думаю, что нельзя слишком долго обременять человека тяжелой ответственностью. Со временем это расшатывает ему нервы».

Гит. был убежден, что все генералы лгут, все они вероломны, все против национал-социализма и к тому же реакционеры. Гит. желал одного: снова надеть коричневый мундир! Снова ходить в театры и кино!

Задним числом Гит. (не в пример фон Ман.) добровольно взял на себя ответственность и вину за ст-скую катастрофу. Тем самым он показал, как мало значит вопрос вины, когда катастрофа уже произошла. Ответственность может служить лишь инструментом для предотвращения подобной катастрофы. При ее масштабе вопрос личной ответственности не играл почти никакой роли; с воспитательной целью виновных можно было найти среди подчиненных.

Что предпринимали русские!

О. Тогда русские перешли в атаку широким развернутым строем с красными знаменами и оркестрами.
В. С оркестрами?
О. Да, с оркестрами.
В. Вы это лично видели?
О. Мы все это видели.
В. С какого расстояния?
О. Они перешли железнодорожную насыпь примерно в 800 или 1000 метрах.
В. Нельзя ли рассказать об этом более подробно? Я слышу о таком впервые. Словно при Фридрихе Великом.
О. Да, да, там в котле они поступали так довольно часто.

На порядочном удалении от флангов 6-й армии русские вбили два клина, взяв противника в клещи. Так это было?

19-го они вбили северный клин, а на следующий день — южный. Танки прошли, не встретив сопротивления.

Кто руководил этим?

---

* Ромм.— Роммель.

Точно не известно. Это трудно установить: товарищи Ст., Шапошников, Хр., Р., В., генерал-полковник Вас., маршал Е., * — все они в большей или меньшей степени руководили операцией. Она проходила успешно.

Знали русские, что они делали?

Они пытались реализовать оперативный замысел. До сих пор им это не удавалось.

Долгое время товарищи Шапошников, Ст., Вас. и другие опасались, не являются ли открытые фланги севернее и южнее Ст. немецкой ловушкой.

А могли они быть действительно ловушкой?

Русские знали, что за Доном никаких резервных немецких войск нет. Значит, это была не ловушка.

Итак, русские танки просто прошли насквозь?

Они прорвались; на второй день (21 ноября) обе группы, то есть северная и южная, развернулись на 90°, чего немцы не заметили. Развернувшись, танки устремились к населенному пункту К. и захватили его вместе с прилегающим мостом к вечеру 21 ноября.**

Что они предприняли после того, как 6-я армия осталась на месте?

Они стали наносить беспокоящие удары на южном и западном участках, а на северном — предприняли наступление, когда фон Зейд. немного оттянул назад свои войска. Они пытались организовать пути подвоза и закрепиться вокруг котла. Опыта по проведению таких операций у них не было.

Может быть, им сильно везло?

Отчасти везло, отчасти нет. Погода 19 и 20 ноября благоприятствовала им; авиация генерал-полковника фон Рих. не видела их. Правда, несколько русских групп заблудились, но и немецкие группы тоже сбивались с пути. Захват моста у К. был для них счастливой случайностью. Зато одна их кавалерийская группа с ходу попала в балку западнее Дона и была уничтожена немецкой артиллерией. Организация снабжения у русских до конца декабря была неудовлетворительной.

С какого времени они считали окружение завершенным?

После того, как 24 ноября в котле все еще не отмечалось никаких передвижений, а до 27 ноября 6-я армия не предприняла попытки выйти из окружения.

Считало ли русское командование опасными наступательные операции фон Ман. по деблокированию окруженных войск?

23 декабря оно снова привело в боевую готовность 400 танков южнее котла. Прорыв на северном участке оно считало маловероятным.

Что предприняли русские после провала операции по деблокированию?

У них возникли сомнения. Генерал-полковник Вас. хотел устроить передышку. Маршал Е. предполагал бросить оставшиеся 400 танков на преследование деблокирующих войск, а В. и Р. поручить уничтожение котла. Метод действий по схеме 19 ноября оставался тактической основой на юге вплоть до осени 1944 г. Под Яссами он снова оправдал себя в операциях против 6-й армии. Только при наступлении на группу армий «Центр» в начале июля 1944 года был применен новый метод, который затем оставался основным при наступлении в Венгрии, на Висле и в битве за Берлин.

Были теперь русские уверены в победе?

Они были осторожны. По мнению командования 6-й немецкой армии, русские могли бы за четыре дня после начала генерального наступления, т. е. после 10 января, разделаться с котлом. Они не воспользовались такой возможностью, так как боялись ловушек. Из-за недостатка транспорта и отсутствия опыта они продвигались с запада (а позднее и с юго-запада) на восток примерно по 1—2 километра в день. Наступление велось также с северного направления, считавшегося второстепенным. На заключительном этапе они раскололи котел сперва на две, а затем на три части, продолжая дробить каждую часть на более мелкие. Этот метод они сохранили до самого конца войны, применяя его к окруженным войскам.

Что предприняли русские, обнаружив в котле в два раза больше войск, чем они предполагали?

Цифра, сообщенная квартирмейстером немецкой армии майором фон К., была неожиданной для русского командования. Немедленно были приняты соответствующие подготовительные меры для приема столь большого количества пленных.

Была ли отпразднована 2 февраля победа?

Практически в отдельных частях, которые по традиции приветствовали друг друга со знаменами. Основные ударные соединения были уже переброшены на север для наступления на венгров и на 2-ю армию. 2 февраля во второй половине дня высшее командование вылетело из района Ст. Территория котла перешла в руки низших инстанций. Возникновение некоторой дезорганизации на территории котла объясняется, между прочим, и отбытием командования. Операции, подобные Ст-ской битве,

---

* Ст.— Сталин, Хр.— Хрущев, Вас.— Василевский, Е.— Еременко. Б. М. Шапошников в это время не работал в Народном Комиссариате Обороны; А. И. Еременко в тот период имел воинское звание генерал-полковника.

** Город Калач был занят советскими войсками в 14 часов 23 ноября.

не являются окончательной победой. Начатое 19 ноября наступление русских практически закончилось не ранее 1944 г., после занятия Румынии, а вернее — после взятия Вены и Берлина. Но и при этом было еще не ясно, окончательно ли ликвидирована угроза. Поэтому, в соответствии с их образом мышления, такие победы (Кёниггрец, Седан, Смоленск, Умань, Брянск и др.) не являются окончательными, а следовательно, и время для празднования еще не настало. Разумеется, бывало, что и русские отмечали свои победы.

Армия создается заново.

Заново сформированная 6-я армия пыталась отомстить за свою предшественницу на юге России зимой 1943 г. и весной 1944 г. Позднее все дивизии 6-й армии вторично погибли — некоторые в Крыму, большая часть — под Яссами, а остатки — в Пуште под командованием Фреттер-Пико и Брейта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. Военные планы.

(Как готовились и готовятся войны)

Военный план 1882 г.

Последний строго рассчитанный военный план был составлен Мольтке-старшим в 1882 г.; до ухода Мольтке на пенсию в 1888 г. он оставался в основном без изменений: мощный прорыв на Востоке через внутренние рубежи; сдерживание западного противника на дефиле между Страсбургом и Мецем (именно по этой причине была аннексирована Лотарингия). Только так, сказал Мольтке-старший, сможем мы, вероятно, выстоять в войне. «Куда и когда можно будет подтянуть на Рейн подкрепления с восточного театра военных действий,— заявил он,— будет зависеть от успехов, завоеванных на Висле». О победе и речи не было. (Старый фельдмаршал имел обыкновение начинать войны, если у него было 80—82 шанса из 100 на успех.) Канцлер фон Бис. и Мольтке-старший понимали, что шансы на успех по сравнению с 1870—1871 гг. с каждым годом уменьшаются, и очень тревожились за то, что молодое поколение при подобной ситуации на всех парусах рвалось вперед к решению общих вопросов «мировой политики».

Военный план 1887 г.

Граф Вальдерзее надеялся, начав превентивную войну против России, крупными силами Двойственного союза охватить ее с двух сторон и уничтожить. С венским генеральным штабом была заранее достигнута договоренность.

Военный план 1890 г.

Согласно этому плану граф Шлиффен предвидел успех на западе; на востоке, к сожалению, приходилось сотрудничать с ненадежным союзником — Австро-Венгрией. Из девяти проведенных по этому плану военных игр три закончились благоприятно для «синих».

Военный план 1905 г. (так называемый «план Шлиффена»).

Полководец включил в реализацию своей концепции Бельгию и Голландию. Основная задача состояла во внезапном захвате Люттиха. Восточному фронту полководец не уделял должного внимания, иначе у него не набралось бы более или менее достаточного количества войск против западного противника. Подсчет показал, что «синие» не обладают превосходством в силах, как это бывало иногда в предыдущие годы. Отсюда единственный шанс — внезапный сокрушительный удар (Канны) по западному противнику, а затем, возможно, борьба с прорвавшимся за это время восточным противником. В 1905—1906 гг. восточный противник был побежден японцами, вследствие чего план Шлиффена оказался особенно благоприятным. До этого времени и после 1912 г. оставался в силе план Шлиффена.

Военный план 1914 г.

Италия, Австрия, Турция, Германия выступают против Франции, Сербии и России. Победа достигается в результате восьми победоносных сражений, если только Австро-Венгрия тоже окажется достаточно сильной! Если же в войну вступит Англия, то потребуется, кроме того, еще выиграть 12—16 морских битв. Обстановка осложнилась, когда возникло предположение, что от центральных держав отпадает Италия. Для полной победы не хватало 16 армейских корпусов. Афганистан, вполне возможно, будет на стороне Германии. Стратегически, согласно пересмотренному плану Шлиффена, исходили из того, что «красный» противник № 1 (Восток) будет устранен, иначе казалось невозможным получить стратегически удовлетворительное решение одновременной победы на западе и на востоке. На западе предполагалось устроить «Канны», при этом правый клин должен был пройти восточнее Парижа. В случае же неудачи разделаться сперва с Востоком. Чего же они хотели? Получить удовлетворение за убийство в Сараеве! Наказать заносчивого противника, а возможно, заполучить и бельгийские железные дороги.

Военный план 1936 г.

Ни в коем случае не допустить войны, говорил начальник генерального штаба Б. Это грозит нам налетами бомбардировочной авиации Советского Союза. Удерживать сборону на западе небольшими силами; основные же армии «синих» должны прорваться через линию долговременных укреплений в Чехии и уничтожить там угрожающие флангу войска противника. Восточную Пруссию в случае нужды эвакуировать морем. Несколько тактических игр на макете показали, что в день «Д+ 30» (т. е. через месяц после начала военных действий) Рурская область оказалась в руках «красных», а основные силы армии «синих» находились все еще перед линией чешских долговременных укреплений. Б. пытался вообще отговорить политическое руководство страны от всякой войны.

Военный план 1938 г.

Теперь, благодаря захвату Австрии, открылись благоприятные возможности для устранения противника на фланге. 10 тактических игр приводили к ничейному результату, если только западный противник не предпринимал немедленного наступления. Большинство других тактических игр закончилось все-таки поражением, учитывалась также угроза налетов советских бомбардировщиков для поддержки противника, находящегося на фланге.

Военный план в августе 1939 г.

Победа над Польшей. Если французы перейдут в наступление еще в сентябре, тогда поглядим, что делать; вероятнее всего, произошла бы катастрофа. (Риск слишком велик, считали генералы фон Р., Г., фон Рун., Браух., фон Шт., фельдмаршал Гер., генералы фон Л., фон Лис. и др.).

Военный план в ноябре 1939 г.

Немедленная переброска войск на запад. Теперь здесь ничего опасного не может произойти. Каким планом руководствовалось высшее командование? Наступление правым флангом по Шлиффену должно было вследствие захвата северного побережья Франции и Бельгии создать благоприятные условия для нанесения ударов по Англии. Этот план был заменен планом «Зихельшнитт» (разрез серпом).

Военный план в ноябре 1940 г.

После удачных операций на западе возникла альтернатива: либо захват Англии, либо захват района Средиземного моря, чем наносился известный ущерб противнику. Быть может, предпочтительнее захват Гибралтара? А может быть, заключение союза с Испанией?

Военный план 1941 г.

Чтобы завладеть Польшей, Гит. пришлось вести войну с Францией и Англией. Предпосылки для окончания этой войны Гит. хотел создать нападением на Россию. В войну с Грецией и Югославией он был втянут Италией, а войну против США ему навязала Япония. В интересах Гит. лучше было выступить против Италии и Японии, которые причиняли ему только ущерб, заставляя наживать новых врагов в самое неподходящее для него время. Чтобы вести войну против России, Гит. должен был обеспечить себе юг России и Кавказ.

В стратегическом плане следовало предусмотреть, что опытная немецкая армия могла сначала выиграть по меньшей мере два крупных сражения, окружив войска противника в районе Бел. и Вяз.* Как будут развиваться события дальше, неизвестно. Если бы Гит. тогда не начал этой войны, у него, возможно, не было бы больше благоприятных предпосылок для похода на Восток, позже общественное мнение могло измениться.

Военный план 1942 г.

Реализовать невыполненные пункты военного плана 1941 г.; захватить наконец необходимую кавказскую нефть. Если возможно — продвинуться через Афганистан в Индию и взять в клещи территорию от Суэца до Индии.

Военный план на рождество 1942—1943 гг.

Формально никаких военных планов не было. «Часто говорят: то или иное сражение было победоносным,— сказал Гит.,— я же считаю, что смысл победоносного сражения в том, чтобы как-нибудь попридержать ход истории».

Б. Язык высшего командования.

В день рождения кайзера среди офицеров возник спор о том, не превысит ли тост Мольтке-старшего за кайзера десяти слов, включая обращение и первое «ура». Мольтке сказал: «Уважаемые господа, за кайзера ура!» Но когда на следующий год офицер, проигравший пари, не пожелал спорить, то упустил верный выигрыш, так как Мольтке-старший на этот раз сказал: «Уважаемые господа! Да здравствует его величество кайзер и король! Ура, ура!» Итого, 11 слов!

* Бел.— Белый, Вяз.— Вязьма.

Генерал-полковник фон З., когда еще командовал войсками, выслеживал лишние слова, как зайцев на охоте, и вычеркивал их из проектов штабных документов. Приказ, который надо было представить на подпись генерал-полковнику Адаму или последнему великому стилисту среди командующих генерал-полковнику Б., составляли сначала шесть офицеров, затем четыре офицера правили его и перерабатывали, далее заместитель командующего его просматривал, и только после этого проект представляли «самому», который, однако, каждый раз находил еще более простые и меткие выражения. Офицеры школы графа Шлиффена тренировали свой мозг, чтобы лучше бить противника еще на составлении текстов, ибо, как в малом, так и в большом, успех гарантирован только при простом и лаконичном, целенаправленном замысле.

Однажды фельдмаршалу фон Браух. был представлен проект приказа, в котором имелось выражение «никоимейшим образом». Фельдмаршал указал своим приближенным, что это не тот стиль, каким следует писать проекты приказов. По мнению фельдмаршала, следовало избегать:

иностранных слов, как правило, лишних,
повторяющихся оборотов,
начинать приказы от первого лица и т. д.

Генералы старой Пруссии, Блюхер и др., не обладали способностью точно выражаться. Гит. же забивал своего собеседника потоком слов, он врывался в речь партнера, используя самую незначительную паузу, делая это по тем же законам, по каким прорывается вода, используя малейшую щель. Его сотрудники — военные специалисты школы Шлиффена: фон Л., фон З., Адам, Б., и Г., наоборот, обладали хорошим даром речи; эти офицеры внесли ясность в стиль сводок вермахта. В приказах Мольткестаршего можно было заметить иностранные слова. Стилисты, работавшие над упрощением языка, удалили их.

Кант сказал: «Понятие без наглядности—пусто, наглядность без понятия—слепа». Поэтому отточенный штабной язык должен был занимать среднее положение. Слишком конкретную форму имело бы выражение: «Брешь в обороне в 10 км шириной» или «Дивизия истекает кровью». Правильнее: «Удержание высоты с отметкой 116,5 не выходит за пределы возможного, хотя и связано с риском, уклоняться от которого требовать не следует».

Будничный язык.

Будущий генерал-полковник Рейн. никогда не делал в речи ошибок. Часто офицеры не могли уследить за смыслом его быстрой речи, так как с напряжением ожидали, когда же он оговорится или неправильно построит предложение; но последовательность слов всегда оставалась четкой. Генерал пехоты Штр., наоборот, не мог довести до конца ни одного предложения. Он произносил отдельные слова, не связанные между собой. (Например: «Разрешите-ка, вот тут, на такой высоте, вот, повыше, господа; хотел бы я это видеть, позвольте!» или: «Дальше, быстрее, поехали! Быстрее, дальше, быстрее, быстрее!» или: «В темпе!»)

Генерал-фельдмаршал фон Браух. сказал: «Поход на Восток — это скачка без препятствий. И продлится он шесть недель!» Фон Ман. сказал, обращаясь к Гит., который терпеть не мог верховой езды: «Задача будет состоять в том, чтобы, преодолевая препятствия, перебросить через барьер сначала свое сердце». Гит. отклонил предложение фон Ман.

Фельдмаршал граф Шлиффен как-то поинтересовался потерями в битвах Ганнибала, Цезаря, Наполеона и других полководцев. Взгляд Шлиффена остановился на потерях при Бородино, выраженных необычайно высокими цифрами: 48 000 французов и 56 000 русских. «Вполне прилично!» — сказал фельмаршал.

Язык командования во время второй мировой войны.

Гит. Вон те несколько мостов авиация должна была бы, собственно, уничтожить. Кристиан, вот эту железную дорогу во что бы то ни стало следует разрушить, чтобы русский не разъезжал, куда вздумается. Видите ли, Цейт., в общих чертах я все продумал. Ни при каких обстоятельствах мы не должны ничего отдавать; отбить назад мы ничего никогда не сможем. А что это значит, мы понимаем. И внезапных операций я тоже не могу организовать. На этот раз все случилось слишком поздно. Могло быть быстрее, если бы мы не стояли так долго под В. В самом начале можно было, вероятно, проскочить с ходу. Но внушать себе, что можно сделать то же самое еще раз, к тому же, когда ты отходишь и оставляешь технику и материалы, просто смешно. Всего они взять с собой не смогут. Лошади измотаны; значит, тягловой силы нет. Лошадей кониной не накормишь. Но я не могу приказать кобыле жрать другую кобылу. Это ни к чему не приведет, и, значит, дело пропащее. Не скажешь ведь: через день-два все изменится, дайте только порцию овса. Через два дня лошади лучше не станут. Все, что не удастся вывезти машинами, пропадет. Там великое множество тяжелой артиллерии, мортир, и все это погибнет.

Цейт. У нас там огромное количество артиллерии резерва главного командования.

Гит. То, что у нас там пропадет, нам никогда не восполнить. Если мы откажемся от них, значит мы откажемся и от смысла всего похода. Вообразить, что я второй раз смогу сюда прийти, безумие. Сейчас, зимой, мы можем, используя имеющиеся силы, создать отсечную позицию. У противника есть возможность подвозить подкрепления по железной дороге, а как только река вскроется ото льда, в его распоряжении будет Волга. Он-то знает, как много зависит от этого. Итак, сюда мы больше не дойдем, а поэтому мы не имеем права отсюда и уходить. К тому же нами пролито слишком много крови. Если я приму это за само собой разумеющееся, то скажу, пожалуй, что в котле наведу порядок только тогда, когда начнется весеннее половодье; обычно весь этот район заливает. Наступит такое время, и продлится оно несколько недель, когда здесь все абсолютно будет залито водой. Ширина заливных лугов здесь доходит частично до 20—30 км, а ниже еще шире. Есть, правда, и отдельные островки. Около города нет никаких строений, только один островок. Все остальное покрыто кустарником и находится весной под водой.

Кейт. Прежде всего, когда вскрывается лед.

Гит. Тогда и можно будет провести операцию по очистке. Но главное при этом сосредоточить все дело в своих руках. Конечно, всю эту территорию нужно будет при любых обстоятельствах очистить, как только мы заполучим ее в свои руки. Я представляю себе этот мешок; его можно, пожалуй, сравнить с харьковским. Это именно мешок, и он начинает все явственнее вырисовываться. Харьковский мешок доходил почти до К.

Х. Он доходил до сих пор и проходил здесь и вот здесь до сих пор.

Гит. Этот, пожалуй, немного побольше, но ситуация примерно такая же. Единственное преимущество, которым они обладают, это железная дорога.

Цейт. И притом не одна. Я хочу привести с собой завтра специалиста-железнодорожника и генерал-квартирмейстера, чтобы с ними обсудить этот вопрос.

Гит. В общем, я бы расположил здесь немецкую группировку, чтобы нанести удар и ликвидировать всю эту историю. Следующий решающий удар я бы нанес вот здесь. Но возможно ли будет его реализовать, следует подумать. Вполне возможно, что его и не удастся осуществить, так как, вероятно, его как раз и ожидает противник; так что ничего не останется другого, как повторить всеми силами прежний удар. Затем придется остановиться и выждать, что он предпримет в котле. Скорее всего он будет ждать двухстороннего охвата.

Цейт. Один клин будет вбит здесь, а второй клин вот здесь. У второго клина пока что нет одной стороны.

Гит. Это смогла бы сделать 11-я танковая дивизия.

Цейт. Если бы она тоже действовала здесь, то получился бы полный клин. Но если она не будет здесь действовать, то клин будет неполным.

Заключительный этап битвы.

Гит. Они, видно, сдались там по всем правилам. В противном случае собираются в кулак, создают круговую оборону, а последней пулей убивают себя. Как подумаю, что даже женщина, у которой есть гордость, услышав оскорбление по своему адресу, кончает жизнь самоубийством, так теряю всякое уважение к солдату, который боится этого и предпочитает сдаться в плен. Я могу понять это в одном случае, как это было с генералом Жиро: мы вступаем, он выходит из машины, и его хватают. Но...

Цейт. Я тоже не могу представить себе этого. Я все еще думаю, что, быть может, это не так, быть может, он тяжело ранен.

Гит. Нет, это так.

Цейт. Собственно говоря, это невозможно объяснить.

Гит. Не скажите! В мирное время в Германской империи ежегодно кончали жизнь самоубийством от 18 000 до 20 000 человек, не будучи при этом в подобном положении. А здесь человек видит, как умирают 50—60 тысяч его солдат, сражаясь до последнего; как же он может сдаться большевикам?

Цейт. Это что-то такое, что трудно себе даже представить.

Гит. К тому же он знал, что его смерть придаст силы тем, кто удерживает следующий котел. Если уж он подал подобный пример, так трудно предположить, что люди будут и дальше сражаться.

Цейт. Никаких оправданий нет. Ему нужно было застрелиться раньше, как только он почувствовал, что нервы могут отказать.

Гит. Если нервы откажут, то все равно ничего другого не останется, как сказать: «Я ничего не мог поделать»,— и застрелиться.

Цейт. Я все-таки думаю, что они покончили с собой, а русские только утверждают, что они якобы сдались в плен. Мы были так твердо уверены, что в конце концов они...

Гит. Что все это закончится героически, можно было предположить.

Цейт. Ничего другого предположить было нельзя.

Гит. Как же иначе следовало действовать, имея вокруг себя солдат? Тогда получается, что любой солдат просто идиот, который рискует, постоянно рискует своей жизнью. Я бы еще мог понять, что смалодушничал какой-нибудь штатский.

Цейт. Командующему войсками это сделать значительно легче. На него все смотрят. Ему же легко застрелиться.

Восстановление хода битвы.

Гит. Восстановите для меня весь ход событий. Во время своей поездки я, вероятно, буду разговаривать с Антонеску. Если только я верно припоминаю, то в первом донесении, которое я получил, сообщалось о двух наступлениях, предпринятых здесь, но в основном без артиллерии и танков. Наступление было предпринято главным образом силами пехоты, без мощной артиллерийской подготовки.

Цейт. Это было самое первое донесение.

Гит. С этого все и началось.

Цейт. Много дней они не предпринимали ничего серьезного, никто уже не думал, что здесь может начаться большое дело, и считали, что это так, пустяки. Вот внутренняя причина того, что решительных мер не предпринимали. Русские провели это очень искусно; вначале действуют таким образом, что все обретают уверенность и считают, будто ничего серьезного не предстоит, а потом внезапно в этом районе начинается большая операция. Для иллюстрации сказанного я могу подготовить несколько карт.

Затуманивание смысла.

«До последнего человека!» — сказал директор гимназии, капитан в отставке Хауль. Неизвестно, однако, остался ли у Цезаря хоть один солдат, который принес печальное известие, или погибли все, то есть были найдены мертвыми на поле битвы. Этого из текста никак нельзя узнать. В ответ на призыв «Драться до последнего человека и последнего патрона» майор генштаба фон Ц. сказал: «Мой ф., солдаты в Ст. не могут драться до последнего патрона, его у них просто нет».

В. Мир внешних форм.

Взлеты.

Аттестация офицера на присвоение очередного звания составлялась по следующим пунктам:

1. Наличие опыта службы в войсках.
2. Равномерное продвижение по службе, т. е. отсутствие протекции, но тем не менее благополучный переход за майорский чин.
3. Разумное участие в общественных мероприятиях, здоровые отношения с другими офицерами.
4. Желателен интерес к кавалерии.
5. Хорошая организация командно-штабных учений.
6. Желателен интерес к опере или наличие других интересов, позволяющих судить о духовном развитии офицера.

Отрицательными чертами считались: чтение книг, бахвальство, скандальные истории с женщинами, склонность к рассуждениям, novarum rerum cupiditas *, особенно в области полевой и крепостной артиллерии и кавалерии.

Профессиональная деформация личности.

Высшая власть изменяет лица. Причины: 1. Необходимость удерживать людей впереди. 2. Желание быть представительным. 3. Подражание. Так, например, высших генералов можно распознать по особенно чувствительной коже и по заостренным кверху, оттопыренным, так называемым кавалерийским ушам. Говорят, что в средние века женщин с такими ушами сжигали. Губы гладкие, глаза проницательные, цепкие. Голос невыразительный, резкий.

Слабые и сильные стороны.

Генерал-майор Л. заплакал, когда за один день наступления потерял 27 танков, так как у русских на этот раз оказались противотанковые ружья, пробивающие немецкую броню. Неделю назад на совещании генералов говорили о том, что броню можно усилить путем специальной экранировки. Кое-кто из погибших командиров танков имел призы, полученные в мирное время на состязаниях в Торне, Растенбурге, Кёнигсберге. Офицеры штаба принесли генералу рюмку коньяку, и ко времени вечерних донесений он успокоился.

Полковник Галлюс заплакал в 1943 г., когда в нескольких километрах западнее опорного пункта, считавшегося потерянным, появилось 70 немецких танков, которых никто уже не ожидал. Он считал, что ему придется удерживать здесь оставшихся солдат без всякой надежды на спасение.

В Ст. заплакал ротмистр фон Г., когда к нему 26 января явились три обер-ефрейтора его бывшего разведывательного батальона, считавшегося погибшим; они без разрешения покинули подразделение, к которому были прикомандированы в принудительном порядке. В тот же вечер эти трое захватили руины одного дома, из которых противник угрожал командному пункту ротмистра.

Полковнику З. в последний момент удалось ускользнуть из Ст. на самолете. После его выздоровления друзья не могли заставить его молчать. Во время официальных

---

* Жажда перемен, переворота (*лат.*). (Из речи Цицерона против Катилины.)

приемов он неожиданно начинал плакать, выдвигал против высшего командования обвинения, которые ничем не мог доказать. Друзья предупреждали его. В конце концов его отдали под суд.

Падения.

В течение полугода в 1941 г. были смещены или умерли: генерал-фельдмаршал фон Рун., генерал-фельдмаршал фон Р., генерал-фельдмаршал фон Л., генерал-фельдмаршал фон Б., генерал-фельдмаршал фон В., генерал-фельдмаршал фон Лис., генерал-фельдмаршал фон Браух., генерал-полковники фон Ш., Г., Гуд., Штр. и др. За исключением двух, все были представителями старой школы. Фон Кл., занимавший среднее положение между «реформистами» и «стариками», хотел во что бы то ни стало удержаться. Он действительно удержался, но через два года после смещения «реформистов» умер.

Гит. и мир внешних форм.

Многие генералы видели в Гит. выскочку. Другие шли с ним на компромисс, а такие, как генерал фон Р., генерал-фельдмаршал фон Клейс. и генерал П. почитали его.

Генерал фон Б. любил рассказывать: «Неприятно было смотреть, как Гит. ест; левую руку он упирал в бедро, а правой держал ложку и как лопатой накладывал в рот пищу, состоящую из различных овощей. Правый локоть он не отрывал от стола, предпочитая наклоняться к тарелке».

Генерал Ф. особенно зло подсмеивался над тем, как неправильно произносит Гит. иностранные имена и названия. Гит. говорил, например, «Чемберлайн», «Юнитед пресс» и т. п.

Для офицеров, выдрессированных в духе генштаба, т. е. приученных к лаконичности при разборе обстановки, невыносимо было многословие Гит. Он смешивал без всяких пропорций важное и второстепенное; логическое построение мысли при этом часто отсутствовало.

Мнение Гит. во время Ст-ской битвы. Генералы обманывают его. Кроме того, они необразованны и плохо знают свое ремесло. Им нельзя поставить в упрек отсутствие у них достаточно высокого культурного уровня, так как они просто не получили соответствующего образования; он a priori не верил ни одному из генералов.

Мнение Гит. спустя полгода. Всем доволен. Положительно отзывается о фон Кл., фон К. и фон Ман.; утверждает, что фон Клейс. установил весьма тесный контакт с ним (Гит.), а также с национал-социалистским движением. Особенно лестно отзывается о Буше. Даже по отношению к генерал-фельдмаршалу фон Лис. настроен сейчас значительно положительнее, чем раньше.

Может ли мир внешних форм бунтовать?

1. Попытка «стариков».

Фон Г.-Е. и фон Шт. хотели предпринять что-нибудь в 1933 г.; в 1938 г. Г. и Браух. совместно с некоторыми другими генералами тоже хотели что-то предпринять; в 1939 г. говорили, что находящийся в это время в Кёльне фон Г.-Е., кажется, что-то намерен предпринять. В 1939—1942 гг. генералы в общем и целом действовали весьма успешно, а победоносные генералы, как известно, не бунтуют.

В 1943 г. фон Кл., кажется, хотел что-то сделать. Фон Кл. был известен как любитель быстрой езды. Во время своих блиц-поездок в автомашине в действующие соединения он давал указание шоферам ехать с предельной скоростью. Он сорвал покушение на Гит., в котором должен был участвовать, получив во время автомобильной катастрофы тяжелое ранение.

Генерал-фельдмаршалу фон В., прежде чем реализовать план покушения на Гит., пришлось лечь на операцию, чтобы вырезать геморрой. Пока он находился в клинике, Гит. снял его с занимаемого поста.

Когда фон Ман. хотел показать свои стратегические успехи, он никогда не возражал. Если же он возражал, то, значит, у него не было никаких успехов. Но в 1943 г. только немногие военачальники достигали решающих успехов. Полководцы-неудачники не могут бунтовать.

2. Подкуп сверху.

«С благословения божьего добыл в войне».
Имущество генерала фон Г.,
Тридцатилетняя война.

Уходя на пенсию, генерал-полковник Цейт. мог выбирать: имение, деньги или высокую награду. Несмотря на плохое расположение духа, Гит. был готов выдать вознаграждение. Цейт. отказался от прощальных подарков, означавших подкуп сверху. А вот генерал-фельдмаршал фон Кл. поступил иначе; он взял от Гит. в день своего рождения чек на 250 000 германских марок, из которых 125 000 он имел право вложить в свое имение. Дотацию получили также генерал-фельдмаршал фон Ман., генерал-фельдмаршал фон Б., генерал-фельдмаршал Буш и другие.

В 1944 г. фон Ман. подыскивал себе имение сначала в Силезии, а затем в Померании. Тогда фон Ман., как положено, рассчитывал на ничью в этой большой войне.

Генерал-фельдмаршалу фон Б., также получившему подарок, одно доверенное лицо намекнуло на ситуацию, возникающую в связи с неизбежным поражением немцев. Однако, как только послышалась критика высшего командования, фон Б. прервал его криком: «Я не потерплю, чтобы кто-нибудь нападал на ф. Я закрою его своей грудью и буду защищать его от каждого, кто осмелится нападать на него».

Генерал-фельдмаршала Буша, ставшего позднее командующим группой армий «Центр», Гит. назначил членом народной судебной палаты. Так как он ничего не понимает в юридических вопросах, рассказывал Буш, то решил приговаривать всех обвиняемых к смерти. Этого он добивался даже тогда, когда юристы судебной палаты придерживались иного мнения.

Генерал Бл. сказал: «В политических делах мы, генералы, часто круглые дураки. Этим мы обязаны своему происхождению и воспитанию. Мы хорошо сделаем, не пожелав стать иными».

3. Попытка «молодых».

Подполковник фон В., отмеченный самыми высокими наградами за храбрость, добивался перевода со своим полком в Восточную Пруссию, чтобы устранить Гит.

Офицеры штаба фон Кл. сговорились совершить групповое покушение на Гит., как только тот посетит штаб группы армий. Что могло произойти после 16 пистолетных выстрелов? Солдаты всегда должны немного верить в счастье.

Заряд взрывчатки в форме небольшого пакета был помещен в самолете, в котором Гит. должен был лететь из См. в Р., но запал не сработал. Через несколько дней один из заговорщиков забрал пакет уже в ставке ф.

Обер-лейтенант Шульце-Б. из министерства авиации, идеалист, передавал по радио русским секретные сведения. Он и его друзья, среди которых было много женщин, расстреляны.

Фон дер Б. хотел укрепить у себя на теле взрывчатку и во время демонстрации нового обмундирования обнять Гит. смертельным объятием. Но так как запасы обмундирования, образцы которого хотели показывать, были уничтожены во время воздушного налета, демонстрация была отменена. Фон дер. Б. внутренне приготовился к смерти. Через несколько недель он получил на Восточном фронте такое же тяжелое ранение, к какому он готовился в случае покушения.

Английская взрывчатка, спрятанная под деревянным домиком генерал-лейтенанта Шт. в ставке ф., неожиданно взорвалась; расследование, слава богу, было поручено одному из участников заговора.

В Вене путч против Гит. не только не был доведен до конца (как это было и в Париже), но и ликвидирован с общего согласия участников; ничего невозможно было доказать. Только начальник отдела контрразведки в Вене полковник граф Маронья-Редевиц, который прикрыл остальных, был арестован и казнен. Фон Пл., находясь на допросе в имперском главном управлении государственной безопасности, попал в столь трудное положение, что, оттолкнув допрашивающих, выпрыгнул из окна верхнего этажа. Другие арестованные офицеры также ничего не выдали.

Обер-лейтенант Г. хотел освободить графа Гар., который лежал в одной из берлинских больниц под стражей; для этой цели он через весь Берлин пронес автоматы. Кроме того, он хотел сбросить с самолета бомбы на ставку ф. Командуя танковой ротой, он намеревался вести разведку в случае восстания. Прежде он был национал-социалистом. В апреле 1945 г. его расстреляли.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ

Анкета «Иностранной литературы»

ФИЛЛИП БОНОСКИ

КТО ВИНОВАТ?

Двадцать лет назад, когда закончилась великая битва народов против фашизма, я жил в Питтсбурге — центре сталелитейной промышленности, штат Пенсильвания. Родился я близ Питтсбурга, в маленьком городке Дюкесне, где провел свою юность, начал работать на сталелитейном заводе еще до войны. Свыше сорока лет проработал на том же заводе мой отец. По его стопам пошли потом и некоторые из моих братьев.

Вся наша жизнь и прежде всего возможность обеспечить себе кусок хлеба зависели от огромной монополии — ей принадлежал наш завод. И мы росли, боясь и ненавидя ее. Она правила рукой более безжалостной, чем та, которую когда-либо знала Европа до появления открытой фашистской диктатуры. Идеи «демократии» представлялись мне совершенно абстрактными понятиями, ибо в нашей повседневной жизни лишь одно имело значение: была ли у отца, а когда мы подросли — была ли у нас работа или нет. Кто занимал пост президента, губернатора или мэра — не имело значения. Лишь одно имело значение: есть ли у нас сегодня работа, от этого зависело, будет ли семья сегодня сыта.

Разобраться в том, что в жизни хорошо, а что плохо, что есть зло и что добро, нам было нетрудно. Это разумелось само собой: корпорация была злом, борьба, которая велась против нее, и причины, по которым она велась, были добром.

И обо всей жизни я судил, исходя из этих, казалось бы, несложных представлений.

Война была злом, потому что война — это стало очевидным — приносила прибыли корпорациям, а корпорации являлись нашими врагами.

Окончание. Начало в № 5.

Гораздо чаще, чем на полях сражений, наши отцы и братья погибали, работая на «Юнайтед стэйтс стил корпорэйшн» (на эту статистику нередко предпочитают не обращать внимания). Проще говоря, именно эти представления, обусловленные моим происхождением и тем, как сложилась у меня жизнь, определили направление моей дальнейшей работы.

Война, обеспечивающая увеличение прибылей, есть зло, даже несмотря на то, что она «гарантирует» тебе работу. Когда ты вплотную сталкиваешься со всем этим, то моральные проблемы, вопросы эстетики, вопросы о том, какое искусство хорошо и какое плохо, имеют тенденцию обнажать свою подлинную сущность. Она становится особенно ясной, если в этой связи задать вопрос вопросов: «Кому все это служит?»

Многим такой подход к «трудным» проблемам может показаться упрощенным и даже ребяческим. Я уже не ребенок, и все же в течение долгого времени эти «ребяческие» представления служат мне ключом к пониманию окружающей действительности.

Кому нужна война? Мне? Ничего подобного! Моему отцу и матери? Ничего подобного! Моим братьям и сестрам? Им чужд дух воинственности, у них нет богатств, они никогда не домогались ничьей собственности.

Ни с одним из вьетнамских рабочих мне нечего делить. И нет на земле такого обстоятельства, в силу которого я вынужден был бы убить его, и нет такой причины, которая могла бы оправдать подобное убийство.

Почему? Да потому, что я для того, чтобы жить, вовсе не заинтересован в его смерти. Так же как и в смерти кого-либо другого.

Всю свою жизнь я и мои сверстники боролись — мы всегда боролись,— и мы боролись не с каким-то абстрактным врагом, а с врагом нам известным, врагом, чья сила заключена в акциях и бонах, в огромном богатстве, нажитом на нашем тяжком труде.

При желании можно увидеть, что «Юнайтед стэйтс стил корпорэйшн», хотя она выдает себя за «американку», ухитряется запускать свои щупальца во многие уголки земного шара. И ни одна война еще не наносила ущерба ее престижу и прибылям.

Такой ужасной алхимией кровь превращалась в деньги: из крови, слез и страданий одной части человечества другая часть его извлекала доллары, всякого рода преимущества и удобства. Мы умирали на войне, мы «теряли» время, годы, возможности, но они — корпорации — никогда ничего не теряли. Для них никогда не было «худа без добра». Они из всего умели извлечь для себя выгоду. Наши несчастья приносили им радость.

Сегодня американские монополии приносят народам мира все больше и больше несчастий. Если бы кто-нибудь решил нарисовать карикатуру на «американскую монополию», то он должен был бы изобразить ее в виде разжиревшего чудовища с разверстой пастью, с жадностью пожирающего буквально миллионы людей.

И как писатель, и как человек, я никогда не примирюсь с таким положением вещей. Сознание самой сути его руководит моими действиями в жизни и помогает в ней разобраться.

Я уверен, что, до тех пор пока война будет приносить прибыль, спокойствие в мире не может быть полностью обеспечено.

Я думаю, что священный долг писателей, живущих в нашей части земного шара, заключается в том, чтобы показать людям в своих произведениях, кто в действительности виноват в нависшей над миром опасности; показать, что не простые люди и не «иностранцы» или «коммунисты» вынашивают в своих сердцах страшные планы. Их вынашивают наши собственные дельцы и предприниматели — чудовищное, обреченное историей племя, которое готово торговать всем: родиной, убеждениями, отцом с матерью и собственными детьми. И тот, кто не понимает этого, кто ослеплен дешевым блеском поверхностных примет процветания Америки, тот не сможет разобраться ни в сущности проблем, стоящих перед человечеством, ни в возможных путях их разрешения.

Решение этих проблем зависит от силы угнетенных всего земного шара, от тех, кто работает ие покладая рук и является создателем жизненных благ; оно зависит от тех, кому не нужны войны. Их совместные усилия могут ограничить рост вооружений и в конце концов уничтожить оружие, которое угрожает сегодня самому существованию рода человеческого.

Всякий, кто видел рабочих во всей их мощи, знает, что их энергия беспредельна, что их нельзя испугать, что перед натиском поджигателей войны они не отступят. Нужно нанести поджигателям войны встречный удар и установить на земном шаре царство спокойствия и мира.

Разве не этому учит нас история последних пятидесяти лет?

г. Нью-Йорк

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС

УРОКИ БЕРЛИНА И ХИРОСИМЫ

Двадцать лет назад было слово — Берлин. Однажды весенним днем, таким, как сегодня, туда ворвался поток металла и свободы. Этот поток зародился под Москвой, набрал сил на берегах Волги и устремился на запад, сметая все на своем пути. Впереди — русские рабочие, узбекские и киргизские пастухи, украинские колхозники. Люди, которых нас научил любить Ленин, выглядывали из башен танков, удивленные собственным героизмом: перед ними, поверженный в руины, лежал город ненависти, позора и смерти.

Эта победа стала для человечества залогом других побед.

Но в конце второй мировой войны была Хиросима. Ядовитый гриб, обугленные камни, неописуемые человеческие муки, горе, не умолкнувшие до сих пор стоны.

Это была «победа» Трумэна и Уолл-стрита — победа, грозящая человечеству новыми катастрофами.

В последние двадцать лет человеческое общество развивалось иевиданными в истории темпами. Социализм распространился по миру — он заговорил по-чешски и по вьетнамски, по-испански и по-арабски. Одновременно, под знаменами национально-освободительных революций, завоевывали свободу все новые и новые страны с многомиллионным населением. Появился третий мир, который начал жадно искать новых, некапиталистических путей развития. Одна за другой страны объявляли себя социалистическими, еще не будучи ими. Не все знали, как прийти к социализму, но все были твердо уверены в бесперспективности капиталистической системы.

Последнее двадцатилетие — эпоха небывалого прогресса в науке и технике, эпоха покорения атома, космических полетов, расцвета кибернетики. И в то же время это годы культурного возрождения народов, в которых пробудилось самосознание, стремление идти своим собственным путем, сбросив вековое иго колониализма.

Эти двадцать лет, изменившие наши представления о мире, разбившие вдребезги многие старые истины, ставшие ныне лишь бесплодными догмами,— заставляют нас переосмыслять происходящее, с каждым днем оттачивать иаше идеологическое оружие, чтобы иметь возможность разрешать качественно новые проблемы.

Теперь, спустя двадцать лет, эти два слова — Берлин и Хиросима — неразрывно связаны между собой, символизируя для человечества борьбу против империализма и борьбу за мир. Мы должны продолжать борьбу, чтобы закрепить великую берлинскую победу. Мы должны продолжать борьбу, чтобы избежать новой катастрофы, опасность которой притаилась под пеплом Хиросимы.

г. Сантьяго

НОЭЛ КУНИХЭН

СЛОВО ХУДОЖНИКА

К несчастью, атомные облака над Хиросимой и Нагасаки до конца еще не рассеялись. Некоторые из самых опасных очагов напряженности находятся в Азии, и оттуда они могут перекинуться на другие континенты и привести к мировой атомной войне и всеобщему уничтожению.

Уроки прошлого нас учат, что грубое посягательство на независимость малых народов неизбежно ведет к нарушению спокойствия в мире, что нужно покончить с теориями расового превосходства и системой колониализма. Но из прошлого извлечены не все уроки. Необходимо прийти к соглашению и вывести иностранные войска из тех стран, где они имеются, чтобы народы имели возможность сами решать свою судьбу. Все демократические и миролюбивые силы должны оказывать поддержку Организации Объединенных Наций, а Китайская Народная Республика должна стать ее членом. Мое заветное желание состоит в том, чтобы разногласия между СССР и Китаем были урегулированы по возможности скорее. Я уверен, что единство действий социалистических стран Европы и Азии, недавно основанных африканских и азиатских государств и миролюбивой общественности стран капитализма выбьет почву из-под ног поджигателей новой войны.

Первейший долг деятелей культуры состоит в том, чтобы, не жалея сил, поддерживать любые начинания, связанные с обузданием атомных авантюр; их долг — укреплять взаимопонимание между народами, оказывая сопротивление всему, что отравляет атмосферу.

В октябре прошлого года в Сиднее состоялся Австралийский конгресс за всеобщее сотрудничество и разоружение. На правах автономных в нем приняла участие секция художников и писателей. Художники провели симпозиум на тему: «Искусство и мир». Они единодушно решили поддержать цели конгресса. Художники обратились к правительствам всего земного шара с призывом укреплять дело мира.

Я думаю, что такого рода встречи, такого рода деятельность предоставляют большие возможности для разрешения острых проблем нашего времени.

Никогда прежде интеллигенция стран, где существуют расовые меньшинства, не давала такой решительный отпор всем проявлениям расизма, как сейчас, никогда прежде не поддерживала она так активно борьбу этого меньшинства за социальное равноправие. В этой борьбе художники могут участвовать не только как граждане своей страны, но и как деятели культуры, средствами своего искусства. Все большее число хорошо известных австралийских художников — можно назвать, к примеру, Джеймса Уигли, Рассела Драйсдейла, Жакелину Хикс, Джорджа Люка, Рей Крук, Элизабет Дьюрэк, Маргарет Олли, а также и меня самого — избирают темой своих произведений жизнь аборигенов. Наш старейший скульптор Ола Кон, которая умерла в конце прошлого года, в двух последних работах выразила свой протест против расизма и апартеида. Среди других работ, укрепляющих в людях веру в гуманистические ценности, можно назвать литографию американского художника-негра Чарльза Уайта «Мать и дитя» — она получила большой приз на Международной выставке, которая проводилась в Лейпциге в 1959 году.

Какое выражение получает в художественном творчестве тема борьбы за мир? С течением времени все больше осознаешь сложность этих проблем и все с большей и большей осторожностью берешься за обобщения. Ведь одно дело понимать, что защита мира на земле — самая главная задача нашего времени, другое — найти способ выразить это на языке искусства.

Я не думаю, что можно хотя бы в малейшей степени сомневаться в том, что не только самые крупные таланты, но большинство художников глубоко тревожат судьбы мира, угроза ядерной войны.

Однако не все они способны найти соответствующие художественные решения — даже те, кто активно поддерживает движение за мир, кто заявляет о своей позиции самим фактом участия в выставках, посвященных теме борьбы за мир.

Господство мрачных настроений, культ насилия, уход в формалистические поиски, столь характерные для многих произведений современного западного искусства, являются своеобразной реакцией протеста художников против атмосферы атомного психоза; это нашло свое выражение и в том цинизме, я бы сказал — легкомыслии, которым пронизаны работы иных молодых художников и скульпторов, сторонников так называемого «поп арт».

В послевоенное время многие передовые художники Запада, чутко реагирующие на мерзости окружающей их буржуазной действительности — единственной действительности, которую они знают, с ее духом коммерции и стремлением определенных кругов к агрессии,— обратились к абстракционизму. Они пытались найти выход в том, что им казалось «вечными» истинами, «чистым» искусством.

Но, отворачиваясь от окружающего их мира, который внушал им отвращение, они доходили до отрицания человека как такового, попадали в сети того самого антигуманизма, который в конечном счете служил сторонникам «холодной войны». Таким образом, приверженность к абстракционизму, этому последнему слову теории «искусства для искусства», обернулась для этих одаренных художников подлинной трагедией.

На искусство западного мира оказывают глубокое влияние те дурные предчувствия, та тревога и нервозность, которые порождает атмосфера международной напряжен-

ности и угроза войны. О том, как этот сложный конгломерат влияний сказывается на творчестве современного художника, позволяет судить пример чрезвычайно своеобразного английского живописца Фрэнсиса Бэкона.

Искусство Бэкона — это искусство «ужасов». Поток созданных им образов — людей исковерканных, загнанных жизнью, что-то кричащих в страхе,— рождает у зрителя прочное ощущение неотвратимости несчастья, сеет в душе его смутное беспокойство, напрягает до предела нервы. С интересом обнаруживаешь, что бесконечно повторяющиеся изображения разодранных в крике ртов, которые буквально преследуют художника, ведут свое начало непосредственно от образа кричащей от боли женщины из фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», раненной на приморской лестнице в Одессе. Лишенный революционной страсти Эйзенштейна, этот «крик» в произведениях Бэкона смотрится совсем по-другому, выражает неодолимость отчаяния, сознание бессилия что-либо изменить.

Многие из моих знакомых художников считают, что они с большим успехом смогут послужить делу мира, если будут создавать картины, в которых выразят свою любовь к цвету, линии, форме; одни подчеркивают в своих произведениях красоту и благородство форм человеческого тела; произведения других пронизаны чувством любви и нежности; третьи славят природу в лирических пейзажах; а наиболее последовательные представители фигуративного искусства смело принимают вызов, брошенный современностью, и создают картины, в которых прямо выражают протест против расизма, против несправедливости, против войны, зовут к борьбе за мир, поддерживают организованные действия в защиту мира.

Каждый, кто решил посвятить себя этому делу, знает, что сущность стоящей перед нами задачи заключается не просто в том, чтобы выразить свои чувства в защиту мира; она заключается в том, чтобы избежать проторенных путей, превзойти возможности, таящиеся в образной системе карикатуры или плаката,— которые, конечно, делают свое дело,— и создать произведения более сильные и глубокие.

Тема борьбы за мир волнует меня многие годы, и я не раз обращался к ней. Мне кажется, что более успешно я разрешал ее средствами графики и линогравюры и менее успешно, когда, не считаясь со своими возможностями, брался прямо за масло.

Однако я не оставляю своих попыток и продолжаю поиски. И сейчас в моих ближайших планах — эта главная тема. Я имею в виду роспись стены в здании, где помещается руководство Коммунистической партии Сиднея. Это, пожалуй, самая крупная работа, за которую я когда-либо брался.

После многих раздумий я пришел к мысли придать росписи такой характер, чтобы она производила впечатление простоты и монументальности одновременно. Через всю стену, символизируя собой устремленность человека к миру, знанию и свободе, будут простираться две фигуры — темнокожей женщины и светлокожего мужчины. Своеобразным фоном им будут служить изображения жертв войны и нищеты. Я не стану останавливаться на деталях росписи, скажу только, что мне хочется передать в ней свою веру в человека, в его безграничные возможности.

И мне хочется надеяться, что моя работа доставит радость тем, кто соберется в этом прекрасном здании. Мне хочется надеяться, что она прибавит им сил в той неустанной борьбе, которую они ведут за улучшение доли человеческой на земле, за сохранение мира.

г. Кентербери, Австралия

ДИМФНА КЬЮСАК

ОРУЖИЕ, НЕСУЩЕЕ ЖИЗНЬ

Когда в 1947 г. западные страны круто изменили свою политику и вместо того, чтобы заняться искоренением остатков фашизма в истерзанном войной мире, развязали «холодную войну» против своего бывшего союзника СССР, были пущены в ход самые фантастические измышления, самая чудовищная ложь, лишь бы очернить страны социалистического лагеря.

Пресса и радио извергали потоки грязной брани и клеветы. Для того чтобы опорочить «красных», годились любые, самые отвратительные инсинуации. Книги и фильмы стали орудиями этой кампании по разжиганию ненависти. Они прославляли садизм. Комиксы для детей превратились в ужасающую смесь идей насилия и расизма. «Психологическая подготовка» к войне проводилась в первую очередь среди молодежи.

А когда в противовес этому натиску безумия во всех странах начало возникать движение за мир, слово «мир» стало у нас чуть ли не бранным.

В такой обстановке западные писатели вынуждены были жить и работать в течение последних восемнадцати лет. Многие издатели отказывались печатать произведения, рассматривающие, пусть даже без всякой тенденциозности, насущные проблемы современности. Журналы и газеты были для них закрыты. Радио тоже.

Не удивительно, что многие писатели боялись писать правду; и все же весьма прискорбно, что в течение всех этих лет целый ряд художников, широко известных в странах английского языка, хранил молчание.

Даже в самые мрачные времена, в разгар «холодной войны», писатели, преданные делу мира, находили издателей, имевших мужество печатать их произведения, и таким образом по-прежнему могли обращать свой голос к тем, кто хотел знать правду.

В 1955 г. по австралийскому радио была передана моя пьеса «Пацифистский рай», направленная против испытаний атомной бомбы и, следовательно, противоречащая

политике нашего правительства. Публика так горячо приняла пьесу, что она транслировалась еще семь раз и шла во многих театрах Австралии, Новой Зеландии и Англии. После каждой радиопередачи приходило множество дружеских писем. Австралийский Комитет защиты мира писал, что в результате этих передач значительно возросло число заявлений о приеме в члены Комитета.

Мой муж и я полагаем, что, поскольку пропаганда войны основана главным образом на полном неведении в отношении социалистических стран, самое важное в борьбе за мир — это установить взаимопонимание между Востоком и Западом. Поэтому в годы «холодной войны» мы часть времени провели в поездках по социалистическим странам, чтобы рассказать потом в книгах, статьях и радиопередачах правду о Советском Союзе, Китае и других социалистических странах, и мы находили издателей, которые соглашались печатать нас, и получали письма с теплыми отзывами от читателей со всех концов мира.

Посетив Западную Германию и Западный Берлин, центр «холодной войны», мы получили многочисленные подтверждения того, что старые и новые нацистские реваншисты пользуются там полной свободой и поддержкой.

В результате этой поездки я написала в 1959 г. «Жаркое лето в Берлине». Это был первый роман на английском языке, разоблачающий происки матерых нацистов, оказавшихся у власти в Германии, и их планы развязывания войны.

История опубликования этого романа служит наглядным примером того, с какими трудностями встречается западный писатель.

Роман был сначала принят, а потом отвергнут одним лондонским издательством. Зато другое, более крупное издательство сразу же согласилось печатать его.

Известный американский издатель, находясь в Париже, также решил печатать книгу, но, вернувшись в Нью-Йорк, написал, что он весьма сожалеет, но вынужден отказаться от своего намерения.

Из Франкфурта-на-Майне пришло письмо от видного издателя, который спрашивал: «Можете ли вы достоверно подтвердить хотя бы часть того, о чем вы пишете?» Хотя бы часть? Когда доказательства — вокруг нас, повсюду, они громогласно кричат о себе! Я послала вежливый, но честный ответ. Издательство не напечатало книгу.

Английская пресса удивительно горячо встретила появление моего романа, несмотря на то, что он противоречил официальной политике. Я получала письма от студентов, учителей, рабочих, одно письмо было от трех еврейских девушек, другое — от учащихся лондонской художественной школы. Пришло даже письмо от молодого немецкого учителя из-под Франкфурта-на-Майне, обвинявшего меня в том, что я пытаюсь разрушить крепнущую дружбу между Германией и Англией, и категорически отрицавшего, что в Западной Германии военные преступники находятся у власти. В ту ночь, когда в Восточном Берлине была воздвигнута стена, по радиостанциям ГДР передали две главы из моего романа. В настоящее время ведутся переговоры о совместном производстве кинематографистами Англии и ГДР фильма по этому роману.

Длиннющее послание я получила от молодого человека, который называл себя «английским нацистом» и заканчивал письмо словами: «Хайль Гитлер!» Помимо всех разглагольствований он грозил: «Когда мы придем к власти, мы вам покажем, как клеветать на Гитлера». Сейчас этот молодой человек находится в тюрьме за покушение на Джомо Кениата во время его визита в Лондон.

После того как мой роман вышел в Австралии в издании клуба любителей книги, стали поступать многочисленные письма читателей, и на страницах ежемесячного журнала, выпускаемого клубом, в течение полугода велась горячая дискуссия между теми, кто верил рассказанному мной (среди них много иммигрантов), и теми немногими — в основном нацистами из ФРГ,— кто пытался отрицать излагаемые в книге факты.

А когда переводы книги появились в большинстве западноевропейских стран, поступила новая волна писем. Многие из них заканчивались так: «Что мы могли бы сделать, чтобы покончить со всем этим?»

Вот вопрос, который должен задать себе каждый честный писатель на Западе: «Что можем сделать мы, чтобы предотвратить новую мировую войну?»

Мой собственный опыт убеждает меня в том, что мы можем сделать многое. За последние пятнадцать лет мы неоднократно видели, как путем протестов миролюбивых людей всего мира удается пресечь так называемые мелкие войны (по циничной терминологии Запада).

С каждым днем все большее число честных людей на Западе начинает сознавать, что они должны присоединиться к нашей борьбе. Независимо от политических или религиозных убеждений они начинают понимать, что каждый человек, в своих же собственных интересах, должен участвовать в создании общества, свободного от войн.

Писатель может указать им путь, раскрывая правду,— ведь никогда еще массовые средства информации не охватывали такого огромного числа людей, и никогда еще столько людей в стольких странах не стремились найти способ обратить наши богатства и творческие силы на построение истинно свободного общества, из которого будут изгнаны голод, болезни и невежество.

Во всем мире люди научились понимать, что у человечества нет выбора: либо жить вместе или вместе погибнуть. Для того чтобы жить, народы должны прийти к мирному

сосуществованию. Необходимо, чтобы люди понимали друг друга независимо от их расы и цвета кожи. И писатель обладает тем единственным оружием, которое, не зная национальных границ, несет с собой не смерть, а жизнь.

г. Сидней

ЭРАКЛИО СЕПЕДА

НЕНАВИСТЬ К ТЕМ, КТО СЕЕТ СМЕРТЬ

Вдали от военных действий, вдали от разрывов бомб и снарядов латиноамериканская молодежь моего поколения росла под опасным воздействием идей разрушения и гибели, распространяемых прессой, радиовещанием, кино и фотохроникой.

Я помню День Победы — в этот день мы собрались в нашей школе, и учитель дрожащим от волнения голосом нам сообщил, что с фашистской опасностью покончено навсегда и что отныне воцарится мир на земле. Я помню это.

Но вскоре пришла «холодная война» и вовлекла нас в свой водоворот. Наше детство и наша юность протекали под знаком постоянной подготовки к войне, в неизбежности которой нас старались убедить. Некоторые мои соученики были одержимы идеей неминуемой катастрофы, которая приведет весь мир к гибели. Я вспоминаю один печальный случай — он мог бы показаться смешным, если бы не отражал трагедию какой-то части моего поколения. Один мой товарищ по институту как-то признался, что после занятий он работал, чтобы скопить денег на поездку в Европу, во Флоренцию. Он хотел успеть посмотреть памятники Возрождения, пока неизбежная, на его взгляд, война не уничтожила бессмертные творения Микеланджело. Ему, бедняге, и в голову не приходило, что можно противостоять угрозе войны и разрушений. Уверенный в скорой гибели цивилизации, мой однокашник спешил запечатлеть в памяти то, что любил и не знал, как защитить.

Пропаганда нас воспитывала в духе ненависти к другим народам, но она не смогла уничтожить в нашем сознании веру в людей. Разрушая стену клеветы, до нас доносился голос мира, звавший к борьбе за радость, за счастье, за братство. Я помню наши первые торжественные собрания, когда мы слушали радиопередачи из социалистических стран. Мы не могли не прислушаться к голосу правды.

Как же мы, родившиеся в годы войны, допустили, чтобы нас так долго обманывали? Как можно было так опутать ложью молодежь? Кто несет ответственность за это преступление?

Мы начинали понимать природу и преступный характер «холодной войны», которая сеяла в душах людей ненависть, страх и безнадежность. И мы поняли, что против войны надо бороться.

Если чему-то и научила нас неслыханная трагедия войны и неисчислимые миллионы ее жертв, так это ненависти к носителям смерти. Если чему-то и научили нас двадцать послевоенных лет, так это горячей любви к миру, твердой решимости бороться за его сохранение. И, кроме того, мы поняли, что люди в силах преградить путь войне.

Что для этого надо делать? Как бороться против войны? Люди любых профессий и самых разных убеждений должны вступить в схватку с войной, откуда бы она ни грозила.

Кто-то принес в наш институт советские художественные изделия. Мы разглядывали их и с удивлением открывали, что жизнь при социализме прекрасна, проста и человечна. Нас питали чудовищной ложью — поэтому правда, которую мы узнали, нас потрясла.

«Холодная война» разделила людей на два враждебных лагеря. Наши «воспитатели», которым было поручено вести молодежь по «серьезному и достойному» пути, твердили, что это разделение неизбежно.

Но вот мы начали узнавать правду. С помощью наших старших товарищей, борцов за свободу и независимость родины мы приоткрыли завесу лжи, которая скрывала истинное положение вещей. Мы узнали правду о последней войне и поняли, что нас вводили в заблуждение. Документы, подписанные двадцать лет назад, заставляют сегодня краснеть прежних союзников. Сейчас им бы хотелось стереть свои подписи. Выставляя себя истинными защитниками свободы и справедливости, они пытались затушевать выдающуюся роль Советского Союза в разгроме нацизма. Путем лживой фразеологии, неточности в словах и терминах нас пытались запутать так, чтобы мы не могли отличить нацизм от социализма. Капитализм выдавался за цитадель радости и улыбок.

Официальная пропаганда всеми силами старалась сделать войну привлекательной для молодежи. Не такое уж зло война — постоянно твердили кино, печать, телевидение,— зато очень легкое и удобное средство прославиться.

Все это, повторяясь из года в год, внесло замешательство в умы некоторой части молодежи. С этим нужно было бороться.

Мы многое узнали. Но чтобы постичь все до конца, чтобы осознать масштаб преступлений, совершенных во время войны, нужно было своими глазами увидеть страшные документы, потрясающие фильмы, предсмертные письма погибших. Чтобы понять суровую правду войны, нужно было пройти по ее дорогам.

Когда двадцать лет назад советский солдат Егоров поднял красное знамя над рейхстагом, мир с ликованием встретил весть о поражении нацизма. Горячо верилось, что никогда более не повторятся ужасы, которые пришлось пережить человечеству в военные годы. Демократические силы всего мира во главе с Советским Союзом и рабочим классом других стран разгромили самый страшный оплот реакции и милита-

ризма — нацизм. Честные люди всего мира сплотились в единый народный фронт, чтобы остановить наступление смерти.

Великий секрет поражения нацизма, наряду с несравненным героизмом советского народа,— в единстве всех народов мира.

Если все люди труда объединятся — война не пройдет. Если объединятся все народы — никто и никогда не осмелится зажечь пожар новой войны, толкнуть людей на взаимное уничтожение. Зато любые разногласия в рядах людей труда — благодатная почва для врагов мира. Не случайно представители капитала так стараются помешать единению трудящихся.

Какова задача писателя сегодня? Существуют две стороны писательской деятельности, неразрывно связанные между собой,— профессиональная и гражданская. Как гражданин, писатель не может остаться равнодушным к событиям и проблемам современности, к нуждам общества, в котором он живет. Поэтому он не может быть в стороне от борьбы против военной опасности, он должен быть с теми, кто отстаивает дело мира.

Как писатель, я борюсь и буду бороться против войны, открыто говоря об ее ужасах, о возможности ее повторения. Я буду рассказывать всем на земле о горе, которое принес людям фашизм, о ранах войны, не залеченных человечеством до сих пор, двадцать лет спустя. Я буду бороться за мир, разоблачая попытки некоторых писателей изобразить войну как нечто романтическое, обладающее своеобразной красотой. Я буду решительно выступать также против распространенной в наши дни теории неизбежности войны, ибо, каково бы ни было происхождение войны, она ведет к страшной катастрофе, отнимая у людей надежду на мирный труд и счастье.

г. Мехико

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ

Норман Льюис. Вулканы над нами. Перевод с английского А. Старцева. Вступительная статья В. Ивашевой. Москва, «Художественная литература», 1964. 230 стр.

18 июня 1954 года началась организованная Соединенными Штатами интервенция в Гватемалу. Армия наемников, поддержанная силами авиации и флота, вторглась на территорию Гватемалы. Реакционная верхушка гватемальской армии совместно с американской разведкой произвела государственный переворот. Ставленник США, диктатор Кастильо Армас, поспешно отменил все прогрессивные мероприятия демократического правительства Арбенса — в первую очередь земельную реформу 1952 года, по которой земли крупных латифундистов и часть земель, принадлежавших «Юнайтед фрут компани», передавались безземельным крестьянам. Американский империализм цинично и нагло развязал вооруженную агрессию и установил реакционный режим в Гватемале.

Через три года, в 1957 году, вышел в свет роман Нормана Льюиса «Вулканы над нами». В авторском примечании к роману Льюис писал: «Возможно, что проницательный читатель заметит некоторое сходство между вымышленным переворотом, описанным в этой книге, и теми действительными событиями, которые имели место в Гватемале в 1954 году. Но это объясняется исключительно тем, что все перевороты в Центральной Америке — а их было с начала века более пятидесяти — в основном сходны». Хотя непосредственно автор исходил из гватемальских событий, он имел право на обобщение: Гватемала была и остается зловещим образцом империалистической политики США в Латинской Америке. Именно так и воспринимается трагедия Гватемалы в романе Нормана Льюиса.

Внешняя канва событий в романе Льюиса такова.

Англичанин Дэвид Вильямс, бывший владелец большой кофейной плантации в Гватемале, завербовывается в наемную «Армию освобождения», армия интервентов вступает в Гватемалу, новый президент генерал Бальбоа направляет капитана Вильямса в город Гвадалупу, где начались волнения индейцев.

У индейцев отобрали землю, которую они ранее получили по земельной реформе, сожгли жилища и загнали в обнесенный колючей проволокой поселок для рабочих американской «Юниверсал коффи компани». Нескольким молодым индейцам удалось захватить оружие и бежать в горы. Капитан Вильямс предлагает индейцам сдать оружие, со своей стороны гарантируя им свободу и безопасность, но специально нанятые администрацией бандиты устраивают засаду в условленном месте встречи и расстреливают поверивших капитану индейцев. Напрасны старания Вильямса добиться наказания виновных: и суд, и пресса, и армия, и президент — все находятся на службе у той же «Юниверсал коффи». Однако могущественной компании никак не удается превратить индейцев племени чиламов в «эффективную рабочую силу». Они либо бегут из «образцового» концла-

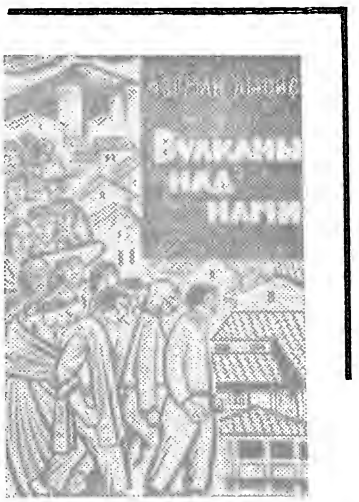
героя, либо умирают. Чтобы «поднять жизненный тонус» чиламов, их под конвоем доставляют на празднование Нового года — к этому «экзотическому празднеству» компания приурочила открытие туристского сезона. Обратив в бегство нагло оскорбивших их американских туристов и полицию, племя чиламов уходит своим путем — в горы, к свободе.

До последних страниц книги индейцы в «Вулканах над нами» редко появляются на переднем плане, но все движение сюжета определяется сопротивлением чиламов «Юниверсал коффи компани».

Норман Льюис избирает героем-рассказчиком человека, оказавшегося между лагерями. Пять лет мечтал Дэвид Вильямс о возвращении своего поместья. Но близкое знакомство с деятельностью «Юниверсал коффи» приводит к повороту в его сознании и дальнейшей судьбе. Он уже не может оставаться плантатором, соучастником хищнической эксплуатации индейцев, равносильной медленному убийству. Именно Вильямс предотвращает массовое уничтожение индейцев, проходивших через город. Но этот поступок не становится для него началом нового пути. Он покидает Гватемалу, чтобы под командованием бывшего эсэсовца Кранца принять участие в новых военных авантюрах в других странах Латинской Америки. То, что Льюис не делает своего героя борцом за свободу и справедливость, совершенно логично. Но поверить концовке автора и представить себе Дэвида Вильямса современным ландскнехтом, человеком без корней, без убеждений, без принципов, читателю тоже довольно трудно. Слишком много авторских мыслей и эмоций вобрал он в себя, чтобы мог получиться психологически убедительный образ международного авантюриста-наемника.

Психологическое мастерство Льюиса, очевидно, в изображении другого лагеря: диктатора Бальбоа, представителя правления компании Элиота, начальника тайной полиции Кранца, археолога Гельмута Стерна, продавшего свой талант и знания. Ключом, открывающим тайну характера, служит Льюису ирония. Писателю важно доказать, что не случайность, не природные «дурные наклонности» превращают людей в отвратительных и опасных хищников, а их общественная роль. Физически слабый и застенчивый Бальбоа становится классической «гориллой», удерживающейся у власти кровавым террором. Не менее типичен «благонамеренный» колонизатор Элиот. Впоследствии в романе «Зримая тьма» * Льюис скажет: «По-настоящему опасны не циники, а те, кто тешит себя иллюзиями, будто у них в сущности хорошие намерения».

По большей части скрытая авторская ирония становится явной в описании «туристского бизнеса». Чтобы превратить Гвадалупу в модный центр туризма, «Юниверсал коффи» эксплуатирует все — природу, историю, «местный колорит». Все, вплоть до археологических раскопок, фальсифицируется ради создания рекламно-живописной экзотики. Туристский бизнес — не самое страшное из того, что делают американцы в Гватемале, но основные принципы империалистического приобщения зависимых и отсталых стран к «цивилизации» заострены в романе до мрачного гротеска.



«Вулканы над нами» — правдивое, острое и доказательное разоблачение североамериканских монополий, их «слов» и «дел». Справедливое возмущение писателя-гуманиста бесчеловечностью модернизированного колониализма обусловливает силу сатирического обличения в романе Льюиса. Писатель сумел ощутить и передать атмосферу сдержанной скорби и растущего гнева народа, боли и надежды, ненависти и воли к борьбе. Не случайно Гватемала после победы сил реакции представляется внимательному наблюдателю вулканом накануне извержения. Как ни часто повторяется у различных писателей образ «вулканического континента» в применении к современной Латинской Америке, он не становится литературным штампом, ибо это наиболее точное обозначение того, что есть в действительности.

И все же гуманистическая концепция автора оказывается недостаточной для выполнения той задачи, которую он поставил, озаглавив роман «Вулканы над нами». Вплоть до своего романа об Алжире «Зримая тьма» Льюис с большим недоверием относился к организованным формам национально-освободительного движения — в «Вулканах над нами» оно даже не упоминается. Его внимание и симпатии привлекала та часть народа, которая пока еще изолирована от общей борьбы демократических сил

* Вышел на русском языке в 1963 году.

страны против империализма США. Поэтому смещалась перспектива, и вулканы народного гнева, угрожающие колонизаторам, предстают далеко не во всей их силе и мощи. Но зато те, кому они угрожают, видны в романе Льюиса с предельной отчетливостью.

Норман Льюис — один из тех английских писателей, которые большую часть своей жизни провели вне Англии. Путь его жизни и творчества проходит через многие страны — от Испании до Бирмы, от Гватемалы до Алжира. Одновременно это был путь от несколько поверхностной, в известной мере «эстетической» критики господства «стандартной и мертвящей цивилизации Запада» над «самобытным Востоком» — к глубокому и многостороннему обличению колониализма. Стремление к истине заставляет Нормана Льюиса отказаться от привычных заблуждений буржуазного либерализма. В романе «Зримая тьма», посвященном колониальной войне Франции в Алжире, писатель приходит к признанию справедливости вооруженной борьбы народов за национальное освобождение. Норман Льюис — опасный для американских неоколонизаторов свидетель.

Свидетель обвинения.

М. ГОРДЫШЕВСКАЯ

ОТШЕЛЬНИК, УШЕДШИЙ К ЛЮДЯМ

Тао Юань-мин. Лирика. Перевод с китайского, составление, вступительная статья и примечания Л. Эйдлина. Москва, «Художественная литература», 1964. 151 стр.

С большим удовольствием поставил я на полку рядом с давно любимой мной книгой «Четверостишия» Бо Цзюй-и новую работу известного знатока и пропагандиста китайской литературы Л. Эйдлина. «Отшельником, ушедшим к людям» назвал переводчик великого поэта Тао Юань-мина в своем содержательном предисловии к книге. И это внешне парадоксальное определение представляется русскому читателю стихов Тао Юань-мина очень верным.

Собственно говоря, отшельником поэт оказался только по отношению к среде придворных и чиновников, к которой принадлежал по рожденью и которой предпочел мирную сельскую жизнь, простые земледельческие заботы. В деревне, под простой соломенной крышей, он почувствовал себя птицей, что «после скитаний прилетает обратно». В других стихах это облегчение высказано без всяких иносказаний:

Вам меня не обвить,
путы выгодных мест и чинов!

Он захлопнул калитку своего дома перед суетностью жизни, которой так тяготился, и огляделся — с радостью, облегчением и грустью. Так, выпроводив докучавших ему незваных гостей, человек не просто наслаждается наступившей тишиной, но слышит мерный стук маятника, напоминающего об уходящем — и уже ушедшем! — времени:

Двор закрыла и дом
тень дерев, что остались в живых.
Не заметишь, как вдруг
солнце тоже исчезнет с луной!

Долгие века отделяют нас от времени, когда, на рубеже IV и V столетий, складывались эти строки, но разве не понятно

нам неподдельное волнение человека, долго жившего мнимой жизнью и нашедшего в себе силы вдруг поплыть против течения, возбуждая презрительные ухмылки одних и сострадательное непонимание других. Даже «старик хлебопашец, исполненный добрых чувств» к поэту, обеспокоен его «разладом с веком»:

Ты в рубище жалком,
под кровлей худою живешь.
. . . . . .
Повсюду на свете
подданнвающие в чести.

Чаша с вином — довольно частый аксессуар поэзии Тао Юань-мина. И целый цикл сложился из стихов, которые он, по его признанию, написал «захмелев». Однако, как метко заметил академик В. М. Алексеев, в классической китайской литературе «поэзия вина — поэзия освобождения человека от уз земли». Вот, например, один из стихов такого рода:

Я поставил свой дом
в самой гуще людских жилищ,
Но минует его
стук повозок и топот коней.
Вы хотите узнать,
отчего это может быть?

Вдаль умчишься душой,
и земля отойдет сама.
Хризантему сорвал
под восточной оградой в саду,
И мой взор в вышине
встретил склоны Южной горы.
Очертанья горы
так прекрасны в закатный час,
Когда птицы над ней
чередою летят домой!
В этом всем для меня
заключен настоящий смысл.
Я хочу рассказать,
и уже я забыл слова...

По свидетельству самого поэта, подобные стихи были записаны его другом для «общего веселья». Однако это веселье совсем особого рода — веселье духовного превосходства над важно проезжающими мимо сановниками и сломя голову летящими курьерами. «Хмельной» поэт трезв в этом мире тщеславного опьянения карьерой, чинами, должностями, деньгами. «Настоящий смысл» — в красоте и величии природы, родной земли, словно бы ненароком увиденной в час, когда птицы летят домой, а крестьяне возвращаются с полей.

И как вовремя поэт «забыл слова», не стал растолковывать нам то, что и без того ясно из его лаконичных строк!

Пусть биографы гадают об истинных размерах достатка Тао Юань-мина и доискиваются ответа на вопрос о степени автобиографичности следующих строк:

Пришел недород...
Голод из дому гонит меня,
Я просто не знаю,
куда от него мне бежать.
Иду я, иду
и сюда в переулок прибрел,
И в дверь постучался,
и что-то промолвил с трудом.

Пусть эти стихи порождены таким же полетом фантазии, как «Поминальная песня», где поэт воображает себя умершим! Значит, улетая душой «вдаль» от того, что занимало современных ему придворных поэтов, Тао Юань-мин оказывался достаточно близким к «самой гуще людских жилищ», чтобы приметить гостящие там заботы и даже примерить их к себе, а также воздать хвалу отзывчивости «простолюдинов» к чужой беде. Он поистине, по словам В. М. Алексеева, «первый освободил поэзию от придворных связей и кастовых обязательств, наложенных веками на китайского ученого-поэта».

И что-то очень близкое, злободневно-сегодняшнее звучит в стихах этого мнимого «отшельника».

Опустились на землю,
и уже меж собой мы братья:
Так ли важно, чтоб были
кость от кости, от плоти плоть?

Сегодня их читаешь уже не только как дружеское слово поэта к своим соседям — крестьянам или даже ко всем соплеменникам, но и как завет потомкам по-братски жить на Земле.

А. ТУРКОВ

РОМАН О МОНГОЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Чойжилын Чимид. Весна — осень. Перевод с монгольского Я. Аюржанаева. Редактор Д. Афанасьев. Москва, «Молодая гвардия», 1964. 206 стр.

В этом небольшом романе есть труд, любовь, смерть.

Книга посвящена молодежи и ее трудовым подвигам на монгольских целинных землях. Парни и девушки горячо откликнулись на призыв партии ехать осваивать целину, внести свой вклад в строительство социализма. Большинство персонажей едут на целину, движимые именно этим высоким чувством. Но, как всегда, в любом большом деле — в силу различных причин — его участниками становятся также люди случайные, и от них самих зависит, вольются ли они в дружный трудовой коллектив, станут его равноправными членами или останутся, как обкошенный куст, в стороне от дороги, по которой идут их современники.

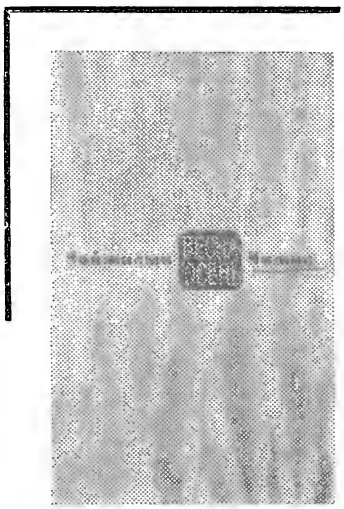
Милая девушка Янжин уезжает на целину. С ней недавно стряслась беда. Она влюбилась в хлюста, забеременела, решила не поступать в университет. Как-то вечером она споткнулась и упала в яму. Очнулась Янжин в родильном доме. Недоношенный ребенок умер. Для девушки наступила тяжелая полоса раздумий о своей будущей жизни.

Жамсаран и Дагва — хорошие парни, неразлучные друзья, они вместе пришли в типографию, три года проработали на линотипах и вместе уехали на целину.

По другим причинам оказался на целине Лувсан, любитель легкой жизни,— он попал в дурную компанию, им начала интересоваться милиция, и Лувсан сгоряча решает сбежать на целину, в чем потом сильно раскаивается.

Бригадир Лувсанбазар — фигура более сложная. Он старается, чтобы его бригада стала одной из лучших, он хочет прославиться, мечтает о статьях и портретах в газете и ради этого способен на все — до очковтирательства и подлога включительно. Он хитер, как все карьеристы, и разоблачить его не так-то просто.

Мы назвали лишь часть персонажей, судьбами которых автор более всего интересуется. Чойжилын Чимид — опытный литератор, он умеет привлечь внимание читателя к тому или иному факту, событию. Делает он это не назойливо, а легко и просто. Если автору надо, то он вводит в повествование газетные статьи с точными



цифрами и выкладками, заявления и письма, опубликованные в прессе, выдержки из докладов и выступлений руководителей партии и правительства и другие материалы. Прием, разумеется, не новый, но немногие писатели пользуются им так умело.

В канун Первого мая только что приехавшие на место целинники стряпают пельмени. «В один пельмень,— сказала Янжин,— я положу серебряную монету на счастье!» С этой сцены в сущности и начинается действие романа, предшествующие пять глав — лишь экспозиция и, надо сказать, местами растянутая.

Целинники, встречая праздник Первого мая, проводят первую борозду. Это почетное право по жребию достается трактористу Дагве.

Наступают суровые будни, каждодневный тяжелый труд, возникают конфликты, в которых раскрываются характеры персонажей, лишь названные в экспозиционных главах. Так начинается весна.

Повариха Янжин, старательная, заботливая, постепенно завоевывает уважение и любовь бригады. Сначала замкнутая, ушедшая в себя, она понемногу освобождается от тяжелых воспоминаний, становится разговорчивой, веселой. Она замечает дружеские знаки внимания, которые оказывает ей Жамсаран. Она чувствует, что нравится этому сильному и скромному парню, да и он ей нравится, но слишком глубоки оказались первые раны, и Янжин медлит принять какое-либо решение. Она ждет.

Наступает знойное лето с пыльными бурями, а покорение и укрощение целины продолжается. И здесь Ч. Чимид прерывает повествование ради одного эпизода, являющегося как бы вставной новеллой. Возвращается из армии Батсайхан, отдавший перед уходом на военную службу старому табунщику Молому свое единственное имущество — жеребенка, который ведет родословную от знаменитых скакунов. Жеребенок стал хорошим конем, но никто из джигитов не смог его заарканить. «Ты хозяин, тебе и аркан в руки, а?» — говорит Батсайхану старик Молом. Автор, точно и скупо отбирая детали, описывает укрощение дикого коня человеком. Эти три страницы едва ли не лучшие во всем романе.

Автора более всего занимает судьба Янжин, и он в немногих словах убедительно раскрывает характер своей героини. Тягостна сцена, когда Лувсан в присутствии Жамсарана оскорбляет девушку и тот бьет по лицу обидчика. После собрания, на котором разбирался проступок Жамсарана, он и Янжин возвращаются, поотстав от товарищей, вдвоем. Он вынимает из кармана серебряную монету, которая попалась ему в пельмене на первомайском обеде и которую он хранил все это время как талисман. «Янжин взяла у него монету... «Выбросить?» — она уже замахнулась, но он остановил ее руку и отобрал монету. Не говоря больше ничего, она пошла дальше».

К числу удач романа следует отнести образ бывшего беспризорника Бямбы, мальчишки, попавшего на целину. О его недолгой жизни повествуется в «Рассказе Бямбы, которого никто никогда не слышал».

Жизнью молодежи, ее работой руководит умный парторг ЦК Намжил, который десять лет по ложному доносу находился «в местах не столь отдаленных». Он вместе с директором госхоза Содномцэрэном воспитывает молодежь, приехавшую на целину, отечески направляет ее, передает свой опыт. Но эти необходимые в романе персонажи, которым и автор и читатель сочувствуют, получились несколько статичными.

Покорителям монгольской целины, как отмечает Чимид, помогает техникой Советский Союз, и не только техникой, но и квалифицированными специалистами, каким является опытный тракторист Шашкин, который работает вместе со своими монгольскими друзьями.

Есть в книге и трагедии — гибнет в огне степного пожара тракторист Дагва. Но заканчивается книга ярким, мажорным описанием обильной монгольской осени. Труд молодежи приносит свои плоды.

Роман переведен Я. Аюржанаевым. Перевод выполнен грамотно, читается легко, хотя словарный запас переводчика беднова. Мелкие стилистические огрехи — не следует писать: «пара раз» (стр. 197), «пара грузовиков» (стр. 57), ибо это предметы непарные, «из бинокля погляди» (стр. 59) и т. д.— могли быть исправлены редактором.

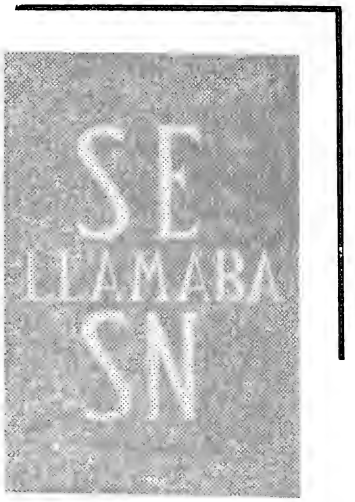
Хочется верить, что советская молодежь прочитает роман Ч. Чимида с интересом.

А. ТИШКОВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

РАДИ СВОБОДЫ НАРОДА

José Vicente Abreu. Se llamaba SN. Caracas, Editor José Agustín Catalá, 1964.



Рукопись этой книги, страницу за страницей, тайно выносила из тюрьмы медицинская сестра тюремного госпиталя. Книга была написана в застенках венесуэльской полиции рукой человека, еще не оправившегося от перенесенных пыток.

Брошенный в тюрьму вместе с тысячами патриотов Венесуэлы, борцов против диктатуры генерала Маркоса Переса Хименеса, Хосе Висенте Абрэу и за решетками — там он провел более семи лет — остался верен высокому долгу писателя.

Поминутно рискуя жизнью, он создавал свою повесть — свидетельство, разоблачающее зверские методы расправы над политическими заключенными в венесуэльской полиции, носившей громкое название «Национальная безопасность» (НБ). И свою книгу Абрэу с горькой иронией озаглавил: «И это называлось НБ». Повесть Абрэу показывает мрачный период в истории Венесуэлы, когда Перес Хименес, один из самых жестоких диктаторов, огнем и мечом пытался подавить растущее сопротивление.

Большую часть своей жизни тридцатисемилетний Абрэу отдал борьбе за свободу своего народа. Член руководства буржуазной партии «Демократическое действие», Абрэу порвал с этой партией — ныне находящейся у власти,— и вступил в ряды коммунистов. Позднее он стал редактором коммунистической газеты «Трибуна популар». И сейчас, в сегодняшней Венесуэле, он вновь подвергается репрессиям и гонениям, потому что продолжает борьбу против реакции и насилия.

Повесть Абрэу автобиографична. На страницах книги мы узнаем его под именем Педро Леона. Автор не уходит в описание только своих переживаний — нет, он знакомит нас с очень многими венесуэльскими патриотами, лучшими сынами своего народа, которые несмотря на пытки, несмотря на угрозы гибели не сдавались. И прав автор предисловия, он же издатель книги Хосе Агустин Катала, когда говорит, что о каждом из персонажей этой повести можно написать роман.

Вот товарищи Педро Леона по камере. Луис Рамос — молодой парень, венесуэльский комсомолец. Полицейские схватили его в тот момент, когда он красной краской писал революционные лозунги на стене какого-то дома. Они разбили ему лицо и облили краской, которая, стекая, смешивалась с кровью. Отец Луиса, старый коммивояжер, скрывал в своем доме одного из руководителей оппозиционной тогда партии «Демократическое действие», а у Луиса прятались преследуемые комсомольцы. «Когда-нибудь за одним из нас придут»,— говаривал старик, усмехаясь. Мануэля Саласара сильнее пыток терзает страх за оставленных на произвол судьбы малышей. На глазах у заключенного, которого все зовут профессором, пытали его жену, целыми днями он молчит, уставившись в одну точку, и перед ним неотступно стоят глаза жены, полные слез. «Глаза у нее очень большие, черные»,— только и говорит он. Вот ветераны борьбы с диктатурой Хосе Рохас и Хесус Альберто, не сломленные пытками. Все они помогают Педро Леону восстановить силы, передают добытые с большим трудом лекарства и молоко, предупреждают условным знаком, когда к нему в камеру подсаживают провокатора.

С горячей симпатией и признательностью автор говорит о каждом. Чувство товарищества и дружбы побеждает решетки, дает силы выстоять в самые трудные минуты. Эта дружба прошла через все испытания и в страшных концентрационных лагерях Гуасина и Сакупано, куда после допросов и пыток был отправлен Педро Леон и его товарищи по борьбе. Гуасина — остров в дельте реки Ориноко, в самом сердце венесуэльских джунглей. Остров заливает водой, и заключенные работают по колено в воде. Здесь гнилой климат, инфекционные болезни, после спада воды остров превращается в настоящее болото. Начальство лагеря пытается скрыть от охраны и местных жителей, что в лагере содержатся политические заключенные. Для этого узников переодевают в желтую форму, как самых опасных уголовных преступников. «Мы не преступ-

ники, мы политические заключенные... студенты, рабочие, крестьяне»,— объясняют узники солдатам. И жертвы диктатуры находят себе друзей даже среди охраны, не говоря уже о населении, которое всеми силами пытается помочь заключенным. Многие жители поняли величие подвига тех, кто жертвовал своей свободой ради свободы народа. Во время выборов, проходивших в 1952 году в Венесуэле, население местечка Сакупано проголосовало против правительства.

После гибели одного из узников — тяжело больной, он целый месяц был лишен необходимой помощи — все заключенные лагеря объявили день траура, нашив на арестантские блузы куски черной материи. И лагерное начальство не посмело запретить заключенным проводить в последний путь своего товарища.

В историю борьбы венесуэльских коммунистов вошел эпизод в Сакупано, известный под названием «шаг вперед». Заключенным-коммунистам неоднократно предлагали подписать документ с отказом от их партийной принадлежности. Однажды перед строем заключенных начальство лагеря приказало сделать «шаг вперед» тем, кто отказывался подписать позорный документ и предпочитал смерть бесчестию. Коммунисты знали, что им грозила гибель, но все они без колебания сделали этот шаг. Палачи не решились учинить массовую расправу в лагере. Да, изможденные, голодные, больные, узники были сильнее их!

Один экземпляр — под особым номером — из этого издания книги адресован автором бывшему диктатору Венесуэлы генералу Пересу Хименесу. Это — вызов и вместе с тем обвинительное заключение, выдвинутое писателем против кровавой диктатуры.

Писатель обвиняет от своего имени и от имени всех борцов Сопротивления.

Писатель обвиняет, несмотря на всю опасность новых репрессий. Произведение, повествующее о событиях, которые происходили несколько лет назад, встречено в штыки силами реакции: удар попал в цель! Ведь и сегодня многие лучшие сыны венесуэльского народа томятся в тюремных застенках и концентрационных лагерях.

Народ Венесуэлы требует освобождения патриотов — борцов против диктатуры и империализма, борцов за лучшее будущее Венесуэлы. И книга писателя-коммуниста Хосе Висенте Абрэу служит оружием в его руках.

ГАЛИНА ЖУЧКОВА

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ, ЗЕЛЕНОЕ И КРАСНОЕ

James Ngugí. Weep not, child. London, Heinemann, 1964.

Плодородные зеленые земли плантаций принадлежат англичанам, белым поселенцам Кении. Скудные красные почвы оставлены исконным владельцам земель Кении — крестьянам кикуйю. А согласно древним легендам этого племени, именно им, кикуйю, дал лучшие земли бог-созидатель.

Трагедия отнятой земли лежит в основе сложных, напряженных событий, происходивших в Кении в 50-е годы и описанных в романе Джеймса Нгуги «Не плачь, дитя».

Нгуги молод, он не так давно окончил Макерере-колледж в Уганде и, еще будучи студентом, написал два романа, пьесу, поставленную в Уганде, рассказы.

Роман «Не плачь, дитя» написан неровно, многие его страницы кажутся наивными. Сказывается и недостаточный литературный опыт автора, и непривычность жанра романа для литературы восточноафриканских стран. Думается, что писатель был несколько скован и тем, что сложная политическая ситуация часто раскрывается в его книге через восприятие подростка-школьника, каким в те годы был сам автор.

И тем не менее книга талантлива. Трагедия Кении показана изнутри, так, как должны были ощущать ее батраки-кикуйю. Они верили, что Джомо Кениата—«Черный Моисей», который приведет их к земле обетованной.

О ней думает крестьянин Нгото, прежде владевший землей, а ныне вынужденный жить на земле нового богача — африканца Джекобо и батрачить на плантациях англичанина Хаулендса. Через трагическую историю Нгото и его семьи раскрываются судьбы народа. Нгото влюблен в плодородную землю плантации. Он и сейчас втайне считает ее своей. Он верит, что когда-нибудь эта земля вернется к своим истинным хозяевам. Но вера Нгото пассивна и потому бессильна. Лучшие страницы романа раскрывают всю глубину терзаний Нгото. Он измучен бесплодием своей жизни. Он остро чувствует свою вину перед сыновьями, перед новым поколением, которому суждены иные, решительные пути — пути действия.

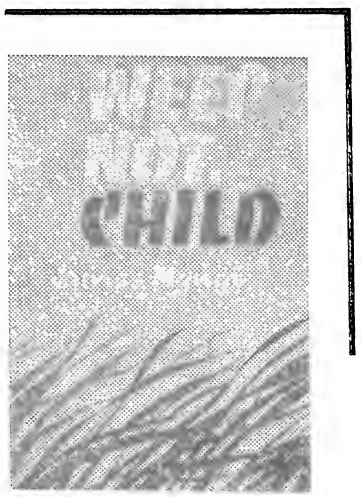
Между тем Нгуги предпочел показать, что и пути молодого поколения были не просты. Старший сын Нгото убит на «войне белых», войне, смысл которой оставался совершенно непонятным для этих крестьян Кении. Второй сын, Боро, вернулся с войны морально травмированным, подавленным гибелью брата. Одинокий, мрачный, заливающий тоску водкой, он напоминает нам типы потерянного поколения. Самый же младший, школьник Ньороге, делает ставку на образование. Это любопытный характер африканского подростка, который как бы создан для того, чтобы пополнить ряды африканской «элиты» (школа, колледж, Лондон, служба в колониальной администрации...). Для Ньороге образование превращается в фетиш, в ключ к блестящему будущему, оно стано-

вится удобной формой бегства от сложностей жизни, от труда, от ответственности, так же как вера в христианского бога становится для него формой бегства от ответственности моральной.

Сложный характер предстает и в образе англичанина Хаулендса. До поры до времени судьбы плантатора и его батрака развивались как бы параллельно. Оба они прошли через опыт мировой войны. Каждый из них потерял на войне сына. Оба видят единственный смысл своей жизни в земле. И оба долго считают, что могут остаться в стороне от политики.

Но как ломаются, как меняются характеры и судьбы этих людей, когда их втягивает в водоворот политических событий 50-х годов! Нгуги воссоздает то, что могли видеть и пережить Нгото, Боро, Ньороге. Всеобщая стачка рабочих и батраков накаляет атмосферу в стране. Лихорадочное возбуждение митинга пробуждает в Нгото, этом исполнительном батраке, глубоко таившуюся в нем ненависть, стихийную и неудержимую, заставляющую его броситься на предателя Джекобо. Отныне Нгото отмечен властями как бунтовщик. Он согнан с земли Джекобо, он теряет работу. На террор властей крестьяне отвечают восстанием, народной войной. Они уходят в леса, образуют партизанские отряды, отряды «мау-мау». К ним уходит и Боро. Однако, в отличие от его товарищей по оружию, для него смысл борьбы не столько в завоевании земли и свободы, сколько в возмездии.

Напряжение нарастает. Объявлено чрезвычайное положение. Массовые аресты. Арест и потом осуждение Кениаты, вызывающее новый прилив народного гнева. Кем-то убит предатель Джекобо. Нгото, думая спасти сына, выдает себя за убийцу. Его пытают, кастрируют. Сцена смерти Нгото, пожалуй, лучшая в книге. Нгото умирает в отчаянии, но с сознанием, что наконец он снял с себя позор бездействия и стал вровень с сыновьями. Меняется и Хаулендс: пути его и Нгото сталкиваются, неся гибель обоим. Угроза «его» земле, «его» плантациям заставляет Хаулендса броситься в политику. Прежний фермер с замашками либерала становится зверем. Это он велит кастрировать Нгото. И Боро мстит за отца, убивая Хаулендса.



Боро схвачен и казнен. Его братья в тюрьмах. Эти страницы залиты кровью, как залиты кровью те годы. Пройдя через тяжкий опыт тех лет, Кения вышла к независимости.

Из всей семьи Нгото остается только подросток Ньороге. В других условиях из него мог бы выйти типичный юноша африканской «элиты». Теперь же рушатся его вера в христианского бога и его вера в образование. Ньороге приходит к мысли, что он всегда был трусом, уклонявшимся от ответственности. Он на грани самоубийства. Но он остается жить. И с новым чувством ответственности перед своим народом, перед своей страной он подходит к порогу зрелости.

Е. ГАЛЬПЕРИНА

О «ДВАДЦАТИ ЧАСАХ» ФЕРЕНЦА ШАНТЫ

Sánta Ferenc. Húsz óra. Budapest, Magvetö, 1964.

Пусть прочтет эту повесть тот, кто хочет знать, как жил венгерский народ, сколько он трудился, мечтал и строил. Пусть прочтет и увидит, через какие пекла и чистилища прошли мы и с какой верой закладывали камни в фундамент нашего будущего.

Старик Шандор Варга в 1919 году был членом Директории*. Его младшего брата убили офицеры, а самому перебили ногу, и он до сих пор волочит ее. Теперь он живет в деревне, разочарованный, озлобившийся на всех и вся, потому что деревня оттолкнула его сына.

Сын его, Шани Варга, до пятьдесят шестого года был самым главным в деревне. Многое из того, что тогда происходило дурного и хорошего, было делом его рук. Он был там, когда создавали партию, когда распределяли землю, когда организовывали кооператив; но он же был там и когда подчистую выметали амбары, забирали невинных людей и творились другие неза-

* Орган Венгерской Советской власти.

SÁNTA FERENC HÚSZ ÓRA

конные вещи, против которых никто не решался возразить. Однако теперь его в деревне нет. В пятьдесят шестом он сбежал, потом вернулся с автоматом. Но его чуть не забил до смерти его бывший товарищ по судьбе и оружию, председатель кооператива Йошка. С тех пор Варгу никто больше не видел.

Учитель — бывший ассистент преподавателя в университете — дважды сидел в тюрьме: в первый раз его выпустили в пятьдесят третьем, во второй — в пятьдесят девятом. И тогда он зарекся: с него хватит. И, вернувшись в родную деревню, стал учить своих детей и всех деревенских ребятишек; жена его разводит кур и откармливает свиней. Политикой и общественной жизнью он сыт по горло. Но проходит несколько лет, и, когда ему снова предлагают работу, у него — когда-то первого секретаря Венгерского демократического союза молодежи в уезде, первого рабфаковца — язык не поворачивается сказать, что он «сыт по горло»...

Анти Балог вместе с Шани Варгой и Йошкой был раньше батраком; вместе они создавали партийную организацию, делили землю. Но в пятьдесят втором году он швырнул партийный билет на стол, потому что у него отобрали последнюю муку и нечем было накормить внука. А в пятьдесят шестом поднял оружие против Йошки, который когда-то был его лучшим другом.

Йошка, председатель кооператива, выстоял, когда бывшие товарищи изменили, убежденный, что народную революцию должны совершить он и ему подобные. Выстоял он и в пятьдесят шестом, когда Шани Варга бежал в леса. Ведь Йошка знал: убежать легко, а вот вернуться обратно будет потруднее. Выстоял он и после пятьдесят шестого, твердо зная: нельзя продолжать так, как делали до сих пор. И он не позволил арестовать Анти Балога, а сам дрался с ним, потому что имел на это право.

Кто в Венгрии не знает всех этих людей? Кто по этим отрывочным характеристикам, бегло очерченным человеческим судьбам не почувствует, что в этой книге говорится о самом кровном, самом животрепещущем деле и заботе всей страны? И кто — и сколько раз — не задавал самому себе вопросы, которые повесть бросает нам в лицо?

Эти судьбы, эти вопросы уже вставали и в литературе. Ведь революционные, социалистические перемены — самая основная проблема нашего времени.

Многие писатели уже говорили о них, но многим ли удалось найти истину? В самом деле, как шаблонны могли бы быть судьбы людей, описанных Шантой. Достаточно только оставаться на поверхности, придерживаться упрощенной схемы — и получились бы пустые фразы, голые формулы, картонные фигурки. Старик Варга: этакий состарившийся боевой конь, который когда-то честно сражался, а теперь уже непригоден для дела. Шани Варга: конечно, закоснелый сектант, который в ответе за все зло, а теперь только помеха. Учитель: опрометчивый, во все вмешивающийся интеллигент, который только и умеет, что суетиться да мозолить людям глаза. Анти Балог: честно заблуждающийся стихийный бунтарь, не отличающийся ни верой, ни сознательностью. И, наконец, председатель Йошка: всегда все знающий и правильно поступающий, настоящий непорочный ангел, пролетарский рыцарь без страха и упрека.

Во скольких книгах мы уже встречались с этими шаблонами. Те же фигуры и в повести Шанты. Но каким жизненным содержанием наполняются у него эти «шаблоны»! Разве нельзя понять Шандора Варгу, Бохати, Шандора Матэ, когда они говорят: «Землю делить, организацию создавать партийную, кооператив организовывать, подписку на заем проводить, грязь пешком месить, желудок портить едой всухомятку я был хорош и без диплома! А теперь стал не хорош!» Когда они говорят: «Ну ладно, если меня отстранят от работы и на мое место придет кто-нибудь другой, кто покажет лучшие результаты и скажет: «Вот я достиг большего!» — этот товарищ, вероятно, будет прав. Но вот что я хочу сказать: в его достижениях будут и мои пятнадцать лет! А без этих пятнадцати лет еще неизвестно, что показал бы этот товарищ!..»

А разве нельзя понять и Анти Балога, который думает о том, как оскорбили самые глубокие его чувства? Кто вместо него выбрал Варгу и разных болтунов-бездельников? Кто обманул его, сказав, что все принадлежит ему, а теперь вот жене приходится собирать крапиву в канаве, чтобы суп сварить?

Писатель может проверить своих героев, лишь столкнув их с действительностью. А когда действительность так меняется, как в наше время, людям вновь и вновь приходится проходить эту проверку. Кто раньше устоял, может потом провалиться, а кто

тогда провалился, может устоять теперь. Как это происходит — должен показать писатель. Но этого еще мало. Если он окончательно хочет избавиться от общих мест, фраз, шаблонов, нужно еще уметь дать понять, кто и почему провалился или выстоял. Ференц Шанта сумел это сделать— в его книге «Двадцать часов» «шаблонные» судьбы и «шаблонные» конфликты стали человеческими судьбами и делом всей страны.

Но кто же до конца прав? Ведь многие по-своему «правы», многих можно понять. Но все же решающее — объективная истина, и кто стремится к высшей цели, должен установить ее. И то, что Шанте в этом сложнейшем мире, сложнейшем переплетении человеческих судеб удалось выявить истину — пожалуй, наибольшее достоинство книги. Со многих точек зрения прав Шандор Варга, со многих — Анти Балог, но в конечном счете прав все же Йошка, который говорит Шандору Варге: «Слушай, Шандор! И заруби себе на носу то, что я тебе сейчас скажу! У тебя в руках автомат, и ты вернулся из леса или откуда там еще. Что ж, власть в твоих руках! Но я скажу тебе: если ты хоть взглянуть осмелишься косо на Анти Балога, тебе тут же придется иметь дело со мной! Заруби это себе на носу и не забывай никогда! Я расхлебывал то, что ты заварил, когда он в меня выстрелил,— так что молчи теперь! А уж что мне с ним нужно уладить, я сам улажу». А Балогу Йошка говорит: «Помнишь, я тебе говорил: не затаивайся, не отстраняйся, не позволяй другим вертеть твоей революцией! Что ты тогда сделал? «Вот мой билет!» И шварк его на стол. А потруднее ты что-нибудь сделал? Ты же устранился!.. Все вы бросили меня! Я остался один как перст, а вы по углам попрятались: пропадай, мол, все пропадом, не стоит и делать что-нибудь!.. И все же смотри: твоей осталась эта страна!».

Критики, которые займутся этой книгой, наверно, проанализируют ее форму, изобразительные средства, стиль. Наверно, они обратят внимание, что это второй крупный опыт в области формы в современной венгерской прозе. Первый опыт принадлежал Эндре Фейешу, который в «Кладбище железного лома» на десяти печатных листах сумел дать материал целого романа, и эта сжатость не сузила горизонтов. Ференц Шанта пытается сделать то же, хотя совершенно иначе: отойдя от обычных приемов романа, все же дает широкую общественную картину. «Кладбище железного лома» и повесть Шанты показывают новые, современные возможности формы, а не просто некритически повторяют, воскрешают старое.

Литературная критика, наверно, отметит и это. Я же пишу не рецензию, а просто выражаю радость. Надо отдать должное Йожефу Дарвашу, который год-два назад упорно твердил, что «слышит трубные звуки», чувствует, что новая венгерская литература уже формируется. Для меня повесть Шанты — новое подтверждение, что за истекшие годы появились не только многообещающие или талантливые опыты, но и настоящие, долговечные произведения.

ЛАСЛО ДЮРКО

«Кортарш» (сокращенный перевод.)

БЛЕСК И НИЩЕТА САТИРЫ

Günter Grass. Hundejahre. Berlin, Luchtenhand Verlag, 1964.

Книга называется «Собачья жизнь». У ее автора—западноберлинского писателя Гюнтера Грасса — есть уже имя в литературе, есть и незаурядный талант. Когда он этого хочет, он может быть великолепным сатириком, когда не хочет быть сатириком, он может остаться просто неистощимым на выдумки рассказчиком. Он не только прекрасно знает быт и нравы среды, о которой преимущественно пишет, но и искушен в профессиональных тайнах новейших литературных школ Запада. Когда он слишком увлекается этими последними, дар природного рассказчика помогает ему избежать судьбы эпигона. Роман «Собачья жизнь» стал бестселлером в Западной Германии, хотя он не только огромен по объему, но и необыкновенно труден для восприятия. Эта трудность иногда вызывается особенностями специфически грассовской образности, иногда — усложненностью литературных и исторических ассоциаций, насыщающих роман, иногда, на наш взгляд, не объясняется ничем, поскольку неразумная погоня за литературной модой не может служить оправданием для подлинно оригинального писателя.

Книга эта — о недавнем прошлом Германии и о ее настоящем. Снова фашизм, снова война, снова послевоенное пресловутое «экономическое чудо» — для серьезной западногерманской литературы поистине пока еще «вечная тема». Трансформация этой темы за два десятилетия, минувшие со дня окончания второй мировой войны, многозначительна. «Никогда больше!» — это категорическое требование легло в основу первых произведений западногерманских писателей-антифашистов о войне — творчества Борхерта, ранних рассказов и романов Бёля, Ледига, Рихтера. Гнев, отчаяние, отвращение, отрицание — вот лицо антифашистской западногерманской литературы первых послевоенных лет, застывшая гримаса эмоционального и морального шо-

ка. Потом — недоуменный, ошеломленный взгляд «окрест себя»: из пепла «третьего рейха» с удивительной быстротой возродился реваншизм, и в произведениях Кёппена, Бёля, Опица, Шаллюка, Гейслера зазвучала тема «непреодоленного прошлого».

Сначала об этом говорилось тревожно, предостерегающе; такова тональность основных произведений Бёля о западногерманской современности — «Дома без хозяина», «Бильярда». Когда «непреодоленное прошлое» окончательно предстало перед этими писателями как «непреодоленное настоящее», когда реваншизм стал в ФРГ политической реальностью, многие литераторы вооружили уста сатирой. Однако сатира не смутила реваншистов: низведенные до уровня животных Кёппеном, представленные Бёлем как ханжествующие святоши, Рихтером как интеллектуальные ничтожества, Опицем как маньяки, осмеянные, разгромленные на страницах романов, они торжествовали в боннской реальности. Больше того, они даже редко реагировали на насмешки, они кичились критикой в свой адрес как неоспоримым свидетельством «демократичности» боннского государства. И писатели это понимали; подтекстом их сатиры было с самого начала настроение глубоко трагическое — пока смех сквозь слезы не сменился растерянным, бессильным отчаянием пророков, не услышанных в своем отечестве, праведников, очутившихся в роли шутов: после «Смерти в Риме» умолкает Кёппен; после «Линуса Флека» умолкает Рихтер; после «Кулачного права» умолкает Ледиг; Бёль создает два трагических фарса, символически формулирующих эту новую ситуацию — «Глазами клоуна» и «Вне строя» *. Предельное социальное отчаяние, убежденность в своем бессилии что-либо изменить, крушение веры выражено здесь с характерной для Бёля самокритичностью.

В этой новой ситуации, четко обозначившейся к концу 50-х годов, и приходит в западногерманскую литературу ее «enfant terrible» — Гюнтер Грасс, писатель язвительный и желчный, замахивающийся на святыни, с легкостью — нечего терять! — сокрушающий моральные запреты и стилистические каноны. Критики предупреждают: «Немецкая литература должна иметь в виду, что этот автор, знающий так много и рассказывающий о столь многом, обращается с этой литературой так же своевольно, как и со своими героями» («Франкфуртер хефте»).

Что же такое Гюнтер Грасс? Что это за «Собачья жизнь», так вызывающе избранная названием для объемистого романа?

Это, прежде всего, роман сатирический. Ядовитого, издевательского смеха в романе Грасса — через край. Вся новейшая история Германии, начиная с 20-х годов и кончая периодом становления боннского государства, представлена как цепь вопиющих нелепиц, как гигантский балаган абсурда. Гротеск, абсурд — стихия Грасса, он купается в ней, ошеломляя читателя головокружительными выдумками. Часто они довольно метко бьют в цель.

Один из главных героев романа, Эдди Амзель, уже в раннем детстве проявляет незаурядные художественные способности. Сфера его творческих поисков — изготовление огородных пугал, в которых он вдохновенно запечатлевает образы своих односельчан. На поля прусских хлеборобов массовым парадом выходят их карикатурные двойники. Но и этого Эдди мало — его творческая фантазия устремляется в немецкую историю, и хоровод пугал пополняется прусскими королями, гренадерами, юнкерами, крестоносцами — в творениях Эдди Амзеля оживает «прусская история, приспособленная для практических нужд». Можно представить себе, какую обильную пищу для фантазии юного художника дало национал-социалистское движение — по полям крестьян зашагали пугала в коричневых униформах; Эдди Амзель не поленился использовать для этой цели достижения механики — его коричневые пугала умеют чеканить шаг, поднимать руку в нацистском приветствии. И тут-то для него кончились шутки: однажды ночью девять замаскированных людей выволокли его из «ателье», а когда ушли, он долго ползал по красному снегу и подбирал выбитые зубы — все до одного...

А вот еще один гротеск. Мельник Антон Матерн глух на правое ухо, оттого что он всю жизнь носит на правом плече мешки с мукой. Но если мельник не слышит правым ухом звуков человеческой речи, то тем явственнее слышит он все, что творится в мешке с мукой: он распознает шуршание каждого мучного червя; этот чудодейственный дар не только помогает ему делать прогнозы насчет будущего урожая и, сле-

* Повесть опубликована в журнале «Новый мир» № 1, 1965 г. под заглавием «Самовольная отлучка».

довательно, положения дел на рынке и бирже, но и оказывает, когда приходит срок, решающее влияние на судьбы западногерманского государства: в первые послевоенные годы Антон Матерн настолько усовершенствовал свой дар общения с мучными червями, что оказывается в состоянии предвидеть все колебания экономической и политической конъюнктуры. В скромную мельницу едут сановные паломники: промышленные тузы, духовные чины, государственные министры, в том числе сам Эрхард. «Экономическое чудо», оказывается,— отнюдь не порождение рук трудолюбивых промышленников и министров экономики, как гласила официальная версия; оно стало возможным благодаря стараниям мучных червей из мешка мельника Матерна. Поистине впечатляющая фантасмагория — этот гротескный образ «червивого» экономического чуда.

Большую роль играет в замысле романа и «собачья» тема. Параллельно с жизнеописаниями героев романа обстоятельно прослеживается судьба целого собачьего рода, чьи представители верой и правдой служили своим хозяевам из поколения в поколение. Поначалу ничем не отличающиеся от своих четвероногих собратьев, они в 30-е годы переживают период наивысшего расцвета своего рода: псу Харрасу, благодаря «незапятнанной чистоте расы», выпадает честь по личному приказу фюрера произвести на свет — в союзе со столь же породистой овчаркой Теклой — черного пса Принца. Этот последний отпрыск славного рода входит в историю — он становится любимым псом фюрера. Конура принцева папаши оказывается в зените славы — о Харрасе рассказывают газеты, его снимают в кинохрониках, его портреты пишут художники. Отблеск этой славы, естественно, падает и на его хозяина: его тоже осаждают репортеры, сам фюрер в знак благодарности присылает ему фотографию с собственноручной надписью. И вот в беспокойные апрельские дни 1945 года Принц, любимец фюрера, исчезает! На ноги поставлена вся государственная, полицейская, военная машина рушащегося рейха: сыплются приказы, генералы не спят ночей, чтобы координировать военные действия (русские у ворот!) с организованными поисками пропавшего пса. Еще одна фантасмагория — безумные последние приказы фюрера о борьбе за Берлин до конца, истерические речи о спасении нации приобретают зловещий аллегорический смысл: фюрер кричал, что на карту поставлена судьба Германии,— Грасс говорит, что это была собачья судьба; фюрер кричал, что спасает жизнь нации,— Грасс говорит, что это была собачья жизнь.

Как мы видим, в издевках Грасс и изобретателен, и эффектен. Глубокая внутренняя ущербность его сатиры обнаруживается там, где он оказывается лицом к лицу с вопросом, можно ли покончить с этим абсурдным прошлым и настоящим, с этим миром, в котором перепутались люди и пугала, жизнь человеческая и собачья, в котором историю делают собаки, а будущее предсказывают мучные черви.

Есть у Грасса еще один важный для понимания авторского замысла гротеск. Он связан непосредственно с послевоенными судьбами героев романа. Вальтер Матерн, сын ясновидящего мельника, второй — наряду с Амзелем — центральный персонаж книги, возвращается с войны. В прошлом Вальтера — юношеское увлечение идеями социализма, потом — увлечение идеями национал-социализма, потом — разочарование в этих последних, выразившееся в том, что он отравил крысиным ядом славного пса Харраса, отца фюрерова любимца. В общем, это, по авторской характеристике, «пустой шкаф, набитый униформами всех цветов». Однако с войны Вальтер Матерн возвращается полный решимости расплатиться с теми, кто искалечил его жизнь. Так начинается последняя часть романа — странствия Вальтера Матерна, «матерниады». Грасс сознательно вызывает у читателя ассоциации с другим «возвращением» — трагическим героем борхертовской драмы «За дверью», Бекманом. Однако перед нами не Борхерт, а Грасс.

Грасс заставляет своего героя «мстить» довольно странными способами. У одного из бывших нацистов Вальтер в порыве справедливого гнева убивает любимую канарейку; у другого бросает в огонь коллекцию почтовых марок; у философа Хейдеггера, которым он увлекался в юности, он снимает с петель ворота его загородной дачи; так вот и «мстит» Матерн, пока не находит наиболее привлекший его способ мщения: он оставляет у жен и дочерей своих идеологических противников предосудительную, хотя и излечимую болезнь.

Сам по себе такой гротеск мог бы восприниматься как злая сатира на тех попутчиков фашизма, которые после его крушения молниеносно перекрасились в антифашистов. Однако Грасс подвергает здесь осмеянию не такую именно социальную позицию, а идею «денацификации» вообще, ставит под тотальное сомнение саму возможность восстановления справедливости. Ассоциации с трагедией борхертовского героя используются Грассом для того, чтобы осмеять эту трагедию. «Собачья жизнь» — закон человеческого существования, говорит нам Грасс. Всякие попытки очеловечить ее смехотворны. Это даже не донкихотство, это — «матерниады».

Так раскрывается перед нами глубоко нигилистический подтекст грассовской сатиры. Борьба за достойное человека бытие, за будущее Германии для Грасса — дело безнадежно скомпрометированное и заведомо проигранное; единственной беспроигрышной ставкой в этой игре может быть лишь абсолютный цинизм. Он и становится мировоззрением Грасса, его позицией как писателя. Ему приносятся в жертву не только спонтанные социальные прозрения автора, но и его талант. И последние главы

романа, призванные увенчать собой построенное писателем здание, вдруг обнаруживают, что здание было построено на песке: оно у нас на глазах начинает расползаться. Читатель узнает, что Эдди Амзель, например, подводит итог своему горькому жизненному опыту в создании гигантской подземной лаборатории по конструированию пугал. Но эти пугала теперь уже не являются пародией ни на немецких филистеров, ни на немецких фашистов и милитаристов: лаборатория Амзеля становится моделью всего человеческого общества, а наиболее совершенным образцом этого шутовского балагана для Амзеля является Германия. Весь немецкий народ объявляется «самым подходящим для того, чтобы осчастливить мир самым совершенным пугалом». Грасс не видит различий ни между двумя германскими государствами, ни между двумя мировыми общественными системами: для него вся Германия становится царством пугал, весь мир — сферой безликого, слепого хозяйничанья мучных червей. То, что вначале в изображении самого Грасса выступает как уродливый плод немецкого милитаризма, порожденный в союзе с немецким филистерством, писатель затем пытается навязать всему человечеству как закон его бытия. Грасс явно не замечает, как его собственная позиция получает фатальный отпечаток осмеянного им же самим филистерства. Чувства художественной меры и такта, вообще не очень характерные для писательской манеры Грасса, покидают его здесь совершенно. Его пространные описания подземной лаборатории пугал напоминают самые безвкусные образцы модных ныне на Западе мизантропических философствований.

В одном месте своего романа Грасс устами Амзеля утверждает, что единственный смысл жизни — в умении «рассказывать истории с изюминкой и без нее, истории о собаках, пугалах, крысах, истории выдуманные и хрестоматийные». Грасс — мастер рассказывать такие истории, при этом он кокетничает, ставя «хрестоматийные» истории в один ряд с выдуманными. С самого начала — с романа «Жестяной барабан», опубликованного в 1959 году,— он одержим стремлением вывертывать наизнанку всякую «хрестоматийность» и подменять ее остроумной выдумкой. Эта подмена совершается им по принципу гротеска: он улавливает абсурдную сторону привычного явления, обособляет ее и как бы легализует, выпуская в мир своего эпоса на правах вполне возможного реального факта. А дальше, раз «созорничав», он уже не может остановиться: он строит на этом весь сюжет, одна фантастическая выдумка обгоняет другую, и он торопится рассказать об этом взахлеб, обрывая себя на полуслове, возвращаясь к уже сказанному, забегая вперед; если его увлечет деталь, он может, забыв обо всем, бесконечно ее обыгрывать; если ему понравится слово, он гонится за ним и варьирует его, пока не исчерпает все его возможности. Сатира рождается из этого потока повествования как бы невзначай, стихийно — но, как мы видели, она очень часто затрагивает явления, достойные ее. И тогда Грассу удаются великолепные страницы, читая их, начинаешь понимать, что этот писатель, при всей его «современности» и даже «модности», при всем его пренебрежении к «канонам», пишет на том же языке, на котором создавались и сатирические народные шванки, и книга о гражданах Шильды, на котором писал и Себастиан Брант, и Гриммельсхаузен с его «Симплициссимусом».

Однако это только одна сторона стиля— и мировоззрения — Грасса. Вспомним, что в таких историях Грасс видит единственный смысл жизни.

«Пока истории в состоянии нас развлекать, никакая преисподняя нам не страшна». Это, несомненно, художественное кредо писателя. Если избавить его от чисто грассовских атрибутов — собак, пугал и т. д.,— то в основе его останется древняя, как сама идеалистическая философия, мысль о преодолении действительности в сфере чистого духа, в данном случае — в сфере искусства. Грасс лишь дополняет ее элементом этакой писательской всеядности.

Все это, несомненно, связано с общей нигилистической позицией Грасса, его принципиальным отрицанием самой возможности того, что литература может оказать какое-то влияние на очеловечивание «собачьей жизни». Это очень тревожный симптом для сегодняшнего состояния западногерманской литературы, и не случайно в хвалебных рецензиях литературной критики ФРГ на роман Грасса явственно ощущается какая-то растерянность. Западногерманским ценителям прекрасного все-таки как-то не по себе в атмосфере грассовской прозы с ее мировоззренческим цинизмом и стилистической бесшабашностью. И характерно, что бёлевская повесть «Вне строя» во многих своих пассажах, особенно «археологических» и «ассенизационных», представляет собой ироническую стилизацию грассовской манеры письма. Бёль как бы кается в своей «устарелости» и усердно старается сделать свое повествование, свой взгляд на вещи «посовременней». В данном случае это не просто очередная писательская мистификация, которых много в бёлевской повести,— это и своеобразное выражение его озабоченности судьбами западногерманской прозы, в которой новое, «современное» поколение безответственно открывает шлюзы для тотального цинизма и нигилизма. Именно такую роль и выбрал себе Гюнтер Грасс.

А. КАРЕЛЬСКИЙ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В София была организована выставка, посвященная жизни и творчеству Максима Горького. Экспонаты выставки — рукописи, книги, фотографии — были предоставлены Музеем Горького при Институте мировой литературы в Москве. На официальном открытии выставки артисты софийских театров выступили с чтением произведений великого русского писателя.

Издательство «Народна младеж» (София) включило в план юбилейных изданий в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции книгу С. Дангулова «Ленин разговаривает с Америкой».

Родопский народный театр (Болгария) осуществил постановку пьесы А. Корнейчука «Платон Кречет». Новый софийский театр «Народна сцена» показал зрителям пьесу Н. Погодина «Человек с ружьем».

Издательство «Народна култура» (София) выпустило роман Н. Островского «Как закалялась сталь».

Там же изданы «Рассказы о Юлиусе Фучике» Иды Радволиной.

В итальянском издательстве Мондадори вышел роман В. Некрасова «В окопах Сталинграда».

Повесть Л. Леонова «Evgenia Ivanovna» выпущена варшавским Государственным издательским институтом (ПИВ).

Загребское издательство (Югославия) выпустило сборник «Великие битвы от Буга до Москвы», в который вошли отрывки из мемуаров советских военачальников, в том числе маршала Бирюзова.

Повесть Чингиза Айтматова «Джамиля» вышла в белградском издательстве «Култура».

Лирические дневники Галины Николаевой под заголовком «Дни большого озарения» опубликованы в чехословацкой газете «Руде право».

Любители поэзии в Чехословакии недавно получили две книги советских поэтов: «Стихи дальнего следования» Михаила Луконина (издательство «Свет Совету») и сборник стихов молодого украинского поэта Ивана Драча (издательство «Млада фронта»).

В издательстве мировой литературы в Бухаресте вышел сборник рассказов советских писателей под названием «Когда мы вместе», в который включены рассказы Э. Казакевича, В. Максимова, Л. Обуховой и других.

«Японское море, декабрь» Юхана Смуула недавно выпущено в переводе на румынский язык.

Повесть Юстинаса Марцинкявичуса «Сосна, которая смеялась» вышла в ГДР, в объединенном издательстве «Фольк унд вельт — Культур унд фортшритт».

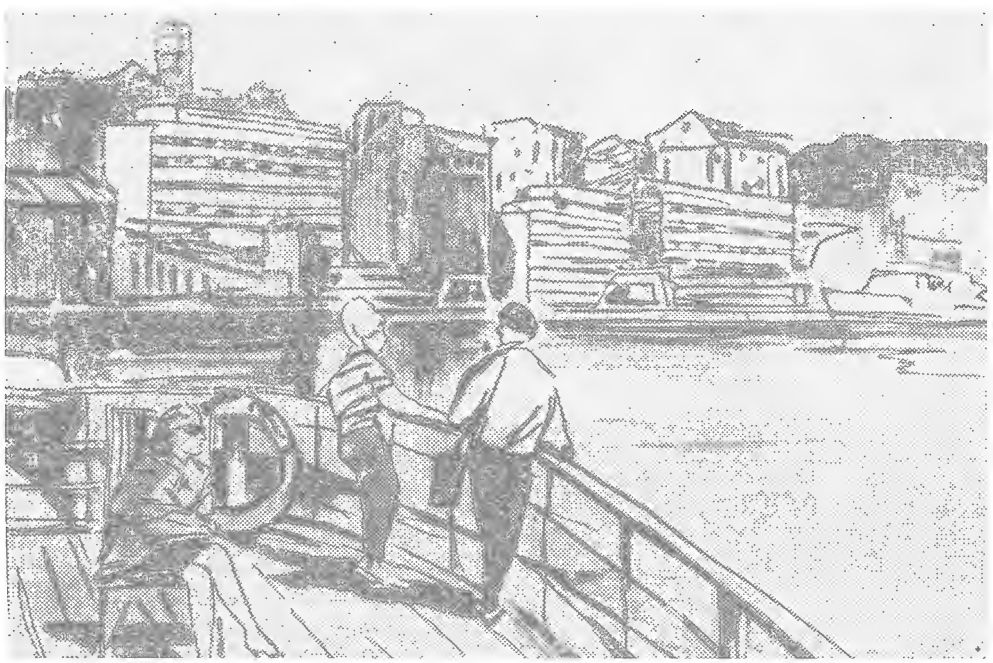
Издательство «Нейес лебен» выпустило антологию советской поэзии под названием «Полночный троллейбус». В приложении к газете «Нейес Дейчланд» опубликованы стихи Светланы Кузнецовой, Леонида Агеева, Роберта Рождественского, Булата Окуджавы, взятые из этой антологии.

В Мангейме (ФРГ) состоялись гастроли Веймарского Немецкого Национального театра, который показал пьесу Горького «Васса Железнова».

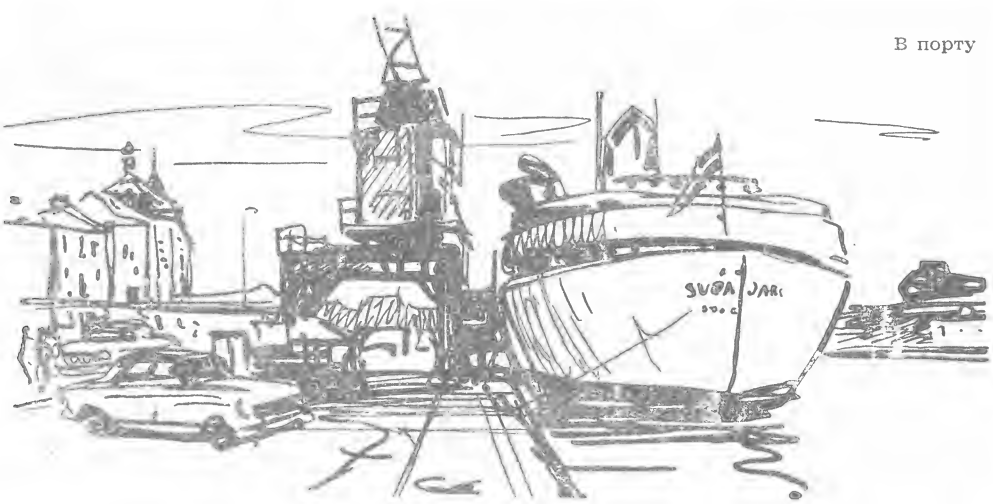
Повесть Г. Бакланова «Пядь земли» вышла в Мюнхене в издательстве «Лист-ферлаг».

Из путевого альбома

В этом номере мы публикуем зарисовки художника М. Ю. Алексеева «По Скандинавии».



Паром подплывает к Стокгольму

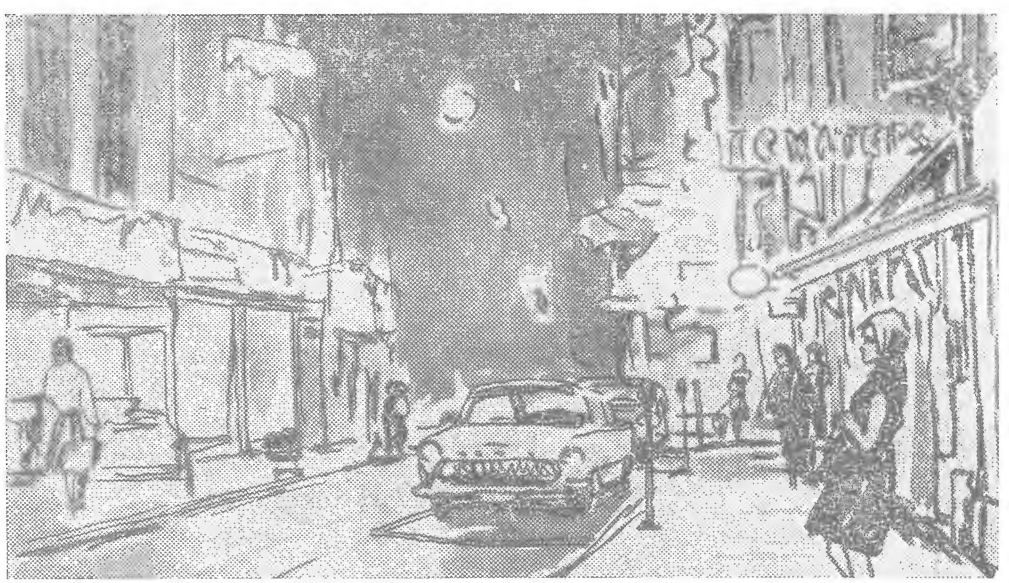


В порту

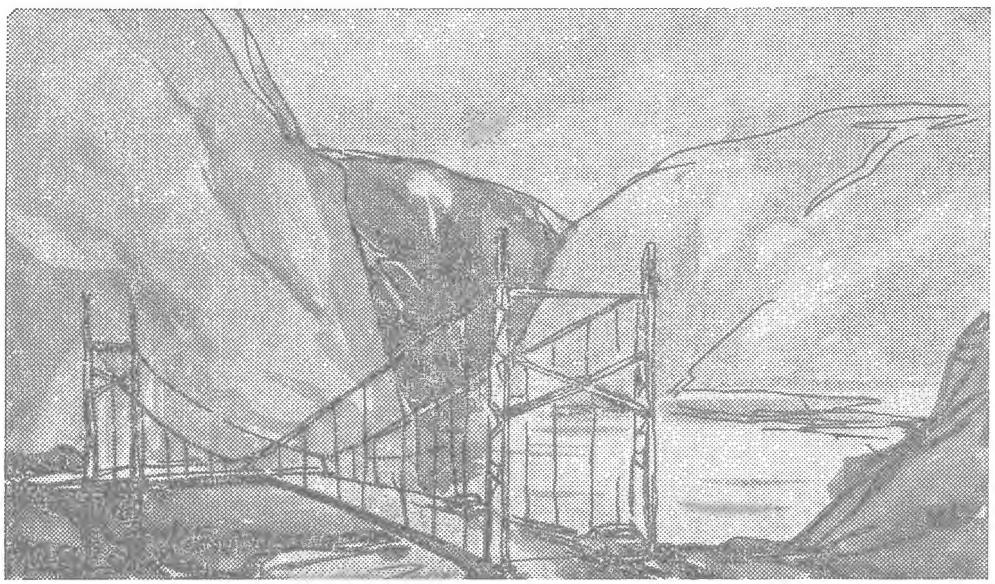
СТОКГОЛЬМСКИЕ СТРАНИЦЫ

В старом городе

Улица вечернего города

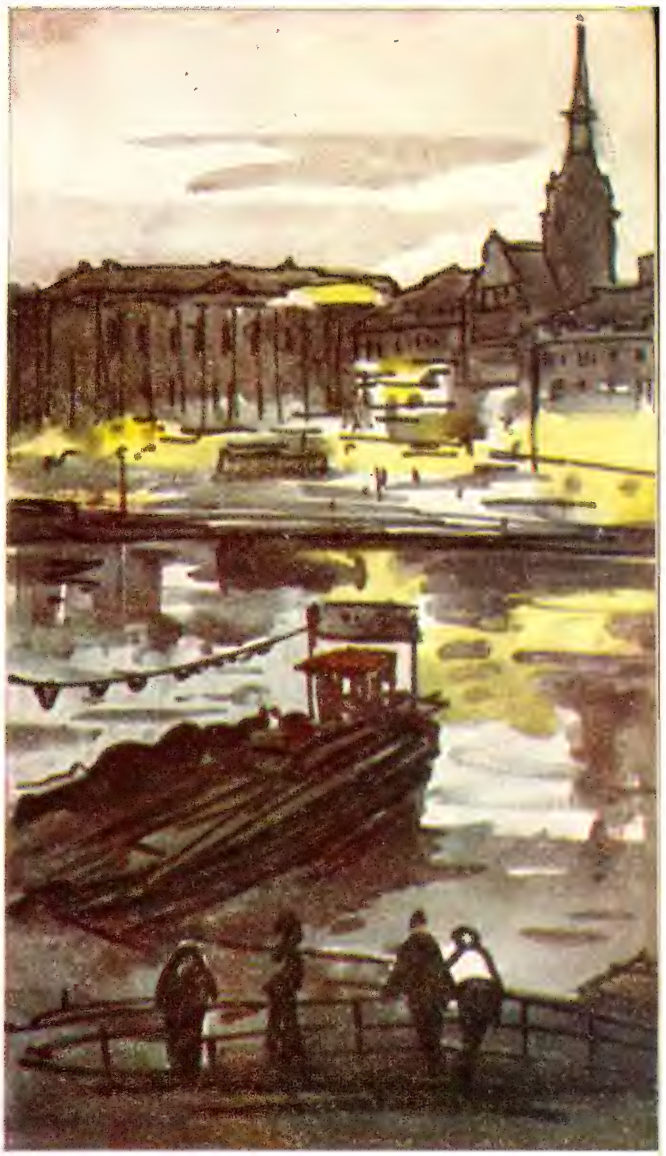


НА НОРВЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ



Мост через фиорд

Деревушка
у водопада



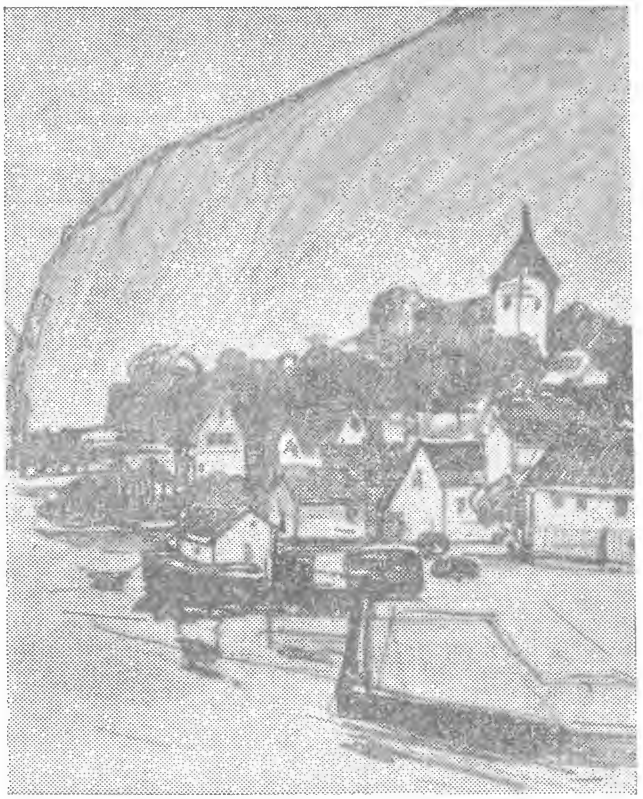
Белые ночи в Стокгольме. Швеция

У парома. Норвегия

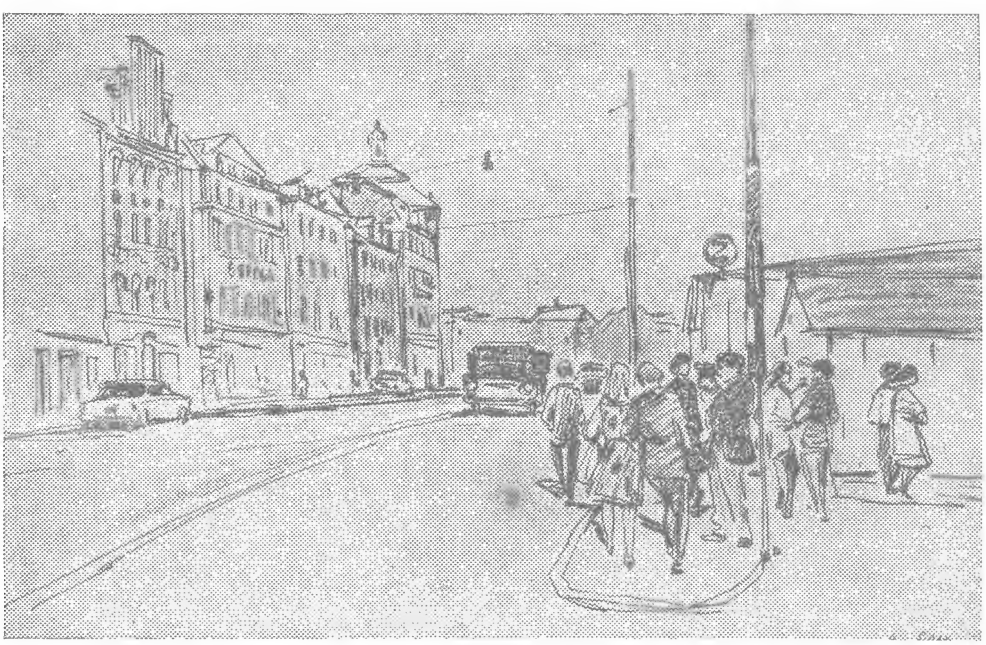
Дорога. Норвегия

Пристань в норвежской деревне

Таких поселков
здесь множество



В Осло



НА НОРВЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТ С «НЬЮ ФОРЧУН»

При Пертском университете недавно открыт театр «Нью форчун». Это единственное в мире, как утверждает корреспондент журнала «Миэйнджин», театральное сооружение, в точности воспроизводящее сценическую площадку и зрительный зал, вернее галереи для зрителей, лондонского театра «Форчун», построенного в 1599—1600 годах Эдвардом Аллейном и Филиппом Генслоу.

Театр «Нью форчун» представляет интерес не только для историков-театроведов, но и для исследователей современного театра. По словам корреспондента журнала, театр «поможет проникнуть в те аспекты елизаветинской драмы, которые необходимо прочувствовать в непосредственной близости, для того чтобы понять».

АВСТРИЯ

ОБРАЩАТЬСЯ К СОВРЕМЕННОСТИ

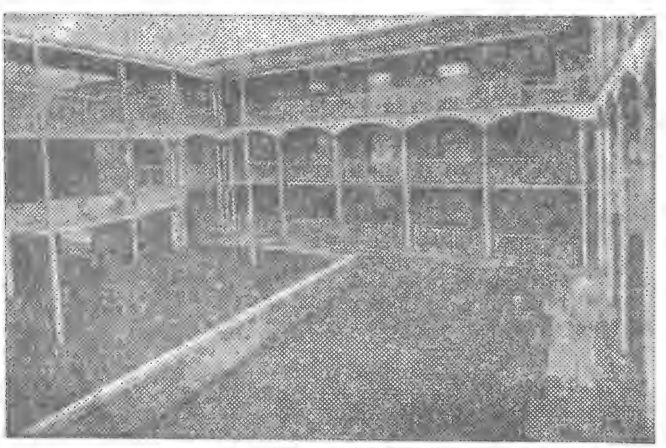
Как сообщает корреспондент газеты «Фольксштимме», на V венском кинофестивале демонстрировался австрийский фильм «Третье ноября 1918 года», поставленный режиссером Эдвином Збонеком по известной одноименной драме писателя Франца Теодора Чокора, созданной почти тридцать лет назад. В основу драмы положены события, связанные с падением австро-венгерской монархии, а также национальные проблемы, возникшие в результате этого исторического события.

Отмечая значительность затронутой в фильме темы, корреспондент подчеркивает, что «Третье ноября 1918 года» — высокохудожественное произведение национальной кинематографии. Фильм Збонека выгодно выделяется на фоне серой отечественной кинопродукции, которую зрителю предлагали на протяжении нескольких последних лет. Актеры Эрик Фрей, Курт Зовинец, Фриц Мулиар создали правдивые, запоминающиеся образы.

Успех фильма свидетельствует о том, продолжает корреспондент, что национальную кинематографию можно вывести из состояния крайнего упадка. «Возможности австрийской кинематографии станут еще шире, если она будет обращаться к темам не вчерашней, а сегодняшней Австрии, чего пока нет»,— пишет в заключение корреспондент.

Общий вид театра «Нью форчун».

(Журнал «Миэйнджин»)



Кадр из фильма «Третье ноября 1918 года».
(Газета «Фольксштимме»)

АНГЛИЯ

КНИГА О ВИКАРИИ, ПРОПОВЕДОВАВШЕМ СОЦИАЛИЗМ

В 1925 году викарий городка Такстед в Восточной Англии Конрад Ноэль открыто встал на сторону бастующих горняков и во время проповеди, в знак протеста против произвола предпринимателей, водрузил на приходской церкви красный флаг. Эти события, пишет рецензент газеты «Дейли уоркер», вдохновили известного английского актера Роберта Шоу, автора двух книг, на создание романа «Флаг» о классовой борьбе трудящихся.

Действие романа происходит на протяжении двадцати трех дней в мае 1925 года и перенесено из Такстеда в другой шахтерский городок Восточной Англии — Истуолд. Главный герой—викарий — получил имя Джона Кальвина; его политические взгляды совпадают со взглядами реально существовавшего защитника интересов рабочих Конрада Ноэля. Джон Кальвин в книге Шоу — бывший шахтер, который стал священнослужителем под давлением обстоятельств, а затем начал пропаганду социалистического учения.

Викарий Кальвин объявляет войну капитализму. Он облекает свои идеи в доходчивую для прихожан форму, заявляя во время проповеди: «Бог вынес приговор капитализму, решив его уничтожить».

Против викария-вольнодумца ополчаются все реакционные силы городка, вплоть до банды фашиствующих молодчиков. События достигают апогея, когда старый друг Кальвина, тоже бывший шахтер, отправляется пешком из Хоутона в Истуолд, неся в знак солидарности с бастующими алое знамя, которое Кальвин затем водружает на приходской церкви как символ борьбы против капиталистической эксплуатации.

Многие английские рецензенты высоко оценили художественные достоинства романа, его политическую страстность и глубокий гуманизм. Не было недостатка и в сдержанных, а то и открыто враждебных отзывах на страницах буржуазных газет.

Газета «Дейли уоркер» помимо рецензии напечатала страстный отклик на роман Шоу нынешнего викария Такстеда Джека Пэттерилла, который призвал всех читателей газеты «прочесть это выдающееся произведение».

ТРИНАДЦАТАЯ ЭЛИЗА ДУЛИТЛ

В высшей степени благожелательно встречен зрителями и критикой музыкальный фильм «Моя прекрасная леди» по «Пигмалиону» Бернарда Шоу, поставленный режиссером Джорджем Кьюкором. Работа над фильмом длилась около года.

«В течение года я жил словно в лихорадке,— рассказал режиссер корреспондентам.— Это был счастливый, необыкновенный, смелый год... Мы считали, что наш фильм должен в возможно большей степени соответствовать литературному первоисточнику. Для нас не существовало вопросов незначительных — мы почти физически ощущали свою ответственность.

Я стремился сделать фильм как можно динамичнее — не дать ему возможности уподобиться искусству застывшей фотографии. И в первую очередь я стремился всегда помнить о Шоу, никогда не пренебрегать им. В то же время я ни на минуту не забывал, что делаю кинофильм и что экран дает мне многие технические преимущества.

Б «моей» Элизе я старался прежде всего показать Элизу такой, какой она задумана Шоу — дикой, простоватой, неотесанной, медленно пробуждающейся к новой жизни...»

В роли Элизы Дулитл, как мы уже сообщали, снима-

лась известная киноактриса Одри Хэпберн. Она — тринадцатая по счету Элиза в существовавших до сих пор театральных постановках «Моей прекрасной леди». На долю Одри Хэпберн выпали многочисленные восторженные отклики прессы. С энтузиазмом критика отзывается и об игре исполнителя роли профессора Хиггинса — актера Рекса Харрисона. В роли полковника Пикеринга был занят Уилфред Хайд-Уайт.

БЕЛЬГИЯ

ГРАВЮРЫ ФРАНСА МАЗЕРЕЕЛЯ

Выдающийся график нашего времени Франс Мазереель завершил новую серию гравюр на дереве, репродукции которых изданы отдельным альбомом под названием «Путь людей».

За полвека, прошедших со дня появления первых рисунков и гравюр Мазереля, с искусством которого познакомились уже три поколения, пишет в журнале «Бильденде кунст» искусствовед Т. Пинкус, кое-что изменилось в манере художника. Мазереель — рисовальщик и живописец оказал влияние на Мазереля-гравера и наоборот. Новый цикл гравюр является в известной мере итогом, но далеко не концом творческой деятельности этого великого труженика. Поселившись после войны в Ницце, Франс Мазереель, которому в прошлом году исполнилось 75 лет, продолжает плодотворно работать: за год он создает до двенадцати больших гравюр на дереве, не считая иллюстраций к литературным произведениям и так называемой «мелкой графики» — экслибрисов и открыток с новогодними поздравлениями.

Очевидец двух мировых войн, друг и соратник Ромена Роллана и Стефана Цвейга, Мазереель не оставляет своего оружия — резца гравера. Уже полвека своим искусством он неутомимо борется за гуманизм и прогресс. И, как справедливо отмечает Т. Пинкус, эта страстность борца нисколько не сузила кругозора художника, не погасила творческой фантазии и не уменьшила выразительной силы его произведений. Франс Мазереель и в новейших своих работах остался оптимистом, он глубоко верит в грядущий мир и жизнь.

Новые работы Франса Мазереля из альбома «Путь людей». *(Журнал «Бильденде кунст»)*

БОЛГАРИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ НИВА СТОЯНА ДАСКАЛОВА

— Я рожден в селе,— сказал известный болгарский писатель Стоян Даскалов корреспонденту еженедельника «Литературен фронт», приехавшему взять у него интервью,— и, как все крестьяне, встаю рано. За письменным столом я чувствую себя словно на пашне, он — моя литературная нива... Возле нашего села проходит первый в Болгарии газопровод. Неподалеку построен второй газопровод, идущий к самому

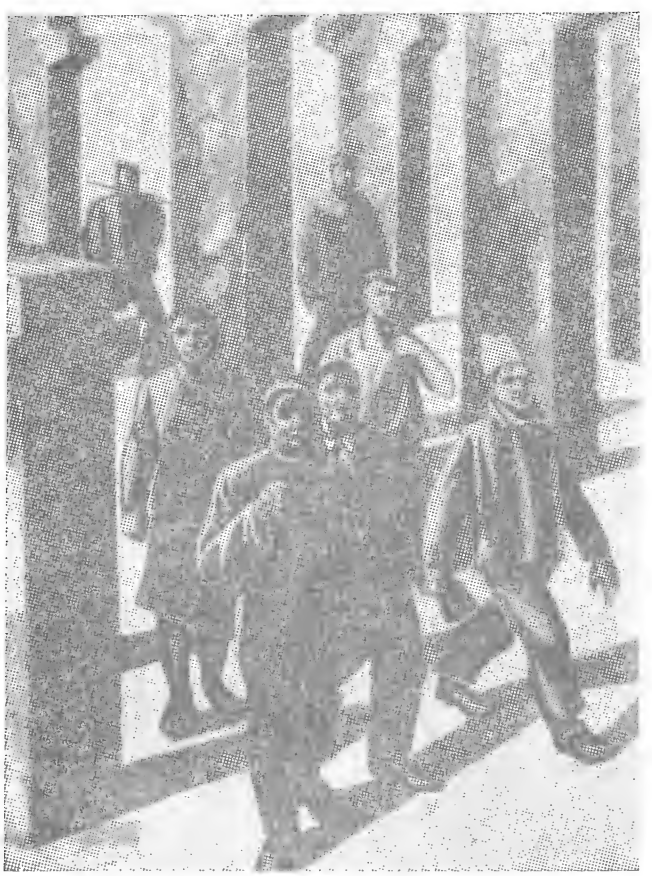
крупному у нас химическому заводу. Для меня как писателя все это — творческое богатство. Теперь я пленник этого сокровища. В новом романе «Село между двумя заводами» я хочу показать, как социалистическая индустриализация меняет село и крестьянина...

У Даскалова задумано еще одно произведение на современную тему. Его героем будет молодой человек, коммунист, борющийся против консерватизма и косности.

— Как представляется вам будущее романа? — поинтересовался корреспондент.

— Литературная мода всегда приходила к нам с большим запозданием,— ответил писатель.— Пока «мода» доходила до нас, на Западе она уже устаревала. Так происходит и теперь с «бессюжетным», «синтетическим» романом. Я всегда был приверженцем романа с конкретными образами, который раскрывал общественные явления, процессы и конфликты. Отнимите у искусства образ, содержательность, жар человеческой души, удалите общество — и это уже не будет искусством. Создатели «нового» романа только теоретизируют. Им не удалось создать достойных образцов, они вошли в противоречие с собственными идеями, а потому потерпели неудачу. Их опыты поразительно похожи один на другой, они утратили главное в искусстве, где каждый может выразить себя, не повторяя другого. Как не повторяются, скажем, Чехов, Толстой, Шолохов, Бальзак, Гоголь или Додэ.

В Софии состоялась общенациональная выставка современной болгарской живописи, на которой было представлено 2300 полотен 560 авторов. Здесь мы воспроизводим репродукцию работы Ивана Борисова Иванова «Утро», которая была опубликована журналом «Народна култура».



ГДР

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ГЕНРИХА МАННА

В нынешнем году отмечается пятнадцатилетие со дня смерти выдающегося немецкого писателя Генриха Манна. В связи с этой датой Немецкая академия искусств, первым президентом которой был покойный писатель, приступает к новому изданию полного собрания сочинений Генриха Манна в 25 томах.

Столь обширное собрание сочинений Генриха Манна будет выпущено впервые, рассказала научная сотрудница отделения литературных архивов Академии Зигрид Ангер корреспонденту газеты «Дер морген». В первые пятнадцать томов войдут семнадцать романов писателя, три тома будут содержать около шестидесяти его новелл, один том — десять драматических произведений, четыре тома — около 300 очерков и эссе. В два последних тома будут включены фрагменты из литературного наследия писателя и его публичные выступления.

В собрание сочинений войдут некоторые давно не публиковавшиеся произведения Генриха Манна. К ним относятся, например, романы «Бедные» и «Голова», которые вместе с известным романом «Верноподданный» составляют трилогию «Империя». Роман «Бедные» посвящен жизни рабочего класса; главные герои «Головы» — интеллигенты. Интересно, как отмечает Ангер, что роману «Голова» писатель посвятил семь лет работы (1918—1925) — больше, чем какой-либо другой своей книге.

До сих пор не был опубликован в ГДР законченный писателем в 1947 году в Калифорнии роман «Дыхание», повествующий о первых днях второй мировой войны, который войдет в нынешнее полное собрание сочинений Генриха Манна.

Новый фильм студии ДЕФА «Хроника одного убийства» создан по мотивам романа известного писателя Леонгарда Франка «Ученики Иисуса», в котором разоблачается политика покровительства нацистским военным преступникам в Западной Германии. Автор фильма — болгарский сценарист Ангел Вагенштейн и немецкий режиссер Иоахим Хазлер — перенесли действие фильма в наши дни. В центре его — история Рут Боденхейм, убивающей бургомистра одного из западногерманских городов; в этом человеке она опознает фашиста, расстрелявшего ее родителей. На снимке: кадр из фильма.

(Журнал «Фильмшпигель»)

«ЧЕРНАЯ ТРАВА»

Газета «Нейес Дейчланд» поместила интервью с известным писателем, автором романа «Осенний дым» Бернгардом Зеегером, закончившим недавно работу над своей новой пьесой «Черная трава».

— Ваш роман «Осенний дым» имел успех у читателей,— сказал корреспондент «Нейес Дейчланд» Манфред Кюхлер.— Мы все ждали, что вы продолжите над ним работу. Означает ли появление вашей новой пьесы, что вы переключились на драматургию и что второго тома романа не будет?

— Я действительно несколько отложил работу над романом, но продолжаю собирать для него материал,— ответил писатель. — Ведь у моей новой драмы та же тематика. «Черная трава», как и роман, посвящена жизни деревни. Кажется, мне удалось показать в ней кусок той действительности, которую я постоянно изучаю.

Бернгард Зеегер рассказал далее, что в «Черной траве» основной конфликт заключается в борьбе старого, консервативного с новым, прогрессивным. Жизнь сталкивает отца и сына Ротхардтов. Сын одним махом хочет все изменить в сельскохозяйственном кооперативе, вести хозяйство в соответствии с новейшими достижениями науки. Однако он не умеет работать с людьми, у него нет отцовского опыта, и все его начинания терпят крах. Отец приходит на помощь сыну, что приводит к новым столкновениям между ними. Однако это столкновение многому научило обоих, и они, видимо, постараются впредь быть сговорчивее.

— В нескольких словах невозможно изложить подробно все события пьесы,— сказал в заключение Зеегер.— Специфика моей драмы заключается в том, что она раскрывает те сложности, из которых состоит жизнь села, личные и общественные конфликты.

ФРГ

ХУДОЖНИК И СОВРЕМЕННОСТЬ

Творчество известного западногерманского художника Карло Шеллемана многообразно, оно посвящено проблемам современного общества. Художник посетил многие страны. Среди его работ можно встретить такие, как «Рабочие дома Англии», «Внимание: Франции угрожает фашизм!». Карло Шеллеман — горячий сторонник запрещения атомного оружия. Он организовал в Западной Германии выставку под лозунгом «Художник против атомной войны».

В настоящее время Шеллеман работает над новым сатирическим циклом «Свобода и демократия» — по мотивам произведений Бертольта Брехта.

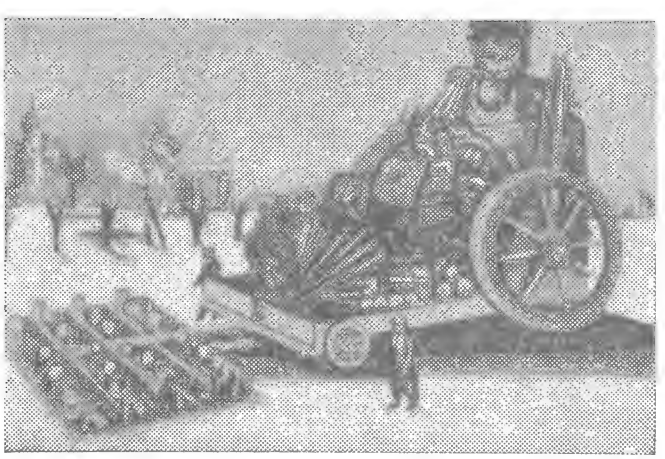
ГРЕЦИЯ

«УЧАСТВОВАТЬ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ НАЦИИ»

В «Клубе книги» при афинском издательстве «Темелио» с большим успехом прошла выставка книг греческих писательниц. Сто пятьдесят писательских имен — уже вошедших в литературу и только еще приобретающих известность — были представлены на выставочных стендах. В разделах поэзии, прозы, критики, детской книги посетители выставки могли познакомиться как с редкими изданиями, так и с новинками. Здесь же читатели могли купить эти книги, встретиться с их

Рисунок Карло Шеллемана из цикла «Свобода и демократия».

(Газета «Националь-цейтунг»)



авторами и получить автографы. Содействовать установлению более тесных контактов между писателем и читателем — такова была одна из основных целей выставки.

Выступая на ее открытии, известная писательница Ева Влами высоко оценила это начинание: «Мы приветствуем выставку не только потому, что она популяризирует литературный труд греческих женщин, воздавая должное их уму и таланту, но и потому, что она косвенным образом воздает должное тяжелой борьбе многих поколений, завоевавших для нас право участвовать в духовной жизни нации!»

ИНДИЯ

ХОТЯТ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК

В Дели открывается Русский институт — сообщает корреспондент газеты «Таймс оф Индиа».

Временно он будет филиалом Делийского университета, затем войдет во вновь создаваемый Университет имени Джавахарлала Неру. Институт будет готовить преподавателей русского языка и литературы, научных работников и переводчиков с русского на основные национальные языки страны.

«Подготовка переводчиков особенно важна для нас,— подчеркивает корреспондент другой индийской газеты — «Стейтсмен», — поскольку правительство Индии приняло решение издать лучшие советские учебники по всем отраслям знаний в переводах на национальные языки Индии».

ИСПАНИЯ

МИНИСТР ОТКЛОНЯЕТ ПЕТИЦИЮ

Как сообщают иностранные агентства, около 1 700 человек, в основном представители интеллигенции, направили министру информации и туризма Испании Фраге Ирибарне письмо, в котором подвергают резкой критике действия нынешнего режима. Анализируя последние события в стране (речь идет о выступлениях студентов и рабочих в ряде городов страны), авторы письма подчеркивают, что не было никакой возможности свободно высказаться по этому поводу. В обращении к министру говорится также, что нельзя разрешить стоящие перед страной проблемы путем репрессий против рабочих и студентов. Характеризуя состояние культурной жизни в стране и информированности общественного мнения, авторы заявляют, что, несмотря на обещанную либерализацию, свободное выражение взглядов по-прежнему наталкивается на препятствия, подвергается свирепой цензуре. В письме поднимается также вопрос о свободе ассоциаций, особенно о профсоюзных свободах, о праве на забастовку, о свободе печати, а также об амнистии политических заключенных и восстановлении в правах всех уволенных рабочих и арестованных студентов и профессоров. По словам корреспондента французской газеты «Монд», это письмо — самое серьезное до сих пор обвинение существующему в Испании режиму.

Среди подписавшихся под этим письмом — бывший министр сельского хозяйства, ныне профессор Севильского университета Мануэль Хименес Фернандес, писатели Пабло Серрано, Дионисио Ридруэхо, Хесус Лопес Пачеко и другие. Под письмом поставили свои подписи 30 профессоров различных университетов страны, 9 руководителей организации «Аксьон католика», видные писатели, поэты и адвокаты, студенты. Обращает на себя внимание тот факт, что письмо вместе с представителями интеллигенции подписано 173 рабочими Мадрида.

Фрага Ирибарне отказался принять этот документ и вернул его Мануэлю Хименесу Фернандесу с припиской, что подача этого письма не соответствует правилам, установленным законом для подачи петиций.

«Уборка риса» — так называется этот рисунок индийского художника Абу из штата Керала (Южная Индия).

(Газета «Стейтсмен»)

ИТАЛИЯ

В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ ВЬЕТНАМА

Несколько известных итальянских писателей вошли в инициативный комитет по проведению в Италии кампании в защиту свободы Вьетнама. Комитет опубликовал воззвание деятелей культуры Италии, клеймящее американскую агрессию против Демократической Республики Вьетнам и зверств в Южном Вьетнаме, провел Неделю протеста, в ходе которой в Милане и других городах были организованы массовые шествия и демонстрации за мир во Вьетнаме. В числе инициаторов этого движения — писатели Альберто Моравиа, Карло Леви, Итало Кальвино, Элио Вит-

торини, Чезаре Дзаваттини, Уго Пирро. В комитет вошли художники и скульпторы Ренато Гуттузо, Джакомо Манцу, Уго Аттарди, Эннио Калабрия, философ Эуджено Гарин, кинематографист Джилло Понтекорво, историк-искусствовед Рануччо Бьянки-Бандинелли и другие видные прогрессивные представители итальянской культуры, литературы и искусства.

ИТАЛЬЯНСКОЕ КИНО В 1965 ГОДУ

Четыре фильма будут представлять Италию на международных кинофестивалях этого года, сообщает итальянская печать. Это «Далекие звезды Большой Медведицы» режиссера Лукино Висконти, «Джульетта, одержимая духами» Федерико Феллини, «Минута правды» Франческо Рози и «Солдатки» Валерио Дзурлини.

Значительное место в итальянской кинопродукции 1965 года по-прежнему занимает сатирическая комедия на социальные и моральные темы. К этому жанру относятся фильмы, находящиеся в стадии производства,— «Дамы и господа» режиссера Пьетро Джерми (в духе его фильмов «Развод по-итальянски» и «Соблазненная и покинутая»), фильм с участием популярного актера Уго Тоньяцци «Я женюсь в Америке» режиссера Полидоро. В четырех кинокомедиях будет сниматься в этом году Витторио Гассман, комедию «Люди и звери» ставит молодой режиссер Уго Грегоретти.

Режиссер Мауро Болоньини экранизирует комедию Макиавелли «Мандрагора» (с участием Россаны Скьяффино и Нино Манфреди), а писатель-кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини собирается ставить фильм «Хвастун» по комедии Плавта «Хвастливый воин».

В числе готовящихся фильмов — «Глава семьи» режиссера Нанни Лоя, научно-фантастический фильм Элио Петри «Десятая жертва», фильм-репортаж Джилло Понтекорво о магии и колдовстве в разных странах мира, фильм-репортаж о Соединенных Штатах режиссера Луиджи Ванци.

Обозреватель газеты «Унита» подчеркивает, что подавляющее большинство картин и в этом году будут чисто развлекательными, коммерческими фильмами.

КАНАДА

ЗРИТЕЛИ СПАСЛИ СВОЙ ТЕАТР

Опасность, нависшая было над торонтским «Крестиэтр», миновала. Вновь горят огни у подъезда театра, вновь зрители заполняют зал.

Театр продолжает свою благородную деятельность вопреки позорному решению властей отказать ему в финансовой дотации, о чем писала «Иностранная литература» (см. № 1, 1965). Как сообщает корреспондент газеты «Кенэдиен трибюн», театр спасли зрители, собравшие деньги, необходимые для его дальнейшего существования.

КЕНИЯ

МПАШЛЕЛЕ: «ЗАЙМИТЕСЬ ТВОРЧЕСКИМИ ПОИСКАМИ»

Известный африканский писатель Эзекайл Мпашлеле дал интервью корреспонденту выходящей в Найроби газеты «Ист африкен стандард», в котором коснулся важных вопросов творчества. Мпашлеле сказал, что перед африканским художником стоят две опасности, которые он должен избежать. С одной стороны, это угроза полного подчинения влиянию западной культуры. С другой — опасность слепого подражания традиционным, застывшим, «мумифицированным» образцам народного искусства. Только творческий подход к традиционному материалу дает возможность художнику выразить себя, отметил писатель.

В интервью была затронута очень актуальная для африканских писателей проблема — общение с читателем. «Я не люблю читать вещи, которые кажутся мне исключительно игрой интеллекта,— сказал Мпашлеле.— Постоянное общение с читателями необходимо!»

Писатель поддерживает распространение в Африке средств массовой информации, таких как радио и телевидение,— вопреки существующим опасениям, что это приведет к уничтожению африканских художественных традиций. Мпашлеле, напротив, считает, что африканский художник гораздо больше выиграет от развития в Африке этих технических средств — за счет расширения аудитории потенциальных слушателей и зрителей.

Почти ни одно выступление Мпашлеле в печати не обходится без того, чтобы он не высказал своего мнения по поводу концепций «африканской личности» и «негритюда». Его позиция остается неизменной: «Чем шуметь об африканской личности и негритюде, лучше займитесь активными творческими поисками,— заявил писатель.— Только в творческом самовыражении можно постигнуть, насколько ты действительно африканец».

ОАР

ИНТЕРЕС К НАРОДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

Журнал «Аль-Кятиб» опубликовал статью видного египетского специалиста по фольклору доктора Рушди Салеха «Искусство египетского народа». Салех вспоминает о том, как в королевском Египте пренебрегали народным искусством. Положение в корне изменилось после победы революции 1952 г. В стране стали проявлять большой интерес к народному творчеству. При высшем совете по делам литературы была создана специальная комиссия по народному искусству. На сценах с большим успехом ставятся музыкальные пьесы по мотивам народных легенд и сказаний (например, пьеса «О Лейль, о

Айн», показанная египетскими артистами во время Московского фестиваля молодежи и студентов в 1957 г.). Была создана «Национальная труппа народного искусства». С целью изучения опыта народного театра других стран правительство ОАР направило специальные миссии в Польшу, ГДР, Ирландию и США.

В настоящее время Высший совет по делам литературы учредил специальные премии за лучшие работы в области изучения фольклора, а министерство культуры издало несколько исследований по народному искусству в арабских странах. Впервые изучение фольклора включено в программу крупнейших египетских университетов — Каирского и аль-Азхара. В нынешнем году начал издаваться специальный журнал «Альфунун аш-шаабийя» («Народное творчество»).

ПОЛЬША

ПАМЯТИ МАРИИ ДОМБРОВСКОЙ

Не стало Марии Домбровской — замечательной писательницы-гуманистки, видной деятельницы польской национальной культуры. Ее творчество началось на рубеже 1905 и 1906 годов и активно продолжалось до последних дней жизни. Прикованная тяжелым недугом к постели, слабея физически, писательница была тверда духом, рассказывала друзьям о своих творческих замыслах, о том, какими видятся ей будущие произведения...

В период польского межвоенного двадцатилетия Мария Домбровская создала такие значительные произведения, как сборники рассказов «Улыбка детства», «Люди оттуда», а также роман «Ночи и дни». Уже в то время ее творчество было отмечено литературными премиями, ее книги становились событиями в культурной жизни страны.

Плодотворным был для писательницы послевоенный период. Она создала публицистические произведения, историческую драму «Станислав и Богумил», переводила произведения Чехова и Горького, выпустила сборник рассказов «Утренняя звезда» и первую часть повести «Приключения мыслящего человека». О жизни новой деревни рассказывает повесть Домбровской «На деревне свадьба» (опубликована в журнале «Иностранная литература» № 5, 1955).

Памяти Марии Домбровской посвящены многие публикации польской прессы — в еженедельниках «Культура», «Жице литерацке», «Политика» и в ежедневной печати. Леслав М. Бартельский, выступивший на страницах «Культуры» с воспоминаниями о Домбровской, приводит слова писательницы о том, что «судьба человека — единственный правомерный предмет литературы и всякого искусства вообще». В произведениях Домбровской, пишет Бартельский, это убеждение нашло яркое воплощение. Обаятельная, скромная, писательница не любила давать интервью. Однажды она так сказала об этом: «Я нигде не говорю о себе. Я всю себя отдаю в своих произведениях».

«ТЕЛЕКУЛЬТУРА»

Такое название носит новое постоянное приложение к еженедельнику «Культура», выпускаемое в виде вкладыша к этому популярному изданию.

Одним из первых в приложении было опубликовано интервью с главным режиссером Театра польского телевидения Ежи Антчаком.

Телевидение в Польше существует уже более десяти лет, сказал Ежи Антчак. Сейчас в стране — более шести миллионов телезрителей. Телевидение уже превратилось в самостоятельную область культуры. Пришло время серьезно заняться его репертуаром, поскольку оно оказывает влияние на формирование взглядов и вкусов миллионов телезрителей самых разных возрастов.

«Театр телевидения, как театр массовый,— сказал далее Антчак,— должен

На нашем снимке вы видите Эдиту Войтчак — диктора польского телевидения. Ей присуждена премия «Золотой экран» — «за лучшую телевизионную индивидуальность».

(Еженедельник «Экран»)

быть театром хорошим, трудным, но доходчивым. При этом не следует отождествлять массовости и доходчивости со старомодностью или упрощенностью.

Существует еще проблема разумных пределов так называемого эксперимента на телевизионной сцене, проблема поисков новых форм, соответствующих современному содержанию телевидения и его техническим возможностям. Можно, разумеется, поставить «Дядю Ваню» на простом помосте или «Гамлета» в бочке — и попытаться обосновать все это поисками новой сценической формы или новым подходом к творчеству старых мастеров... Однако все это должно быть оправданным. Я ценю эксперимент при условии, что автор имеет сказать что-то новое».

«Телекультура» печатает высказывания многих творческих деятелей, критиков и телезрителей, разнообразную информацию о репертуаре и достижениях отечественного и зарубежного телевидения.

НЕИЗДАННЫЕ РУКОПИСИ ВЛАДИСЛАВА БРОНЕВСКОГО

Творчество Владислава Броневского тщательно изучается в Польше. В его мемориальном музее собрано все, что было написано

поэтом, начиная с юношеских лет и кончая последними годами жизни.

Несомненный интерес для биографов Броневского и для исследователей его творчества представляют неизданные рукописи поэта. Среди них юношеский дневник (1918—1922 гг.), фрагменты прозаических произведений, заметки, рефераты, стихи, не вошедшие в изданные при жизни поэтические сборники, а также переводы, критические и публицистические статьи и рукописи опубликованных произведений. Здесь же обширная корреспонденция поэта за 1918—1939 годы.

В настоящее время Государственный издательский институт готовит к печати сборник под названием «Из проблем литературы двадцатилетия», в котором помещен подробный перечень рукописей Владислава Броневского, составленный Ф. Лиходеевской. Ею были опубликованы не изданные при жизни поэта рассказы «Из лет минувших» и «Пани Таньска», которые войдут в сборник «Воспоминания», подготавливаемый к печати тем же издательством.

РУМЫНИЯ

«ГАЗЕТА ЛИТЕРАРЭ» — ЮБИЛЯР

Исполнилось десять лет со дня выхода в свет первого номера румынского еженедельника «Газета литерарэ».

«Орган Союза писателей, «Газета литерарэ» внесла крупный вклад в развитие нашей реалистической, социалистической литературы, способствуя появлению высокохудожественных произведений в области поэзии, прозы, драматургии и критики,— писал в связи с юбилеем в редакционной статье еженедельник «Контемпоранул».— На страницах «Газета литерарэ» можно встретить как имена мастеров слова, писателей, обладающих богатым опытом, так и имена молодых литераторов, творчество которых только становится достоянием читателя».

«Газета литерарэ» — носитель высокой идейной и художественной требовательности,— сказано далее в статье «Контемпоранул».— Она идет в авангарде борьбы с произведениями посредственными, серыми, плоскими, способствуя расширению и углублению нашей марксистско-ленинской критики».

«ЧЕТЫРЕ ШАГА ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ»

Известный прозаик Франчиск Мунтяну закончил постановку по собственному сценарию нового фильма «Четыре шага до бесконечности». Критика единодушно признает этот фильм наиболее удачным из всех, до сих пор созданных Мунтяну, и одновременно считает его успехом румынской кинематографии в целом.

В фильме показан важный исторический период — подготовка к вооруженному восстанию против фашизма в августе 1944 года. В центре событий — молодой подпольщик-коммунист Михай и девушка по имени Ана, которая ему помогает.

Критик журнала «Чинема» Эуджен Мандрик отмечает талантливую игру исполнителей — Сильвиу Стэнкулеску в роли Михая и дебютировавшей в кино молодой актрисы Ирины Гэрдеску в роли Аны. С похвалой критик отзывается о работе оператора Василе Оглиндэ.

Кадр из фильма «Четыре шага до бесконечности».
(Журнал «Чинема»)

США

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ПРИЗНАНИЯ

Недавно опубликован доклад, составленный экспертами Рокфеллеровского фонда, в котором дается анализ состояния американской культуры в общенациональном масштабе.

«Подавляющему большинству американцев,— говорится в докладе,— в том числе жителям городов, увидеть на сцене драму, оперу или балет, услышать симфонический оркестр удается чрезвычайно редко».

«В нашей стране,— сказано далее,— имеется не более пяти-шести постоянных балетных коллективов общенационального значения. У нас нет ни одного профессионального постоянного хора. Что же касается оперы, то у нас, конечно, есть «Метрополитэн опера», оперные театры в Чикаго и Сан-Франциско и второй нью-йоркский оперный театр «Нью-Йорк сити опера», но в целом в стране почти нет постоянной оперы на протяжении девяти-десяти месяцев в году».

Даже симфонические оркестры, которые, казалось бы, являются органической частью культуры больших городов Америки, отнюдь не процветают. Все крупные оркестры, как выясняется из доклада, работа-

ют с огромным дефицитом, не обеспечивая прожиточного минимума для работающих в них музыкантов.

Правительственные субсидии в области искусства более чем скромны, отмечается в докладе. Разного рода «меценаты» тоже не слишком раскошеливаются на нужды культуры. «На культурные цели идет менее двух процентов всей частной филантропии,— сказано в докладе.— Надо признать, что в этой области помощь филантропов удивительно мала».

Даже такой «сдержанный» еженедельник, как «Ньюсуик», видимо, выведен из равновесия докладом Рокфеллеровского фонда. «В этой стране,— пишет его корреспондент,— нет подлинного понимания того, что такое истинные цели и значение искусства».

УСПЕХ НОВОГО ФИЛЬМА ДИСНЕЯ

Американская пресса единодушно с похвалой отзывается о новом игровом художественном фильме «Мэри Поппинс», поставленном под руководством Уолта Диснея. Сценарий фильма был создан по одноименному роману Треверса. Талант, юмор и неисчерпаемая фантазия Диснея, по отзывам рецензентов, сделали

Джули Эндрюс в кинофильме «Мэри Поппинс».

(Газета «Дейли уоркер»)

Писатель Салама и издатель К. Рээнпяя (слева от него) в городском суде в Хельсинки.

(Газета «Кансан уутисет»)

комический, подчас сентиментальный рассказ о веселой няньке-гувернантке, сумевшей разнообразить жизнь многодетного семейства забавными приключениями, увлекательным зрелищем.

«Мэри Поппинс» — музыкальный фильм с оригинальными танцевальными номерами. Особенным успехом, по словам рецензента журнала «Филмс», пользуется танец трубочистов, исполненный на крыше дома, а также танец четырех пингвинов. Роль Мэри Поппинс исполняет известная артистка Джули Эндрюс. «Мэри Поппинс» считается лучшим музыкальным фильмом нынешнего сезона. Ему присуждены пять премий «Оскар»: за лучшее исполнение женской роли (Джули Эндрюс), за лучший монтаж, за лучшие сценические эффекты, за лучшее музыкальное сопровождение и за лучшую песню.

ФИНЛЯНДИЯ

«ДЕЛО САЛАМЫ»

В течение многих месяцев финскую общественность будоражит так называемое «дело Саламы». Один из молодых писателей Финляндии Ханну Салама в прошлом году написал роман «Танцы в Иванов день», удостоенный премии Финского литературного общества. В этом романе один из персонажей книги в нетрезвом виде произносит монолог-«проповедь», давшую повод консервативным кругам обвинить автора книги в богохульстве согласно старому закону, принятому... в 1889 г. По ходатайству девятнадцати депутатов сейма и архиепископа Финляндии министерство юстиции возбудило уголовное дело против писателя и его издателя К. Рээнпяя, возглавляющего одно из ведущих книжных издательств страны «Отава».

В защите Саламы приняли участие многие общественные и политические организации, деятели искусства и литературы и рядовые читатели. В финский парламент было подано ходатайство об отмене устаревшего закона о богохульстве, как не отвечающего нормам современной общественной жизни.

В своих выступлениях в прессе в защиту Саламы и свободы писательского слова академик Мика Валтари, автор широкочитаемых исторических романов, провел параллель между «делом Саламы» и сожжением на костре в начале прошлого столетия книги финского просветителя Яакко Ютейни. Известнейший финский писатель Вяйне Линна, напоминая о судьбе Сократа, юмористически заметил, что «Салама выбрал себе хорошую компанию». Председатель Союза писателей Финляндии, широкоизвестный у

нас автор сатирических романов Мартти Ларни, ссылаясь на закон о «свободе веры» от 1922 г., предлагает сторонникам церкви «разрешить самому господу богу наказать своих обидчиков».

И все же суд над писателем и его издателем начался: Салама и его издатель обвиняются в богохульстве — «допущении, по мнению христианской общины страны, презрительного отношения к особе Иисуса».

По ходатайству ответчиков, окончательное решение суда отложено.

ФРАНЦИЯ

ИОНЕСКО: «МОЙ СОБСТВЕННЫЙ КОШМАР»

Еженедельник «Экспресс» опубликовал интервью с драматургом Ионеско, который пожаловался корреспонденту на то, что работает всего четыре месяца в году, а остальное время... страдает потому, что не пишет.

Недавно он закончил первый вариант пьесы «Жажда и голод». По словам автора, это «серия скитаний человека в поисках чего-то». Ознакомление с содержанием пьесы не вносит никакой ясности. Герой пьесы Жан убегает из какого-то дома, ждет на какой-то равнине какую-то мифическую женщину, которая не появляется, попадает в какое-то подобие тюрьмы - монастыря - концентрационного лагеря.

Драматург опасается, что его будут сравнивать с Кафкой, хотя, как он выразился, «пьесу можно назвать моим собственным кошмаром». «Жажда и голод» состоит из трех эпизодов, из них необходим только первый, два последующих будут заменены другими, которые я напишу позднее»,— сказал Ионеско.

Он поведал корреспонденту о своих ближайших планах. Так, Ионеско собирается написать пьесу «Чума» по произведению «Дневник чумного года» Даниэля Дефо. «В этой пьесе,— жизнерадостно пообещал он,— будут умирать сотнями. Очень забавно. Надеюсь, что это будет самая юмористическая из всех написанных мною пьес».

«АНГОЛЕЗЦЫ»

Такое название носит книга Робера Давези, вышедшая в издательстве «Эдисьон де минюи» (первая книга Робера Давези «Фронт» была посвящена борющемуся Алжиру). Вскоре после освобождения из тюрьмы, в которой Давези сидел за активное участие в движении против войны в Алжире, он отправился в Анголу. Несколько недель Давези провел в Браззавиле и Леопольдвиле, затем отправился в районы партизанской борьбы на территории Анголы, чтобы увидеть и описать борцов за независимость. Сегодняшняя Ангола представлена в книге Давези молодыми анголезскими патриотами, борющимися за свободу своей страны. Они скрываются в густых лесах, где изготовляют самодельное оружие, так как современного оружия, добытого в боях, им не хватает. Они берегут пули для врага и верят в свою окончательную победу над угнетателями.

«Моя книга направлена не против народа Португалии,— говорит Робер Давези,— а против Салазара и тех, кто его поддерживает, т. е. в первую очередь против США, затем против Западной Германии и в какой-то степени, против политики французского правительства».

Давези рассказывает об истории Анголы и ее древних поверьях, а также о жестокой нынешней действительности, разоблачая современные формы рабства и работорговли, практикуемые в Анголе колонизаторами, истязания, которым подвергаются анголезские крестьяне.

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНСЕРВЫ»

Французский еженедельник «Ар» поместил серию статей о критическом положении музыкального искусства в стране. В одной из них композитор Анри Согэ заявляет: «Никогда еще не было такого обилия музыки, как сейчас. Она нас буквально затопляет, преследуя от пробуждения до сна и даже во сне. Радио, телевизор, магнитофон, транзисторный приемник, пластинки — диапазон ее все расширяется, преград уже нет. Присоединили к музыке шумы — получилась «музыка конкретная»; чудо электроники создало «музыку электронную»; чудо кибернетики дало «музыку кибернетическую». Неистощимый, безостановочный поток!.. Музыка сведена к звуковой декорации, полностью заполнившей современную жизнь. Музыка уже находится в руках инженеров — ее воспроизводят всевозможными способами, распространяют, исполняют кусками любой величины — по желанию и выбору. Эта необъятная фабрика музыкальных консервов разрушает живую музыку. А в глазах государства, — сетует Согэ, — творческие личности кажутся докучливыми существами, скорей вредными, чем полезными».

«Никогда еще карьера музыканта не была столь безнадежной,— жалуется молодой пианист Пьер Одон, с отличием окончивший Парижскую консерваторию.— Пианистов во Франции становится все меньше — в оркестре нужен только один пианист, а много ли оркестров?»

Композитору еще трудней добиться исполнения своих произведений. Кто издаст его симфонию или оперу? А кто оплатит переписку голосов для каждого инструмента оркестра?

Плохо обстоит дело и с музыкальными фестивалями. Государство подписало им смертный приговор, отказав в субсидиях на 1965 год, пишет обозреватель «Ар».

Музыканты не в силах бороться за свои права — слишком легко их заменить «музыкальными консервами».

«НЕ МЕСТО ВО ФРАНЦИИ»

В годы оккупации нацистские власти организовали в Париже выставку скульптур «профессора» Арно Брекера, который поставил свое «творчество» на службу третьей империи. Нацистский журнал «Синьяль», превознося этого гитлеровского прислужника, писал в

то время: «Брекер пытается создать совершенный тип, который мог бы служить идеалом современной расы. Того, кто посещает ателье молодого скульптора, построенное по приказу фюрера в Грюневальде, потрясает воплощение этого идеала в конкретных образах». (Скажем для ясности, что под «конкретными образами» имелись в виду нацисты всех рангов.)

Недавно влиятельные друзья недобитых гитлеровцев организовали выставку творений Брекера в одной из парижских галерей.

«Профессору» Брекеру, который прославлял расизм и войну, не место во Франции»,— писала по этому поводу от имени возмущенных читателей газета «Юманите».

ШВЕЦИЯ

ПРЕМИЯ СКАНДИНАВСКОГО СОВЕТА

В четвертый раз присуждена большая литературная премия Скандинавского совета. На этот раз ее разделили шведский писатель Улуф Лагеркранц и фарерский прозаик Вильям Хейнесен.

Улуф Лагеркранц удостоен премии за книгу «Из ада в рай», Вильям Хейнесен — за книгу «Большие надежды», сообщает корреспондент газеты «Стокгольмс-тиднинген».

Перу Улуфа Лагеркранца принадлежит несколько сборников стихов, а также литературоведческие работы. Книга «Из ада в рай», посвященная творчеству Данте, вышла в свет осенью прошлого года.

Вильям Хейнесен — уроженец Фарерских островов. Он живет там и по сей день. Сюжеты и вдохновение для своих книг, по словам корреспондента, он черпает из жизни соотечественников. Глубокое знание быта, истории, культуры фарерцев позволило писателю сделать жизнь этого маленького народа интересной для читателей многих стран мира. Книги Хейнессна переводились на все скандинавские языки, а также на английский, немецкий, французский и чешский языки.

ЮГОСЛАВИЯ

НИКОЛЕТИНА БУРСАЧ — ГЕРОЙ ФИЛЬМА

На экраны страны вышел фильм о «пулеметчике с голубиным сердцем» — Николетине Бурсаче, поставленный режиссером Бранко Бауэром по произведению Бранко Чопича «Приключения Николетины Бурсача» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 8, 1964).

«Наш сметливый герой-весельчак, возможно, не в состоянии соперничать со своими предками из старых легенд,— пишет рецензент газеты «Политика»,— но его философия и сердечность близки и понятны нашему современнику. Видеть его — значит видеть себя, своего знакомого, друга».

Какой же был Николетина — этот герой югославского Сопротивления, так полюбившийся читателю и зрителю? «Еще во время войны в моем воображении возник образ живого, сердечного, энергичного бойца,— рассказал писатель Бранко Чопич в беседе с корреспондентом газеты «Борба»,— но тогда некогда было писать. Я носил в себе этот образ, он оживал, появлялись детали. Передо мной было несколько живых прототипов, и они помогли мне вдохнуть в Николетину жизнь.

И не случайно, как только герой этот ожил на страницах книги, многие начали приходить ко мне и говорить, что знают Николетину. А были и такие, которые заявляли, что Николетина списан с них. Это лучшее доказательство достоверности образа моего героя».

ТОНЕ СЕЛИШКАР: «ХОЧУ ПИСАТЬ О МОЛОДЕЖИ»

Вышел новый роман словенского писателя Тоне Селишкара «Ночь и рассвет», действие которого охватывает первые три дня оккупации Любляны фашистами. Автор показывает, как предательство усташей деморализует оборону и фашисты без сопротивления овладевают краем.

В связи с выходом романа корреспондент газеты «Борба» беседовал с писателем, из-под пера которого за полвека вышло уже около тридцати книг.

Кадр из фильма о Николетине Бурсаче.

(Еженедельник «НИН»)

«Хочу написать роман о нашей молодежи, показать, какова она сегодня в городе, в селе, рассказать о ее взглядах, стремлениях, идеалах,— поделился писатель своими планами.— Я наблюдаю, как растут мои внуки, часто посещаю школы, присматриваюсь к молодежи. Мне кажется, что высокий уровень жизни немного избаловал молодое поколение».

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЕСНИ БОРЬБЫ

«Когда на массовых митингах звучали эти песни, подхваченные сотнями голосов, полиция не решалась производить аресты. Это было опасно для опричников Фервурда. Песня сплачивала людей воедино, наполняя их сердца сознанием силы и чувством солидарности, уверенности в правоте их дела»,— так пишет о песнях южно-африканских борцов за свободу корреспондент выходящей в столице Танзании Дар-эс-Саламе газеты «Нэшналист». Песенное творчество стало, по его словам, одной из характерных черт освободительного движения африканцев против расистского режима Фервурда.

Обычно это один-два многократно повторяемых коротких куплета. Исполняют их часто экспромтом в стиле известного танца «калипсо» или на манер негритянских «спиричуэлз». Эти песни не только поднимают боевой дух борцов против апартеида, но и используются как средство связи между членами запрещенных, загнанных в подполье политических организаций африканцев. Они не только вдохновляют, но и информируют, сообщают последние новости освободительного движения.

Собирай свои вещи и
отправляйся домой, брат,
Отцы и матери ждут нас,—

говорится в одной из таких песен, популярных среди южно-африканских политических эмигрантов. Когда-нибудь они вернутся на родину и примут участие в борьбе плечом к плечу с соотечественниками.

Террор и репрессии не могут сломить уверенности народа в грядущей победе.

Берегись, Фервурд! Африка
растопчет тебя!
Ты умрешь, Фервурд.
Смотри, Фервурд, вот идет
вперед черный народ.
Берегись его, Фервурд!

Часто в песнях отражается конкретный этап борьбы, те или иные ее эпизоды, например, выступления против расистских законов, в защиту президента Африканского национального конгресса Лутхули, против состряпанных властями судебных процессов...

Выдающуюся роль в этом революционном художественном творчестве сыграл известный профсоюзный лидер Вуисиле Мини, убитый расистами в ноябре прошлого года. Мини был не только поэтом и композитором, но и прекрасным исполнителем. Когда он пел на массовых собраниях, это всегда производило сильное впечатление. Сейчас, когда Мини уже нет, его песни по-прежнему живут в народе.

К сожалению, ни слова, ни музыка этих песен еще не записаны. Но они навсегда останутся в памяти народа, и будущая свободная Южная Африка запишет их в историю своей борьбы и победы.

ЯПОНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

В редакции журнала «Бунгакукай» состоялось обсуждение литературных произведений, в котором приняли участие известные японские писатели и критики.

«В последнее время,— сказал, открывая обсуждение, Кэн Хирано,— появилось много интересных романов, повестей, рассказов». Он назвал несколько произведений писателей старшего поколения и в первую очередь «Хидэёси и Тосиёси» Яэко Ногами (ее многотомный роман «Лабиринт» вышел недавно в русском переводе). Затем Хирано упомянул романы молодых авторов, в частности «Индивидуальный опыт» Кэндзабуро Оэ, который поднимает одну из важнейших для современной Японии проблем — проблему морального облика молодого человека. Роман, может быть, не во всем удался писателю, сказал Хирано, но призыв к честности, показ светлых сторон жизни молодежи, душевной чистоты, которую ей удается сохранить несмотря на нынешнюю японскую действительность, предрасполагающую к моральному падению, безусловно найдут отклик у читателя.

Выступавшие назвали в числе лучших еще один роман, вернее, часть большой шеститомной эпопеи «Судьбы людей» Кодзиро Сэрисава. «Уже первые тома,— сказал один из участников обсуждения,— убеждают в том, что мы присутствуем при рождении выдающегося произведения».

Положительно были оценены новые произведения Ясунари Кавабата, Сэй Ито, Синтаро Исихара, рассказы Инэко Сата.

Как обычно, споры разгорелись вокруг творчества Сэйтё Мацумото. Но даже его противники вынуждены были признать, что хотя его произведения и написаны в жанре детектива, в основе их всегда лежат факты, причем не мелкие факты уголовной хроники, а крупные политические события, сыгравшие значительную роль в жизни Японии. Например, в одном из последних произведений Мацумото раскрывает новые, неизвестные прежде обстоятельства так называемого «инцидента Котоку» — сфабрикованного властями «дела» выдающегося деятеля японского рабочего движения XX века Котоку, казненного по ложному обвинению в «подготовке покушения на императора».

Авторы этого номера

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС — ROBERTO OBREGON MORALES (род. в 1941 г.)

Стихотворение молодого гватемальского поэта, которым открывается этот номер журнала, получено от автора в рукописи.

Писать он начал в юном возрасте. Его стихи печатались в разных поэтических сборниках, изданных в Гватемале. На родине поэт принимал активное участие в студенческом демократическом движении. В настоящее время живет за пределами Гватемалы.

ДИКО ФУЧЕДЖИЕВ (род. в 1928 г.)

Повесть «Небо над Велекой» («Небето на Велеке»), которую мы предлагаем вашему вниманию, впервые знакомит советских читателей с творчеством молодого болгарского писателя.

На родине Д. Фучеджиев известен и другими своими книгами, в которых он изображает свой родной край Странджу и его людей. Им написаны повести «Волчьи сны» (1961), «Белая прядь» (1964), сборник рассказов «Весенний сок» (1963).

Повесть «Небо над Велекой» вышла в Болгарии в 1963 году и была тепло встречена читателями.

■

В этой книжке журнала мы впервые на русском языке представляем читателям поэтов Нигерии — Джона Кларка, Гэбриела Окару, Кристофера Окигбо и Воле Шойинку. Все они принадлежат к так называемой «Большой четверке» нигерийской поэзии.

ДЖОН КЛАРК — JOHN CLARK (род. в 1935 г.)

Учился в Ибаданском университете (Западная Нигерия). Поэт и журналист, он опубликовал сборник «Стихи» ("Poems", 1962) и в 1964 г. пьесы в стихах: «Песнь о козле» ("Song of a Goat"), «Маски» ("Maskeraders") и «Плот» ("The Raft").

Д. Кларк, учившийся также и в Принстонском университете в США, написал недавно книгу об Америке «Америка, их Америка» ("America their America").

Поэт принимал участие в семинаре по изучению и переводу литератур стран Азии и Африки в Москве в 1964 г.

ГЭБРИЕЛ ОКАРА — GABRIEL OKARA (род. в 1921 г.)

Окончил государственный колледж Умуахии (Восточная Нигерия). Несколько лет работает в министерстве информации Восточной Нигерии.

Стихи и рассказы Г. Окары получили широкую известность не только на родине поэта, в Нигерии, они переводились в США, Италии, ФРГ и др. странах.

КРИСТОФЕР ОКИГБО — CHRISTOPHER OKIGBO (род. в 1932 г.)

Учился в Ибаданском университете, затем работал учителем. Перу К. Окигбо принадлежат две книги стихов: «Врата неба» ("Heavensgate") и «Пределы» ("Limits"), которые вышли в 1962 г.

ВОЛЕ ШОЙИНКА — WOLE SOYINKA (род. в 1935 г.)

Окончил университеты в Ибадане (Нигерия) и Лидсе (Англия). Вернувшись на родину, он посвятил себя созданию профессионального театра в Нигерии. Поэт, драматург, режиссер, актер и музыкант, Шойинка — один из самых значительных нигерийских деятелей культуры молодого поколения. Он автор пьес «Лев и жемчужина» ("The Lion and the Jewel"), «Испытания брата Джеро» ("The Trials of Brother Jero"), «Пляска в лесу» ("Dance of the Forest"), «Жители болот» ("The Swamp Dwellers") и др., опубликованных в 1963 г.

■

В этом номере мы продолжаем публикацию ответов зарубежных деятелей культуры

на анкету журнала. На страницах нашей июньской книжки выступают:

ФИЛЛИП БОНОСКИ — PHILLIP BONOSKY (род. в 1916 г.) — американский писатель и журналист. Советские читатели знакомы с творчеством Ф. Боноски по двум его романам — «Долина в огне» и «Волшебный папоротник».

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС — JOAQUIN GUTIERREZ (род. в 1918 г.) — коста-риканский писатель, литературовед и публицист, автор ряда книг.

НОЭЛ КУНИХЭН — NOEL COUNIHAN (род. в 1915 г.) — австралийский художник.

ДИМФНА КЬЮСАК — DYMPHNA CUSACK — австралийская писательница, известна советским читателям по книге «Жаркое лето в Берлине» и по выступлениям в советской периодической печати.

ЭРАКЛИО СЕПЕДА — ERACLIO ZEPEDA (род. в 1937 г.) — мексиканский прозаик и поэт, автор нескольких книг.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

И. о. художественного редактора **В. Л. Шачнев**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 09370. Сдано в производство 25/III-65 г. Подписано к печати 22/VI-65 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9,0 бум. л.; печ. л. 24,66. Зак 730.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394